

5

ISSN 0206-8680

КИНОСЦЕНАРИИ

1990

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

5

1990

ГОСКИНО СССР
СОЮЗ
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
СССР
МОСКВА 1990

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сценарии

- 3 *А. Бородянский, К. Шахназаров*
ЦАРЕУБИЙЦА
- 27 *Е. Турсунов*
МЫТАРЬ
- 53 *Г. Климов, Э. Климов*
ПРЕОБРАЖЕНИЕ (часть II)
- 70 *М. Мареева*
ОТШЕЛЬНИК
- 95 *Н. Покорная*
НЕ РЫДАЙ МЕНЯ МАТИ
- 117 *П. Луцик, А. Саморядов*
ДЮБА-ДЮБА (часть I)
- Мемуары
- 150 *А. Чечулин*
**ЗАПИСКИ КОНФОРМИСТА,
НЕ ДОЖИВШЕГО ДО ПЕНСИИ
(продолжение)**
- Точка зрения
- 179 *С. Франк*
Мертвые молчат
- 181 *Ю. Богомолов*
Кино между автором и зрителем
- 192 **Наши авторы**

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С будущего года цена одного номера нашего журнала возрастает до 2 рублей, а значит, и годовая подписка будет стоить 12 рублей. Поверьте, это не прихоть редакции. Богаче мы не станем. Дело в том, что более чем в два раза повысились тарифы типографии, стоимость бумаги и услуги почты.

На пороге повышения цены вы вправе узнать о наших планах на будущий год. В портфеле редакции ждут встречи с читателями немало ярких, талантливых произведений отечественной кинодраматургии, созданных и маститыми и молодыми авторами и отражающих сегодняшний кинематографический процесс.

Мировой экран будет представлен сценариями фильмов выдающихся мастеров — Луиса Буньюэля, Бернардо Бертолуччи, Жана Люка Годара, Альфреда Хичкока и других. В новой рубрике «Кино и проза» на протяжении нескольких номеров мы намерены напечатать остросюжетный роман классика американского кино Орсона Уэллса «Мистер Аркадин», который лег в основу его фильма «Тайное досье». С литературным творчеством этого замечательного режиссера и актера советские читатели познакомятся впервые.

Под рубрикой «Из архива мастеров» будут опубликованы сценарии Андрея Белого «Петербург», Валерия Брюсова «Любовь и страсть», Андрея Платонова «Священная жизнь», Василия Аксенова «О, этот юноша летучий».

В центре критико-публицистического раздела «Точка зрения» продолжится разговор о проблемах кинодраматургии и судьбах сценарной профессии, который начнут в следующем номере Валентин Черных и Владимир Машуков. Свои статьи нам обещали ведущие критики и киноведы Юрий Богомолов, Андрей Варганов, Михаил Ямпольский и др. По традиции на наших страницах будут встречаться члены дискуссионного клуба «Люмьеровы братья» под председательством режиссера Эльдара Рязанова и философа Валентина Толстых.

Надеемся, что вынужденное повышение цены не сократит число друзей журнала и не отразится на интересе читателей к нашему изданию.

Главный редактор **Е. ГРИГОРЬЕВ**

Редакционная коллегия:

О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, А. ЛОКТЕВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ, В. СЫТИН,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ

Ответственный секретарь **Н. РЮРИКОВА**

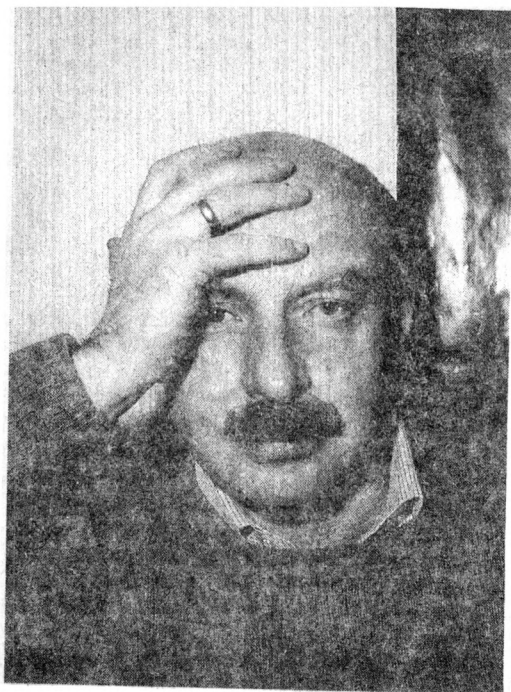
Технический редактор **Л. МАРКОВА**

Корректор **Е. ПЫЛАЕВА**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

© «Киносценарии»

Сдано в набор 21.06.90. Подписано к печати 16.08.90.
Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 24,682
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типогр. «Сыктывкар»
Гарн. таймс. Тираж 60500 экз. Заказ № 1291. Цена 1 р. 20 к.
Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр»
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15. Тел. 205-30-01
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12.
Телефон 299-47-74



**Александр
БОРОДЯНСКИЙ**



**Карен
ШАХНАЗАРОВ**

ЦАРЕУБИЙЦА

Пустыня. Ветер. И солнце, круглое, багровое, падающее за черный горизонт.

Ветер и песок. Змея скользнула алой лентой между полуразрушенными остатками крепостной стены. В безбрежном океане неба повис недвижно раскинувший крылья грифон. В его круглых черных зрачках — изломанная пустыня, багровый обод солнца...

Ветер, ветер...

Голос за кадром (*негромкий, мягкий и нежный голос молодой женщины*):

— Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и пред глазами тысячи пил вино...

Словно оживляя слова, пустыня исчезает, и вместо нее мы видим зал вавилонского дворца, освещенный светильниками, и причудливо одетых вельмож.

Голос:

— Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его... Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в

Иерусалиме: и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его...

...В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампы на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала.

Тогда царь изменился в лице своем...

Эти слова: «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН».

Царь:

— Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облачен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, третьим властелином будет в царстве.

Царица:

— Царь, во веки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменится вид лица твоего. Есть в царстве твоём муж, в котором дух святого Бога; и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Потому что в нем, Данииле, оказались высокий дух, видение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть приведут Даниила, и он объяснит значение.

...Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу.

Царь:

— Ты ли Даниил, один из пленных сынов Иудейских, которых отец мой, царь, привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены в тебе. О тебе я слышал, что ты можешь объяснить значение и разрешить узлы. Итак, если можешь прочесть это написанное и объяснить мне значение его, ты облачен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве.

Даниил:

— Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдадут другому, а написанное прочитаю и значение объясню.

Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его: кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал.

Но когда сердце его надломилось и дух его ужесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей.

И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травой, как вола, и тело его орошено было небесною росой, доколе он осознал, что над царством человеческим властвует всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет.

И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это. Но вознесся против Господа небес, и сосуды Дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки и начертано это писание. И вот что начертано:

«МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН».

Вот и значение слов:

МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и положил конец ему;

ТЕКЕЛ — ты взвешен на весах и найден очень легким;

ПЕРЕС — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам.

...Тогда по велению Валтасара и облекли Даниила в багряницу, и возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином в Царстве.

Голос за кадром:

— В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. И Дарий Мидянин

принял царство, будучи шестидесяти двух лет...

Возникает титр — название фильма:
ЦАРЕУБИЙЦА

День 1 марта 1881 года выдался в Петербурге сырым и хмурым. На Невском — оживленное движение. Звякают колокольчики конок, обгоняя друг друга, проносятся легкие санки. По широком тротуарам непрерывной процессией движутся нарядные праздные люди. Мелькают фуражки с кокардами, треуголки, белые султаны, бобровые шапки, блестящие цилиндры.

На углу Большой Садовой, у Публичной библиотеки, стоит изящно одетая дама. Она вглядывается вперед, как будто боится пропустить кого-то в потоке людей и экипажей. В руках она тербит тонкий белый платок.

Вдруг, словно по команде, движение на Невском замирает. Околоточные и городовые заставляют извозчиков сворачивать с Невского в сторону Сенной, и на опустевшей улице, там, куда вглядывается дама, появляются всадники в черкесах, за ними — карета, на козлах — кучер в лирее с красной пелеринкой, за каретой два конвойных казака.

— Государь, государь едет... — проносится по тротуару.

— Где? Где?

— Да вон же!..

Карета с конвоем все ближе и ближе. Застывают, вытянувшись во фронт, жандармы. Изящно одетая дама начинает поднимать руку с белым платком, и тут же рука ее замирает — карета с конвоем, не доехав до нее, сворачивает с Невского, на котором все снова приходит в движение.

Голос за кадром:

— Как только Перовская увидела, что царь изменил маршрут и не поехал по Малой Садовой, где в подкопе была заложена мина, она подала знак — идти на Екатерининский канал, по набережной которого царь возвращался всегда из Михайловского дворца в Зимний...

На заснеженной набережной появляется изящно одетая женщина. Она останавливается у чугунной решетки.

Голос за кадром:

— Она стояла на другой стороне канала против Инженерной улицы, чтобы подать нам знак действовать.

Внизу, под ногами изящно одетой женщины, как белая постель, лежит снежная гладь канала. Засыпанная снегом баржа возвышается у другого берега, под гранитной стеной набережной. А дальше — чугунная решетка и черные оголенные деревья за оградой Михайловского сада.

Вдоль ограды среди редких прохожих прохаживается молодой человек в легком пальто.

В руках у него белый узелок.

Метрах в ста от него прохаживается еще один молодой человек в нахлобученной шапке и с таким же белым узелком.

Голос за кадром:

— Первым должен был начинать Михайлов, но его я на набережной не увидел, и ближе всех к Инженерной оказалась Рысаков.

Молодой человек в легком пальто идет, не сводя глаз с изящно одетой дамы, и сталкивается с идущим навстречу подростком лет 14.

— Что ж ты, мальчик, под ноги не смотришь? — недовольно говорит молодой человек, нервно прижимая к себе узелок.

— Простите, барин, — смущенно говорит подросток. — Загляделся.

— Надо быть внимательнее, — строго говорит молодой человек, но, заметив растерянное выражение наивного курносого лица, смягчается: — Откуда же ты?

— Я из деревни, барин. К тетке приехал, — объясняет подросток. — Николай Максимов я, крестьянский сын.

Мужчина улыбается.

— Ну и что же, Николай Максимов, нравится тебе Петербург?

— Нравится, — улыбается в ответ подросток.

Голос за кадром:

— Тут я увидел, что Перовская поднесла платок к лицу.

— Ну, ступай, — говорит молодой человек подростку. — Ступай, ступай...

И на лице его появляется то выражение напряжения, которое бывает у людей в самые отчаянные минуты их жизни. Он придвигается к парапету и, застыв на месте, смотрит на появившуюся на набережной карету с конным конвоем.

Подросток Николай Максимов тоже смотрит на карету и вдруг с криком «Царь!» бежит ей навстречу.

Мимо дворника в тулупе, который при приближении кареты снимает шапку.

Раздается барабанная дробь — это взвод моряков отдает честь проносящейся мимо карете.

Перед глазами мальчика промелькнули казаки, черные бока лошадей, белое полное лицо с неподвижными глазами в арке кареты.

— Царь! — восторженно кричит подросток... И вдруг весь мир взрывается и заволакивается чем-то грязно-серым.

Словно от сильного удара, подросток падает на мостовую. Из рта и из носа струйками течет кровь. Перед собой он видит взвившихся на дыбы лошадей, падающих в сугробы казак, съехавшую с осей, с раскуроченной задней стенкой карету. Какие-то люди, солдаты, крича, пробегают мимо и, догнав молодого человека в нахлобученной шапке, сбивают его с ног.

К карете подбегает офицер, открывает дверь, и оттуда выходит высокий человек в темно-синей шинели, в каске с белым султаном.

— Ваше величество, преступник задержан! — кричит ему офицер.

Высокий человек, осмотревшись, быстро идет туда, где, окруженный толпой, стоит молодой человек в нахлобученной шапке.

Молодой офицер, обгоняя царя и не узнав его, кричит:

— Что с государем?!

Высокий человек в каске с белым султаном говорит:

— Славу Богу, я уцелел, но вот... — и склоняется над подростком.

— Еще слава ли Богу?! — восклицает молодой человек в нахлобученной шапке, с усмешкой глядя на него.

Царь выпрямляется.

— Этот стрелял? — спрашивает он.

— Так точно, ваше императорское величество! — отвечают в один голос городской и два солдата, которые держат преступника.

— Кто ты такой? — спрашивает царь.

— Мещанин Глазов.

— Хорош, — говорит царь, поворачивается и идет назад к карете.

Ему навстречу идет густая толпа. Впившись в него глазами, неподвижно стоит взвод моряков. Возле паркета набережной, держа руки за спиной, стоит молодой человек в легком пальто.

Голос за кадром:

— Он приближался, и я пошел навстречу ему.

Молодой человек в легком пальто делает несколько шагов навстречу царю, поднимает над головой узелок и бросает его между царем и собой...

Страшный взрыв рвет барабанные перепонки, черное облако заволакивает все. Короткий миг тишины, а затем — крики ужаса, стоны...

Но вот дым рассеивается. Прислонившись спиной к парапету, упираясь руками в тротуар, сидит Александр II. На нем нет ни шинели, ни каски, по лицу струится кровь, раздробленные ноги лежат в луже крови.

— Помоги... — бормочет он.

К нему подбегают, и среди прочих — тот офицер, что открывал дверь кареты, тоже весь в крови.

— Холодно, холодно... — говорит император.

Ему подают платок, и он прикладывает его к лицу.

Неподалеку от него, тоже в луже крови, лежит ничком, раскинув руки, молодой человек в легком пальто.

Голос за кадром:

— Царя я не видел. Я видел того мальчика, крестьянского сына Николая Максимова. Он лежал в пяти шагах от меня. Кто-то наклонился над ним и сказал: «А вот еще мальчик раненый». А другой голос сказал: «Да нет, он уже мертвый».

В кадре мужчина лет 40—45, коротко стриженный, в синей замызганной робе. Он говорит:

— Я тоже был смертельно ранен и в бесознательном состоянии доставлен в придворный госпиталь Конюшенного ведомства, где и умер спустя восемь часов. Перед самой смертью я пришел в себя и на вопрос о своем имени и звании ответил: «Не знаю».

Мужчина замолкает.

Напротив него — двое мужчин в белых халатах, один — грузный старик, другой — лет 40. Они переглядываются. Тот, что моложе, спрашивает:

— Ну а потом вы, значит, и Николая Второго убили?

— Ну да... Это уже в тысяча девятьсот восемнадцатом году, — простодушно отвечает мужчина в робе и спохватывается: — То есть как убил?.. Это я думал, что их убил, когда больной был...

— А теперь не думаете? — спрашивает врач.

— Теперь не думаю.

— Значит, теперь вы здоровы?

Пациент настороженно смотрит на врачей.

— Ну как здоров... В общем, я теперь ничего такого не думаю...

— Ты, Тимофеев, расскажи доктору, как у тебя все это началось, — говорит старик.

— Ну как... — Тимофеев чешет бритый затылок. — Я после армии... В общем, в тюрьму попал... Так, по глупости, за драку. Потом освободился, а жена со мною развелась, пока я сидел... Ну, в общем, остался я в Якутии. Лесорубом работал и пил, надо сказать, довольно сильно. Однажды возвращался в общежитие и был довольно пьяный. А мороз был как раз страшный. Я без валенок... Ноги отморозил... Вот у меня пальцев нет на обеих ногах... А потом, когда мне операцию сделали, у меня это самое и началось. Явилась ко мне девочка Ева...

— Это ее так звали? — спрашивает молодой врач.

— Ну да, так ее и звали — девочка Ева. Такая девочка лет пяти, в красном платьице и желтых ботиночках. Явилась она ко мне и сказала: «Вот ты, Тимофеев, никакой не Тимофеев, а ты убил царей Александра Николаевича Второго и Николая Александровича Второго». И стала она мне все про это рассказывать. Как да что было...

— А теперь эта девочка не является к вам? — спрашивает молодой врач.

— Теперь нет... Уже давно... — Тимофеев молчит, потом продолжает: — Ну меня тогда в Якутии в психиатрическую лечебницу положили... Потом в Ярославль перевели... А потом у меня туберкулез открыли и сюда привезли...

— Давно вы лечитесь?

Тимофеев морщит лоб:

— Ну как, уже восемнадцать лет по больницам...

— Хотелось бы вам выписаться?..

Тимофеев настороженно смотрит на врача.

— Ну как... Хотелось бы, конечно, хоть немного вольной жизнью пожить.

— Ну хорошо, идите в палату.

Тимофеев уходит.

— Александр Егорович, — говорит молодой врач. — Может быть, выписать Тимофеева?.. Кажется, его состояние стабильно...

— Да, если пить не начнет, — кивает старик. — Тут проблема в другом. У него из родственников одна сестра. Она от него давно отказалась. Жить ему негде. Третья группа инвалидности опять же... Я хотел его в Ногинск перевести... Там все же режим посвободнее... Может быть, они ему и жилплощадь потом выбьют.

— Да, пожалуй, — кивает молодой. — В Ногинск перевести — это верно...

Врачи выходят на улицу. Уже темнеет. Двор больницы занесен снегом, среди сугробов — расчищенные дорожки.

Высокий мужчина в полушубке, из-под которого виднеется белый халат, проходя мимо, здоровается:

— Здравствуйте, Александр Егорович...

— Здравствуй, Петя, — кивает старик и останавливает его: — Петя, вот познакомься... Ваш новый главврач, Алексей Михайлович Смирнов.

— Козлов, старший санитар, — протягивает руку молодому врачу мужчина и спрашивает старика: — Значит, все, уходите, Александр Егорович?

— Да, Петя, ухажу, — кивает старик.

Смирнов и Александр Егорович выходят из ворот больницы и идут по узкой улице провинциального городка.

— Не грустно вам, Александр Егорович, на пенсию уходить? — спрашивает Смирнов.

— Да как вам сказать... Тридцать лет, конечно, не шутка... Однако и устал я, — говорит старик. — У меня дочь в Крыму живет. Вот к ней поеду... Но пока здесь, я всегда к вашим услугам.

— Спасибо...

Они молчат, потом Александр Егорович спрашивает:

— Извините за нескромный вопрос, Алексей Михайлович, а вас что занесло в нашу глухомань?.. Вы человек столичный и, я слышал, в министерстве работали...

— Да вот это самое, пожалуй, и занесло, — улыбается Смирнов. — Дела живого захотелось... Я ведь все же врач... А потом, знаете, личные обстоятельства... Я недавно развелся, дочка у меня. Знаете, не захотелось квартиру менять и вообще... А тут вот место предложили. Я и поехал...

— Ну-ну, может быть, это и правильно, — кивает Александр Егорович и останавливается: — Я на автобус...

Они пожимают друг другу руки.

— Знаете, — вдруг говорит старик. — Начет вот этого Тимофеева... Я как-то взял кой-какие книжки почитать... И вот удивительно, как много Тимофеев знает об этих убийствах.

Смирнов внимательно смотрит на старика.

— Очевидно, он тоже много читал об этом, — говорит он.

— Возможно... Возможно...

И, проговорив это, Александр Егорович заходит в подъехавший автобус.

Палата больницы. Поздний вечер.

Длинные ряды кроватей. Больные спят. Некоторые спокойно, некоторые что-то бормочут, вскрикивают во сне.

Заглядывает санитар. Посмотрел, послушал, ушел.

Тимофеев открывает глаза. Садится на кровати. Он тяжело дышит, на лбу выступает испарина. Вдруг обеими руками хватается за горло, хрипит, язык вываливается изо рта, в глазах — ужас.

Небольшой зал провинциального ресторана. За одним из столов сидит доктор Смирнов. Выпивает рюмку водки. Закусывает. Бездарный оркестр начинает наяривать мелодию Паула «Еще не вечер...».

За соседним столиком оживляются несколько ярко накрашенных дам. Одна из них кокетливо поглядывает на Смирнова. Она встает и подходит к нему.

— Можно вас пригласить на танец?

Смирнов смотрит на нее.

— Это моя любимая вещь, — многозначительно говорит девица.

— Ну раз любимая, давайте потанцуем, — соглашается Смирнов.

Ночь. Комната. Постель. В ней Смирнов и девица. Девица курит, задумчиво глядя в потолок.

Больничныи коридор, палаты. Смирнов совершает утренний обход. Он останавливается возле больных, о чем-то спрашивает, разговаривает, идет дальше.

Подходит к Тимофееву. Тот стоит у заре-

шеченного окна.

— Как себя чувствуете? — спрашивает его Смирнов.

— Хорошо, — кивает Тимофеев и смотрит на Смирнова.

Смирнов вдруг наклоняется к нему:

— Что это у вас?

Вокруг шеи Тимофеева — сплошная, с красными подтеками полоса, словно след от веревки.

— Откуда это у вас? — резко спрашивает Смирнов.

— Что? — не понимает Тимофеев.

— Вот это откуда? — Смирнов касается пальцем его шеи.

— Это... Не знаю, — говорит Тимофеев.

— Что здесь произошло ночью? — поворачивается Смирнов к санитару.

— Ничего, — говорит санитар. — Все было спокойно.

— Это у него откуда? — показывает Смирнов полосу на шее Тимофеева.

— Я не знаю... Что это у тебя? Чего ты ночью делал? — набрасывается санитар на Тимофеева.

— Ничего не делал... Спал...

— Сделайте ему перевязку, — говорит Смирнов, — и позовите ко мне старшего санитаря.

Кабинет главврача. Смирнов у окна. Входит санитар, тот самый, с которым знакомил Смирнова Александр Егорович.

— Вызывали, Алексей Михайлович?

— Петр Сергеевич, — резко говорит Смирнов. — Мне бы очень не хотелось, чтобы у нашей больницы была репутация зубодробильной советской психушки, то есть заведения, в котором лечат с помощью насилия и произвола.

— Что вы имеете в виду? — с вызовом говорит санитар.

— Только что я обнаружил на шее больного Тимофеева след веревки...

— Что же вы хотите сказать, что мы его душили?..

— Я не знаю, была ли это попытка к самоубийству или насиле с чьей-либо стороны. Я хочу знать правду.

— Тимофеева никто не душил, и сам он не вешался. Синяя полоса была у него и в прошлом году и в позапрошлом. Можете проверить по «истории болезни» и справиться у Александра Егоровича, — говорит санитар.

Смирнов молча смотрит на него.

— Она у него через пару дней пройдет, — добавляет санитар.

Вечер. Кабинет главврача. Смирнов листает «историю болезни». Закрывает, откладывает в сторону. Посидел, задумавшись, встает, выходит из кабинета.

Идет по коридору больницы. Заходит в

холл, где перед телевизором сидят больные. Среди них Тимофеев с перевязанной шеей. Он смотрит телевизор, вдруг, как бы почувствовав чей-то взгляд, косит глаза и смотрит прямо на Смирнова. Секунду они смотрят друг на друга, потом Тимофеев отворачивается к телевизору.

Знакомая комната Смирнова. Постель. В ней знакомая уже нам девица и Смирнов. Девица курит и глядит в потолок.

— Магнитофона у тебя нет? — спрашивает она.

— Нет, — отвечает Смирнов.

Звонок в дверь.

— Кто это? — спрашивает девица.

— Не знаю.

Смирнов поднимается, натягивает брюки и рубашку, идет в прихожую. Открывает дверь — перед ним Александр Егорович.

— Добрый вечер, Алексей Михайлович.

— Добрый вечер.

— Вот, пришел домой, прочитал вашу записку...

— Да-да, я заходил к вам сегодня, — кивает Смирнов. — Спасибо, что пришли. Проходите.

Александр Егорович тщательно вытирает ноги и собирается идти в комнату.

Смирнов спохватывается.

— Вы извините, Александр Егорович, — говорит он и виновато улыбается. — Я не один.

— Тогда, может быть, я не вовремя? Я завтра зайду...

— Да нет, нет... сейчас, одну минутку...

Смирнов заходит в комнату, через секунду возвращается, прикрыв за собой дверь. Они стоят в прихожей, Смирнов так же виновато улыбается:

— Сейчас, сейчас... Вы меня извините...

— Да помилуйте, — понимающе пожимает плечами старик. — Вы человек молодой.

Они стоят и ждут.

— Ну что ж, должно быть, она уже оделась, — решает Александр Егорович после паузы.

— Да-да, конечно... Проходите.

Они входят в комнату.

Девица сидит в кресле в одной мужской рубашке, выставив голые ноги, и внимательно читает журнал «Советская психиатрия».

— Здравствуйте, — говорит Александр Егорович.

— Здравсьте... Марина, — представляется девица.

— Александр Егорович.

— Очень приятно.

— Знаешь, Марина, — говорит Смирнов, — ты извини, нам надо с Александром Егоровичем поговорить...

— Что, мне уйти? — спрашивает Марина.

— Да нет, зачем же? — вмешивается Александр Егорович. — Вы нам совсем не мешаете... Сделайте нам, пожалуйста, чаю...

Марина встает, выходит из комнаты, провожаемая сладким взглядом Александра Егоровича.

— Какие хорошие ноги, — замечает он с видом знатока.

— Да, — машинально кивает Смирнов.

— Такие длинные, — продолжает развивать мысль Александр Егорович. — И икры спортивные.

— Александр Егорович, — прерывает его Смирнов. — Сегодня утром я обнаружил у Тимофеева повреждение шеи в виде синюшной полосы с подтеками, как будто его душили веревкой. Я просмотрел «историю болезни» и нашел ваши записи за прошлый и позапрошлый годы...

— Да, это верно, — кивает Александр Егорович. — Я наблюдал у него это несколько раз — синюшная полоса с подтеками...

Он замолкает.

— Чем же это можно объяснить?

— Я обратил внимание, — говорит Александр Егорович, — что полоса появляется у Тимофеева раз в году, в один и тот же день — третьего марта. Знаете, что это за день? Третьего марта тысяча восемьсот восемьдесят первого года убице Александра Второго Гриневицкому, умершему от ран, отрезали голову и выставили ее перед горожанами для опознания, потому что он умер, так и не назвав себя...

— А вот чай, — говорит в этот момент Марина. Поставив на стол чашки и чайник, она садится на постель, забросив ногу на ногу.

— Так что же это? Самовнушение? — спрашивает Смирнов.

— По-видимому, да, — кивает Александр Егорович. — Тимофеев, очевидно, настолько сильно идентифицирует себя с личностью убийцы Александра Второго, что в день, когда тому отрезали голову, у него появляется этот след.

Марина ложится на постель, начинает листать журнал.

— Любопытно также, — продолжает Александр Егорович, — что в июле у Тимофеева появляются все симптомы прободной язвы, которой у него на самом деле нет.

— И что? — спрашивает Смирнов.

— Яков Юровский, расстрелявший в тысяча девятьсот восемнадцатом году Николая Второго и его семью, умер в июле тысяча девятьсот тридцать восьмого года от прободной язвы в клинике Грановского в Москве...

— Но если его самовнушение так сильно проявляется и сейчас, значит, он по-прежнему идентифицирует себя с убийцами царей, — говорит Смирнов, — но старается скрыть это...

— Да, вероятно, он лжет, когда говорит, что это у него прошло,— кивает Александр Егорович.— Вы же знаете, больные шизофренией могут быть хитры и очень коварны...

Голос за кадром (*он иллюстрируется изображением, снятым почти под хронику — то есть каждое предложение иллюстрируется буквально, лаконично, как оно звучит*):

— Обычно за обедом Николай Второй начинал закусывать, выпив одну рюмку водки и радушно приглашая гостей к тому же...

— Государь садился посредине стола спиной к двери в залу. Государыня садилась рядом с Государем по левую руку. Против Государя сидел министр двора, в голове стола, налево от Государя, сидел гофмаршал...

— Наследник всегда шалил во время закуски...

В кадре — царевич Алексей, мальчик лет десяти в мундирчике. Он кидает кость в тарелку увлеченного беседой с гофмаршалом седовласого генерала. Тот, не заметив «шалости», принимается за трапезу и тут же, подавившись, заходится в кашле. При этом царевич сидит с невинным видом, подчеркнуто не замечая осуждающего взгляда императрицы. Сестры царевича — великие княжны — прыскают в платки.

Голос за кадром:

— После сладкого подавали кофе, всегда со сливками. За кофе Государь, несколько повышая голос, говорил: «Господа, можно курить». В манере курения сказывалась нервность царя. Первую папиросу он курил, жадно втягивая в себя дым, и, докурив до половины, тушил ее. Погасив первую папиросу, он тотчас закуривал вторую, которую выкуривал до конца...

— ...После этого за столом как-то сразу наступало общее молчание. Государь вставал и выходил в залу, куда шли и все прочие. Государь уходил в кабинет, общим поклоном разрешая расходиться...

Небольшой читальный зал провинциальной библиотеки.

Смирнов машинально достает сигарету. Заметив это, библиотекарь говорит ему:

— Товарищ, у нас не курят...

— Да-да... я знаю,— кивает Смирнов.

Смирнов выходит на улицу, закуривает. Стоит, смотрит на шумную компанию подростков на противоположной стороне улицы, на старика, который переходит дорогу, на двух женщин, которые стоят на тротуаре и о чем-то оживленно разговаривают...

По коридору больницы идет Тимофеев.

Повязки на его шее уже нет, следов полосы тоже не заметно.

Тимофеев входит в кабинет Смирнова.

— Здравствуйте...

— Здравствуйте... Садитесь, Тимофеев...

Тимофеев садится на стул. Смирнов подходит, рассматривает его шею.

— Да прошло уже все,— говорит Тимофеев.

— Что же это с вами приключилось все-таки, Тимофеев? — спрашивает Смирнов.

— Да наверно, когда спал, неудачно голову повернул,— объясняет Тимофеев.

Смирнов пристально смотрит на него.

— Вы по национальности кто, Тимофеев? Еврей? — спрашивает он.

— Нет, почему? Я — русский.

— У вас есть родственники?

— Да, у меня есть сестра, но она от меня отказалась...

— Но у вас же есть еще братья...

— Какие братья? У меня нет братьев...

— Ну как же, двое братьев живут в Америке, двое в плену в Германии, один служит в Петрограде на оружейном заводе и один в Харбине...

— Доктор, я не Юровский,— говорит Тимофеев.— Это когда я был болен, думал, что я — Юровский.

— Значит, когда вы были нездоровы, вы так думали?

— Ну да, мне казалось, что я убил Николая Второго.

— Прямо лично вы убили?

— Да, лично. И Николая Второго, и наследника... Я думал, что я это сделал...

— И вы все видели, как это происходило?

— Ну да, я все видел... То есть не видел, а мне казалось, что я видел.

— И вам казалось, что у вас дети есть, как у Юровского?

— Да, мне казалось, что у меня трое детей...

— Это все девочка Ева вам рассказала?

— Ну да, она рассказала...

— И она сказала, как их звали?

— Да, она сказала, как будто у меня два сына, Александр и Женя, и старшая дочь Римма...

— Эта вот дочь Римма, она тоже была революционерка?

— Ну да, она революционерка... Она была партизанка. Когда пришел Колчак, она ушла в партизанский отряд... Я так все и написал товарищу Сталину...

— Кому?

— Товарищу Сталину! — Тимофеев начинает нервничать.— Я написал ему, что арест Риммы — это ошибка и в органы чека пробрались враги... Я — честный коммунист, я всю жизнь отдал партии, и Римма, моя дочь, не может быть врагом народа!..

— И что Сталин вам ответил?

— Он еще не ответил... Я только вчера отдал письмо моей жене... И кал у меня нормальный, и моча хорошая. Я поправлюсь... и когда вы меня выпишете, я пойду лично на прием к товарищу Сталину!

— Яков Михайлович, — вдруг доверительно наклоняется к Тимофееву Смирнов, — у вас сильно болит живот?..

— Да-да... — Тимофеев морщится. — Все время эти боли, не могу спать ни днем ни ночью... Я только одного понять не могу, куда делась эта девочка?

— Какая девочка? Ева?

— Нет. Галя Галиева. Шестнадцатого июля эта девочка пошла в Вознесенскую церковь и исчезла... Мы ее не убивали, поверьте — не убивали... Куда она подевалась? — Тимофеев вдруг хватается за живот. — Доктор, сделайте мне укол... Так болит!

Он падает на пол, корчится со стонами, держась за живот.

Смирнов быстро нажимает кнопку на столе.

Вбегают санитары.

— Быстро инъекцию ему. Анальгин!

— Анальгин? — удивляется старший санитар.

— Да-да, анальгин!

Больничная палата. Вечер. Тимофеев лежит на кровати, неподвижным взглядом смотрит в потолок.

К нему подходит Смирнов, наклоняется:

— Как вы себя чувствуете, Тимофеев?

— Профессор, — глухо говорит Тимофеев. — Профессор, разрешите мне увидеться с женой... Это очень важно...

Смирнов выпрямляется и выходит из палаты.

Из темного проема появляется сначала голова, а потом и весь Александр Егорович. Выбравшись из подпола, он ставит на стол в уютной комнате миску с грибами.

— Сам солил, — с гордостью говорит он и обращается к сидящему за столом Смирнову: — Ну, разумеется, Алексей Михайлович, вы спровоцировали его, и теперь он — Юровский, умирающий в клинике Грановского в тысяча девятьсот тридцать восьмом году от прободной язвы...

— Я не думал, что он так активно среагирует... Я, конечно, хотел выявить его паранойю, но не думал, что это будет так остро.

— У вас теперь два пути, — говорит Александр Егорович. — Попытаться переключить его опять на личность Гриневецкого, хотя я не вижу в этом большой разницы... А второй и самый верный — купировать его активность уколами и оставить его спокойно доживать в больнице свой век. Его песенка все равно

спета. Давайте по рюмочке, — предлагает Александр Егорович.

Выпив и закусив, он интересуется:

— Как поживает ваша знакомая?

— Не знаю, я не видел ее с тех пор.

— Просто поразительные ноги, — говорит Александр Егорович. — Никогда таких не видел.

Смирнов молчит.

— Но есть еще третий путь, — вдруг говорит он. — Попытаться вылечить Тимофеева.

— Вылечить? Каким образом?

— Тимофеев хорошо поддается внушению. Основное место в его галлюцинациях занимает личность Николая Второго, его расстрел. Если, допустим, некто внушит ему, что он — Николай Второй, а затем саморазоблачится, то тем самым лишит Тимофеева образа его жертвы, а если нет жертвы, то нет и убийцы...

Александр Егорович смотрит на Смирнова. Потом говорит:

— Алексей Михайлович, зачем вам все это? Почему мы считаем, что больные шизофренией несчастнее так называемых нормальных людей? Что такое нормальный человек? Тупица, лишенный фантазии, и все. Ему никогда не суждено ощутить себя Калигулой, Бонапартом, Шекспиром или Достоевским, Христом или Магометом. Почему мы считаем, что это хуже, чем всю жизнь прожить каким-нибудь Степаном Петровичем или Петром Степановичем, борющимся за выполнение плана?..

По больничному коридору бредет Тимофеев. Он останавливается у окна. Тут же стоит один из больных, что-то монотонно-бессвязно бормочет.

Ночь. Комната Смирнова. Постель. Марина и Смирнов.

Марина:

— Я завтра в Курск уезжаю.

Пауза.

Марина:

— Вернусь в понедельник.

Смирнов:

— Давай.

Голос Тимофеева за кадром:

— Тридцатое апреля тысяча девятьсот восемнадцатого года я помню очень хорошо...

По пыльной улице Екатеринбургa катит на велосипеде мужчина в кожаном пальто. У него полное лицо, волосы гладко зачесаны назад, усы. Он очень похож на Тимофеева.

Следующие кадры иллюстрируют рассказ Тимофеева:

— С утра я поехал в фотоателье. Я тогда держал фотоателье в Екатеринбурге.

Фотоателье Юровского.

Голос за кадром:

— Там меня ждали красивая барышня в розовом платье и офицер... Они хотели сфотографироваться, а мастер заболел, и я решил сфотографировать их сам. Потом офицер угостил меня папиросой и мы курили. Я ему сказал, что у него очень красивая невеста.

— Поздравляю вас. У вас очень красивая невеста, — говорит Юровский.

— Спасибо. К сожалению, мы должны расстаться. Возможно, надолго.

— Вы служите в Академии Генштаба? — спрашивает Юровский.

— Да, — кивает офицер. — В городе неспокойно... Поэтому мы решили, что Кате лучше уехать в Петроград. Возможно, она уедет за границу. Во Францию или Америку.

— У меня два брата живут в Америке, — оживает Юровский. — Я тоже там жил несколько лет.

— Что делать, — пожимает плечами офицер. — Россия вверх дном. Мужчина может воевать, но что здесь делать красивой женщине?!

Юровский молчит.

Офицер протягивает ему руку:

— Благодарю вас. Я зайду завтра после обеда...

Когда он выходит, Юровский говорит мальчику-подмастерью:

— Закрой дверь и никого больше не пускай. Несколько дней меня не будет.

Юровский выходит из фотоателье, садится на велосипед и едет по улице.

Голос Тимофеева за кадром:

— Это была очень красивая пара... Особенно девушка. Я никогда не встречал их больше. Этот офицер так и не пришел за фотографией.

Юровский едет на велосипеде.

Голос Смирнова за кадром:

— Яков Михайлович, а что еще случилось в этот день? Вы помните?

Голос Тимофеева:

— Ну да... Все помню. Я поехал на вокзал, потому что я был членом коллегии губчека, и в этот день должны были привести из Тольска царя и царицу...

Голос Смирнова:

— И тогда вы первый раз увидели Николая Второго?

Голос Тимофеева:

— Нет... Их высадили не на вокзале, а на товарной станции, потому что опасались беспорядков, но я туда опоздал...

Велосипедист въезжает на товарную станцию. Она безлюдна. Покружив по ней, он разворачивается и уезжает.

Голос Тимофеева:

— Их уже увезли, и я поехал на Вознесенский проспект к дому Ипатьева, где Уралсовет решил разместить их.

Улица перед домом Ипатьева в Екатеринбурге. У входа часовой. К нему подъезжает на велосипеде Юровский.

Голос Тимофеева:

— Туда я тоже опоздал — их уже увели в дом. Тогда я поехал в Американскую гостиницу, в Губчека... Мы стали разбираться с людьми, которых привезли с Романовыми... Некоторых мы отпустили, а двоих — князя Долгорукого, а второго не помню — расстреляли на старом кладбище.

Старое кладбище. Идут четверо — впереди двое и сзади двое. Один из тех, что идет сзади, командует:

— Стой!

И стреляет вместе с напарником из револьверов в затылки тем, что шли впереди...

Голос Смирнова:

— Значит, вы меня в тот день не видели?

Кабинет главврача в больнице.

— Вас?.. — Тимофеев недоуменно смотрит на Смирнова. Вглядывается в его лицо, словно пытаясь вспомнить его. Потом неуверенно спрашивает:

— А вы что, тогда были в Екатеринбурге?

Дом Ипатьева.

Императрица молча сидит на стуле, смотрит, как великая княжна Мария распаковывает чемоданы.

Николай ходит по комнатам. Подходит к окну, выглядывает.

В саду — охрана, вокруг — высокий забор, из-за которого видны верхушки деревьев.

Николай идет дальше, пройдя мимо часового, заходит в ванную, по-хозяйски проверяет газовую колонку. Часовой с любопытством наблюдает за ним.

Николай возвращается в гостиную. Мария распаковывает там вещи. Императрица сидит на стуле. Она встает, подходит к окну, химическим карандашом чертит на белой поверхности косяка знак свастики и рядом пишет: «17/30 апреля. 1918 год».

По коридорам Зимнего дворца идут двое — высокий сухопарый старик и мальчик лет тринадцати в мундире гвардейского офицера.

Они входят в зал. В конце его у высоких дубовых дверей толпятся военные в расши-

тых золотом мундирах, штатские в строгих черных сюртуках. Среди них несколько дам, прижимающих к глазам кружевные платки.

При виде мальчика они расступаются. Старик подводит его к дверям. Мальчик вдруг останавливается — он видит вешалку и темно-синюю шинель, всю обрызганную кровью.

Старик наклоняется к уху мальчика и произносит:

— Ваше высочество, вас ждут...

Мальчик открывает дверь и заходит в просторный кабинет.

Рядом с письменным столом — постель, на ней в подушках Александр II. Бледное, осунувшееся лицо, окровавленные лохмотья ног... Какой-то доктор мехами вдвует кислород в рот царя. Рыдает женщина у изголовья — графиня Юрьевская. Тут же семья императора. Мы видим их лица. Среди них выделяется массивный высокий наследник — будущий Александр III.

Мальчик стоит у дверей.

Александр поворачивается к нему, говорит негромко:

— Ники, иди попрощайся с дедом.

Мальчик не двигается с места.

Голос за кадром (*старческий, с легкой картавостью*):

— Это такой фаталист, что я не могу себе представить. Когда случилось отречение, я стоял у окна вагона и просто не мог удержаться, чтобы не заплакать...

Вагон императорского поезда. У окна старик в генеральской форме. На глазах слезы... За окном заснеженная пустынная станция. Голос за кадром (*продолжает и иллюстрируется изображением*):

— ...Мимо моего окна идет Николай Второй с Лейхтенбергским, посмотрел на меня весело, кивнул и отдал честь. Это было через полчаса после того, как он подписал телеграмму с отречением. Он отказался от Российского престола просто, как сдал эскадрон...

Старик-генерал в окне вагона. Станция. Струйками выходящий по перрону снег. Одинокая фигура мужчины в офицерской шинели. Николай II... Он стоит, чуть подняв голову, словно подставляя лицо снежинкам... Уже темнеет.

Голос за кадром (*женский, с сильным акцентом*):

— Дорогой мой, более чем когда-либо я буду думать о тебе... И сейчас, спустя много лет после нашего обручения, я еще ощущаю твой серый костюм, запах его у окна в Ковбургском дворце...

Весенний парк. У окна дворца девушка с красивым, будто точеным профилем. Лицо Николая. Сумерки... Лицо Александры...

Голос (*тот же женский, с акцентом*):

— Я только женщина, которая борется

за своего господина и за ребенка, за два драгоценнейших существа на свете. И Бог поможет мне быть твоим ангелом-хранителем...

Ливадия. Море. Набережная.

Фотограф возится с аппаратом. Перед ним — Александра и Николай, четыре девушки в белых панاماх, мальчик в матроске.

Они переговариваются, стараясь встать наилучшим образом для фотографии.

Голос:

— Мы должны передать беби крепкое царство и ради него не смеем быть слабыми...

Вспышка, фотография готова.

Голос (*мужской, бравый*):

— После Родины и семьи Государь больше всего любил армию и флот! После армии и флота Государь очень любил охоту! Но не так называемую «царскую», а охоту трудную, когда нужно уметь стрелять и обладать хладнокровием!..

Лес, река. Николай в охотничьей бекеше, с ружьем... Останавливается, прислонившись к стволу дерева, вслушиваясь в тишину.

Голос (*с возмущением*):

— ...Государь не переносит слова «интеллигент». Когда на банкете в его честь кто-то произнес слово «интеллигент», он оглянулся на сказавшего и произнес: «Как мне противно это слово» — и добавил, что прикажет Академии наук изгнать это слово из русского языка...

Анфилада комнат Зимнего дворца. Николай идет один. Спина прямая, походка ровная.

Голос:

— ...Министр иностранных дел Сазонов был большой либерал. Однажды Государь ему сказал: «Поверьте мне, если когда-нибудь вы и другие вроде вас очутитесь лицом к лицу с русским народом, недели через две от вас ничего не останется...»

Николай останавливается. На стене портрет Александра II. Николай смотрит на него.

Знакомый кабинет. Отвисла челюсть августейшего монарха Александра II. Графиня Юрьевская подвязывает ее платком.

Мальчик у двери.

Заснеженная пустынная станция. От темнеющего в сумерках состава идет к Николаю согбенная фигура старика-генерала.

Старик останавливается рядом. Молчит. Николай негромко произносит:

— Полагаю, теперь нас пропустят в Царское. Дочери все больны, вот и Настя заболела. Должно быть, Аликс совсем измучилась с ними...

Старик генерал смотрит на него.

Николай, заметив взгляд, говорит:

— Думаю, что раз я отказался от престола, то смогу остаться в России простым обывателем...

— Ваше величество, ведь это совершенно невозможно...

— Неужели вы думаете, что я буду интриговать?! — восклицает Николай. — Я буду жить около Алексея и его воспитывать. Я должен прямо сказать, что не смогу расстаться с Алексеем...

Генерал молчит. Лицо Николая вдруг сморщилось, из глаз покатились слезы.

— Ваше величество... Ваше величество... — растерянно бормочет генерал.

Николай, быстро овладев собой, смахивает с глаз слезы.

— Ваше величество, — произносит старик. — Может быть, вы поторопились с отречением... Возможно предпринять еще решительные действия...

— Какие действия, если армия не хочет меня, генерал? — прерывает его Николай. — Нет, это дело конченное...

Он вдруг улыбается.

— Как это Нилов говорил, помните? — говорит он. — Будет революция — все равно нас всех повесят, а на каком фонаре — все равно...

Николай смеется.

К ним подходит поспешно офицер, отдает честь.

— Готовы к отправлению, полковник? — спрашивает Николай.

Тот мнется, протягивает листок.

— Да вот, тут телеграмма получена. — Он зачитывает: «Всем слушать меня тэчка Принимаю командование над Российской империей тэчка Прапорщик Галактионов тэчка».

— Черт знает что, — ворчит генерал.

— Телеграфируйте прапорщику, полковник, — говорит Николай. — Императору Российской империи прапорщику Галактионову тэчка Иди в задницу тэчка Экс-император Николай Романов тэчка.

Полковник козыряет:

— Есть!

Николай поворачивается к генералу:

— Кажется, из меня мог получиться неплохой революционер...

Он поворачивается и идет к вагону.

Комната Смирнова. Ночь. Лунный свет... Причудливые тени на стенах.

Марина поворачивается на спину, просыпается.

Она видит Смирнова, который сидит на стуле посреди комнаты. Он проводит рукой по голове и стонет.

— Что с тобой?

Смирнов не отвечает. Марина поднимает

ся, подходит к нему.

— Что случилось?

Она проводит рукой по его волосам. Вдруг она меняется в лице, смотрит на свою руку — ее пальцы в крови. Она взвизгивает:

— Кровь!..

Смирнов отшатывается от нее. Марину бьет озноб.

— Леша, откуда кровь?! Я вызову «неотложку»...

— Не надо, — глухо говорит Смирнов, сжимая ее запястье.

Тимофеев. Он сидит на своей кровати, смотрит открытыми глазами на залитое лунным светом окно.

Больница. Утро. Больные выстроились в очередь за лекарствами. Их выдает санитар. Подходит Тимофеев, берет таблетки и мезурку с микстурой. Вдруг заговорщически спрашивает:

— А что, доктор заболел?

— Заболел, — буркает санитар.

Тимофеев отходит.

Санитар вдруг поднимает голову.

— Тимофеев... — окликает он.

Тимофеев оборачивается.

Санитар как будто хочет что-то у него спросить.

Тимофеев смотрит на него и ждет.

— Ладно, иди... — санитар машет рукой.

Комната Смирнова. День.

Смирнов и Александр Егорович.

— Я проснулся ночью от ужасной боли, — говорит Смирнов. — Вот здесь, в левой части, я нащупал рубец. И была кровь. Немного, но она была... Хотя открытой раны не было. Это был шрам сантиметров восьми длиной и не менее сантиметра в ширину, как будто от удара длинным острым предметом. Впечатление было такое, что шрам этот зарубцевался много лет назад.

— Может быть, вам показалось? — спрашивает Александр Егорович. — Была ночь. Во сне вы слегка оцарапали голову, отчего появилась кровь. Со сна и от испуга вам показалось, что вы нащупали большой шрам...

— Александр Егорович, — говорит Смирнов, — я наблюдал у себя этот шрам более суток. Только сегодня к десяти часам он полностью исчез.

Александр Егорович пристально смотрит на Смирнова. Потом спрашивает:

— Алексей Михайлович, вы начали работать с Тимофеевым?

— Да, начал, — говорит Смирнов и спрашивает в свою очередь: — Александр Егорович, вы меня извините, но я хочу спросить

вас как врач врача... Случай Тимофеева очень необычный. Почему вы, профессиональный психиатр, в течение многих лет наблюдавший его, всерьез не занимались им?

— А с чего вы, собственно, взяли, что я не занимаюсь? — говорит Александр Егорович и, помолчав, продолжает: — Знаете, Алексей Михайлович, в тысяча восемьсот девяносто первом году Александр III отправил своего старшего сына в кругосветное путешествие... Поехали они шумной веселой компанией — греческий наследник, румынский королевич и так далее.

В путешествии молодые люди так веселились, что однажды, когда Николай Александрович хотел помочиться в синтоистском храме, японский полицейский ударил его саблей по голове. К счастью, греческий наследник успел подставить руку и смягчить удар...

Александр Егорович замолкает.

— И что? — спрашивает Смирнов.

— Все-таки Николай был ранен и на всю жизнь в правой части головы под волосами у него был шрам от сабельного удара...

Смирнов смотрит на Александра Егоровича.

— Вы хотите сказать, что у меня... — начинает он.

— Нет, я ничего не хочу сказать, — качает головой Александр Егорович. — Но, видите ли, в той области, которой мы с вами занимаемся, в области психиатрии, человеческого сознания, есть вещи, которые нам просто не суждено понять... По моему мнению, нам это не суждено понять никогда и самое главное — и не следует пытаться это сделать...

Александр Егорович идет по протоптанной в снегу дорожке, заворачивает во двор больницы.

Несколько больных чистят лопатами снег. Александр Егорович останавливается, он видит среди больных Тимофеева.

Некоторое время он наблюдает за ним, потом подходит.

— Здравствуй, Тимофеев...

Тимофеев оборачивается.

— Здравьте, Александр Егорович...

— Ну как ты поживаешь, Тимофеев?

— Хорошо, — улыбается Тимофеев.

— Как себя чувствуешь?

— Хорошо чувствую...

— Девочка Ева не приходит?

— Нет, — мотает головой Тимофеев. — Давно не приходит.

— Значит, все у тебя хорошо?

— Да, все хорошо...

— А живот не болит?

— Живот болел, — кивает Тимофеев. — Съел, должно быть, что-то. Доктор мне анализ прописал.

— Как тебе, нравится доктор? — спрашивает Александр Егорович.

— Да, хороший специалист, — говорит Тимофеев и добавляет: — Он заболел...

Александр Егорович молчит, потом спрашивает:

— Вы с доктором разговариваете?

— Да, разговариваем, — говорит Тимофеев. — Он меня все спрашивает про те дела... ну когда мне казалось, что я царя убил... А я ему рассказываю...

— И про расстрел царя рассказал? — спрашивает Александр Егорович.

— Нет еще...

— Ну-ну, — произносит Александр Егорович и смотрит в простодушные глаза Тимофеева. — Хорошо ты выглядишь! Ишь раскраснелся как!

— Так ведь на свежем воздухе! — объясняет Тимофеев.

— Надо тебя в Ногинск перевести, — говорит Александр Егорович. — Там тебе лучше будет. Там и режим посвободней, и парк кругом хороший... Гулять много будешь... Хочешь в Ногинск?

Тимофеев мнется.

— Да нет, зачем? Я здесь привык... Это хорошая больница... Питание хорошее, уход тоже на уровне...

— Занятный ты тип, Тимофеев, — говорит вдруг прищурившись Александр Егорович.

Тимофеев ухмыляется.

— Да что вы, Александр Егорович... Скажете тоже!..

— Ну ладно, будь здоров! — говорит Александр Егорович и уходит.

— До свиданья, Александр Егорович! — доброжелательно кричит ему вслед Тимофеев.

На экране — крупно — Тимофеев. Он говорит в камеру:

— Я родился в Томске в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году восьмым ребенком в семье Хайма Юровского, который торговал железом, старьем и другим хламом. Что может быть ужаснее, чем родиться в семье нищего еврея где-то на задворках гигантской империи?.. Что может быть ужаснее, когда с первыми проблесками сознания ты понимаешь, что обречен на убогое бессмысленное существование, когда понимаешь, что судьба еще задолго до того, как ты появился на свет, определила твое место в этом мире, место старьевщика, аптекаря, мелкого лавочника?.. Что может быть нестерпимее, чем учиться в казенной школе для инородцев и даже там ощущать себя паршивым жиденком, а дома слушать заунывные тексты Талмуда, который долбит тебе, что ты избран Богом на этой земле...

В шестнадцать я уехал в Америку. Я хотел там родиться заново... Двое моих братьев жили в Нью-Йорке, у них была одна лавка в Бруклине, они копили деньги на вторую, по вечерам читали все тот же Талмуд и были счастливы, как два дебила... Я не хотел быть таким, как они... Я хотел быть кем угодно, но только не таким, как они... Я принял лютеранство. И что изменилось в моей жизни? Ничего, я остался тем же, кем был. Однажды мне попалась брошюрка... В ней рассказывалось о молодом поляке, Гриневицком, который убил Александра Второго. Я был поражен... Я не мог понять: как он осмелился сделать это? Как он мог даже подумать, что имеет право поднять руку на то, что установлено Богом, а значит, на самого Бога? Но он сделал это. И тогда я понял, что Бога нет. Нет ни Христа, ни Яве, ни Магомета... Есть только воля, одна человеческая воля, которой подчиняются все. Я хотел бы стать таким же, как этот поляк, но я не хотел умереть. Я хотел жить, я хотел пить хорошее вино, хотел, чтобы меня любили женщины, чтобы мое тело не страдало от холода... Я всю жизнь терпеть не мог плохое белье... Я так был устроен...

Я вернулся в Россию, под проценты взял у отца денег в долг, женился и открыл в Екатеринбурге фотографию, а затем часовой магазин... Жизнь пошла своим чередом. Казалось, до конца дней мне суждено было рожать детей и фотографировать екатеринбургских мещан... И вдруг тысяча девятьсот пятый год... Все забурило, все зашаталось, то, что вчера казалось незыблемым и вечным, должно было рухнуть...

Я бросился в этот огонь, я хотел стать частью этой стихии, сметающей ту жизнь, которая определила мне судьбу заурядного обывателя. Я вступил в партию Ленина. Почему Ленина? Потому что это была партия не идеалистов и романтиков, метателей бомб и вечных узников Петропавловской крепости, это была партия логики и простых истин. Россия жаждала быть организованной, и Ленин знал, как ее организовать... Все кончилось в один момент. Мир не перевернулся, зато в моем магазине были разбиты все стекла. Все пошло по-старому, я опять был рядовым обывателем великой империи. Я остался членом партии, но я был благо-разумен. Я не хотел слишком сильно раздражать Империю, я исправно платил партийные взносы и ждал. Я ждал двенадцать лет... Я так долго ждал, что когда Империя в одночасье рухнула, я даже не понял, что это уже произошло. Империя меня очень обманула, она ушла так незаметно, что я даже не успел плюнуть ей вслед. Но самое ужасное было то, что новый мир не собирался ничего менять в моей жизни. Это была катастрофа, это было поражение — мне было тридцать

девять лет, казалось, все кончено... Мог ли я тогда подумать, что именно мне, Якову Юровскому, придется через несколько месяцев поставить точку в тысячелетней истории Российской империи?... Октябрь перевернул все...

Тимофеев замолкает.

Смирнов достает сигарету, в задумчивости разминает ее пальцами. Они сидят в кабинете главврача, за окном уже темно.

— А вы? — вдруг произносит Тимофеев. — О чем думали вы, когда вас везли в Екатеринбург?..

— Я? — Смирнов вздрагивает, смотрит на Тимофеева. Тот немигающим взглядом смотрит ему прямо в глаза.

— В Екатеринбург мне ехать не хотелось, — задумчиво произносит Смирнов. — Когда нам сказали, что нас везут в Екатеринбург, я понял, что это конец.

Смирнов встает, подходит к окну. Тимофеев наблюдает за ним. Смирнов начинает говорить:

— Когда мне было тринадцать лет, социалисты убили моего деда. Он был еще жив, когда меня привели к нему. Он лежал на постели, ноги его были накрыты простыней, и простыня была вся в крови. Отец сказал мне: «Иди попрощайся с дедом». Но я не мог двинуться с места. Во мне не было страха, и кровь меня не пугала, просто в тот момент я почувствовал, что непременно буду убит. И смерть моя будет во сто крат ужаснее, чем смерть моего деда. Вечером ко мне пришел отец, он был пьян, совершенно пьян. Он погладил меня по голове и сказал: «Вот, Ники, теперь ты наследник». А я сказал ему: «Я не хочу быть наследником, папа». Но он меня уже не слышал, он упал в кресло и заснул. Я действительно не хотел быть тем, кем мне было предопределено быть самим фактом моего рождения. Я не хотел быть всеми ненавидимым, я не хотел, чтобы на меня охотились, как на зверя, как охотились на деда, а потом на отца. Я не хотел, чтобы сын, который у меня родится, был так же одинок, как был одинок я всю мою жизнь, потому что обладать властью над людьми — значит быть одиноким среди них. Нет, я ничего этого не хотел...

Смирнов замолкает. Он смотрит в черное стекло окна, где расплылось отражение его лица.

Ливадия. Осень. Серое море и серое небо. На набережной Ливадийского дворца в глубоком кресле, закутанный в пледы, сидит Александр III. Метрах в десяти от него застыли дежурный офицер и врач.

К Александру подходит молодой Николай. Почтительно произносит:

— Вы меня спрашивали, папенька?

— Садись, — кивает ему на стул подле

себя Александр.— Осень в этом году ранняя,— произносит он после паузы.

Николай молчит.

Александр долго смотрит на море, на чаек, падающих в волны. Потом говорит:

— Там манифест о твоём восшествии на престол... Подпиши, Ники.

Николай смотрит на столик, на котором рядом со стаканом молока лист бумаги и перо, потом — на отца. Как бы угадав его немой вопрос, Александр говорит:

— Подписывай, Ники... Вряд ли я доживу до завтрашнего утра...

Николай подписывает бумагу.

— Ну вот ты и царь, Ники,— усмехается Александр.— Слава Богу, все это кончилось...

Он вдруг неожиданно плутовато подмигивает Николаю:

— Не удалось им, Ники... Социалистам-то... Своей смертью помираю... Вот им! — Александр складывает свои мужицкие моластые пальцы в кукиш и обводит им вокруг себя.

Николай молчит.

Голос Смирнова (в черном стекле его отражение):

— В тот день я стал императором Российской империи, самой великой империи в истории мира. Судьба моя была предрешена... Я должен был начинать войны, потому что без них не могла жить Империя, я должен был родить сына, потому что Империи требовался наследник, я должен был отправлять людей на виселицы, потому что Империя считала их своими врагами, я должен был подписывать указы, потому что Империя считала эти указы полезными для себя. Империя ненавидела меня, но я был нужен ей, потому что Империи нужна идея и этой идеей был я. Но с каждым годом все очевиднее и очевиднее становилось, что Империи для того, чтобы выжить, нужна какая-то другая, новая идея... Я чувствовал это, я чувствовал, что Империя перестает нуждаться во мне... Меня выбросили в одну секунду, как хлам, как старые сношенные сапоги... Но Империи этого было мало, Империи было необходимо уничтожить меня, потому что никто не должен был заподозрить, что ее новая идея в сущности отличалась от старой только отсутствием в ней меня...

Комната в особняке Ипатьева. В комнате три постели. На одной сидит Николай II, он в нижнем белье. На другой лежит Александра с открытыми глазами. На третьей — Алексей.

Николай встает, подходит к замазанному белой краской окну, смотрит в узкую полоску чистого стекла.

— Пасмурно,— произносит Николай,— должно быть, ночью дождь шел...

Он отходит от окна, начинает приседать, делать гимнастические упражнения.

Александра (по-английски):

— Какое сегодня число?

Николай останавливается, думает:

— А по какому стилю? Что-то я запутался...

Алексей:

— Тридцатое июня.

Николай:

— А почему тридцатое?

Алексей:

— Мне кажется, что сегодня тридцатое...

Николай:

— Нет, не тридцатое...

Александра:

— О, господи! Неужели никто не знает, какое сегодня число!

Она резко поднимается, встает с постели. Она ходит по комнате, высокая, полная, в ночной рубашке.

— О боже, боже! Нет, это невыносимо! Неужели никто не может сказать, какое сегодня число?!

Николай:

— Аликс, успокойся...

Александра:

— Оставь меня! Лучшие свои годы я принесла тебе в жертву! И что же теперь?! О, я знаю, это моя мать!.. Она всегда меня ненавидела!..

Николай молчит.

Алексей:

— Мама, мама, я точно знаю, какое сегодня число! Шестнадцатое июля тысяча девятьсот восемнадцатого года по стилю Ленина...

В соседней комнате на полу — четыре постели. Просыпаются четыре девушки, тянутся, зевают.

Анастасия:

— Мне сон приснился — ужас... Будто плыву я по морю, а за мной собака... Такая огромная, лохматая, черная...

Татьяна (зевая):

— А что за море? Черное?

Анастасия:

— Не знаю, наверное...

Татьяна:

— Ну что, в Ливадии, что ли?

Анастасия:

— Да не знаю же, говорю тебе!.. К чему бы такой сон приснился?

Мария:

— Замуж не выйдешь.

Анастасия:

— Почему не выйду?

Мария:

— Потому что ты толстая и невысокая, мужчины таких не любят.

Анастасия (обиженно):

— Сама ты не выйдешь!.. А в позапрошлом году, когда эмир Бухарский к нам в Ливадию приезжал... Помнишь? Он мне браслет золотой подарил и сказал, что я красивая...
Мария:

— Он же мусульманин. Может быть, он тебя и взял бы в гарем для разнообразия. Анастасия расстроена, губы дрожат, а на глазах слезы.

Ольга:

— Фу, Машка, какая же ты вредная! Да не реви ты, Настя, что ты ее слушаешь?!

Девушки встают, разбредаются по комнате, причесываются, одеваются. Анастасия подходит к окну. Оно также замазано плотной белой краской, и лишь в самом верху оставлена полоска чистого стекла, через которое видно небо, затянутое облаками. И вдруг в просвете между ними блеснуло солнце. Его луч падает девушке на лицо. Анастасия улыбается, шепчет:

— Солнышко, солнышко, выходи, пожалуйста, миленькое!

Гостиная. Вся семья обедает за столом. Тут же доктор Боткин. Пьют чай. Николай перелистывает газету, читает вслух:

— «По данным городского комиссариата, продовольствия на первое июля сего года в Екатеринбурге зарегистрировано жителей 80 870 человек, 2502 лошади, 3267 коров, 1207 свиней и коз, птицы 34 662 штуки...»

— Сколько лошадей?— спрашивает Алексей.

— 2502,— заглядывает в газету Николай и переворачивает страницу.— «Англичанка из Лондона дает уроки английского языка...»

К англичанке никто не проявляет ни малейшего интереса.

Николай затягивается папиросой и читает следующее объявление:

— «Вчера в революционном трибунале слушалось дело священника Житова по обвинению в незаконном распитии спирта...»

— Расстреляли? — интересуется доктор Боткин.

— Нет,— говорит Николай.— Подвергнут штрафу в триста рублей.

— Эти священники — ужасные пьяницы,— замечает Александра.

— А что в театре? — спрашивает Анастасия.

— В театре... Сейчас посмотрим...— Николай заглядывает в газету.— В «Лоранже» — «Все люди рабы, лишь море свободно», драма в четырех частях, в Художественном — «Жертва науки, или В лапах профессора-афериста» в пяти отделениях... В цирке «Кыдырш-лампа» — женская борьба... Однако... Он заглядывает в конец газеты и спрашивает: — А где это Вознесенская церковь? Где-то рядом?

— Прямо через дорогу,— говорит Боткин.

— А-а, эта,— кивает Николай.— Вот здесь объявление... Потерялась девочка... Галя Галиева, восьми лет, ушла в Вознесенскую церковь и с тех пор домой не возвращалась...

— Куда же она исчезла?— спрашивает Алексей.

— Не знаю... Здесь не написано,— Николай откладывает газету.

Дверь открывается, входит Юровский. В руках у него корзина.

— Доброе утро.

— Доброе утро,— произносит в ответ Николай. Все остальные молча смотрят на Юровского.

Юровский ставит на пол корзину, говорит: — Из монастыря для вас свежие яйца прислали...

— Спасибо,— говорит Николай.

Юровский поворачивается и выходит за дверь.

— Кстати... Знаете, сколько яйца сейчас стоят? — Николай опять берет газету и читает: — Яйца — по тридцать рублей за сотню. А мясо — пять рублей за фунт... Причем среднего качества...

— Сумасшедшие цены,— качает головой Боткин.

В той же гостиной спустя час.

Александра вышивает. Мария читает ей Библию:

— «Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши: вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных, поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добро, а не зло, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите...»

Двор дома Ипатьевых. Обнесен высоким забором. Часовые.

Николай вышагивает взад-вперед, заложив руки за спину. Наследник сидит в кресле. Боткин рассматривает курицу, которая с важностью ходит по двору, а великие княжны сидят на лавочке, поглядывая на молодого часового с вихрастым чубом.

Из дома доносится голос Марии:

— «...Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он — тьма, а не свет».

Продовольственный магазин в провинциальном городе.

В рыбном отделе продавщица разбивает о цементный пол брикет льда с рыбой.

— Нет, нет, мне вон ту,— показывает продавщице Александр Егорович на довольно

упитанную рыбину, отлетевшую к ящику с портвейном.

С сумкой, из которой торчит рыбий хвост, Александр Егорович заходит в бакалейный отдел. Замечает Смирнова.

— Алексей Михайлович!..

Смирнов оборачивается.

— Здравствуйте...

Они пожимают друг другу руки.

Они выходят из магазина, идут по заснеженной улице.

— Как ваши успехи? — спрашивает Александр Егорович.

— Неплохо, — рассеянно отвечает Смирнов.

— Ко мне на днях Козлов в гости заходил, — сообщает Александр Егорович. — Мне кажется, вы чрезмерно много времени уделяете Тимофееву...

— Какой Козлов? — спрашивает Смирнов.

— Ну как же?! — удивляется Александр Егорович. — Козлов — старший санитар.

— А-а, — кивает Смирнов.

— Послушайте, Алексей Михайлович, — продолжает старик. — Вам надо отдохнуть. Поверьте мне — выглядите вы неважно. Возьмите отпуск. Поезжайте куда-нибудь на пару недель. Развейтесь. Захватите с собой вашу Марину. Ей-богу, что может быть прекраснее отдыха с эффективной женщиной!

— Некогда мне отдыхать, — говорит Смирнов.

Александр Егорович останавливает его за рукав.

— Алексей Михайлович, — говорит он серьезно, — оставьте Тимофеева. Зачем он вам?

Смирнов некоторое время молчит, потом произносит негромко:

— Я хочу знать, почему именно этот человек убил меня...

Он поворачивается и быстро идет по улице. Александр Егорович смотрит ему вслед.

— Александр Егорович! — окликает его благообразный старичок. — В ОРСе навагу дают...

— А-а, спасибо, — рассеянно кивает Александр Егорович. — Я уже взял...

— Я понял, что я, именно я буду тем человеком, который убьет вас, как только узнал, что вас везут в Екатеринбург, — говорит Тимофеев в кабинете Смирнова. — Не то чтобы я решил это, как бы вам сказать, я почувствовал, что я должен сделать это, потому что, убив вас, я переставал быть сыном еврея-старьевщика, я становился творцом истории.

Но когда я вас увидел, я испугался, вы были совсем не такими, как я вас представлял; измученный неизлечимой болезнью мальчик, девицы, смахивающие на дочерей купца второй гильдии, какой-то толстый доктор, какие-то фрейлины, повара, неизвестно зачем затесавшиеся в историческую драму. И вы... В вас не было ничего, что бы могло вызвать гнев, ненависть, родить во мне возвышенные слова и героические чувства. Как можно было совместить все это с гильотиной, эшафотом, покрытым алым шелком, барабанной дробью, стальными словами приговора?!

Это была какая-то нелепица, обман... Нелепицей было вообще все, что происходило вокруг вас. Все знали, что вас нужно убить. Никто не говорил об этом вслух, но все знали... Вы так надоели всем, вы создавали всем столько проблем... И большевикам, и эсерам, кадетам и анархистам, немцам и англичанам...

Своим существованием вы напоминали всем, что с вами надо что-то делать, а что — никто не знал...

В Екатеринбурге стояло полторы тысячи офицеров Академии Генерального штаба, переведенных туда из Петрограда... Фронтвики-монархисты, они могли вас освободить в течение десяти минут. Но они даже палец о палец не ударили... Освободив вас, что бы они с вами стали делать?.. Мертвыми вы им были гораздо полезнее, чем живыми... Мертвыми вы были полезнее для всех... И ВЦИК в конце концов решил, что вы должны исчезнуть... И исчезнуть вы должны были в Екатеринбурге...

Тимофеев замолкает. Потом смотрит на Смирнова и спрашивает:

— Вы никогда не были в Свердловске?

Смирнов молча смотрит на Тимофеева.

— Интересно, как он теперь выглядит?.. — говорит Тимофеев.

По заснеженной российской равнине мчит поезд. В окнах его мелькают деревеньки, поселки, города и городки.

Тамбур вагона. Стоит Смирнов, курит, смотрит в причудливо раскрашенное морозом окно.

Свердловск. Вокзал. Смирнов с дорожной сумкой в руке пересекает привокзальную площадь, заходит в гостиницу.

Вестибюль гостиницы. Он подходит к стойке администратора, спрашивает:

— У вас свободные номера есть?

— Вы командировочный, по брони? — в свою очередь спрашивает администратор.

— Нет... Я по личному делу, — произносит Смирнов.

— Вообще-то у нас с номерами туго, — говорит администратор. — Знаете, зайдите вечером, после десяти, может быть, что-нибудь найдем...

Смирнов идет по городу. Центральная улица, театр, университет, памятник Свердлову. Смирнов некоторое время рассматривает его, идет дальше.

Он идет по улице, вдруг останавливается. Напротив среди блочных пятиэтажек — двухэтажный каменный дом. Дом ничем особенно не примечателен — обычный дом небогатого купца начала века. Смирнов смотрит на него, он словно пытается что-то вспомнить...

Два «рено» образца начала века едут по булыжной мостовой. В первой машине на заднем сиденье — Николай, Александра и дочь Мария. Лицо Николая бесстрастно. Машины минуют двухэтажный каменный дом. В одном из верхних окон — старуха. Николай встречается с ней взглядом и отворачивается. Машины подъезжают к парадному подъезду дома Ипатьева.

Из второй машины выходит мужчина лет 27 с простодушным лицом, в поношенном пальто, подходит к первому «рено» и говорит:

— Гражданин Романов, вы можете войти в дом...

Романовы и с ними Белобородов, Голощекин, Войков и Авдеев, члены Уралсовета, заходят в дом. Машины уезжают. Пустынная улица... Только вдалеке, приближаясь к дому, едет по ней велосипедист.

Голос за кадром (женский, высокий):

— На этом месте находился дом купца Ипатьева, в который тридцатого апреля привезли Николая Второго Кровавого, его ненавидимую народом жену и старшую дочь Марию. Наследник престола Алексей от рождения был болен несворачиваемостью крови, гемофилией. В Тобольске он ушиб ногу, и в Екатеринбург его привезли через месяц вместе с сестрами Ольгой, Татьяной, Анастасией...

Современный Свердловск. На широком проспекте в разрыве между домами — пустырь. Три заиндевевших дерева, возле них группа экскурсантов. Худая женщина в очках и короткой кроличьей шубе рассказывает им:

— Вместе с Романовыми в доме находились врач Боткин, повар Харитонов, слуга

Трупп, фрейлина Демидова и мальчик Седнев, служка наследника. Эвакуируя Романовых из Тобольска в Екатеринбург, Советская власть считала, что перемещает их в тыл, но к началу июля город уже оказался фронтом. С востока к Екатеринбург у рвались белочехи, с юга казаки атамана Дутова, и в самом городе зрел монархический заговор. В этой сложной обстановке товарищ Свердлов по поручению ВЦИК предложил Уралсовету немедленно решить судьбу коронованных палачей России. Не видя выхода в создавшейся критической ситуации и выполняя волю трудового народа, Уралсовет единогласно решил предать Романовых казни, не дожидаясь суда. Кому поручить исполнение? Общее мнение: Юровскому Якову Михайловичу, члену партии с 1905 года, верному ленинцу, закаленному большевику-подпольщику.

Смирнов. Он стоит чуть в стороне, прислушивается к словам гида.

— В ночь с шестнадцатого на семнадцатое июля тысяча девятьсот восемнадцатого года все было кончено, — страстно продолжает гид. — Здесь, на этом месте, свершилось то, о чем на протяжении поколений мечтали прикованные к каторжным тачкам, замурованные в казематы, умирающие на эшафотах тысячи борцов за свободу России.

— А детей-то зачем расстреляли? — вдруг спрашивает пожилая женщина из экскурсантов.

— Они могли стать знаменем контрреволюции, — отвечает гид. — Это был жесткий, но вынужденный акт защищавшей себя революции. Печальная, но неотвратимая историческая необходимость.

По коридору гостиницы идет Смирнов. Подходит к двери номера, стучит.

— Да-да, входите, — доносится мужской голос из-за двери.

Смирнов входит. В двухместном номере — мужчина лет сорока с небольшим и молодая женщина. Включен телевизор, на столе — открытая бутылка вина. Мужчина встает.

— Здравствуйте, — говорит Смирнов. — Я ваш сосед.

— А-а, пожалуйста, пожалуйста, располагайтесь, — кивает мужчина. Смирнов снимает пальто.

Женщина еле слышно говорит мужчине:

— Я пойду...

— Ну чего ты?.. Пойдем поужинаем в ресторан, — так же негромко произносит он.

— Да мне домой ехать далеко... На работу завтра вставать...

— Ну чего ты?! Пойдем в ресторан, посидим, потанцуем...

Женщина молчит. Смирнов входит в комнату.

— Ну пойдём... Там разберёмся,— говорит мужчина.

Они встают, идут к двери. Женщина берет пальто.

— До свидания,— вежливо произносит она.

— До свидания,— отвечает Смирнов.

Он один. Садится на стул. Лицо сосредоточено. На экране телевизора — какой-то видовой фильм.

Этот же фильм смотрят пациенты знакомой нам психиатрической больницы. Среди них — Тимофеев. Он встает, выходит в коридор, идет в «курилку». Садится на лавочку, закуривает. Глубоко затягивается раз, другой...

Гостиничный номер. Смирнов.

Тимофеев. Сидит на лавочке в пустой «курилке». Крупно — его лицо.

Голос Тимофеева за кадром:

— Когда в тысяча девятьсот тридцать восьмом году я умирал от прободной язвы в клинике Грановского, я много вспоминал тот день. Нет, я не боялся этих воспоминаний, меня не мучили угрызения совести, меня не преследовали ночные кошмары и никакие «кровавые мальчики в глазах» не беспокоили меня. Ничего этого не было. Я думал не о вас...

Палата в клинике Грановского. Постель. Юровский — худое, изможденное лицо. Он выглядит совсем стариком. Входит медсестра.

Сестра:

— Яков Михайлович, к вам пришла жена...

Юровский (словно очнувшись):

— Что?

Сестра:

— Мария Яковлевна пришла...

Юровский поворачивает голову — в дверях стоит скромно одетая женщина лет сорока пяти.

— Мария Яковлевна, только не долго,— говорит ей сестра и выходит.

Жена присаживается у постели. Она оглядывается и наклоняется к нему:

— Яков...

Юровский:

— Чувствую себя хорошо. Моча у меня хорошая, кал нормальный...

Жена (перебивая):

— Яков, Римму арестовали...

Юровский молчит.

Жена:

— Яков, ты меня слышишь?

Юровский:

— Слышу.

Жена:

— Они приехали сегодня ночью и забрали ее...

Юровский молчит.

Жена:

— Яков, ты должен написать письмо Сталину.

Юровский:

— Хорошо, я напишу.

Жена:

— Ты должен сейчас написать...

Юровский:

— Возьми бумагу и карандаш.

Жена достает из сумки лист бумаги, авторучку. Юровский диктует ей:

— Дорогой Иосиф Виссарионович! Моя дочь... Нет... Уважаемый товарищ Сталин! В органы НКВД пробралась враги. Моя дочь Римма Яковлевна Юровская...

Он замолкает. Жена смотрит на него.

Юровский:

— Я напишу завтра...

Жена:

— Яков, я тебя прошу.

Юровский:

— Я подумаю и напишу. Приходи завтра утром.

Жена некоторое время молча смотрит на него, потом начинает доставать из сумки продукты.

Жена:

— Я принесла тебе яблоки и груши...

Юровский:

— Мария... Ты помнишь эту девочку, которая тогда потерялась?..

Жена (рассеянно):

— Какая девочка?

Юровский:

— Ну помнишь, тогда, в Екатеринбурге... Девочка пошла в церковь и не вернулась домой. Ее звали Галя Галиева...

Жена растерянно смотрит на него.

— Не помню,— говорит она.

Юровский:

— Ну как же? Еще объявление в газете было... Мать ее все искала... Куда же она подевалась? Никак не могу понять...

Екатеринбург. Юровский подъезжает на велосипеде к дому Ипатьева. Возле подъезда — часовой, чуть поодаль стоит женщина лет тридцати, по виду бедная мешанка. Лицо ее заплакано, она всхлипывает.

— Иди отсюда,— говорит ей часовой.— Здесь посторонним нельзя...

— В чем дело? — спрашивает Юровский у часового.

— Да вот у этой бабы дочка пропала,— объясняет часовой.— Пошла в Вознесенскую церковь и куда-то подевалась... Вот эта баба теперь ее ищет...

— Господин начальник,— произносит женщина, обращаясь к Юровскому.— Вы не видели моей девочки?.. Такая светленькая, и глазки голубые. Галей Галиевой зовут.

— Нет, я не видел,— качает головой Юровский.— Не знаю... Вы уходите отсюда... Идите домой. А здесь вам быть нельзя...

Он заходит в дом. На ходу приказывает красногвардейцу:

— Позови мне Медведева...

Идет по коридору, вдруг останавливается, спускается вниз в подвальную комнату. Здесь полумрак, свет проникает через единственное окно на уровне земли. Стоит старая мебель, кровати, как в казарме. На одной из них спит солдат в форме австрийской армии без погон и знаков отличия. Юровский стоит. Противоположная стена, оклеенная обоями. Юровский ощупывает ее. Проходит по комнате, высчитывая шаги. Подходит к окну, трогает раму. За его спиной — шорох, кашель. Юровский быстро оборачивается. Солдат проснулся и смотрит на него. Ни слова не говоря, Юровский выходит.

Он заходит в комнату коменданта. Там сидит мужчина лет двадцати пяти, по одежде — рабочий.

— Медведев,— говорит Юровский.— Собери револьверы, десять штук. Поезжай за город и отстреляй их... Вот и мои возьми.

Юровский кладет на стол маузер и наган. Медведев молча смотрит на него.

— Чего смотришь, Павел? — спрашивает Юровский.

Медведев отводит взгляд, берет со стола оружие, кивает на плетеную корзину в углу.

— Монашки приходили... Яйца свежие им принесли...

— Собери мне мадьяр,— говорит Юровский.— Пусть сейчас приходят... Из подвала всю мебель надо вынести.

Юровский берет корзину с яйцами, в дверях оборачивается.

— Да, Павел...— произносит он.— Там женщина девочку ищет...

— Знаю,— кивает Медведев.— Она второй день тут ходит...

— Куда она могла подеваться? Вы ее случайно не шлепнули?

— На кой черт она нам далась?! — обиженно говорит Медведев.

— Странная история,— Юровский на секунду задумывается, потом выходит.

...Он поднимается на второй этаж, проходит мимо часовых, открывает дверь. Романовы завтракают.

— Доброе утро,— говорит Юровский.

— Доброе утро,— отвечает Николай.

Все остальные молча смотрят на Юровского. Тот ставит на пол корзину, говорит:

— Из монастыря для вас прислали свежие яйца.

— Спасибо,— произносит Николай и

смотрит, как Юровский выходит в дверь.

Гостиничный номер. Смирнов.

Его голос за кадром:

— Значит, когда вы принесли яйца во время завтрака, вы уже знали, что убьете нас сегодня?

Голос Тимофеева:

— Шифрованная телеграмма за подписью Свердлова пришла через Пермь шестнадцатого июля в десять часов утра.

Психиатрическая больница. В «курилку» заходит debil, садится напротив Тимофеева. Тот некоторое время смотрит на него, потом встает, выходит в коридор, останавливается у окна...

Во дворе дома Ипатьева Николай, словно почувствовав взгляд, поднимает голову и видит в окне второго этажа Юровского. Они смотрят друг на друга. Юровский видит, как к Николаю подходит Анастасия, о чем-то спрашивает его, Николай отвечает. Анастасия отходит.

Голос Тимофеева:

— Что вам сказала Анастасия? Помните, тогда, во дворе?

Голос Смирнова:

— Что сказала? Ничего особенного... Она спросила, что за город Чита и где он находится.

Лицо Юровского. Лицо Николая.

Голос Смирнова:

— Как она умерла, сразу?

Голос Тимофеева:

— Она была ранена, и ее закололи штыками.

Ресторан в гостинице. Огромное, как самолетный ангар, помещение. На эстраде — оркестр. Перед ним — танцующие пары. За одним из столиков — Смирнов. Лицо его как будто окаменело. Слегка хмельная женщина с яркими алыми губами поглядывает на него из-за соседнего стола.

Психиатрическая больница. Столовая. Больные ужинают. Среди них — Тимофеев. Ест. Взглянул в камеру, прямо на нас, и опять ест...

Палата в клинике Грановского. Вечер. В палате — Юровский. Один. Голова на высокой подушке, глаза открыты.

Голос Тимофеева:

— В тысяча девятьсот двадцать первом

году меня принял Ленин. Я написал записку с предложением использовать драгоценности династии Романовых для закупок зерна за границей.

Приемная в Кремле. На краешке стула с портфелем на коленях — Юровский. Из двери кабинета выходит секретарь, предлагает ему зайти. Он заходит...

Ленин. Они сидят — Ленин за столом, Юровский — напротив. Разговаривают...

Голос Тимофеева:

— Ленину понравилось мое предложение. Он расспрашивал меня о деталях. Я отвечал. Мы разговаривали почти десять минут, и я все время ждал, когда он меня спросит о главном. Он знал, он не мог не знать, что я был человеком, который убил вас... А я понимал, что именно он был человеком, который все решил. Мы сделали это вдвоем. Он и я... Я ждал хоть намека, хоть малейшего движения... И ничего, ни единого слова, ни знака. Он назначил меня директором Алмазного фонда...

Клиника Грановского. Палата. Юровский.
Голос Тимофеева:

— Я умирал. Я знал, что умираю. И умирал я тем же, кем родился, — заурядным обывателем. Я не мог понять: почему? Как это произошло? В чем была ошибка?

Ресторан. Смирнов встает из-за стола, идет к выходу.

Тимофеев кончил есть. Посидел над пустой миской. Встает. Идет по коридору.

Смирнов заходит в свой номер. Садится на постель. Снизу доносится музыка из ресторана.

Дом Ипатьева. Комната коменданта. Юровский лежит на диване. За окном — шум автомобиля. Входит Медведев.

Юровский:

— Кто там?

Медведев:

— Войков приехал.

Юровский:

— Что ему надо?

Медведев:

— Не знаю...

Входит Войков — костюм, галстук, начищенные штиблеты.

Войков:

— Здравствуйте.

Юровский исподлобья смотрит на него. Войков подходит к столу, на котором наполовину пустая бутылка коньяку и стакан. Где-то вдали грохнула артиллерийская канонада. Войков вздрагивает:

— Чехи лупят...

Юровский:

— Ты зачем приехал? Решил пострелять?

Войков (раздраженно):

— Яков, я тебя прошу... Эти твои шуточки!.. Я тут приготовил небольшую речь, зачитаю им перед приведением в исполнение...

Юровский:

— Что за речь?

Войков:

— Ну просто речь. Так сказать, обвинительный приговор от имени революции.

Юровский:

— Ты керосин привез?

Войков (взрывается):

— Ты превращаешь величайший акт истории в банальнейшее, заурядное... Я слов не нахожу!

Юровский:

— А ты не ищи. Если будешь стрелять, я велю дать тебе наган. Если нет, тогда уезжай...

Войков:

— Яков, ты ведешь себя так, как будто это касается только тебя. Как будто мы здесь ни при чем!

Юровский (все так же сухо):

— Бери наган и будешь при чем.

Юровский достает наган и кладет его на стол. Войков смотрит на тусклый вороненый ствол.

Войков:

— А что они сейчас делают?

Юровский молчит, закуривает, произносит: — Пойди посмотри...

Войков колеблется, потом выходит в коридор, на цыпочках подходит к двери, чуть приоткрывает ее.

Романовы за столом. Ужинают.

Войков возвращается в комнату коменданта.

Войков:

— Слушай, Яков... Там этот мальчишка, Седнев, служка Алексея... Надо бы его забрать...

Юровский задумывается, потом зовет:

— Медведев!..

Заходит Медведев.

Юровский:

— Пойди заведи оттуда Седнева.

Медведев:

— Они забеспокоятся.

Войков:

— Скажи, что его дядя хочет увидеть.

Медведев:

— Так дядю-то того... шлепнули.

Юровский:

— Они не знают.
Медведев уходит.

Войков подходит к окну. Опять отдаленно — канонада.

Войков:

— Во сколько?

Юровский:

— В двенадцать часов ночи... Когда придет машина за трупами.

Дом Ипатьева. Столовая. Романовы ужинают. Вместе с ними за столом сидят доктор Боткин, фрейлина Демидова, повар Харитонов, слуга Трупп, мальчик Седнев. Молчат, позвякивает посуда.

Входит Медведев.

— Седнев, — говорит он, — иди сюда...

Белобрысый мальчик встает, идет к Медведеву, все перестают есть, провожают его взглядами.

— Пошли, — Медведев открывает дверь.

— Куда вы его уводите? — встревоженно спрашивает Боткин.

— Его дядя хочет увидеть, — отвечает Медведев и уводит мальчика из комнаты.

Все обеспокоены. Алексей смотрит на Николая. Тот продолжает пить чай.

Голос Смирнова:

— Что стало с тем мальчиком? Он жив?

Медведев выводит мальчика на улицу.

Голос Тимофеева:

— Не знаю... На следующий день его отправили на родину. Кажется, в Тульскую губернию...

Медведев подталкивает мальчика в спину:

— Видишь тот дом?.. Иди туда. Скажешь, Медведев прислал...

Мальчик идет по улице. Его фигура растворяется в сгущающихся сумерках.

Николай у окна. На улице — ночь. Густая, обволакивающая темнота, вязкая, как патока. Он оборачивается. Александра в ночной рубашке сидит на кровати, смотрит на него. Николай отводит взгляд. Алексей — в постели...

Николай проходит в соседнюю комнату. Там — дочери. Раздеваются, расчесывают волосы. Анастасия встречается взглядом с отцом, улыбается ему.

Николай выходит в коридор. Часовой. Николай проходит мимо него в туалетную комнату. Скосил глаза, часовой сквозь приоткрытую дверь смотрит, как он умывается. Николай оборачивается и, заметив его взгляд, прикрывает дверь.

Гостиничный номер. Смирнов, набирая пригоршнями воду из-под крана, бросает ее себе в лицо. Выключает свет. Садится на

постель, не раздеваясь, ложится поверх одеяла.

Психиатрическая больница. Коридор. Санитар Козлов, позевывая, перелистывает журнал. В коридоре появляется Александр Егорович.

— Добрый вечер, Петя, — говорит он.

— Александр Егорович!.. — Козлов удивлен.

— Открой отделение...

Козлов отмыкает массивную дверь. Александр Егорович идет по коридору, заходит в палату. Больные спят. Тимофеев. Глаза его закрыты. Александр Егорович некоторое время пристально смотрит на него, поворачивается и уходит. Тимофеев открывает глаза.

Дом Ипатьева. Комната коменданта. Юровский. Медведев. Медведев наливает полстакана коньяку, выпивает. Смотрит в окно. В тусклом свете фонаря у ворот ходит часовой.

Медведев:

— Где же машина?

Юровский смотрит на часы, встает, выходит. Заходит в соседнее помещение, останавливается в дверях. Там — мадьяры. На столе несколько полупустых бутылок, стаканы. Один выпивает. Другие молча сидят вдоль стен, смотрят на Юровского.

Один из мадьяр (по-немецки):

— Пора?

— Сидите... — также по-немецки произносит Юровский.

Выходит. Поднимается по лестнице, останавливается возле двери в комнаты Романовых. Часовой.

— Что они? — спрашивает Юровский.

— Спят, — отвечает часовой.

Гостиничный номер. В окне танцует желтый блик от уличного фонаря. Смирнов. Глаза его закрыты.

Голос Смирнова:

— Я не спал. Я знал, что этой ночью все кончится. Я это понял еще днем, когда вы смотрели на меня из окна. Я не боялся смерти. Мне было даже странно, что я дожил до пятидесяти лет. Но я уже знал и другое. Когда вы увели мальчика, я понял, что вы убьете не только меня. Вы убьете всех. И я лежал и думал: может быть, Россия действительно станет счастливой, если вы убьете нас всех...

Дом Ипатьева. У ворот с грохотом останавливается грузовик. Из кабины высовывается мужчина и кричит:

— Трубочист!
Часовой озадачен.
— Какой «трубочист»? Чего ты орешь?!
— Пароль «трубочист»! Открывай ворота, дурак!
— А-а...
Часовой открывает ворота.

Магьяры. Дверь распахивается, входит Юровский.

— Пора,— говорит он по-немецки.
Юровский поднимается на второй этаж. Стучит в дверь. Часовой. Юровский. Юровский еще громче стучит в дверь. Часовой смотрит на него. Дверь открывается, показывается заспанное лицо Боткина.
— Разбудите всех,— говорит ему Юровский.— Нужно перейти в нижний этаж.
— Что случилось?
— В городе беспокойно,— отвечает Юровский.— На дом возможно нападение анархистов.

Психиатрическая больница. Тимофеев резко садится на кровати.

Гостиничный номер. Смирнов.

Дом Ипатьева. По лестнице спускается Юровский. За ним Николай несет на руках Алексея. Следом — все остальные с мелкими вещами и подушками.

Пустая полуподвальная комната. Юровский открывает дверь, пропуская вперед Романовых и остальных.

Александра (*оглядываясь*):

— Что же и стула нет? Разве и сесть нельзя?

Юровский (*Медведеву*):

— Принеси два стула...

...Юровский поднимается на первый этаж, открывает дверь к мадьярам. Те стоят, молча смотрят на него.

— Пошли,— говорит Юровский.

— Я и Иштван в девиц стрелять не будем,— вдруг на ломаном русском говорит один из мадьяр.

Пауза.

Юровский смотрит на них. Резко выбегает в коридор, видит двух часовых.

Юровский:

— Никулин и ты, идите сюда!

Часовые подходят.

Юровский (*кивая на двух мадьяр*):

— Возьмите у них наганы.

Гурьбой спускаются по лестнице в подвал, останавливаются возле двери.

— Приготовить оружие,— командует Юровский.— Стрелять только в сердце...

Юровский достает маузер, толкает дверь и входит в комнату.

— Станьте в ряд,— приказывает он.

— Куда нам? — не понимает Боткин. Он смотрит на Юровского и толпящихся за его спиной мадьяр.

— Станьте здесь... В ряд...

Они сбиваются у противоположной стены возле стульев, на которых сидят Александр и Алексей. Николай становится возле сына. Юровский делает шаг вперед.

Юровский:

— Ввиду того что ваши родственники в Европе продолжают наступать на Советскую Россию, Уралисполком постановил вас расстрелять.

Николай поворачивается лицом к семье, потом, как бы опомнившись, оборачивается к Юровскому.

Николай:

— Что-что?

Гостиничный номер. Смирнов.

Больница. Тимофеев. Он говорит шепотом:

— Ввиду того что ваши родственники в Европе продолжают наступать на Советскую Россию, Уралисполком постановил вас расстрелять.

Дом Ипатьева. Подвал. Юровский вскидывает маузер и стреляет Николаю в сердце. Беспорядочная пальба. Крики, грохот выстрелов... Комната слишком мала для такого количества людей. Стреляют в упор, и все равно кто-то мечется, кто-то стонет на полу... Анастасию добивают штыками. Юровский стоит над Алексеем. Глаза Алексея открыты, он смотрит на Юровского. Юровский стреляет...

Гостиничный номер. Смирнов. Он неподвижно лежит на кровати, глаза его закрыты...

Психиатрическая больница. Палата. Тимофеев у окна. Сжимая руками оконную решетку, он смотрит в ночь, как будто силится что-то увидеть в кромешной тьме...

Екатеринбург. Раннее утро. Отворяются ворота дома Ипатьева, выезжает грузовик с крытым кузовом. Натужно урча мотором, едет по пустынной улице. Туман, плотный, густой, низко стелется по земле, размывая черные контуры одноэтажных деревянных домишек...

Голос Тимофеева:

— Около трех часов утра мы выехали на место. Верстах в пяти от Верхне-Исетского завода вас раздели догола и бросили в заброшенную шахту.

Утренний лес, окутанный туманом. Тишина. И далекий шум мотора. Медленно, тяжело переваливаясь на ухабах лесной дороги, едет грузовик. Он едва угадывается в тумане...

Голос Тимофеева:

— Однако эта шахта оказалась недостаточно глубокой. Поэтому я нашел другую подходящую шахту на девятой версте по Московскому тракту. В следующую ночь мы вытащили вас веревками, опять погрузили на машину и повезли к новому месту...

Лес. Туман. В нем — размытые красно-желтые пятна костров, черные силуэты людей. Один из силуэтов медленно идет на нас, принимая все более отчетливые очертания...

Голос Тимофеева:

— Около четырех часов девятнадцатого июля машина застряла окончательно: оставалось, не доезжая до шахты, хоронить или жечь. Последнее обещал взять на себя один товарищ, фамилию которого я забыл, но он уехал, не исполнив обещания. Хотели сжечь Алексея и Александрина, но по ошибке вместо императрицы с Алексеем сожгли фрейлину. Потом вырыли братскую могилу и положили вас в нее. Лица ваши разбили прикладами и облили соляной кислотой. Забросав яму землей и хворостом, сверху положили шпалы и несколько раз проехали. Секрет был сохранен вполне — этого места погребения белые не нашли...

...Из тумана вышел Юровский, остановился. Лицо его почти неузнаваемо: черные круги под глазами, серая блеклая кожа...

Он закуривает папиросу — руки слегка дрожат — и смотрит, долго смотрит туда, где за далекой рекой розовеет небо в лучах восходящего солнца.

Гостиничный номер. Входит сосед Смирнова по номеру. Что-то возится в темноте, шумит, видно, пьян...

Включает свет, проходит, пошатываясь, к своей кровати, садится на нее. Некоторое время довольно-таки бессмысленным взглядом смотрит на неподвижно лежащего Смирнова. Вдруг что-то меняется в его лице... Он подходит к Смирнову, склоняется над ним, трогает за плечо. Потом трясет, сильнее и сильнее...

лицу — машина «скорой помощи». Санитары выносят носилки с покрытым простыней телом. Несколько служащих гостиницы топчутся шагах в пяти от машины. Какой-то прохожий, не то слишком поздний, не то слишком ранний, останавливается и спрашивает у пожилого швейцара с заспанным лицом:

— Что случилось?

— Командировочный ночью помер...

Екатеринбург. День. У дома Ипатьева останавливается знакомый, весь заляпанный грязью грузовик. Из кабины спрыгивает на землю Юровский. Хочет зайти в дом, но вдруг замечает сидящую прямо на бульжной мостовой женщину, которая искала свою пропавшую дочку. Мимо нее в ритмичном аллюре проходит эскадрон кавалеристов, тянутся груженые подводы. Женщина сидит неподвижно, невидящим взглядом смотрит перед собой.

Юровский подходит к ней, останавливается, спрашивает после паузы:

— Нашлась ваша дочка, гражданка?

Женщина поднимает глаза, смотрит на него, будто хочет, да не может вспомнить, и отрицательно качает головой:

— Нет, не нашлась...

Юровский молчит. Где-то совсем близко — канонада. Юровский идет в дом.

...Он проходит по пустынным комнатам первого этажа. Везде разбросаны бумаги, вещи...

Спускается вниз, в подвал. Останавливается на пороге комнаты, в которой были расстреляны Романовы. Пол тщательно вымыт, и лишь многочисленные следы от пуль в стене, противоположной двери, напоминают о том, что здесь произошло. Юровский подходит к этой стене, вдруг замечает надпись на немецком языке. Долго читает ее, шевеля губами.

...Он поднимается на второй этаж. Здесь, как и на первом, беспорядок — разбросаны книги, бумаги, какие-то поломанные вещицы, иконки, коробки, саквояжи. В углу одной из комнат Юровский поднимает с пола женские волосы, рассматривает их, бросает обратно в угол, проходит в комнату, где помещались Николай и Александра. Здесь почти темно. Свет еле проникает через замазанные белой краской окна. Юровский подходит к одному из окон. Видит нечто на раме. Он внимательно изучает странный знак и число: 17/30.

— Это свастика... — раздается голос.

Юровский резко оборачивается, вглядываясь в полумрак комнаты. Из кресла поднимается человек, подходит к Юровскому. Это Войков.

Войков:

— Свастика — древний индийский сим-

Свердловск. Раннее утро. У входа в гости-

вол. Знак счастья и благополучия. Должно быть, его начертила Александра. Она, кажется, была любительницей всех этих магических знаков. Вот там, над кроватью Алексея, еще один такой же...

Юровский:

— Ты что здесь делаешь?..

Войков:

— Так зашел... Что-то потянуло... (*Хитро улыбается*). Может быть, как в криминалистике: преступник непременно возвращается на место преступления?!

Юровский:

— Ты это брось, Петр. Там, в подвале... Это ты написал?

Войков:

— Это Гейне... «И той же ночью Валтасар своими слугами убит...» В поэтическом переводе тоже звучит весьма эффектно: «Но прежде, чем взошла заря, рабы зарезали царя».

Войков и Юровский молча смотрят друг на друга.

— Кто бы мог подумать,— медленно произносит Войков.— Сын жида старьевщика прикончит самую могущественную европейскую династию...

Юровский зло прищурился.

— Я большевик и интернационалист,— говорит он.— Я исполнил волю революции...

— Да-да, конечно,— рассеянно произносит Войков.— Однако же, как это, оказывается, до ужаса просто — войти в мировую историю... Никогда не мог представить...

Он идет к двери. Юровский смотрит вслед. Войков оборачивается, оглядывает комнату. Довольно театрально вскидывает руки:

— Мир никогда не узнает, что мы сделали с ними...

И выходит.

— Комедиант,— бормочет Юровский.

Он смотрит на свастику. Долго. Видно, что его что-то беспокоит. Трогает рисунок пальцем. Потом поворачивается и тоже выходит.

Клиника Грановского. Палата. За окном раннее утро. Юровский беспокойно ворочается в постели, что-то бормочет, тербит руками простыню. Глаза его закрыты.

Входит медсестра. Склоняется к нему с обеспокоенным лицом.

— Яков Михайлович,— зовет она.— Яков Михайлович...

Юровский открывает глаза. Смотрит на сестру и словно не узнает.

— Эта девочка,— шепчет он.— Куда она делась-то?!

— Что? Что вы сказали? — Сестра наклоняется еще ниже, почти касаясь завитком волос его губ.

— Я ее не убивал,— произносит Юровский.

Психиатрическая больница. Утро. Больные, коротко стриженные юноши, мужчины, старики в грязно-серых пижамах бесцельно слоняются по коридору. Некоторые стоят вдоль стен, некоторые сидят на корточках, некоторые просто ходят взад-вперед. Среди них — Тимофеев. Он останавливается, смотрит в сторону железной двери-решетки, отделяющей от кабинетов медперсонала. С той стороны двери собрались три-четыре санитары и врачи.

Тимофеев подходит к решетке, припав лбом к железным прутьям, прислушивается к разговору. До него доносятся отдельные фразы:

— В Свердловске ночью...

— Да прямо в гостинице...

— Вроде, сердце... Совсем молодой...

— Чего он туда поехал?!

Входит Александр Егорович. Санитары замолкают, смотрят на него.

— Здравствуйте, Александр Егорович,— говорит Козлов.

— Здравствуйте, Петя,— Александр Егорович пожимает ему руку, пожимает руки и остальным.

Стоят, молчат.

— Ну что же,— произносит Александр Егорович.— Скоро нового главного пришлют... А пока я с вами опять поработаю... Что же? Надо обход делать...

Санитары расходятся.

Александр Егорович стоит несколько секунд задумавшись, потом, словно что-то почувствовав, поворачивает голову и видит Тимофеева. Он медленно подходит к нему. Их разделяет только решетка. Они смотрят в глаза друг другу.

— Доктор, помогите мне,— шепчет Тимофеев.— Я не хочу быть Юровским.

Александр Егорович молчит.

— Доктор, помогите мне,— повторяет Тимофеев.

— Мне нечем тебе помочь,— произносит Александр Егорович.

Тимофеев. Он поворачивается и идет в глубь больничного коридора. Его фигура теряется среди грязно-серых пижам...

Пустыня. Ветер. И солнце, круглое, багровое, падающее за черный горизонт.

Ветер и песок. Змея скользнула алой лентой между полуразрушенными остатками крепостной стены. В безбрежном океане неба недвижно повис грифон. В его круглых черных зрачках — изломанная пустыня, багровый обод солнца...

Ветер, ветер...



**Ермек
ТУРСУНОВ**

МЫТАРЬ

В эти месяцы, когда в ушах звенит от громких и бессмысленных претензий на национальную исключительность — а об этом кричат и на Юге, и на Севере, и на Западе, и на Востоке,— я все чаще думаю о Ермеке Турсунове. Его биография, не то чтобы типическая, но и не исключительная, лишний раз подтверждает сказанное кем-то из мудрецов: ты столько раз человек, сколько языков знаешь.

Парнишка из аула, говорящий, думающий и пишущий на русском языке с такой же легкостью, как на своем казахском, он принадлежит в равной степени древней восточной и новой для его родных мест российской культуре.

Нам, не так давно обучавшим его на Высших курсах сценаристов премудростям кинодраматургии, приятно получать теперь в подарок книжки его прозы и стихов, а вместе с ними — номера алма-атинской русской газеты, которую Ермек редактирует,— газеты своеобразной и интересной, как почти все, что он делает.

В публикуемом сценарии — запах горных трав и конского пота, воспоминания детства, характеры яркие и неповторимые, боль за свой народ и за всю нашу многострадальную страну. Очень хочется верить, что ставить эту вещь будет не бесстрастный ремесленник, а талантливый режиссер-единомышленник — не важно, казах или русский.

Это только начало кинематографического пути Ермека Турсунова, но ведь известно: лиха беда начало!

В. Фрид

Той был в разгаре, когда мальчишки подошли к окраине аула. Здесь уже вовсю царил праздничный переполох, чуть особняком стояли десять белых юрт для гостей, и возле них толпился люд. Байгу* запустили

утром, сейчас все потянулись встречать всадников. Курмаш с Жумаканом побежали за толпой. Пока они шныряли меж людей, лошадей, ослов и верблюдов, вдали обозначилась куча пыли. Народ оживился, загудел. Столб пыли приближался, и вскоре показав-

* Байга — скачки.

лись первые темные пятнышки коней. Местные ребятишки забралась на деревья, кто-то стоял на плоских крышах домов: все смотрели в одну сторону, но сколько Жумакан ни вглядывался, пока ничего нельзя было разобрать.

— Кок ала!* — запищал вдруг звонко мальчишка с верхушки тополя.

— Кок ала! Кок ала! — подхватили другие со столбов и крыш.

Бросились поздравлять дородного, с двумя подбородками мужика в хромовых сапогах, пожимали руки, говорили что-то, перебивая друг друга, то и дело слышалось: «Саке! Саке!»** Видимо, он и был устройте-лем аса*** — Сарыбаем.

— Мои кони тягаются только с ветром! — похвалялся он в кругу угодливых улыбок.

Наконец ясно донесся топот сотен копыт. Впереди, вытянувшись стрункой и едва касаясь копытами земли, летел гнедой поджарый жеребец с белыми отметинами на боках. На нем, пригнувшись к самой холке, сидел мальчишка, платок обтягивал бритую его голову. Далеко позади отстал серый жеребец со стриженной гривой, на нем тоже сидел мальчишка лет двенадцати. Далее кони шли плотной массой, которая угрожающе неслась за двумя беглецами, готовая смять, растоптать, расплющить их на полном ходу.

Толпа восторженно приветствовала победителя. Мальчишка промелькнул мимо на распаренном коне, изо всех сил натягивая узду.

Он еле держался на коне, тяжело дышал и, счастливый, казалось, не слышал и не видел ничего вокруг. Его хлопали по голым ногам, по рукам, что-то кричали... Он устало улыбался, и на пыльном его лице светились лишь зубы и белки глаз.

Тем временем примчался и серый жеребец, и как только он пересек линию финиша, худенький всадник скатился с него на руки болельщиков. Мальчишку трясло как в лихорадке, платок сполз на глаза, зуб не попадал на зуб.

— Молодец, удержался! — трепал его какой-то старик, пытаясь привести в чувство. — Настоящий джигит! Верблюда проиграл, зато быка выиграл. Так ведь, Сарыбай?! — обратился он к толстому мужчине поверх голов. Тот утвердительно кивнул головой.

— Твой внук выиграл быка, Ералы. Славный у тебя внук и лошадь хорошая.

Третий приз — барана — выиграл конь из жумакановского аула. Тут же за ним лавиной прогрохотали почти все остальные. Лошади

принесли с собой клубы пыли, жаркое дыхание и терпкий запах конского пота. Но вот пыль рассеялась, и всем открылась забавная картина: видимо, поняв, что бороться за награду бесполезно, один из участников прекратил борьбу задолго до финиша и возвращался в аул медленной трусцой. Приблизившись к толпе на выстрел из лука, он и вовсе перешел на шаг. Конь, понуро опустив голову, виновато шел вперед, мальчишка подгонял его, шлепая босыми пятками по бокам. В толпе посмеивались, то и дело отпуская шуточки.

— Это чей же такой аргамак?

— Неужто сам Тайбурыл* прямо из сказки к нам пожаловал?

— Не-ет! Это же кляча Тезекбая! Она и ослиные гонки не выиграет!

— Ленивая, вся в хозяина!

— А худая, как моя жена! На ней только мозоли натирать! Бедный мальчик, теперь неделю садиться не сможет!

Сухой мужичонка в тюбетейке выскочил из толпы — не выдержал. Посылая проклятия на чью-то голову, побежал к лошади. Увидев плетку, мальчишка резво соскочил с коняги и пустился наутек. Тезекбай так и не догнал его. Злой, он вернулся к своей лошаденке, которая уже мирно щипала траву. Люди смеялись от души.

— И-гы-гы! — передразнил их Тезекбай. — Чтоб у вас пупки поразвязались! — бросил он напоследок и увел лошадь под уздцы.

Позабавившись вместе со всеми над незадачливым хозяином унылой клячи, Жумакан с Курмашем побежали смотреть борьбу. Толпа окружила ковер, на почетном месте сидел Сарыбай с родственниками, а поодаль на привязи стояли три щедрых приза: кобыла, корова и стригунок.

Аул Сарыбая выставил своего борца — громилу двухметрового роста с тяжелыми ручищами, взгляд сумрачный из-под бровей. Мужичок в узбекском бешмете ходил по кругу и орал во всю глотку:

— Сарыбай выставляет непобедимого Алиаскара по прозвищу Темирбука! Кто хочет бороться с непобедимым, пусть выходит на середину! Большая награда ждет победителя этой схватки — кобыла-двухлетка!

Люди восхищенно оглядывали невозмутимого Алиаскара. Жумакан с Курмашем, конечно, тоже были наслышаны про него, теперь они видели его наяву. Борец производил впечатление выжженного солнцем неподвижного валуна.

Наконец толпа расступилась, и в круг с противоположной стороны вывели не менее впечатляющего богатыря. Правда, одет он

* Кок ала — Пестрый (кличка лошади).

** Саке — уважительное обращение (сокращенное от Сарыбай).

*** Ас — поминальные торжества.

* Тайбурыл — легендарный скакун.

был попроще, подпоясан обыкновенной бечевой. Судья подошел к нему, и сопроводители в двух словах рассказали о своем борце.

— Корбулакцы выставляют своего Альменбета, — объявил громко мужичок, — грозного Альменбета по прозвищу... э-э, прозвища у него пока нет, но вы сами видите, какой это Альменбет, не Альменбет, а настоящий Кобланды-батыр!

Борцы сошлись в центре, пожали руки и тут же схватились. Темирбука, рассчитывая на свою медвежью силу, пытался поднять соперника и со всего маху припечатать к земле, как он обычно это и делал. Но Альменбет наверняка знал о приемах своего знаменитого противника и всячески ускользал, при этом норовил сбить с ног подсечками, подножками. Темирбука выглядел грузным, неповоротливым.

Альменбет, хотя и был тоже не слабого десятка, но на фоне соперника смотрелся полегче. За счет быстроты ему даже удалось пару раз подсечь Темирбуку. Тот, ко всеобщему удивлению, падал на четвереньки. Их снова поднимали: человек не должен стоять на коленях, таковы правила. Борьба продолжалась в стойке.

Сарыбай, недовольный, хмурился, нервно покусывая ус, окружение его хранило молчание. Остальные, в основном шепотом, поражались, как это Темирбука не может сладить с неизвестным борцом; начали раздаваться смешки. Но в какой-то момент мощные клешни Темирбуки прочно вцепились в пояс Альменбета. Он попытался вырваться, да не смог, так они и закружили в центре ковра. Потом неизмеримым усилием Темирбука оторвал Альменбета от земли, поднял над головой, крупные капли пота заскользили по его перекошенному злобой лицу, он несколько раз прокрутился на месте и с воплем: «Шапрашты-ы!»* шмякнул соперника оземь.

Показалось, вся земля окрест содрогнулась от этого удара, шум как отрезало. Альменбет так и остался лежать недвижим. Несколько человек подскочили к нему, кто-то приложил ухо к груди.

— Живой, — выдохнул он, и все сразу отмерли, зацокали языками.

Альменбета унесли, а объявитель в бешмете снова запищал во весь голос:

— Победил славный Темирбука, непобедимый Темирбука из аула Сарыбая! Он выиграл кобылу, да славится имя его в потомках!..

Мужичок продолжал кричать что-то дальше, а Жумакан с Курмашем побежали вслед за теми, кто понес Альменбета в ближайшую юрту.

Шесть человек осторожно опустили его на кошму; борцу расстегнули ворот рубахи, пояс развязать не смогли, петля затянулась намертво, разрезали ножом. Мальчишки, затаив дыхание, следили за ними сквозь щели юрты. Тоненькой стружкой из носа Альменбета потекла кровь, чья-то рука вытерла ее полотенцем.

— Наверное, ребро сломал, — предположил кто-то.

— Здорово он его... — сказал другой. — Может, кишка лопнула?

— Сам ты!.. Кишка! — оборвал третий. — Подай воды лучше, — и брызнул Альменбету в лицо из пиалы. Тот приоткрыл глаза, тяжело, со стоном вздохнул.

— Ну что, батыр, жить будешь? — спросил парень с усмешкой в голосе.

— Я его все равно положу, вот уви... — простонал Альменбет сквозь зубы и снова закрыл глаза.

Жумакан с Курмашем переглянулись и побежали к толпе, протиснулись ближе к ковра. Там уже писклявый судья поднимал вверх руку какого-то борца и кричал:

— ...из аула Сарыбая! Он выиграл корову, пусть пьет молоко и кормит своих детей! Да славится имя его!..

Люди шумно приветствовали победу земляка. Сиял на своем почетном месте и сам Сарыбай.

— А теперь пусть дети борются, посмотрим, какие у нас батыры растут! Вот сын самого Сарыбая — Орынбай! Он лучший ученик Темирбуки! Кто готов состязаться с ним в ловкости и силе?! Покуда есть у нас такие потомки, не страшны нам никакие враги, и все награды будут наши! Кто хочет бороться со славным Орынбаем за стригунка из табуна Сарыбая?!

Светлый крепыш Орынбай стоял в середине ковра и смотрел по сторонам. Пролез меж чьих-то ног и ступил на ковер совсем еще несмышлениш лет семи-восьми и, шмыгнув носом, сказал:

— Я хочу!

Народ хачсмеялся. Мужичок в бешмете тут же нашелся:

— Ой-бай, Темирбука! Выручай нас! Помоги, пока он всех нас не смял в лепешку! Позовите, где ты, Темирбука?! — кричал он, страшно выпучив глаза.

Люди хохотали, и чья-то рука, схватив дерзкого мальчишку за ворот, умыкнула его в толпу.

Жумакан испытующе долго смотрел на сарыбайского сына и наконец стал решительно снимать с себя грубую накидку.

— Ты чего? — испугался Курмаш.

— На, держи, — сунул ему в руки накидку Жумакан и пошел.

— Куда ты?.. — попытался остановить его Курмаш, но Жумакан оттолкнул его и вышел

* Шапрашты — один из казахских родов.

в круг. Мужичок тут же подскочил к нему и через секунду объявил:

— Жумакан — сын Алимжана из аула Жетыкаска! Он бросает вызов лучшему ученику Темирбуки!

Орынбай оказался действительно сильным не по возрасту, несколько раз он приподнимал Жумакана и пытался бросить на спину. Тот уворачивался. Курмаш в такие моменты зажмурился, но вот он открыл в очередной раз глаза и увидел, как Жумакан, захватив голову соперника, бросил его через бедро. Толпа охнула в один голос и возликовала:

— Мужчина!

— Настоящий батыр!

— Джигит! — раздавалось со всех сторон.

Щедущий судья задержал Жумакана за руку, провел по кругу:

— По правилам уважаемый Сарыбай дарит победителю жеребенка! На этот раз табун Сарыбая уменьшится ровно на одного жеребенка! Пусть стригунок этот в будущем будет достоин своего хозяина!

Подвели жеребенка — черненький, пучеглазый, на тоненьких ножках.

— Этот аргамак твой, береги его, он из табуна Сарыбая! — торжественно произнес тот же мужичок. — Помни щедрость Сарыбая, славь его имя!

Жумакан, тяжело переводя дыхание, повел жеребенка за собой сквозь толпу. Люди хлопали его по плечам, по спине, ерошили жесткий волос. Как из-под земли вырос Курмаш. Он захлебывался от радости и сумел выдать только одно:

— Ну ты, ты, здорово!

Солнце садилось. По извилистой глубокой горной теснине возвращались домой мальчишки, ведя на поводу стригунка. Шуршала под ногами щепенка, горы утрюмо нависали с обеих сторон.

— Вырастет, точно тулпаром будет! — хлопывал жеребенка по холке Курмаш. — Гляди, какие ноги, а грудь какая и уши торчат! Только ухаживать за ним надо.

Жумакан молча посмотрел на товарища, но видно было, что он тоже несказанно счастлив.

— Из табуна самого Сарыбая! — продолжал нахваливать Курмаш. — Через полгода объезжать уже можно, хребет пусть окрепнет. Если хочешь, я сам тебе его объезжу, хочешь?

Жумакан опять молча оглядел его.

— Ты же знаешь, кто лучше всех укрощает лошадей и ослов в нашем ауле, — похвалялся Курмаш. — Все ко мне идут, уговаривают. А тебе я так, по дружбе. Хочешь?..

— А чего ты сам не боролся? — спросил наконец Жумакан. — Сейчас бы жеребенка твой был и объезжал бы для себя...

— Да я посмотрел, а жеребенок один, — отвечал Курмаш, — а тут ты и пошел, чего мне вмешиваться? И потом там еще верблюд, корова какая-то... Зачем мне корова? У нас своя есть. А стригунок, вот он, — снова похлопал по холке, — пусть твой будет.

Жумакан хмыкнул.

— Ну так что, объездить тебе его или как? — настаивал Курмаш, но тут прямо перед ними на земле выросла длинная тень. Мальчишки одновременно подняли головы: впереди спиной к захопящему солнцу стоял на возвышенности Орынбай. Тут же за ним выросли еще семь теней. Они подошли ближе.

— Слушай ты, сын Алимжана из аула Жетыкаска, — высокопарно произнес Орынбай. — Сейчас мы будем с тобой бороться, а кто победит, того и будет стригунок.

— Мы уже боролись, — ответил Жумакан.

— Мы боролись не по правилам, — сказал Орынбай. — А если боишься, то отдавай стригунка так.

— Я не боюсь, — ответил Жумакан и снял свою дырявую накидку. Отдавая ее Курмашу, он тихо шепнул: — Когда все увлекутся, беги вместе с жеребенком.

Кто-то из свиты Орынбая резво вычертил круг, и борцы оказались в середине воображаемого ковра. Орынбай, скрипя зубами, кинулся на обидчика, Жумакан увернулся. Тот бросился еще раз, схватил за отворот рубашки, и грубая ткань разорвалась надвое. Ворот остался в руках Орынбая. Приятели его громко загикали, загукали, накаляя страсти. Орынбай отшвырнул тряпку и снова бросился в борьбу, но соперник и не думал сдаваться. Жумакан, закусив нижнюю губу, изо всех сил сопротивлялся, успевая глянуть искоса на Курмаша. Тот, улучив момент, когда все уже забылось борьбой и вопили во всю глотку, незаметно исчез за ближней скалой вместе с жеребенком.

Орынбай выглядел свежее, то и дело он бросал соперника то через бедро, то через спину, но тот неизменно падал на колени и успевал подняться. Пот обоим заливал глаза, дышали тяжело, руки слабели, ноги заплетались. Однако Орынбай как заведенный все теснил и теснил Жумакана.

— Ну давай!

— Поднажми, шапрашты!

— Еще чуток!

Жумакан протер мокрое лицо о плечо Орынбая и, собравшись с последними силами, схватил того за пояс и с криком «Жетыкаска-а!» кинул через бедро. Клубы пыли метнулись в воздух, а когда они рассеялись, приятели Орынбая увидели, как борцы валяются без сил: Жумакан сверху, а их товарищ, распластанный, снизу. Вмиг все умолкло. Жумакан тяжело поднялся на ноги.

Орынбай не смог встать, лишь чуть приподнялся, готовый загрызть его зубами.

— Я победил,— вымолвил Жумакан,— жеребенок мой.

— А где жеребенок? — встрепенулся кто-то.

— И этого нет... второго!..

Все стали лихорадочно озираться по сторонам, лишь Жумакан криво ухмылялся, глядя на грязного, пыльного Орынбая.

— Они обманули нас!

— Говорил же, надо было сразу отобрать, и все!

— Ах ты мразь! — процедил сквозь зубы Орынбай.— Бейте его!

Все семеро напали на одного, как волки на ягненка, только Орынбай остался в стороне, опираясь в изнеможении на валун. Приятели его старались, слышались только беспорядочные глухие удары и тихие стоны.

— Хватит! — крикнул Орынбай.— Помрет еще...

Тени разошлись. Жумакан остался неподвижно лежать на земле.

— Пошли.

И тени растаяли, шаги стихли.

Он очнулся и не сразу сообразил, где находится. Перевернулся, и все тело пронзила тупая боль, закусил губу, чтоб не вскрикнуть, и полежал так с закрытыми глазами. Немного придя в себя, потрогал лицо. Кровь спеклась и стыла тонкой корочкой. Кружилась голова, в ушах звенело. С усилием разжал глаза — совсем рядом небо, сплошь покрытое мириадами звезд. Одна сорвалась и заскользила вниз.

— Отец говорил, если звезда упала, то чья-то жизнь оборвалась,— вспомнил Жумакан.— А может быть, это моя звезда упала? Значит, я умер?.. Если я на том свете, то где-то здесь отец с матерью и дед. Вот они обрадуются! Или... что я говорю?! Они же... Ведь я умер!.. Мне нельзя их огорчать, нельзя умирать.

Постепенно звон в ушах стих, поблизости застрекотали цикады, проухал филин. Жумакан приподнялся и сел, потом встал, покачиваясь, на непослушные ноги, и мир завертелся перед глазами, но он не упал, удержался, и все снова стало на свое место. Жумакан стянул с себя остатки рубашки и так, голый по пояс, заковылял в сторону аула.

...Светало. Курмаш спал в углу маленькой хибарки Жумакана. Рядом с ним спокойно лежал стригунок. Скрипнула дверь, и через порог тяжело переступил Жумакан. Он отыскал глазами жеребенка и облегченно вздохнул. Сил больше не было, Жумакан как стоял, так и скользнул спиной вниз по

стене. Тут же проснулся Курмаш и, протерев глаза, заплакал, бросился к Жумакану.

— Я думал, тебя убили-и! — ревел он в его плечо.— А дома мать поколотила, где, говорит, болтаешься? А я думал, тебя убили-и-и!..

Жумакан с Курмашем чистили жеребенка в сараюшке. У каждого по тряпке и по ведру с водой. Жеребенку процедура не очень нравилась, и он нетерпеливо перебирал копытами. Мальчики наоборот не могли нарадоваться на его постепенное проступающую вороную масть. Покончив с ванной, они подвели его к стене, на которой ножом были нарезаны отметины.

— Во, гляди,— восхищенно указывал Курмаш пальцем чуть выше прежней отметины,— за шесть дней почти на палец подрост! Если так дело пойдет, то он будет ростом в слона!

Жумакан уже малость поправился, только синяк у глаза и ссадина на лбу говорили о недавнем злоключении. Он слегка сощурился и недоверчиво спросил:

— А ты что, видел слонов что ли?

— Видел,— не моргнув глазом, ответил Курмаш.— Ездили в прошлом году с отцом на базар, там и видел. Зда-аро-овый такой: поставь одного верблюда на другого — вот тебе и слон. И нос у него еще такой, до самой земли болтается.

— Что же у него, получается, четыре горба и еще нос до земли свисает? — все сомневался Жумакан.

— Да нет же! — скривился Курмаш.— Нет у него никаких горбов, это я так, вообще говорю, чтобы представить. Это он большой такой. Но, говорят, бегают быстро. Там у них даже байгу на слонах устраивают.

— Ну ты и свистнешь иной раз,— усмехнулся Жумакан.— Какая же это байга на слонах? Они же носы друг другу передавят!

— Нет, они когда бегают, носы на спину закидывают.

— Ты ври умнее! Не могут носы до самой земли свисать! Может, что другое у них до самой земли свисает, но носов таких не бывает!

— Не веришь, не надо,— отмахнулся Курмаш.— Но я бы на такой байге точно первым пришел. Взял бы когабайского ишачка и обогнал бы всех. Не может быть, чтобы такие громилы быстрее когабайского ишачка бегали...

С улицы послышалось тарыхтение. Мальчишки разом прильнули к щелям в стенах сарая. По улице, пыля, прокатила шайтан-арба. За ней пробежала стая босоногой пацанвы. Когда она остановилась, из нее вылез «кожаный человек», такой же черный, как сама шайтан-арба. Из кузова попрыгало человек пятнадцать военных с винтовками

и наконец неловко вывалился дородный мужчина в поношенном кителе и с толстым портфелем. Затем «кожаный» в сопровождении «кителя» уверенно зашагал по направлению к деревянному дому.

— К нам пошли! — то ли удивился, то ли испугался Курмаш и побежал к себе.

Жумакан проводил его глазами и решил напоить стригунка. Не успел он вылить грязную воду из ведра и налить свежей, как донесся женский плач и крик. Он снова бросился к щелям. «Китель» с «кожаным» вышли из ворот и направились по улице дальше. За ними вылетела мать Курмаша, захлебываясь слезами:

— Будьте вы прокляты! — заходилась она. — Пусть наши слезы падут на ваши головы камнями! Будь проклята мать, которая произвела тебя на свет! — Женщина упала и заколотила обеими руками по земле. Из ворот выбежал Курмаш, помог ей подняться и увел в дом.

Жумакан разглядел, что группа направилась к нему. Вот они вошли во двор, постучались. Жумакан кинулся в угол и выхватил косу. Те, не найдя никого дома, подошли к сараю и едва открыли дверь — прямо перед носом «кожаного» просвистело длинное лезвие. Он шарахнулся назад, черная кепка слетела с его головы.

— Ты что?! — заорал он, выхватывая револьвер.

— Не отдам! — дико сверкнул зрачками Жумакан, держа литовку наперевес. За его спиной всхрипывал смоляной жеребенок. — Не подходи!

— Та-ак, — протянул «китель». — Лошадь, значит, содержишь... Что у тебя еще есть? Сейчас посмотрим.

— Не отдам!

«Китель» стал листать какую-то тетрадь, взгляделся в перечень фамилий, имен и цифр, наконец захлопнул ее и сунул обратно в портфель.

— Мальчишка — сирота, из неимущих, — заключил он.

— Пролетарий, стало быть, — усмехнулся один из солдат.

— Люмпень, — поправил второй.

— Хорошо, люмпень, — произнес «кожаный», засовывая револьвер в кобуру, — чуть голову не снес, придурок. Пошли дальше, товарищи!

Как только они удалились, Жумакан устало опустился на корточки.

Вечерело. Жумакан сидел у окна и мастерил уздечку. Кто-то вошел. Жумакан поднял голову и увидел сгорбленную старушку с посохом в руке. За спиной мятый коржун, лицо пыльное, босая, ноги разбиты. Испуганно

озираясь по сторонам, она нашла глазами хозяина.

— Пусть множится потомство твое, — стала отбивать она ему поклоны. — Пусть растет твое хозяйство, ради аллаха, кусочек хлеба и глоток воды. Иду из-за гор, перевалила сто хребтов, мы все рабы божьи... — строчила она.

Жумакан соскочил с окна, в углу стоял мешок кукурузы, вытащил несколько початков, сунул их старухе в коржун.

— Нет у меня хлеба, вот только... — оправдывался он. Потом полез под кровать, достал несколько картофелин, протянул старушке. Бедная женщина бросилась целовать ему руки, Жумакан торопливо отдернул их.

— Пусть аллах дарует тебе свою милость, сынок, — проговорила старуха и повернулась уходить.

— Куда вы? — остановил ее Жумакан. Старуха нерешительно обернулась.

— Мы ведь как перекасти-поле, сынок. Куда ветер пригонит, там и приткнемся.

— Темно уже, оставайтесь, утром и пойдите, а то волки лютуют, шакалы.

Старуха потопталась, не решаясь скинуть коржун. Жумакан стащил со своего топчана тулуп и бросил у окна.

— Отдохните, — указал он на свою самодельную кровать, — а я тут, у окна.

Старушка сняла коржун, прислонила посох к стене и мелкими шажками прошла к топчану, тяжело опустилась и молча устала в одну точку. Жумакан налил ей из большого чайника воды. Старушка отпила глоток.

— Пусть несчастья обойдут твой дом, — шевельнула она одними губами. — У тебя была добрая мать, земля ей пухом...

— Откуда вы знаете, что она...

— Смерть рыщет по степи и собирает измученные души в свой коржун, люди не успевают хоронить друг друга, — ответила старуха. — Всех моих прибрала, а меня, старую, никак догнать не может. Видимо, слепая она — хватает на ошупь. Ничего, скоро уж, скоро...

— Оставайтесь у меня, — сжалось сердце у Жумакана. — Места хватит.

— Спасибо, сынок, зачем я тебе? Чужой костер не греет. Но от слов твоих веет теплом. Спасибо.

Помолчали.

— А откуда вы идете? — нарушил тишину Жумакан.

— Не знаю, давно уже перестала оглядываться. Голод сорвал с насиженных мест, люди бегут от него, бросая могилы предков. Кто сможет, тот дойдет сюда, на юг, а кто нет — останется белеть в степи.

Старушка легла, скорчившись, лицом к стене. Жумакан постоял рядом с пиалой в руке и отошел к окну.

Проснулся он от скрипа калитки: высунулся из тулупа и, приподнявшись, глянул в окно. Солнце еще не вставало. За хижиной Жумакана сразу начиналась степь, утыкавшаяся в горы. Куда-то туда направилась нищенка. Шла она медленно, опираясь на свой посох, коржун на сгорбленной спине и — одна, в целом свете одна...

Жумакан вел Курмаша по тайным горным кручам. Он ловко перепрыгивал с камня на камень, с бугорка на бугорок. Курмаш чуть отставал, но, как всегда, что-то доказывал.

— Как ты не понимаешь? — говорил он возмущенно. — Не обираловка это вовсе, а коллективизация! Вообще тебя за такие слова расстрелять надо! Коллективизация, запомни вот. Теперь скот и земля будут общими, дети и жены тоже, а значит, все станут вольными баями. Теперь не только один Сарыбай сможет устраивать такие поминки, но и любой другой. Хотя бы я. Вон, дед мой скоро должен отпавиться на тот свет, так я по нем такие поминки закачу — пыль месяца будет висеть! Вот.

— А чего же тогда маманя твоя на этих ругалась? — спросил Жумакан, вспомнив недавнюю сцену.

— Да это она по непониманию, — отмахнулся Курмаш, — женщина все-таки. Да и вообще мало кто понимает коллективизацию. А вон тот толстый дядька недавно снова собирал людей и говорил, что теперь все равны, ни одного бая в степи не осталось! Хватит ишачить на Сарыбая!

— Чего радоваться? Ишачили на Сарыбая, теперь на эту твою коллективизацию ишачить будем. А скот не у одного только Сарыбая забрали, только нищих не тронули.

Курмаш не сразу нашелся, что ответить.

— Ну скоро? — заныл он. — Здесь же человек не пройдет, не то что лошадь!

Жумакан пропустил его слова мимо ушей. В руках он сжимал изготовленную накануне уздечку.

— А знаешь, — вспомнил Курмаш, — аул переименовали, теперь он не аул Жетыкаска, а колхоз Интры, Интрын, Интрын... — он так и не смог выговорить. — В общем, звучит красиво, я пока еще не выучил.

— А что еще этот толстый говорил? — спросил Жумакан.

— Да так... Удивлялся: что вы за народ, говорит, ни пахать, ни сеять не умеете. Научим, говорит. И еще велел, чтоб всю скотину в одно место согнали — теперь все в одном стаде будут. А люди и без того все отдали, только собаки дома остались. А ты как?

— Я не отдам, — отрезал Жумакан. — Как это люди могут быть все баями, если скот

в одном стаде ходит? А чтобы поест, надо собираться за одним столом что ли?

— А я насчет жен... не совсем того, не все я в этом вопросе понимаю, — в свою очередь усомнился Курмаш. — Как ты думаешь насчет жен-то?

— Не знаю, — ответил коротко Жумакан. — А жеребенка не отдам!

Вскоре они наконец дошли.

— Вот, — сказал Жумакан, садясь у поваленного дерева.

— Что «вот»? — передразнил его Курмаш.

Дерево оказалось прикрытием входа в пещеру. Жумакан отодвинул его, и они шагнули в пугающую темноту. Где-то рядом нетерпеливо зацокали копыта. Скоро глаза привыкли: в углу этой похожей на маленькую комнату скальной выемки стоял конь, привязанный к железному кольцу. Перед ним корыто с водой и охалка свежей зелени.

— Ух ты-й! — поразился Курмаш.

— Сейчас гулять пойдем, — погладил коня по холке Жумакан.

— Вот это да! — удивлялся Курмаш, оглядывая заодно комнату. Вдоль потолка в три ряда висели сусличьи шкурки.

А тем временем Жумакан порывался в другом углу и вытащил несколько капканов.

— Здорово ты всех!..

— Держи, — отдал Жумакан капканы Курмашу, а сам отвязал коня, и они вышли.

— А капканы зачем? — спросил Курмаш.

— Увидишь.

Когда они оказались на равнине, Жумакан отпустил вороного. Тот понесся по степи диким галопом, высоко взбрыкивая ногами. Длинная грива и хвост его пышно развевались на ветру, друзья невольно залюбовались этим зрелищем. Конь унесся далеко и маячил на унылом фоне степи яркой черной точкой.

— Застоялся, бедняга, — сказал Курмаш.

Жумакан направился к небольшой сопке. Курмаш побежал следом.

— А он не убежит?

— Нет.

Еще издали они увидели целую колонию сусликов, что пересвистывались, застыв столбиками у своих норок. Почти весь холм был изрыт и зиял дырами. Когда они приблизились, суслики пронзительно запищали и один из другим исчезли в этих дырах. Жумакан не спеша расставил капканы у трех норок и кивнул Курмашу:

— Пойдем.

Они отошли довольно далеко, к одинокому горному ручью. Жумакан принялся что-то искать в траве. У воды растительность была еще зеленой.

— Чего ты там потерял? — заинтересовался Курмаш.

— Вот. — Жумакан вытащил пучок дикого лука.

— Ух ты! — обрадовался Курмаш и тоже стал копаться в траве. — Он же вроде отошел давно.

— В долине отошел, а здесь вода... — пояснил Жумакан.

Вскоре они насобирали по букету и, располжившись у ручья, начали их с аппетитом уплетать.

— Жумаш, а откуда ты...

— Зачем ты с корнем рвешь?! — перебил Жумакан. — Теперь не вырастет. Я сюда каждый день хожу. Поливаю.

Курмаш не слушал его и с треском прожевывал пахучий дикий лук-раугаш.

Покончив с луком и напившись горной воды, они возвратились к сопке. Два капкана сработали четко, третий был пуст. Жумакан вытащил колышки из земли, на каждом капкане висело по толстому суслику. Жумакан прошептал: «Прости меня, алла» и, раскрутив капкан над головой, брякнул суслика оземь. Так же поступил и со вторым. Тушки безжизненно распластались на земле. Привычно закинув их за спину, он двинулся в горы. Курмаш, безмолвно стоявший рядом, следил за ним с раскрытым ртом.

На дне оврага они развели небольшой костер. Курмаш собирал хворост. Жумакан орудовал своим, наследованным от старика-охотника, ножом. Две шкурки, натянутые на палки крест-накрест, как те, что висели в пещере, сохли на солнце. Тушки, нанизанные на самодельные шампуры, поджаривались на огне. Жумакан время от времени поворачивал их. Подошел Курмаш и бросил рядом охапку сухого хвороста. Посмотрев на костер, он брезгливо сморщился.

— Ты знаешь, — начал он нерешительно, — что-то мне не очень хочется этого... мяса. Я вон луку наелся до отвала.

— Ну и подыхай, как все! Мне больше достанется! — отрезал Жумакан. — Дождешься, будешь, как те, внизу, человечину жрать! Тогда я тебе не помощник!

Через некоторое время жаркое было готово. Жумакан снял шампур и стал спокойно есть свой кусок. Курмаш глядел на него во все глаза и сглатывал набегавшую слюну. Жумакан не обращал на него ни малейшего внимания и обсасывал ножку. Кости он бросал в тлеющий костер. Злобно улыбаясь, он повернулся к Курмашу, который все еще стоял рядом. Жумакан глянул на него и тут же изменился в лице: по чумазым щекам Курмаша текли слезы, он плакал, неслышно сглатывая их.

— Дурак! — закричал на него Жумакан и силой усадил у костра. Потом снял с огня второго суслика и сунул Курмашу в руки. — Ешь, тебе говорят! Ешь, если жить хочешь! А нет, пошел вон! Шариат не запрещал есть мышиное мясо!..

Курмаш шмыгнул носом, вытер слезы и несколько секунд разглядывал жареного суслика. Жумакан невозмутимо доедал своего. Курмаш вздохнул, зажмурился и вцепился зубами в тощее мясо...

С обедом было покончено. Мальчишки сидели у костра и обсасывали шампуры.

— А сурки? — задумчиво произнес Курмаш.

— Чего сурки?

— Они, наверное, вкуснее?

— А-а. Ну да. И жирнее, — подтвердил Жумакан.

— А хорьки? — спрашивал Курмаш.

— Не-ет. Они горькие и вонючие. Я вон с одного шкуру снимал, потом два дня отмывался.

Курмаш взгляделся в Жумакана, в его прокопченное, измазанное лицо с двумя блестками глаз, представил, как он снимает с вонючего хорька шкуру, и принялся хотовать. Жумакан вначале от неожиданности перепугался.

— Эй, ч-чего ты? Эй! — он подался к нему, дернул за плечо. Курмаш еще раз глянул на него и залился пуще прежнего.

— Ой не могу! А-ха-а-ха! Ой, обидина!

— Да ты на себя посмотри! — обиделся резонно Жумакан, но удержался и тоже засмеялся. — Сам-то, сам!.. Как хорек!..

Полуденное солнце сморило их. К тому же, давно отвыкшие от сытости, они быстро задремали. Костер давно потух и перестал тлеть. Они лежали рядом, раскидав руки и ноги. Легкий степной ветер чуть теребил им волосы, высоко в небе заливался жаворонок.

Спали, по всему, долго. Когда проснулись, солнце уже клонилось к горизонту. Жумакан продрал глаза и, поглядев по сторонам, пронзительно засвистел. Курмаш, испуганный, вскочил.

— А? Кто?!

К нему летел черный тучный жеребец. Он остановился перед Жумаканом, ткнул носом в плечо, обнюхал всего, признавая хозяина. А Курмаш уже был за большим камнем. От коня пахнуло травой и потом.

— Послушай, — обратился Курмаш из-за своего укрытия, — а ты что, так и будешь его на поводке водить? Ездить на нем ты когда-нибудь будешь? Хребет у него давно окреп.

— А ты же сам как-то собирался объездить его? — напомнил Жумакан.

— Да ты знаешь, — заспешил Курмаш, расстегивая штаны, — я вчера... к нам вчера тезекбайский волкодав залез в сарай, я побежал его выгонять и вот. — Он спустил штаны, повернулся боком, чуть пониже ягодницы виднелась продольная царапина. — Вот.

Еле выгнал. В горло мне метил, гад!

Жумакан кисло посмотрел на него и махнул рукой:

— Скажи лучше, что сам к Тезекбау в огород лазил...

— Да ты что, не веришь?! — взвизгнул Курмаш. — Я ж тебе говорю, вот!

— Да убери ты свой зад, коня напугаешь, — сказал Жумакан, вытаскивая из-за пазухи уздечку.

Они вывели вороного на пологую округлую поляну, Курмаш предусмотрительно отошел за ближние камни. Жумакан успокаивал коня, похлопывал по шее, по спине, но тот уже наострил уши, почуял какой-то подвох.

Одним прыжком Жумакан оказался верхом, тут же конь взвился на дыбы и понес по кругу. У Курмаша от страха глаза полезли на лоб. Вороной брыкал, скакал боком, выгибая спину дугой, прыгал, наконец на полном скаку вдруг резко остановился. Жумакан кубарем полетел с него, но тут же вскочил на ноги и снова запрыгнул на коня. Тот снова понес по кругу, огороженному со всех сторон камнями и скалами. Через несколько минут конь опять скинул седока. Жумакан так и остался лежать на земле, тяжело переводя дыхание. Конь подошел и принялся осторожно ворошить его волосы мягкими губами, словно бы извиняясь.

— Ну его к черту, Жумаш! — подал голос из-за укрытия Курмаш. — Он бешеный казкой-то. Не хочет, ну и не надо. Свернешь себе шею...

Жумакан, закусив от боли губу, поднялся и, прихрамывая, подошел к вороному. Постоял так, отдышался, затем подобрался весь и снова запрыгнул на него. Жеребец вновь затеял свою дикую пляску, но Жумакан держался за гриву, стиснув зубы. Долго ли так продолжалось, но в какой-то момент жеребец вдруг пошел ровным ходом. Жумакан подобрал повод, дал еще два круга и направил коня прямо на Курмаша. Тот с воплем плюхнулся на землю, вороной с лихим всадником на спине перемахнул через него и понесся дальше в степь. Жумакан торжествовал.

— Я в аул к Сарыбау-у-у! — донеслось до Курмаша. Он лежал ни жив, ни мертв: разжал глаза, поднял голову и увидел лишь столб пыли за пыльным черным хвостом и еще по всей степи неслось счастливое гиканье Жумакана.

...Конь мчался во весь опор. Горы, степи, теряя четкие очертания, уносились назад. Жумакан в восторге прижимался к холке своего скакуна, захлебываясь потоком встречного ветра. Аул Сарыбая приближался. Вот уже окраина. У самого въезда торчала какая-то досточка с надписью «Колхоз

Пролетарский». Жумакан на чуток остановился у этой надписи и понукал коня дальше. Все здесь выглядело странно и непривычно. На улицах и возле домов никого, пусто. Жуткая какая-то кладбищенская тишина. Конь, осторожно всхрапывая, пошел осторожной поступью. Ничего не понимая, Жумакан глазел по сторонам. Но вот он увидел и сразу узнал цветастый узбекский бешмет — тот самый звонкоголосый судья. Он сидел возле дома, прислонившись к стене спиной. Жумакан обрадовался, узнав его, погнал коня и издали приветствовал:

— Ассалаум-aleyкум, ага! — Подъехал ближе. — Ассалаум-ага-лейкум, вы меня не узнали? Ага, вы меня...

Туча жирных зеленых мух кружила над поблекшим от солнца бешметом, вместо лица — изъеденное тухлое месиво...

Жумакан в ужасе отпрянул, конь взвился на дыбы, — он чудом удержался на нем, — и диким галопом понес вон из мертвого селения.

Ночь выдалась душной. В степи плакали шакалы, им слабо и вразнобой отвечали аульные собаки.

Жумакан лежал на своем топчане, закинув руки за голову, и бесстрастно глядел в потолок. Вскоре шакалы и псы смолкли. Над затихшим аулом, над всей степью поплыл одинокий скорбный женский плач. Его подхватил собачий вой.

Жумакан не заметил, как задремал, глаза его сомкнулись, и он увидел себя на берегу... молочной реки. Целая река кумыса течет, пенится рядом, вокруг валяются в траве ленивые жирные стада овец, и на их спинах диковинные птицы высидывают яйца в своих гнездах. У реки деревья, и с их тяжелых ветвей свисают гроздьи хлеба — тандыр нана. Жумакан набирает полный коржун круглых горячих лепешек и забрасывает его за спину вороного, потом берет деревянную пиалу и идет к реке. Кумыс пузырится, выплескивается на берег, кипит. Жумакан поудобнее устраивается у самого берега и зачерпывает полную чашу, но тут кто-то окликает его.

— Жумаш! Сынок!

— Жумаш!

Он резко оборачивается: на взгорке среди полевых по колено цветов стоят рядом во всем белом отец с матерью. Они улыбаются, и мать машет ему платком. Жумакан хотел было осторожно поставить пиалу на землю и бежать к ним, но к удивлению увидел, что она пуста. Он оглянулся — река тоже исчезла, на ее месте грязное болото, и нет ни овец, ни хлебных деревьев. Посмотрел в сторону родителей — они тоже

куда-то пропали, а вместо цветистого холма — голый, выжженный солнцем такыр, и лишь ветер гонит по пыльной дороге мамин белый платок...

Жумакан вскочил — на улице светил полдень. В ауле снова кого-то хоронили. Процессия мужчин во главе с местным муллой молча тянулась в сторону кладбища. Покойника, завернутого в кошму, понуро несли на небольшой деревянной лестнице.

Скрипнула дверь. Жумакан обернулся. В дом вошел высокий сухой мужчина в длинном ниже колен чапане и устало опустился на топчан. Это был отец Курмаша Бейсен.

— Подойди, Жумаш, сядь. Поговорим, — сказал он.

Жумакан подошел, присел рядом.

— Старик Каиржан умер, — выдохнул после некоторого молчания Бейсен. — Место ему в раю, святая душа. Старуху его позавчера предали земле. Грех так говорить, но хорошо, что аллах не послал им детей... Да-а, на кладбище нынче больше для нас места, чем здесь, на земле.

Жумакан молча слушал.

— Я вот зачем к тебе, — свернул к главному Бейсен. — Сам видишь, что творится вокруг. Не обижайся на моего оболтуса Курмаша, но ты ведь с ним дружишь вроде, он мне рассказал, что ты держишь своего коня где-то в горах. В колхозных счетах он не состоит, вот и хорошо. — Бейсен поднял голову, посмотрел внимательно на Жумакана. — Про него вообще мало кто помнит, поэтому я к тебе и пришел. Люди пухнут от голода, приведи своего жеребца, детей хоть накормим, на неделю, две должно хватить. А потом колхоз с тобой расплатится. Потом мы тебе вместо одного трех таких жеребцов дадим! Вот увидишь! Пусть время настанет, а оно придет. Непременно! Дед твой всегда был участливым человеком, помоги и ты теперь.

Жумакан потупившись молчал.

— Что скажешь? — закончил Бейсен.

— На две недели? — произнес Жумакан и посмотрел Бейсену прямо в глаза. — А потом что?

— Там посмотрим, — пожал плечами Бейсен, — придумаем что-нибудь. Может быть, из района обоз придет.

— Этот обоз полтора года к нам идет.

— Ну ладно, — сухо сказал Бейсен. — Я сюда не спорить с тобой пришел. Не хотел я к тебе идти, нужда заставила. Я тебе разъяснил обстановку — люди мрут, понимаешь, люди! Не за себя прошу, хотя и у меня дома который день... Ты один, взрослый, голова только о себе болит, но подумай и о других. Мы все в одном доме живем. В ауле никто не знает про твоего коня, а не то бы...

— Что? — зло перебил Жумакан.

— Никто бы спрашивать не стал, зарезали бы и все! Я к тебе потому и пришел потолковать с глазу на глаз, думал, поймешь, пусть останется между нами, а люди узнают — не очень интересно тебе будет. А две недели это много, если хочешь знать! Это значит, что две недели никого хоронить не будем! Надоела эта чертова тропка! Вытоптали ее — затвердела камнем. Ну? Чего ты молчишь? Приведешь коня или нет?!

— Ладно...

— Чего?

— Приведу.

— Когда?

— Завтра, — еле слышно отозвался Жумакан.

— Ну тогда я пошел, — хлопнул его по колену Бейсен и не спеша вышел. У выхода обернулся: — Спасибо тебе.

Дверь со скрипом прикрылась.

Курмаш на ишачке вез домой хворост и, проезжая мимо мазанки Жумакана, привычно оглядывал двор поверх глиняного дувала. Дверь хибарки болталась на одной петле и поскрипывала под слабым ветром. Курмаш слез с осла, привязал к калитке и пошел к дому.

— Жумакан! — позвал он, постучав в окно. Никто не отозвался. Курмаш вошел в открытую дверь:

— Эй, где ты?

Пустая комната смотрела на него следами скорых сборов. Валялись ненужные тряпки, кое-какая утварь, в углу застыл скелетом доисторического животного дощатый топчан...

Жумакан мастерил в пещере новый топчан, который мало чем отличался от прежнего, разве что ровных досок здесь почти не было, все больше кривые бруски. Гвоздей не было тоже, и он связывал доски бечевой. Напротив стоял вороной и острожно поводил ушами от непривычной возни. Изредка он начинал нетерпеливо перебирать копытами, может быть, радовался тому, что отныне они будут жить вместе, рядом.

Выпал первый снег. Задолго до этого сурки и суслики погрузились в спячку, забравшись поглубже в свои норы. Жумакану теперь приходилось не в степь спускаться, а наоборот, подниматься выше в горы, ставить силки на кекликов и загонять кроликов в глубокий снег.

А однажды ему крупно повезло — провалился в снежную яму старый архар, отбившийся от стада. Жумакан прыгнул

к нему и вытащил из-за пояса свой кинжал. Архар шархнулся в другой угол и угрожающе пригнул рогатую голову.

— Прости меня, алла,— прошептал Жумакан и бросился на рогатого. Архар уперся задом о стенку и отбросил Жумакана обратно. Тот тут же вскочил, снял с себя тяжелый тулуп и накинул его на острые рога. Архар на миг замешкался, и Жумакан всадил нож под левую лопатку. Старый зверь лихорадочно понес его по яме, но вскоре захрипел и повалился на передние ноги.

Ближе к ночи Жумакан сунул полтуши архара в мешок и поехал в сторону аула. Никуда не сворачивая, Жумакан направился к дому Курмаша. Проезжая мимо своей мазанки, он увидел, что там со времени его отъезда ничего не изменилось. Так же висела дверь на одной петле, изнутри веяло холодом и запустением.

В доме Курмаша коптила керосиновая лампа. Младшие спали. У огня мать что-то штопала. Бейсен плел аркан. Курмаш помогал отцу. Жумакан мелькнул черной тенью, не слышая с коня, бросил мешок у двери и исчез.

— Кто это там? — оторвалась от своего занятия мать.

Курмаш с отцом тоже прислушались. Тихо. Мать поднялась и вышла, Курмаш засеменил за ней. Бейсен окликнул их:

— Эй, Сандугаш, куда пошла? Сядь, — велел он жене и пошел сам.

Дверь неслышно отворилась. На улице слегка снежило. Бейсен шагнул наружу и наткнулся на мешок.

— А это еще что? — сказал он недовольно. — Посвети-ка, Курмаш. О, алла, неужели пахнет мясом?!

Жумакан любил горы, и горы любили его. Из сусличьих шкурок он сшил себе нечто вроде кафтана и нечто вроде ичигов. Сегодня он как раз сидел дома и доканчивал левый сапог. Посреди «комнаты» потрескивал костер. Дым от него струился в отверстие, которое Жумакан проделал в потолке, так что в каменной юрте было довольно тепло и уютно. Кипела вода в большом железном чайнике. Вообще здесь нынче все выглядело вполне обжитым: стол, стул, полки, а в углу топчан, напротив — конь, который сейчас дремал, стоя, как и положено скауну.

— Неужели люди рождаются на свет, чтобы мучиться и умирать? — размышлял Жумакан в уме. — Неужели аллах придумал все это ради потехи? Человек рождается с плачем, живет рыдая и уходит в слезах. Странно это и несправедливо. Раньше были бедные и богатые, бедные жили плохо, богатые — хорошо, но зато были общие праздники.

Теперь нет ни тех, ни других — все нищие, значит, одинаковые. А общей стала одна только смерть. Говорят, что бога нет, а иначе бы он не допустил такого. Сейчас многие отрываются от него.

Жумакан тяжело вздохнул, подбросил хвоста.

— Если бы были живы отец с матерью... Здесь хорошо. Отец, правда, говорил: будь с людьми, тогда, мол, не пропадешь, да, видно, времена изменились, и люди мрут, как мухи в стужу. А мама, помнится, рассказывала про какую-то чудную страну, где хлеб растет на деревьях и птицы не боятся людей и вьют гнезда на бараньих спинах, где в реках течет кумыс и люди не знают, что такое голод...

На миг ему показалось, будто кто-то скребется возле пещеры. За все это время, когда он прислушивался к тишине, у него невольно обострился слух. Жумакан замер: нет, вроде никого — показалось.

— Если я так и буду жить в этой каменной юрте до скончания века, то, наверное, сам превращусь в зверя? Вон, клыки отрастут, когти, шерсть покроюсь, и не надо будет никаких сапог, шубы не надо... Фу, что за чушь я несу! Человек всегда и везде останется человеком, если не потеряет разум или совесть. Мне-то с чего с ума сходить? Живу и слава богу, получше многих. Лучше тех, кто уже не живет, так что ли?

Отец говорил: «Старая лошадь дружит с ослон». А у меня вон какой дружище! — глянул в угол на спящего коня. — Вот только не разговаривает. А может, и правильно делает? Молчание тоже разговор.

Конь проснулся и беспокойно зацокал копытами. Чьи-то быстрые шаги пронеслись мимо пещеры.

— А это еще кто там? — Жумакан отложил шитье, привстал и снял со стены ружье. Из костра он поднял горящую головешку и двинулся наружу. Несколько серых теней отступили в темноту. Голод пригнал волков к самому жилищу человека. Они инстинктивно боялись его, но от него странно пахло кониной. Жумакан оглядел всю стаю, волков было не так много: он отрывисто засвистел, швырнул в самую гущу серых спин головешку и грохнул в темноту из ружья. Серые тени растаяли.

— Вот так-то,— сказал Жумакан и зашел обратно.

Конь все еще испуганно поводил ушами. — За тобой приходили,— буркнул в его сторону Жумакан. — Я сказал, что тебя нет дома.

Кали еще в окно увидел Жумакана на коне и цыкнул Камшат — своей жене, чтоб

убиралась в комнаты, а сам остался в прихожей и, довольный, побежал открывать. Жумакан, не торопясь, слез с коня и вошел в дом. На нем был громадный тулуп из волчьих шкур, на голове лисий малахай. Все это делало его внушительный вид почти угрожающим. Вдобавок в руке он держал добрую связку звериных шкурок.

— Ассалаум-алейкум, Жумек! — приветствовал его хозяин. В ответ тот пробубнил что-то под нос. — Давненько тебя не видать, я уж думал, слопали тебя волки, — и наигранно засмеялся.

Жумакан бросил на стол связку, и Кали тут же принялся шупать, мять и трясти свежий мех. Оставшись удовлетворенным, он вытащил из-под стола ящик, высыпал из него в мешочек патроны, отдельно выложил соль и хлеб. Жумакан сунул все это себе в коржун и собрался уходить.

— А ты знаешь, что творится на свете белом? — спросил вдруг Кали то ли с издевкой, то ли в шутку. Жумакан снова опустился на стул, не поднимая головы. Кали, давно привыкший к угрюмому Жумакану, продолжал в прежнем тоне.

— Вашего председателя колхоза и еще этого из сельсовета, помнишь, толстомордого с портфелем, забрали люди из энкэвэда. Жумакан поднял на него глаза.

— Враги народа оказались, — добавил Кали. — Вообще, славненько наш район прочистили. Несколько лет чистили, ты ведь знаешь. И еще будут. Много их развелось, ой много!..

— Кого? — впервые разомкнул губы Жумакан.

— Врагов! Кого же еще?

— Что же это за проклятый народ такой, у которого так много врагов? — задумчиво произнес Жумакан, и оба они замолчали. Потом Жумакан словно очнулся, сказал: — Ты вот что, достань мне хорошего щенка волкодава, а то и впрямь, как бы не слопали.

И он вышел. Кали проводил его долгим взглядом.

Прошла зима, прошли весна и осень. Затем сменилось еще несколько зим и весен. Ничего видимого в жизни Жумакана не произошло, все так же ездил он на охоту, так же таскал шкурки зверей к Кали и возвращался от него к себе в горы. Бывало, ночью тайком спускался в аул и оставял на крыльце курмашевского дома часть добычи, если везло на охоте. Да однажды он привез от Кали двух мордастых щенков. Ел он с ними из одной посуды. Довольно скоро они вымахали в гривастых псов...

Стояло лето. Жумакан строил неболь-

шой сараюшко для сена на зиму. Вдруг шерсть на собаках вздыбилась. Жумакан прислушался, кто-то шел по камням. Через минуту из-за скал появился человек. Псы вскочили.

— Эй, собаки, на место! — прикрикнул на них Жумакан, и волкодавы послушно отошли в сторону. Человек приблизился, опасливо поглядывая на собак, и Жумакан узнал его.

— Курмаш?

— Жумакан!

Они обнялись.

— Ты чего это на собак кричишь «собаки»?! — смеялся счастливо Курмаш.

— А зачем собакам имена? — отвечал весело Жумакан. — Собаки и все! Проходи, проходи, садись. Устал, наверно?

— Еле к тебе добрался, — отдувался Курмаш. — Троп не знаю, кругом камни, ту дорожку забыл, пришлось коня внизу оставить. Я уже несколько раз тебя искал, но все путался. Думал, и сегодня не найду, а вот нашел! Сколько уж прошло!..

— Это так, — соглашался Жумакан, кивая головой.

— Ну как ты? Что нового?

— Да что у меня нового может быть? — хмыкнул Жумакан.

— Совсем ты как зверь какой... Спускаться думаешь?

— А кто меня там ждет? — снова ответил он вопросом на вопрос.

— Все ждут, Жумаш, все, — посерьезнел Курмаш. — Весь народ тебя ждет. Война началась.

— Война? — неподдельно изумился Жумакан. — Какая война? С кем?

— С Германией, с Гитлером. Фашисты напали. Я пришел за тобой. Не был ты на моей свадьбе, не разделил моей радости, когда родился сын, давай хоть в беде будем вместе, как раньше, помнишь?

— Помню.

— И я помню, Жумаш. Я не забуду, как ты спас моих в голод.

— А что им надо? — спросил вдруг Жумакан.

— Кому?

— Ну этим, Герману... Гитлюру?

— Не знаю, — пожал плечами Курмаш, слегка опешив. — Напал и все. Многие наши уже ушли добровольцами. Пойдем и мы. Ты ведь стрелок, каких днем с огнем.

— А в кого там стрелять?

— В фашистов! — все больше поражался Курмаш. — В кого же еще?

— Они, что же, не люди?

— Люди? — Курмаш помолчал. — Люди, конечно, но они... звери! Тебе же говорят, фашисты они!

— Я в людей стрелять не буду, — отрезал Жумакан.

— Но как же?! Они ведь враги, они наших людей убивают, даже не спрашивают! Они города сожгли, Родину нашу...

— А ты чего рвешься на эту войну? — перебил его Жумакан. — Ты ведь, помнится, не то что человека, ты же суслика прибить боялся.

Курмаш словно поперхнулся.

— То есть как?

— Зачем тебе на войну?

Курмаш тяжело вздохнул.

— Если по правде... Стыдно. Стыдно за отца. Его ведь забрали четыре года назад. Такой позор на нашу семью!.. — Он закачал головой. — До сих пор в спину пальцем тычут. Я хочу, чтобы завтра мои дети могли спокойно людям в глаза смотреть. Но какой бы он ни был, он мой отец, а мы даже не знаем, где его могила. Мать убивается. Я пойду на войну и совершу подвиг. Во имя отца. Это будет мазаром отцу. А заодно и перед людьми совесть очистится.

— А чего стыдиться? Ты ведь даже не знаешь, за что его взяли?

— Раз взяли, значит было за что.

Жумакан крепко задумался, слушая Курмаша. Тому даже пришлось растормошить его.

— Эй, оглох, что ли? Пойдем, говорю! Собирайся. Чего ты как крот слепой в норе тут, люди уже твоим именем детей пугают. Ничего не знаешь, ничего знать не хочешь! Разве так можно?

— Я никому зла не приношу.

— При чем тут это? — раздраженно поднялся со своего места Курмаш. — Да ты вообще... нельзя так жить! Нужно быть с людьми! Особенно сейчас! Хоть пользу какую принесешь!

— Пользу?... Убивать людей ты называешь пользой? Вы что там?... Я не стану стрелять в людей, пусть они там потеряли человеческий облик.

— Да ты! Да ты!.. — Курмаш нервно заходил взад-вперед. — Да ты знаешь, как это называется?! Да ты же предатель! Сидишь тут задницу свою греешь, а там страна кровью захлебывается! Ты же дезертир! Трус! Они на нас... а ты за наши спины! Да я тебя лучше собственными руками!..

Жумакан хмуро поднялся. Курмаш зло оглядел его, Жумакан был выше него на целую голову. Не подступиться. Курмаш сплонул:

— Эх-х, не думал я, что так у нас с тобой получится! Думал, друг, а оказалось... Знал бы, каким ты стал, не искал бы тебя среди этих чертовых камней! Ну и подыхай тут в своей конуре, как вонючий хорек! Сдохнешь, и никто об этом не узнает! Эх-х...

Жумакан понуро смотрел ему в спину. Курмаш быстро удалялся все дальше и

дальше. У самой скалы, из-за которой он появился, Курмаш обернулся и крикнул:

— Вот увидишь, эти фашисты еще придут и помочатся на твою безмозглую башку!

...Вечером Жумакан кипятил себе воду в чайнике и, глядя в огонь, предавался невольным думам:

— Люди совсем озверели, вот уже и воюют. Зачем, спрашивается? Чего не живут никак? Места не хватает на земле? Дед мой еще воевал и отец. За что вообще люди воюют? За мир, наверное? Чудно. Оказывается, чтобы установить мир, за него надо еще хорошенько повоевать. Значит, мир не устанавливают — его завоевывают. Интересно, когда же его завоюют окончательно? Ерунда какая-то...

От таких мыслей у него даже закололо в висках. Жумакан встряхнул головой, словно пытался сбросить ее, эту боль.

— Значит, когда-то должна случиться последняя война? А может быть, вот эта — последняя? И Курмаш ушел на нее. А на войне стреляют в людей. Курмаша могут убить. Кого угодно могут убить. Если долго бить, то и бога можно убить, не зря так говорится. А я что? Я живу. Ай, всякая жизнь смертельно опасна. — Жумакан перевел дух. — Как мучается бык, знает только плуг. Звери друг друга режут, потому что есть хотят, люди, видимо, по той же причине стреляют друг в друга. Есть хотят.

Ближе к осени Жумакан отправился к Кали. Тот жил чуть в стороне от остальных. По обыкновению он выехал вечером, приторочив к седлу с десяток шкур. Когда уже совсем стемнело, он постучался в дверь. Открыла Камшат и, тарашась на Жумакана, отступила в прихожую. Жумакан шагнул через порог и, исподлобья глянув на нее, пробурчал приветствие.

— Здравствуйте, — тихо ответила Камшат, не зная, куда девать руки.

Жумакан прошел в комнату и бросил на стол свою разношерстную связку.

— А вы знаете, — начала несмело Камшат, — Кали нет дома. И скоро не будет.

Жумакан вопросительно уставился на нее. Камшат суетилась, с трудом подбирая слова, взгляд ее бегал, и она никак не могла решиться взглянуть в лицо Жумакану.

— Его забрали.

— Кто? — спросил Жумакан. — Люди из этого... энкэдэ?

— Нет. Его добровольцем забрали. На войну. Пять месяцев уже как...

Жумакан удивленно вскинул брови, кумекая что-то про себя, и опустился на скрипучий стул.

— Вы не волнуйтесь, — сказала вдруг Камшат, — я сама вам все приготовила. Давно уже.

Она снова засуетилась, забегала, достала откуда-то заботливо подшитые мешочки с патронами, солью, насыбаем и прочим и положила их на пол перед Жумаканом. Положила и отошла на прежнее место, и стала, как стояла до этого. Жумакан снова посмотрел на нее: щеки горят, глаза бегают, кажется, что-то хочет сказать, но не решается. Он еще подождал чуток, но, так и не услышав от нее никаких слов, поднялся.

— А когда вы еще придете? — отрывисто спросила она. — Чтоб я заранее могла... — и не договорила под взглядом Жумакана.

Глаза их встретились: горячие, страстные, жаждущие и усталые, воспаленные. Жумакан постоял еще немного и снова опустился на стул.

...Вороной Жумакана, так и не дождавшись ночью хозяина, стоял на привязи, понурился головой. Грива и шерстка его покрылись инеем, и от дыхания валил ровный пар. Туманило. Густая дымка стелилась над самой землей.

Скрипнула дверь, и на пороге появился Жумакан. Он подошел к коню, похлопал по шее.

— Прости, — сказал он и сунул коню в зубы рафинад, перекинул через седло коржун.

...Связка шкурок валялась на полу рядом с кроватью. Камшат, чуть приподнявшись на постели, смотрела через окно вслед Жумакану.

Он выехал далеко за поселок в чистое поле. Впереди — ровная, как стол, полинялая степь, смыкающаяся на горизонте с небом. Жумакан остановил коня, огляделся — никого и ничего вокруг, мертвая тишина. И тут Жумакан, может быть, впервые оскорбил своего вороного плеткой — хлестнул изо всех сил и, завопив во все горло: «И-и-и», — понесся куда глаза глядят.

Он заметил эту чернубурку еще прошлой зимой. Лисица мелькнула пару раз у родника, и как-то он видел ее следы за ближними холмами.

Попутру как по заказу выпал снег, и Жумакан, закинув ружье за спину, отправился в сторону этих самых холмов. У одной из сопок он остановился.

— Погоди-ка, — остановил он коня и слез. Нагнулся: на свежем снегу, перечеркивая друг друга, вились звериные следы. — Где-то здесь должно быть, — пробубнил он и опустился на корточки. Вороной подошел ближе и послушно остановился за ним. Жумакан долго кружил на небольшой этой полянке, наконец поднялся:

— Вот она! Сейчас, сейчас мы ее возьмем...

Вороной в подтверждение пару раз ударил копытом по насту.

— Давай ружье, — сказал Жумакан, отстегивая берданку. — Стой здесь.

Вороной остался стоять, а Жумакан побежал по следу.

— Я тебя еще прошлой зимой приметил, — шептал он себе под нос, как заговоренный, и резво шел по следу. — Теперь ты подросла, из тебя такой воротник выйдет!.. Ого-го.

Пот обильно выступил на лбу, Жумакан смахнул его и встал, как вкопанный:

— А это чего?

След вдруг обрывался и начинался где-то в стороне, теряя свою четкость. Лисица двигалась далее прыжками, снег был взрылен, и земля в нескольких местах обнажена.

— А-а, — понимающе кивнул Жумакан, — мышковала. Значит, пока не полезла в нору, надо быстрее. Я лучше наперерез. — И он, бросив след, побежал куда-то влево за грядку. У спуска в ущелье он залег меж камней и протер ружье мхом, чтобы не сильно разило ружейным маслом. Потом поплевал на палец и поднял руку — ветер дул в его сторону. Жумакан затих и стал ждать. Где-то далеко токовали тетерева, и больше ничего тишину не нарушало. Минут через пятнадцать вниз по полянке проскакал беляк. Жумакан пропустил его и приготовился, вынул согретую руку из рукавицы и тихо опустил палец на курок. Так и есть: ничего не подозревая, по зачьему следу стелилась черно-бурая лисица. Шла она неслышно, часто принохиваясь к земле, пушистый хвост мягко скользил по снегу. Жумакан взял ее на прицел, чуток проводил, и через секунду прозвучал выстрел, многократно повторенный эхом. Чернубурка кувыркнулась и упала замертво.

— Прости меня, алла, — прошептал Жумакан и побежал к добыче.

Камшат в спальней, распустив роскошные, по пояс волосы, в одной «ночнущке» красовалась у зеркала. Кто-то мерно постукал в дверь четыре раза. Камшат прислушалась. Условный стук повторился. Она взяла со стола лампу, чуть убавила огонек и, накинув поверх тулуп, зашпешила открывать. Жумакан, широко улыбаясь, ввалился в прихожую.

— Ты что? Я сегодня не ждала, — радостно зашептала Камшат. В голосе ее прозвучал легкий укор.

— А чего ты шепчешь? — прогрохотал Жумакан.

— Да привычка, ночь на дворе, — пожалала она плечами.

— Ерунда! — Жумакан стряхнул с себя снег и прошел в комнаты.

Камшат закрыла дверь на крючок и пришла следом. Он уже сидел на скрипучем стуле, не снимая мохнатого тулупа, лишь расстегнулся.

— Уж ты бы как-нибудь поосторожнее, — обронила Камшат, — а то люди кругом, чего доброго... Коня-то хоть запер в сарае?

— Ай! — махнул Жумакан и вытащил из-за пазухи серебристо-черную шкуру. — Вот! Тебе.

Камшат всплеснула руками, позабыв все на свете, и с нее упала шуба. Она и не заметила этого, схватила шкуру и побежала к зеркалу. Чернобурка смотрелась красиво. Она кинулась к Жумакану и прижалась к нему. Тот неловко провел по ее пышным волосам грубой ладонью.

— Хотел медведя тебе принести, да их всего трое осталось в наших горах. Пусть живут, они больше остальных на людей подходят, правда? Знаешь, как они по горам ходят?

— Как? — игриво спросила она.

— Вот так, — сказал басом Жумакан и смешно закослапил по комнате. Камшат громко рассмеялась, он и в самом деле в этой шубе был похож на медведя.

...Они лежали в постели и вели неспешный разговор. Камшат положила голову на широкую грудь Жумакана. Он, казалось, дремал.

— Жумаш, — позвала она тихо.

— М-м.

— А правда, что род твой проклят и из всех ваших только ты один в живых остался?

— М-хм.

— Еще говорят, — оживилась Камшат, — что в тебе живет дьявол и потому никто тебя не трогает: ни зверь, ни человек. Правда?

В ответ Жумакан хмыкнул. Камшат продолжила:

— Никто не знает, откуда ты взялся, кто твои родители. А откуда ты?

— Издалека...

— А как здесь оказался?

— От голода бежал.

— Один?

— М-хм.

— Я всегда говорила, что ты обыкновенный человек, а они не верят.

— Кто?

— Они говорят, что всех обыкновенных забрали, только больных и проклятых оставили.

Жумакан тяжело вздохнул, но снова промолчал.

— Дарига вчера вторую похоронку получила. Теперь у нее ни мужа, ни отца...

— Кали пишет? — хмуро спросил Жумакан.

— Нет. Одно письмо прислал еще в самом начале. Четыре строки всего, велит хозяйство беречь и не разбазаривать.

Камшат помолчала, подумала и снова заговорила:

— У всех убивают, а его никак смерть не найдет. Прости меня, господи, прости. Видно, смерть, она тоже разборчивая, только добрых людей прибавляет.

— Смерти его ждешь. Зачем ждать? — произнес Жумакан. — Оставь все его хозяйство и поедem ко мне. А то сидишь тут, все равно что собака сторожевая!..

— Куда? В горы? В твою пещеру? — Камшат даже привстала.

— Боишься. — Жумакан снова вздохнул.

— Нет, не этого я боюсь, Жумаш. Что люди подумают, что скажут? Не дождалась законного мужа, убежала с безбожником, который не знает, где его предки похоронены...

— Но ты же сама тогда сказала... — горячо заговорил Жумакан.

— Да, — опередила его Камшат, — с тобой я на край света, только не при живом муже, пусть я его и ненавижу, но меня родители за него выдали, а их слово я нарушить не смею, и без того уж грешна, господи. От людского глаза не скроешься, бабы уже пальцами в меня тычут.

— Убьет тебя Кали, как вернется, — сказал после некоторого молчания Жумакан.

— Не убьет, — ответила Камшат. — Поколотит с недельку, да надоеет.

— Трус всегда жесток, — подумал вслух Жумакан.

— А люди почему-то тебя трусом считают, предателем. — И Камшат крепче прижалась к нему. — А может быть, бабы так от злости говорят, в обиде на тебя? Может, пойдешь по дворам, вот тебе и посильная помощь в тылу! Глядишь, и медаль какую дадут! — Она засмеялась.

Жумакан ухмыльнулся. Так они и заснули с улыбающимися лицами.

Жумакан подложил овцам сена и принес охапку вороному. Тот ее не тронул. Таз с водой тоже был полон до краев. Жумакан присмотрелся к коню, подошел вплотную и заглянул ему в зубы.

— Э-э, старик, да ты совсем плох, — заключил он. — Ну-ка, пойдem.

Он вывел коня во двор, отпустил:

— Пройдись-ка.

Вороной послушно сделал два круга, еле передвигая ноги, понуро остановился рядом. Жумакан погладил его.

— Ну и что? — ободряюще сказал он. — Подумаешь, чего теперь и есть не надо что ли? Наоборот... Погоди тут.

Он забегал в дом, порылся в мешках,

вытащил два куска ссохшегося сахара и выскочил наружу.

— Вот. Поешь, ты же любишь!

Вороной обнюхал сахар и не тронул. Жумакан в отчаянии опустился на землю.

...Всю ночь Жумакан не смыкал глаз. Вороной то и дело подходил к нему, обнюхивал и все слонялся по тесной комнатушке. На душе было тревожно, а тут еще собаки завывали. Жумакан прикрикнул на них, те замолкли, но не надолго.

С рассветом Жумакан поднялся и вышел на улицу, умыл лицо снегом. Кто-то ткнулся сзади. Жумакан обернулся — вороной. Они постояли так друг против друга. Жумакан наконец снял с него уздечку. Конь понимающе всхрапнул и закивал головой. Жумакан обнял его и заплакал.

Вороной повернулся и медленно поплелся прочь... Жумакан не стал его удерживать и лишь долго смотрел, пока конь не исчез из виду.

На этот раз Жумакан охотился в степи. Он шел по неглубокому снегу, оглядывая просторы, и вдруг стал, ошарашенно глядя в землю. Мимо, в сторону аула тянулся след, странный след — совсем недавно прошел человек на одной ноге, там, где должна ступать вторая, — глубокая вмятина от костыля. Сердце Жумакана бешено заколотилось от недоброго предчувствия. Он победил по следу. За очередным взгорком он увидел одинокую фигуру человека, опиравшегося на костыль. Жумакан закричал и выстрелил вверх. Человек резко обернулся. Жумакан сразу узнал его — это был Кали.

Он нагнал его и остановился в нескольких шагах. Кали улыбался во все лицо. Шапка его сползла набок, шинель волочилась по снегу, за спиной вещмешок, бычок самокрутки в дрожавших от недавней контузии руках.

— Жумакан! Это ты?! — воскликнул он и заковылял к нему, крепко обнял. — Жумакан! Ну и напугал ты меня! А я подумал, медведь за мной гонится, ха-ха-ха! Но медведи ведь не стреляют, да?!

Жумакан растерянно оглядывал его, словно видел впервые.

— А я вот, — тараторил счастливо Кали, — отвоевался! Нogu мне оторвало, ну и черт с ней, правда?! Хорошо, что больше ничего не оторвало, так ведь?! Ха-ха! Как там моя, не знаешь? С домом все в порядке? А я вот кое-какие вещи для хозяйства несy, — показал он на пухлый вещмешок. — Гвозди там всякие, подковки, железки...

Жумакан стоял безмолвный, ни жив, ни мертв, казалось, он даже не слышит Кали.

— Эй, Жумакан! — тряс его Кали. — Ты чего? Ты...

Жумакан вдруг повернулся и побрел обратно. Кали так и застыл с открытым ртом, и лишь когда тот удалился на порядочное расстояние, крикнул в спину:

— Эй, приноси свои шкурки! Слышь?! Шкуры, говорю...

Две одинокие фигуры посреди снежного пространства двинулись в разные стороны, постепенно удаляясь друг от друга.

Камшат собирала кизяк для топлива за поселком. Три-четыре женщины с мешками в руках тоже ходили поодаль. Вдруг из-за высоких кустов дикого тала донеслось:

— Камшат.

Она вздрогнула и подняла голову. В зарослях стоял Жумакан. Искося поглядывая на подруг, она приблизилась к кустам и скрылась в них. Она бросилась Жумакану на грудь со слезами на глазах.

— Я ждал тебя здесь, знал, что когда-нибудь придешь, — говорил Жумакан торопливо, словно боялся не успеть сказать ей все это. Камшат не могла вымолвить ни слова и все плакала, плакала. Он вытер ей раскрасневшиеся глаза, измученные бессоницей и страданием. — Камшат, милая, вон там стоит лошадь, я ждал тебя все это время, пойдём, я увезу тебя, и мы будем вместе, нам никто не нужен, никто, поедём! Поедём!

Камшат лишь отрицательно мотала головой. Молчала.

— Камшат, — говорил Жумакан разгоряченно, — зачем ты сама себя мучаешь, ведь ты не выживешь с ним, не выживешь! Поедём, я тебя никому не отдам!

Она провела ладонью по его заросшему лицу и, подняв мешок с кизяком, пошла обратно.

— Камшат! — позвал Жумакан. — Камшат, куда ты?!

Она не оглянулась. Жумакан упал лицом в снег и заколотил по нему руками.

Курмаш вернулся с войны на ногах, но с пустым рукавом. Его назначили бригадиром полеводческой бригады. Колхоз «Интернационал» в те годы специализировался на картофеле, и основная масса людей работала в поле.

...Только что Курмаш заскочил домой перекусить и сидел за самолично сколоченным столом. Рядом с ним пристроился его сын — Сеилхан, очень похожий на него в детстве. Жена Нурия у рукомошника возилась с кастрюлей.

Курмаш снял пыльную фуражку, положил на подоконник, вытер потное лицо полотенцем.

— Уф-ф, ну и жарища.

— Вот, коже попей, — поставила Нурия

перед ним большую пиалу с белым напитком.

— Вчера опять в горы лазили? — глянул Курмаш сурово на сына. Сеилхан опустил голову.— Чего вы там потеряли? Лучше бы дома помогал!

— Сусликов ловил,— промямлил мальчишка.

— Зачем вам суслики?

— Шкурки дяде Кали сдаем. Сорок копеек штука.

— Действительно, Курмаш, он эти деньги домой приносит,— вступилась Нурия.

— Нечего! — не хотел он ничего слушать.— Свалитесь куда-нибудь в овраг, ищи потом! Чтоб туда больше ни ногой!..

Курмаш выпил кофе и поставил пустую пиалу на стол, вытер полотенцем губы.

— А правда, что там дух охотника Жумакана рыщет и заблудившихся душит? — заглянул ему в глаза сынишка.

Курмаш недовольно глянул на него и буркнул:

— Не болтай глупостей!

Потом встал и ушел на работу, хлопнув дверью, фуражку забыл.

Бригада механизаторов занималась культивацией. Тракторы один за другим плавнотянули бороны в сторону гор. По существу, поля упирались в скалистую степь. Первым ехал молоденький парнишка в майке и широких замызганных шароварах, заткнутых в сапоги. Дотянув свою полосу, он остановил трактор у самой скалы, выпрыгнул из кабины, отошел в сторону и тяжело опустился на траву. Остальные тракторы рядом подтягивались. Парень огляделся по сторонам, кустов поблизости не было. Он поднялся и пошел вглубь, прыгая с камня на камень. Так он ушел довольно далеко, тракторов здесь уже не было слышно. Парнишка расстегнул штаны и вдруг вскрикнул — в нескольких шагах от него в узкой расщелине полулежал человеческий скелет, сквозь который проросла густая трава. Парень, лихорадочно застегнувшись, побежал обратно.

Через минуту вся бригада стояла полукругом возле скелета. Одежда почти вся истлела, через плечо был перекинут полусгнивший коржун, на черепе еле угадывался малахай.

— Сорвался, наверное, бедняга сверху,— предположил кто-то,— вон высота-то какая.

— И как шакалы не растащили? — удивился другой.

— Кто это, интересно? — подал голос третий.— Душа, наверное, без могилы мается...

— Это Жумакан,— уверенно постановил кто-то еще.

— Какой Жумакан?

— Да был такой: ни человек, ни зверь. В горах от людей прятался,— говорил тот

же мужчина.— Вот и помер тоже не по-людски. Ни могилы тебе, ни надгробья, ни слез...

Кали сидел в буфете столовой райцентра пьяный, грязный и плакался совсем неизвестному, такого же затрапезного вида мужику в кедах на босу ногу. Незнакомец, тоже изрядно накачанный дешевым вином, не мигая смотрел прямо в лицо Кали, словно нашел в нем невидимую точку опоры. Казалось, отклонись Кали чуть в сторону, и мужик в кедах грохнется на пол, потеряв эту самую спасительную опору.

— Не послал мне наследника аллах! — брызгал слюной Кали.— Наказал за что-то. А за что? За что, я тебя спрашиваю! Люди мой дом проклятым называют, стороной обходят. Кому я передам все свое хозяйство? Всю жизнь ишачил, горбатился, а эта пустобрюхая перечеркнула все мои планы! Я уж чего только с ней ни делал, и плеткой сек, и костылем вот этим, и голодом морил — не рожает! — Кали в недоумении раскинул руки, и на лице его отразилось искреннее неприятие такого феномена природы. Незнакомец понимающе икнул.— И не умирает! — добавил Кали.— Так бы я хоть на другой стерве женился, а? У других вон по десять штук бегаёт ни с того ни с сего! Зачем им столько, а?! Хотя бы самого маленького, самого паршивенького, вот такусенького мне отдали!..

Они вышли из столовой, когда ее уже закрывали. Опираясь на костыль, Кали доковылял до лошади и долго развязывал уздечку. Приятель его вышел вместе с ним и теперь преданно стоял рядом. Наконец Кали удалось развязать уздечку, он сунул ее в руки собутельнику и смачно поцеловал его. Тот не шелохнулся. Кали дал ему костыль, подержать, а сам кое-как забрался на коня и понукнул.

— Передавай привет своей гадине, чтоб ей пусто было,— бросил напоследок Кали. Приятель даже не посмотрел на него, лишь отрешенно ответил:

— У меня нет жены.

— Все равно передавай.— Кали закашлялся.— Лишь бы не упасть, а так сама доведет.— Но эти слова уже были обращены себе.

Приятель с забытым костылем под мышкой двинулся в другую сторону.

За все эти годы Жумакан почти не изменился, разве что погрузнел и поседел. И еще, боясь снежных лавин и весенних паводков, откочевал в другую пещерку повыше, которую заранее облюбовал себе в ущелье Сайтан-акырган. Люди прозвали это урочище так из-за чуткого эха, которое повторяло даже чих. Там после землетрясения

образовалось много трещин, скальных выемок и глубоких подземных тоннелей.

Новое жилище мало чем отличалось от предыдущего, разве что было чуть пошире. Жумакан получил от природы «квартиру на расширение», если можно так сказать. Кроме того, теперь он содержал отару с десятков овец и прятал ее в большой выемке, что образовалась впритык к его жилищу. У входа соорудил ограду, так что ни дождь, ни снег не были ему страшны. Да и волки давно перестали зариться на его добро — хозяйство охраняли семь грудастых волкодавов.

Лишь раз спускался он в долину — купил на базаре у каких-то туркменов жеребенка, в точности похожего на того, какого он некогда выиграл на асе у Сарыбая. Выходил его, и теперь этот мерин очень походил на прежнего вороного. Характером оказался, правда, строптивее, а так — добрый конь, ходкий.

Думал Жумакан, что теперь нет ему дороги к людям, что век свой небо велело доживать ему вдали от суеты мирской, и потом за эти годы он как-то по привычке к оторванности, а чтобы не забыть людского языка, по-прежнему перекидывался словами со своими «домочадцами».

Сегодня середь бела дня, когда он занимался хозяйством, чтобы не сдуреть со скуки, до его звериного слуха донесся плач, который постепенно перерос в дикий ор. Может быть, далеко-далеко внизу все люди, собравшись в круг, зарыдали в один голос? Во всяком случае ничего подобного Жумакан не слышал со времен Великого голода, когда вся Степь стонала от похорон. Жумакан замер — нет, не показалось, на самом деле внизу творилось что-то невообразимое, и звук этот слабо повторяло эхо ущелья Сайтан-акырган.

— Сбылось проклятие Курмаша, — подумал вслух Жумакан, — пришли гитлеры и режут аул. Теперь они помочатся на мою голову. А может быть это?..

Он побежал домой, теряясь в догадках, вытащил седло и живо накнул его на коня, но вдруг остановился, задумался.

— А если это не враг?

Жумакан снял седло, понес обратно, опять остановился, размышляя, как быть, наконец накнул седло, укрепил второпях, сел, поехал.

По мере того как он приближался к селу, все явственнее слышался всеобщий гвалт.

...В центре поселка у конторы толпился народ. На высоком столбе чернел громкоговоритель, включенный на всю мощь, и вещал о кончине какого-то «великого вождя». На крыше конторы рядом с приспущенным знаменем виселся огромный портрет усатого человека в черной раме.

Жумакан, не решаясь подъехать ближе, остановился позади всех, с любопытством разглядывая необычное зрелище. Все плака-

ли. Бабы голосили жоктау по отцу. Плакали в голос, не стесняясь друг друга. Жумакан понял, что случилось большое горе, но сколько ни вглядывался в портрет, так и не узнал этого человека.

«Вроде не из нашего аула? — подумал Жумакан, еще раз внимательно посмотрев на усатого. — Чего они так убиваются? Он вроде даже и на казаха не похож? Может, в ауле Сарыбая кто помер?.. Ну ладно, кто бы ни был, земля ему пухом...»

Пока он так сидел, теряясь в догадках, заросший, в лохматых звериных шкурах, одна из женщин неосторожно обернулась и завизжала дурным голосом. Даже во всеобщих всхлипах и плачах вопль ее заставил всех замолчать и обернуться. Все замерли.

— О, алла, неужели дух этого нечестивца пожаловал к нам с того света?! — прошептал кто-то.

— Сегодня такой страшный день...

— Совсем как живой...

Толпа замолчала. Пауза тянулась. Хмурый всадник во всем черном и разношерстная толпа напротив молча изучали друг друга. Но вот выступила чуть вперед одна из женщин и спросила подбоченься:

— Эй, Жумакан, говорили, что ты помер, правда ли это?

Жумакан не шевельнулся.

— Молчит, значит, живой, — ответил кто-то вместо него.

— А нам говорили, что ты сгорел со стыда, так и не попав на войну, — продолжила бойкая женщина.

— А он жив-живехонек, и даже вон какую рожу наел! — подключилась другая.

Жумакан впервые за многие годы видел и слышал людей. Ему было интересно и даже приятно слышать их, пусть они его и ругали, но сейчас это мало его занимало, гораздо любопытнее было другое — вот они, рядом, плачут, а теперь вот посмеиваются, и он слушает их. Слушает и понимает, и смотрит, нет, не смотрит, а пожирает глазами и даже улыбается.

— Так, значит, не ты шею себе свернул там, на гряде? — говорили из толпы.

— Я же говорил, что это не он. Этот вон какой верзила, а там человечек помельче был.

— Смотрите, да он еще ухмыляется! — обличала бабенка. — Люди, у всех горе, а он знает себе ухмыляется! Весело ему!

— Ни стыда ни совести у человека!

— Какой он человек!

— Да из-за таких, как он, что прятались в тылу под юбками у баб, погибли наши отцы и сыновья! — заплакала в голос какая-то женщина.

— Прибить его мало!

— Верно, люди, из-за таких и надорвался наш вождь! Из-за него он умер...

— Смотрите, да он смеется, сатана!
— Да сколько можно это терпеть?!
Обезумевшая от горя и отчаяния толпа грозно двинулась на одинокого всадника. Вот они подошли почти вплотную, но никто не решался напасть первым. Поднял свой костыль над головами остальных Кали и закричал:

— Он же проклятый! Надо рассчитаться с ним за все беды наши! Пока он жив, несчастья не покинут наш аул!

— Пусть его судят как дезертира! — попытался остановить людей кто-то.

— Нет! — завопила снова та же женщина. — Судить его должны мы сами! За всё! За всё! — и она кинулась к Жумакану, вцепилась в сапог, пытаясь стащить с коня.

Жумакан словно очнулся от сна, вначале удивился: «Чего хочет от меня эта женщина?»

— Ах ты выродок! Сучье отродье! — вопила баба, изо всех сил дергая за ногу. — Из-за тебя все наши беды!

Жумакану надоело, он оттолкнул ее. Женщина упала и запричитала:

— Что же вы смотрите, люди добрые?

Это послужило сигналом, толпа в момент сомкнулась, стащила Жумакана с коня и поглотила. Били беспорядочно жестоко, вкладывая в каждый удар всю накопившуюся за многие годы боль, горечь и обиды. Особо усердствовал Кали, норовя достать Жумакана костылем, били с диким визгом бабы, пинали с молчаливым усердием мужики, и так до тех пор, пока Жумакан не перестал стонать и не распластался безжизненно на земле. Толпа остановилась и неслышно разошлась. Жумакан, весь изодранный, остался неподвижно лежать посреди улицы в луже собственной крови.

Ночь выдалась лунной и звездной. Во всех домах давно погас свет. У конторы собрались аульные собаки и ходили кругами вокруг неподвижного тела Жумакана, иногда подходили ближе, принюхивались. Не лаяли и не выли. Лишь в степи, как обычно, тякали шакалы, а так — тишина, глухая тишина.

За всем этим с крыши колхозной конторы безучастно наблюдал человек в черной раме. И всё.

Хотя нет, не всё. Люди тоже в большинстве своем не спали. Сидели у окон и поглядывали на неподвижное тело проклятого. Никто не решался пойти и закопать труп — боязно, да и что потом люди скажут, напасти всякие на голову свалются. Лишь поз-ей ночью, даже ближе к утру, к телу подошел Курмаш, в единственной своей руке он нес лопату. Подошел, отогнал собак, докурил самокрутку и перевернул

Жумакана ногой. Тот глухо застонал.

— Эй, Жумакан, — испугался Курмаш, — ты что, живой, что ли?

Он склонился над ним, заглянул в лицо — кровавое месиво, приложил ухо к груди — бьется.

— Вот дьявол! — поразился Курмаш и, взвалив Жумакана на спину, потащил через весь поселок к себе на полусогнутых ногах. Конь Жумакана понуро пошел за ним, не приближаясь и не отдаляясь.

Курмаш положил его на скамью в сенях.

— Зачем ты приволок его? — недовольно покосилась на него мать. — Одни только напасти принесет он в наш дом. Лучше бы шакалы его по степи растащили!

Курмаш не стал спорить с матерью.

— Нурия! — позвал он. Та прибежала, ойкнула. — Принеси воды и тряпки ненужные.

Нурия через минуту появилась со всем сказанным. В дверях показалось любопытное лицо Сеилхана.

— Надо бы раздеть его, — сказал Курмаш и глянул на женщин. Те молча удалились. Он начал стаскивать с Жумакана остатки разорванной одежды.

Через три дня Жумакан пришел в себя и поднял голову. Один глаз его теперь не открывался, и он оглядел свет уцелевшим вторым. В дверях показалась стриженная голова Сеилхана. Мальчишка посмотрел на Жумакана и убежал. Вскоре пришел Курмаш.

— Ожил? — улыбнулся он и сел рядом. — Ну и ладненько. Чем теперь будешь заниматься, когда окончательно выживешь? Опять в горы пойдешь? На этот раз не выйдет, тем более что я тебе дело нашел и люди согласились.

Жумакан смотрел на него отчужденно и тихо вдруг спросил:

— А ты как, построил мазар* отцу?

— Потом об этом поговорим, — нахмурился Курмаш. — Лучше слушай, что я тебе скажу. Значит так, будешь чабанить. Ты ведь эти горы лучше всякой собаки знаешь, значит, и выпасы знаешь. Люди соберут тебе со своих дворов отару, будут платить тебе раз в месяц, словом, работать будешь, хватит слоняться без дела, будешь, как все, пользу приносить. Здорово? — и он хлопнул Жумакана по ноге. Тот передернулся от боли.

— Ой, забыл, прости, — вспомнил Курмаш. — Значит, лежи пока. Очухаешься и вперед, к победе. — Он поднялся, чтобы идти, но добавил: — И еще, м-м... ты на людей не обижайся... горевали сильно, понимаешь,

* Мазар — могила, мавзолей.

день такой дурной выдался, да и вообще... Будем считать, что ты тоже на фронте побывал, — хихикнул он притворно и потряс пустым рукавом, — я вон однорукий, а ты теперь одноглазым будешь! Хи-хи...

Настал день, когда Жумакан поправился и засобирился домой. Они вышли на улицу втроем. Сеилхан побежал в сарай и привел под уздцы вороного. Жумакан благодарно посмотрел на Курмаша и похлопал коня. Потом снял с себя кожаный пояс с ножом и отдал Сеилхану. Мальчишка, ошалевший от счастья, побежал домой хватать маме.

Вдвоем с Курмашем они вышли за двор, и Жумакан обомлел — целая отара овец стояла перед воротами посреди улицы. Жумакан вопросительно глянул на Курмаша.

— Вот, принимай хозяйство! — торжественно произнес Курмаш. — Это тебе сюрприз! Многие не хотели давать, но я уговорил, триста четыре головы и за каждую баранью отвечаешь собственной. Зато за каждую такую вот голову — по рублю в месяц, а если учесть, что отара будет расти, — сам прикидывай. Сейчас генералы столько не получают!

Жумакан не знал что сказать.

— Давай, давай! — торопил Курмаш. — Надо найти свое место в жизни! Люди тебе доверили собственное имущество! — Он многозначительно поднял вверх палец. — Вот скажи после этого, что я тебе не друг.

Жумакан окинул отару взглядом из конца в конец, еще раз посмотрел на Курмаша — тот сиял, словно присутствовал на торжественной вспашке первой борозды. Жумакан со вздохом сел на коня и медленно погнал отару в сторону гор. Пыльное облако закружилось за ним.

За всем этим из окна своего дома печально наблюдала заметно постаревшая Камшат.

Скот Жумакан запирали в той самой скальной выемке у своей хижины. Сторожили отару семь матерых псов. Поутру он гнал овец на выпасы, к вечеру пригонял обратно. Раз в месяц Жумакан спускался вниз и понуро ездил по дворам — собирал деньги. Хозяева выходили к нему и отдавали положенное. Он брал молча, не пересчитывая, даже не сходя с коня, и ехал дальше, погоняемый оравой галдящей ребятни. На них он смотрел с выражением, похожим на улыбку, но те боялись подходить ближе — за угрюмым всадником непременно следовали два здоровенных пса. Шрамы на лице его затянулись давно, глаз так и остался наполовину закрытым. Еще он прихра-

мывал на левую ногу. Люди почему-то чурались смотреть ему прямо в глаза, тем более заговаривать, то ли боялись, то ли стыдились... Но работу его ценили — скот у Жумакана нагуливал добротню, плодился щедро и содержался намного лучше колхозного. К тому же по рублю за барана — дешевле не бывало нигде. А он и не требовал.

Объехав все дворы, Жумакан складывал выручку в карман и направлялся напрямик в магазин. Набирал там обычно буханок двадцать хлеба, соли, сахара, да и отправлялся обратно.

Одиноким путник шел по перевалу в сторону заката. На вид ему можно было дать лет семьдесят: изможденное лицо, сплошь изрезанное глубокими морщинами, седая, лысеющая голова. Он шел, шурясь на вечернее солнце, осторожно ступая с камня на камень. Забравшись на очередной пригорок, он остановился. На противоположной стороне чабан запирали овец в стойле.

Собаки почуяли чужака и подняли лай. Эхо, повторяя за каждой собакой, и вовсе подняло гвалт. Чабан прикрикнул на собак, а сам захромал навстречу.

— Ассалаум-алеЙкум! — приветствовал незнакомец.

— Уалейкум... — ответил глухо Жумакан.

— Далеко отсюда до аула Жетыкаска?

— Не очень.

— Дай попить. — Путник опустил на камень. Жумакан вынес воды. Старик вытер губы и спросил:

— А ты оттудова?

Жумакан кивнул.

— Темиркуловых знаешь?

Жумакан снова кивнул.

— Как они там? — спросил опять незнакомец и затаил дыхание. — Как они? Сандугаш жива?

— Умерла она давно, — удивился Жумакан. — Три года уж прошло, а может, и больше.

Старик как-то сразу устал: опустил седую голову на грудь и замолк. Жумакан стал потихоньку догадываться, и что-то знакомое мелькнуло в древнем этом путнике.

— Сына ее, Курмаша, знаю, — добавил он. — Жив, здоров, семья у него.

Старик не шелохнулся.

— Бейсен-ага, это вы? — скорее не спросил, а понял Жумакан. Старик поднял голову. Годы изменили его сильно.

— А ты-то сам кто будешь? Что-то не припомню...

— Жумакан я.

— Жумакан? — поразился старик и вздохнул. — Да, Жумаш, вот такая она оказалась, жизнь-то. Мне повезло, я успею уме-

реть на родине. А пока... Ну ладно, пойдем жить дальше.

Он поднялся, закинул за спину свой рюкзачок. Отойдя на некоторое расстояние, он вдруг обернулся:

— А ты все еще в горах, значит, тяжело оно с людьми-то?..

Жумакан не ответил. Бейсен подкинул рюкзак и зашагал дальше.

В этот день, не спеша объехав все дворы, Жумакан направился в магазин. Набрал все необходимое, он зашел в хозяйственный отдел. Возле кассирши стоял небольшой транзистор «Альпинист». Передавали концерт. Играли на домбре. Жумакан невольно заслушался. Мелодия кончилась. Он подошел к продавщице, спросил:

— Эта штукавина продается?

— Да, конечно.

— Покажи, куда нажимать надо.

Молоденькая продавщица, снисходительно улыбаясь, принялась объяснять.

...Жумакан, довольный новой покупкой, вышел из магазина и стал привычно подтягивать стремяна.

— Мил человек, подай сорок копеечек, будь добр,— произнес кто-то жалобным голосом. Жумакан обернулся. Перед ним стояла жалкая, высохшая бабенка, одетая как попало, простоволосая, и просительно заглядывала в глаза. Вначале Жумакана удивило, что она не отворачивается от него, как все, и не прячет зеленых своих глаз, порядком потускневших. Руки ее тряслись, рот судорожно кривился.

— Зачем тебе сорок копеек?

— Не хватай, родимый, помоги! — еще жалостнее сказала она.

Жумакан, ничего не говоря, пошел в магазин и вернулся с бутылкой водки. Раскопые глаза у несчастной стали квадратными.

— Ой, родимый! Ой, милочка! Да как же... — засуетилась она вокруг него. Жумакан сунул бутылку в коржун.

— Такая пойдет? — спросил он. Женщина недоуменно уставилась на него.

— То есть как?..

— Ты кто такая?

— Я? Зина.

— Я тебя раньше не видел. Откуда ты? — спрашивал Жумакан.

— Так и я тебя, милочка, не видела раньше!

— А живешь где?

— Где придется, родной... — начала было жаловаться Зина, но Жумакан перебил.

— Тогда пошли,— велел он и взял коня под уздцы.

— Да зачем? — сразу переменяла тон Зи-

на.— Давай лучше в кочегарку к Фархаду! Там и раздавим ее, проклятую.

— Пойдем со мной,— не оборачиваясь, повторил Жумакан. Женщина пожалала плечами.

— Ну пойдем, раз зовешь.

За поселком начинались кукурузные плантации. Они обступали дорогу с обеих сторон высокой неколебимой стеной. Зина взмолилась:

— Эй, милочка, куда эт мы? Слышь, пошли вонна в стороночке бобним. Хоть маненько! Я уж взопрела вся и идти не могу, ноги пообтерлись.

Жумакан остановился, глянул в ноги. Обута она была в мужские ботинки размера на два больше и вдобавок без шнурков. Ни слова не говоря, Жумакан поднял ее, посадил в седло и двинулся дальше.

— Куда едем-то?

— Домой.

— А где твой дом-то? — снова спросила Зина, украдкой ощупывая коржун: нащупала хлеб, чай, транзистор и наконец желанную бутылку.— А сам-то ты егерь, что ли?

— Чабан,— отвечал односложно Жумакан и добавил, не останавливаясь, через плечо: — Ты пей, если невтерпеж, я все равно не буду.

— Язвенник что ль?

— Вообще не пью. В жизни не пробовал.

Зина аж рот открыла.

— Обалдел что ли? А чего брал тогда?

Жумакан промолчал.

— Это чего же я, одна буду, чо ли? Не-ет, так я не играю. Чего ж это я одна водку буду глушить, как чумовая. Хе-хе. Да никогда. А ты... ну ты и артист. Чтобы я да одна!..

...К пещере добрались поздно вечером. Зина была уже навеселе и во все ущелье горланила частушки, не обращая внимания на отчаянный лай собак.

Жумакан снял ее с седла и отнес в пещеру. Он посадил ее на свой топчан, а сам зажег керосиновую лампу.

Зина огладелась и осеклась.

— Ой, где я? Ч-чего это? — сморщилась она.— Эт-то чо, ты здесь живешь, что ли? Эй, язвенник, ты куда меня привез? Эт-то ты при жизни в мраморе живешь, чо ли? Ой, держите меня! Эй, как тебя там, чабан! Ты чего это меня в могилу привез?

— Не нравится, иди. Я тебя не держу,— глухо произнес Жумакан.

— Да куды ж я на ночь глядя? — заявила она.— Никуда я отсель не пойду! А Фархад где? У него в кочегарке хоть теплее.— Она стала устраиваться на топчане, не переставая говорить.— Приволок, понимаешь, как... не спросился, напоил, как дуру, а теперь иди! Ага, пошла вот, шнурки поглажу и пойду. А Фархад иде?

Зина еще что-то пробурчала и засвистела носом. Жумакан вышел проверить овец, а когда вернулся, она уже храпела, укрывшись его тулупом. Жумакан пошел к коню и лег рядом на траву.

Проснулся Жумакан от какой-то возни. Продрал глаза и увидел, как по комнате носится Зина с венником и собирает разбросанные вещи.

— Где конь? — первым делом спросил Жумакан.

— Ничего не случилось с твоим конем, — заворчала Зина. — Отвела в стойло к баранам, там теперь будет. Проснулась, понимаешь, а мне в морду лошадь тычется. Я уж думала, с Фархадом чо случилось, господи! Полные штаны радости! Вот удумал тоже, артист, с конем спит. Разве ж можно людям с конями жить? — продолжала она, подметая пол.

Жумакан с любопытством наблюдал за ней. Необычно все это — человек в его доме, что-то говорит, хозяйничает.

— Люди вон давно в космос летают, а он с конем в одном доме живет. — Вдруг она остановилась, выпрямилась. — Слушай, а вот эти космонавты, когда там летают, я слышала, едят всякое в тубиках и пакетиках, а ежели они вдруг выпить захотят, у них, наверное, бухало тоже в каких-нибудь тубиках, а?

Жумакан пожал плечами.

— Ай, — отмахнулась Зина, — и не поговоришь с тобой на такие темы. О чем вообще с тобой говорить? О надоях... Чего ты здесь вообще делаешь-то?

— Не знаю, — пожал плечами Жумакан.

— Как «не знаю»? — передразнила Зина, выпрямляясь. — А кто знает, бараны твои или лошадь?

— Не знаю... — повторил тихо Жумакан.

— Чумовой, — постановила Зина и продолжила уборку.

Она вымела мусор на улицу, отошла в сторону и вытащила из-за пазухи вчерашнюю бутылку — пустую. Она тяжело вздохнула, зашла в сарай и поставила ее на пол в углу.

...Жумакан сел на коня и погнал стадо на новый выпас. Когда он исчез за скалой, Зина бросилась рыскать по дому. Она заглядывала в разные ящики, сундуки с патронами и разным охотничьим снаряжением, перещупала всю постель...

— Куды же он их деваает, змей?.. — в сердцах приговаривала она.

В доме она так и не нашла, снова отправилась в сарай, но сколько там ни рылась, все равно осталась ни с чем. Зина перевернула все вверх дном, взмокла и по-мужски сплюнула:

— Закапывает где-то в горах, козел старый. Ладно, подождем, мне торопиться некуда.

...Отъехав от дома, Жумакан вытащил из коржуна транзистор, бережно повертел его в руках и включил, как его учила продавщица. Диктор бодро читал текст утренних новостей.

— О? — удивился Жумакан. — А домбра где? Вчера только играла...

Он вздохнул.

— Может, подменила эта, в магазине, уж больно бойкая была? Ну ладно, пусть. Человек все-таки говорит, — и он добавил громкости. Вороной с непривычки тоже стал прядать ушами и прислушиваться.

Зина сидела на улице и варила ужин на очаге. Увидев издали Жумакана, она нервно пошла навстречу, рассекая отару надвое.

— Чабан, послушай, — вцепилась она в повод, — не могу! Жжет изнутри! Смотай в село, ты ж на коне, к ночи обернешься. Весь день жду.

— Не поеду.

— Пожалей, изверг! Помру а-то!

— Не помрешь, — ответил Жумакан, — будешь пить ее раз в неделю. Всё.

Он забрал у нее повод и повел коня в стойло. Зина пошла за ним.

— Да ты разве поймешь, чурбан?! Тебе что, денег жалко? Их же у тебя!..

— Не денег мне жалко, — произнес Жумакан и замолчал. Зина начала было поносить его на чем свет стоит, но Жумакан включил транзистор во всю мощь: Муслим Магомаев пел «Вдоль по Питерской»... Зина пыталась перекричать народного артиста — эхо забавно вторило обоим, но у нее ничего не вышло. Махнула рукой, повертела пальцем у виска и, яростно жестикулируя, ушла. Жумакан спокойно расседлал коня.

...Сеилхан в шумной ватаге аульных ребятишек играл в бабки. Пацаны заигрались и не заметили, как опустились сумерки. Азарт брал свое, мальчишки спорили, отчаянно доказывая каждый свою правоту.

— Стойте! — поднял вдруг руку вверх Сеилхан.

— Тихо!

Мальчишки утикли. Прислушались. Со стороны гор ветер доносил обрывки магомаевского голоса.

— Чего это? — спросил кто-то настороженно.

— Жумакан балует, — ответил другой.

— Точно, — понимающе согласились остальные. — А кричит-то как!..

— Духов зовет, наверное, — предположил еще кто-то.

— Точно Жумакан, кто там еще может быть...

Ночь выдалась звездной. Небо, как перевернутый котел, нависало над горами, молодой месяц выглядывал из облаков как бы исподтишка. В углу пещеры рядом со своим вороним, мусолившим по обыкновению свою бесконечную жвачку, прикорнул Жумакан. Лениво и словно бы не замечая ничего вокруг, он бесцельно искал какую-то волну; людские наречья, музыка, шумы, спортивные репортажи, перебивая и насканивая друг на друга, превращались в сплошную какофонию. Зина ворочалась в противоположном углу на топчане и что-то еле слышно бурчала под нос. Ответ от керосинки плясал, отобразаясь на стене. Наконец Зина еще раз чертыхнулась и села на постели, зло глянула в сторону Жумакана. Тот, казалось, дремал полусидя. Она встала и нервно заходила взад-вперед, подошла к чайнику и сделала несколько глотков прямо из носика.

— Кхе,— крикнула она и мотнула головой.— Жжет! Фу-у.

Вернулась на постель. Села.

— Вот чайник! — зло процедила она и легла, устраиваясь поудобнее.— Жадюга!

Снова наступила прежняя умиротворенность, но ненадолго. Зина вскочила, подбежала к Жумакану, вырвала из его рук транзистор и со всего маху грохнула им о каменную стену. Транзистор разлетелся в щепки. Конь всхрапнул и отшатнулся. Зина, показалось, даже сама испугалась, чего натворила. Жумакан не шелохнулся, лишь приоткрыл глаза и посмотрел снизу вверх на Зину.

— Ну?! Чего ты мне сделаешь?! Чего?! — с вызовом выпалила Зина.— Образина бесхозная! Утром же от тебя сваливаю! Лучше уж с людьми быть, чем с тобой тут вшей гонять по стенкам! Жадюга! На пузырь пожалел!..

Жумакан хмуро поднялся, но Зина и не думала отступать, хотя теперь уже она смотрела на него снизу вверх.

— Фархад — мужик, он всегда на опохмел сообразит!.. — все строчила Зина, воткнув руки в тощие свои бока. Жумакан глядел на нее, словно бы примериваясь, и все молчал.

— Ну чего вылупился, все зенки проглядишь! Не убоюсь, не таких видала!..

Вдруг Жумакан схватил ее обеими руками за ворот и разорвал одежду надвое почти до пояса. Зина от неожиданности мигом замолчала и отступила. В полутьме виднелась ее тощая вислая грудь и угловатые плечи. Жумакан шагнул к ней и разорвал одежду еще ниже, лоскутки остались у него в руках.

— Но ты, полегше!.. — попыталась уресо-

нить его Зина по инерции, но голос ее явно сник. Она прижалась спиной к стене, дальше отступать было некуда. Жумакан порвал на ней все оставшееся тряпье. Голая, она стояла перед ним, пытаясь как-то укрыться. Жумакан оглядел ее лютым волчьим взглядом, отчего у Зины похолодело все внутри, и она увидела, или ей показалось, что по давно небритой щеке Жумакана покатила слеза. Он бросился на нее, заграбастал под себя, не слыша ее воплей скорее от испуга, чем от боли...

На смешных, непонятных людей из своего угла удивленно смотрел вороний.

Зина с Жумаканом пообвыклись. Жумакан ходил с отарой. Зина, когда было настроение, возилась по дому. Раз в неделю Жумакан привозил ей за труды бутылку водки или две бутылки вина.

Сжились они легко, будто до этого знали друг друга сто лет. Напившись, Зина начинала тихо плакать или, наоборот, громко распекать Жумакана «за нечуткость». Жумакан отмалчивался и лишь изредка обращался к ней: «Зина́», делая ударение на втором слоге.

В хозяйственном магазине Жумакан разговаривал со знакомой продавщицей.

— Дай мне эту штуковину.

— Приемник? Опять?

— Ага, промник,— закивал Жумакан.

— Вы же брали недавно.

— Замолчал он чего-то, тоже сломался, наверное...

Зина сидела у низенького стола за нехитрым «закусомом» в слезах и ныла под нос какую-то нудную песню. В бутылке оставалось немного. Она отрешенно смотрела в одну точку и не замечала ничего вокруг. Жумакан поставил на полку новенький «Альпинист». Рядом были выстроены еще шесть точно таких же «Альпинистов».

— Опять приволок,— промямлила Зина.— Сколько тебе говорить, балда, батарейки купи, они садятся, их менять надо, а он все свое. Эх, степь моя...

И она продолжала ныть. Жумакан ее не слушал.

Утром он ушел с отарой, а Зина зашла в сарай, поставила в угол пустую бутылку. Здесь уже скопилась настоящая баррикада из точно таких же бутылей.

Осень заканчивалась. Все ближние выпасы пожули или были уже потоптаны, поэтому Жумакану приходилось подниматься выше, где зелень еще не отошла.

После обеда вдруг с перевала налетел сырой промозглый ветер и нагнал тяжелые тучи. Через мгновение грянул гром, и дождь полил как из ведра. Жумакан сунул транзистор в коржун и натравил на отару собак. Лохматые псы живо согнаги овец в кучу и погнаги вниз. Тропы моментально размыло, и спуск стал небезопасным. Тьма сгушалась. Жумакан, боясь потерять овец, громко кричал, чтобы те слышали и ориентировались на его голос. Ветер порывами сглатывал его крик и прятал в темных ущельях. Когда наконец добрались до дома, у Жумакана зуб на зуб не попадал, промок до нитки. Проклиная все на свете, выскочила Зина и отворила настежь ворота загона. Вдвоем они заперли овец, собак и коня, а сами побежали домой.

На столе коптила керосинка. Ужин сегодня Зина не готовила, «буржуйка» только-только расходилась.

— Собачья жизни! — ворчала Зина. — Когда в конце концов привезут «движок»? Почему не попросишь? Подохнешь тут, и никто не узнает!..

Она продолжала что-то строчить в том же духе и насилиу стащила с Жумакана сапоги. Он не отвечал уже потому, что не осталось сил говорить. Зина стащила с него и одежду, протерла всего полотенцем. Разделась сама, мокрую одежду сложила в кучу.

— В капзее и то лучше, там хоть в дождь на улице не ногют!

...Они сидели у печи, завернувшись в овечьи тулупы, и хлебали чай. Весело прыгал огонь и блики его скакали в их глазах. Жумакан покашливал.

— Ну вот еще, — недовольно скривилась Зина и вытащила откуда-то «занак». Налила в кружку, набралось чуть больше половины.

— На! — велела она. Жумакан поднял на нее усталые глаза. — Лекарство, — сказала Зина. Тот молча выпил.

— Ты не забыл? — напомнила Зина. — Завтра в поселок поедешь, месяц кончается. Жумакан кивнул, глядя в ее татарские глаза.

— И не перепутай снова! У Исабека вот таких, — она вытащила червонец и показала Жумакану, — вот таких вот три штуки возьмишь. А если не такими, то синенькими шесть бумажек. Запомнил? А то он, шельма, опять наколет... И про магазин не забудь.

Гроза на улице поутихла, дождь перестал, и над ущельем пошел неслышный снег.

...Утром Жумакан вышел во двор и неуверенно сделал два-три шага. Мир поплыл
50

перед глазами, в голове гудело. Лицо его осунулось, он то и дело кашлял и сморкался.

Кое-как оседлал коня и подвел ко входу. Вышла Зина, подала коржун. Жумакан потянулся к нему, но не смог взять в руки, стал шарить, как слепой человек. Зина перепугалась.

— Эй, ты чего? — Она присмотрелась. Жумакан был совсем плох. — Эй, может, не поедешь? Ну их к черту, в другой раз смотаешься.

Жумакан поймал коржун и молча поехал вниз.

Зина постояла, глядя ему в спину, и пошла в сарай. Она вынесла оттуда большой кусок соли и направилась в загон. Там размельчила его топором и побросала в кормушки. Овцы сгрудились, она распихала их, ругаясь, прошла вглубь и разбросала остатки соли.

Тут ей на глаза попался небольшой потрепанный от времени казанок.

— Держит тут всякую рухлядь! — пробубнила она и со злости пнула его. Крышка отлетела, казанок скособочился, а Зина ахнула и застыла с открытым ртом — он был почти доверху заполнен деньгами: рублевками, трешками, десятками, тут же вперемежку с ними лежали и монеты.

— Вот они где, — прошептала Зина и опустилась перед казанком на колени. Она бережно поставила его прямо и сунула дрожащие руки в купюры, пошуршала ими, зачем-то понюхала, затравленно огляделась по сторонам — овцам не было дела до нее — и вскочила, схватила котел, еле подняла и кинулась в дом. Здесь она поспешно обулась в валенки и снова, схватив казанок, побежала куда ноги понесли. Одна из собак увязалась за ней.

— Пшла! — замахнулась она и бросила в нее снежком. Собака отстала, а Зина побежала дальше.

...Жумакан объезжал дворы и собирал «подать». Люди рассчитывались с ним и поспешно прощались. У одного из домов средних лет мужчина обратился к нему:

— Жумакан, у меня дочка в институт поступила, так что я заеду к тебе на неделе, заберу барана, а может, и двух, хорошо?

Жумакан мутно посмотрел на него и не расслышал.

— Я заеду к тебе на неделе! — повторил тот.

Жумакан неопределенно кивнул и поехал дальше. До конца села оставалось еще много. Жумакан вдруг остановился на полпути: все вокруг стало с ног на голову — и дома, и деревья, и эти пацаны, корча-

щие рожи... Через некоторое время он пришел в себя и, круто развернув коня, поехал в магазин. Хозяева, ожидавшие его у ворот с деньгами, проводили чабана недоуменными взглядами.

В магазине Жумакан купил две бутылки водки, кое-как залез на коня и понукнул.

...Вечерело, когда он въехал к себе во двор. В ушах стоял звон, в глазах круги. Он скатился с коня, привязал его у сарая и вошел в дом. В комнате было темно. Он ошупью нашел лампу и чиркнул спичкой. Все было перевернуто.

— Зина́, — позвал он.

Тишина.

— Зина́! — позвал он громче и поставил бутылки на стол. Его схватил приступ жуткого кашля. Он подавился и подался на улицу, сплюнул в снег и увидел одинокий след своих валенок, уходивший куда-то в горы.

— Эй, где ты? — заорал он во все горло. Многократное эхо повторило его крик. — Куда ты? — произнес он шепотом.

Обрушилась оглушительная тишина, будто весь мир в одно мгновение ослеп и онемел. Страшно мутило, снова все заходило кругом, и Жумакан потянулся к приемнику, не выдержав тишины, до отказа докрутил регулятор громкости, но снова ничего не услышал. Тогда он направился к выходу и, споткнувшись о порог, упал. Транзистор выпал из рук и заорал как ошалелый. Жумакан не стал поднимать его, вернулся к топчану и рухнул на него вниз лицом.

...Он метался в жару, обильный пот застил глаза, он глухо кашлял и бредил.

— Курмаш! — кричал он. — Кур-маш, беги, не отдавай жеребенка! Я его выиграл! Я его выиграл!

Ему виделся дивный сон: они с Курмашем бегут по степи, еще мальчишками, за вороним стригунком, вдруг Жумакан попадает ногой в суслячью нору и падает лицом прямо в тюльпаны. Они оба заливаются смехом; потом появились суслики, целая сопка застывших столбиков; маленький мужичок в узбекском бешмете, все лицо его усеяно мухами; нищая старуха на рассвете уходит в никуда; Камшат с распущенными по пояс волосами целует ему руки; одинокий солдат без ноги посреди заснеженной степи; солдат резко оборачивается — и это сам Жумакан; толпа, свирепые лица надвигаются на него, готовые разорвать в клочки; люди бьют его, норовя попасть сапогом в лицо, он кричит, увертывается, но никто не спешит к нему на помощь; пьяная Зина горланит частушки, но он не слышит ее и видит лишь бессмысленно открывающийся, шамкающий рот; только звон в ушах и шум, вдруг все это резко обрывается и он видит — отец с матерью посреди поля цветов. Мать ласково зовет его: «Жумаш! Сынок, иди к нам! Устал, наверное, мы

давно тебя ждем, иди». И он, совсем мальчишка, срывается с места и бежит, бежит к ним со всех ног:

— Я бегу, мама-а! Это я-а! Я иду к ва-ам! — И он бежит, но они все отдаляются и отдаляются. Жумакан бежит, спотыкается, падает, снова вскакивает и, не в силах догнать отца с матерью, плачет, захлебывается слезами...

...Жумакан проснулся — серый каменный потолок, во всем теле свинцовая тяжесть. Собрав последние силы, он встал и открыл сундук, вытащил черный костюм, который не надевал никогда. С трудом снял с себя одежду и бросил ее обратно в сундук, облачился в новое.

...Стояла глубокая ночь. Звезд повысыпало на все небо. Горы угрюмо топорщились в темноте острыми вершинами. И над всем этим необъятным миром надсадно хрипел Армстронг. Голос его, вырывающийся из оброненного транзистора, стократно усиливался эхом ущелья Сайтан-акырган и разносился на всю округу. Он заполнял собою не только все ущелье, но и все ямы, все расщелины в горах, все звериные норы и птичьи гнезда. Притихли собаки, притих конь у сарая, странно тарачились в ночь овцы...

Этот голос не давал спать людям и в поселке. Как назло, ветер сегодня дул с гор.

...Курмаш лежал, заложив руки за голову, чуть поодаль от него сидел в задумчивости Бейсен и курил.

...Камшат и Кали лежали в постели.

— Ни себе ни людям покоя не дает твой дезертир! — бурчал Кали. — Ничего не берет проклятого, ни смерть, ни жизни!

...Молодая продавщица сидела с ухажером на скамье и улыбалась:

— Кутит старик Жумакан, сегодня у него получка, водки понабрал и дерет теперь горло.

...Мужчина, говоривший Жумакану о поступлении дочери в институт, тоже не спал:

— Чокнутый этот Жумакан, — шептал он жене. — У нас деньги взял за баранов, а у соседей нет, даже не подошел к ним.

Приемник работал всю ночь. Потом он разбудил поселок утренним гимном.

Поздно ночью снова играл гимн и снова передавали концерт для тех, кто не спит. И так несколько дней подряд.

В очередное утро, когда народ расходился на работу, по центральной улице поселка промчался вороной Жумакана. Уздечка на нем болталась порванная, седло висело и натерло бок, конь был страшно худ и неухожен. Люди, видевшие его, невольно шарахались. Его попытались поймать, но он громко ржал и не давался.

Почуяли недоброе. Курмаш взял с собой несколько человек и повел в горы. На лошадях они быстро доехали до разъезда и дальше пошли пешком. Голос диктора доносился

ся все яснее и яснее. Вот они наконец взобрались на последний пригорок, и глазам их открылась странная картина: всюду бродили овцы, в сарае был учинен погром — скот учуял дробленку* и разворотил мешки. Ворота загона повалены, и выемка в скале зияла глубокой мрачной дырой. У входа в пещеру гуляли семь волкодавов, не давая баранам разбредаться далеко. Завидев непрошенных гостей, они залаяли как по команде. Перебивая их, диктор стал сообщать, что творится на полях страны: земледельцы Ставропольского края работали лучше всех...

Люди приблизились к жилищу — шерсть на загривках псов вздыбилась; готовы стоять насмерть, но к хозяину не пустят. Делать нечего, Курмаш снял из-за спины ружье и уложил ближнего, но псы не стали разбегать-

ся, а ринулись вперед. Люди постреляли остальных. Овцы, напуганные стрельбой, разбежались, но вскоре успокоились и вернулись к дробленке. Курмаш направился к пещере, спутники последовали за ним. Вход был закрыт изнутри. Навалились и сняли дверь с петель. Все застыли у порога: Жумакан лежал на своем топчане в черном костюме, черных ботинках, тихо и неподвижно. Рядом на столе — две бутылки водки и аккуратно сложенные ружье, капканы, ножи, ящик с патронами... Вдоль потолка сохли разные шкурки, натянутые крест-накрест. Всюду царил порядок и чистота, будто чья-то заботливая рука тщательно прибралась в комнате и незаметно, чтобы не разбудить хозяина, только что затворила за собой дверь. Было тихо.

* Дробленка — подкормка для скота.



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

- Я. Пужицкий «Великий Шу» (часть I)**
Н. Аллахвердова «Лук, чеснок, перец»
П. Луцик, А. Саморядов «Дюбá – дюбá» (часть II)
Ю. Арабов «Круг второй»
В. Ивченко «Джинн»
И. Вайсфельд «Кемские новеллы»
**А. Чечулин «Записки конформиста,
не дожившего до пенсии» (продолжение)**

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Часть II

Охота!.. Тучи орущих галок, лай борзых и гончих, свист и улюлюканье, хрип взмыленных коней. Сквозь брызжущий солнечными пятнами лес, сквозь перелески, взрывая копытами фонтаны брызг в ручьях, катилась охотничья туча, струясь в голове своей волнами узких собачьих спин.

— Ату его!!!

Умопомрачающий азарт в лицах охотников, цепкость и стремительность в глазах псарей и егерей, всеобщий порыв туда, вперед... к одиноко чернеющей фигуре бегущего человека...

Еще мгновение, еще порыв — первая волна накатилась, подмяла беглеца и заклубилась на месте.

Подоспели другие волны, все взвихрилось, завертелось, заметались псарь, оттащивая собак...

В грязи, притиснутый к земле рогатиной извивался, задыхаясь и хрипя, страшный, заросший темным волосом бродяга.

— Так чей же ты, сударик? — спросил басовитый голос. — Бежишь откуда и куда?

В изодранном, окровавленном страшилище, что пнем стояло посреди барского двора, лишь с великим трудом можно было узнать недавнего кавалергарда Глюковского. Безмозглый взгляд его, дополнившись блаженной улыбкою юродивого, обрел какую-то даже занимательность.

За спиной его разводили горячих еще собак, расседлывали лошадей.

— Пал Мартыныч, ты воевода, тебе и карты в руки.

— В холодную мерзавца, после разбе-ремся.

— В холодную, в голодную, у тебя один ответ. Забавно же узнать...

— Эта бродня мне вот уже где! Бегут и бегут. Бегут и все тут.

— Куда же они бегут?

— Как куда? В Сечь Запорожскую. От зверей-помещиков, от кровопивцев, тебя навроде, ха-ха-ха!..

Сквозь голоса прослушивались и другие, застойного свойства звуки: бульканье, криканье, хруст огурчиков...

— Молчит мерзавец! — радостно удивился новый голос.

Бродяга и вправду молчал, голодным взглядом пожирая стол.

— Митяй, спроси.

Возле стоящего появился рыжий дворовый парень и наметанной рукой дал ему в зубы. Бродяга покачнулся, отер рваным рукавом кровь со рта и снова навесил на лицо блаженную свою улыбку.

— Да он немой! — понял кто-то.

— Да ну его в болото! — прорезался захмелевший тенорок. — Василь Васильич, давай-ка с тобой поцелуемся.

— Не рано ли? Сели только.

— Заговорит! — по-хозяйски сказал веселый голос. — Митрий!..

— Не надо... — жалостливо сказал еще кто-то. — Это жестоко и... нехорошо. Может, он робеет. Дайте ему рюмочку, и он взбодрится, поймет, что мы его друзья, кои желают ему добра и пекутся...

— А что! — хототнул любитель поцелуев. — И заговорит, и запоет, и запляшет!

— Митрий, поднеси.

Возле рта бродяги оказалась чарка крупного калибра. Бродяга принял ее и одним махом осушил до дна.

— Вот видите — он русский!

Заиграла балалайка.

— Ну давай, давай! — не унимался тенорок. — Ладушки, ладушки!..

Бродяга меж тем начал на глазах преобразиться: лицо его донельзя прояснилось, глаз воссиял, плечи распрямились... Вытопав ногами замысловатую фигуру, он откинул голову и, разинув рот, запустил в поднебесье затейливую, коленчатую трель.

— Поляк... литовец... молдаванин... — посыпались догадки. — Вот-те и русский!.. Митрий!

Митрий расторопно вытащил из-за пазухи новоявленного тирольца крест.

— Православный!

— Слава богу! — возрадовалось общество.

Бродяга же, покончив с голосами предков, без останков пустился в пружинистую, недавно освоенную кадрили. Чавкая по грязи босыми ногами, он обскакал весь двор и лихо взлетел на нерасседланную еще лошадь. Соскочил и вновь взлетел. И еще пару раз...

Бренчала балалайка, общество хохотало уже навзрыд.

Бродяга оставил наконец лошадь в покое и, вылетев на середину двора, принял скульптурную позу. За нею стремительной чередой

последовали следующие позы, одна другой изящнее. Так же стремительно менялось и выражение давно небритого лица: то гордо возвышенным оно было, то элегическим, то чуть насмешливым...

Проявив все мастерство в этом виде искусства, он рьяно принялся за атлетические упражнения, кои тотчас вызвали женский визг и обвальное ржание мужчин.

Отдав дань амурной муштровке, бродяга летящим шагом приблизился к хохочущему Митрию, совершил перед ним сверхизощренный реверанс и, царственно взмахнув рукой, сокрушительным ударом поверг беднягу наземь. Потом дико огляделся, зевнул, качнулся и рухнул рядом со своею жертвой. Через мгновение он уже спал, распростершись на земле.

Кто, давясь хохотом, катался по веранде, кто повалился на стол; дамское сословье, покинувшее ради такого зрелища внутренние покои, утиралось платочками и усиленно сморкалось. Хохотали егеря, псаря и многочисленная дворня. Ликовали дети.

Митяй, поднявшись и убедившись ощупыванием, что скала-таки выбита, с удивленным почтением глянул на спящего.

— Ну, братцы мои, такое сокровище выпускать из рук нельзя!..

Все помещики были в охотничьих костюмах за исключением дородного воеводы. В центре круглого стола на веранде высился серебряный самовар, из коего кто-то наливал в стопку слишком уж прозрачный для чая напиток. Закуска на столе соответствовала.

— А ежели он беглый? — утирая слезы, вопрошал воевода.

— И так видать.

— А ежели он преступный?

— Хуже, чем у меня, ему каторги не будет,— успокоил воеводу хозяин дома.

— Чего это у тебя, у меня, чай, тоже не зазорно,— обиделся другой.

— Разлетелись,— вступился третий.— А чьи собаки его взяли?

— А на чьей земле?

— А кто его узрел?

— Нет, судари мои, тут надобно по-честному, по-картежному.

— По коням?..

— По коням! — согласно закричали все.

Тотчас на этот клич побежали со всех концов двора отборные верзилы из охотничьих команд своих господ.

Босоногий мальчонка радостно ударил в барабан, кто-то затрубил в рожок.

Веселое оживление охватило и двор и веранду.

Один за другим взгромоздились спорщики на спины своих слуг и, прищипив их, с гиканьем потрусили по двору.

Дамы захлопали в ладоши и закричали, подбадривая своих.

Двор густо заполнялся зрителями, бежавшими отовсюду.

Битва меж тем разгоралась нешуточная. Всадники съезжались, насакивали друг на друга, толкались плечами, руками — кто-то полетел уже с «коня», кто-то вместе с «конем» рухнул в грязь...

Средь всего этого кричащего и вертящегося бедлама незамеченным оказалось прибытие еще одного охотника, а вернее говоря — охотницы. Амазонка сия, пребывающая в зрелой поре закатной молодости, вся обещанная дичью, едва глянув на схватку, мгновенно спешила, исчезла в толпе и в следующий миг оказалась на плечах тучного воеводы.

— Вперед, Пал Мартыныч! — услышал он над ухом трубный женский голос.— Не посрамим землю русскую!

Ударив воеводу по ребрам пятками, всадница врзалась в самую гущу схватки. Неистойвой фурией набросилась она на честно бившихся мужчин, щедро раздавая направо и налево подзатыльники, с чисто женским коварством вцепляясь в волосы противников.

Схватка, и без того жаркая, в одно мгновение превратилась в ад крошечный...

Бродяга разлепил глаза и с усилием, опершись руками в грязь, придал телу сидячее положение. Помотав головой, он нетвердым взглядом повел по сторонам... Огромную толпу узрел он, кричащую, руками машущую, подпрыгивающую на месте... еще увидел он людей, верхом на других сидящих и мертвой хваткой вцепившихся в подобных им всадников. Многие валялись уже на земле, охая и постанывая, иные рушились на глазах...

Амазонка тем временем вцепилась уже в последнего из соперников. Обхватив его сзади всей рукой за горло, она что было сил дергала беднягу. Тот наконец не выдержал сей пытки и, страшно захрипев, свалился наземь.

Победительница спрыгнула с мокрого красного воеводы и вмиг оседлала поверженного противника.

— Ты когда мне долг отдашь, каналья?! — кричала она, сдавливая горло несчастного.

— Да хоть сейчас и отдам,— сипел посиневшими губами хозяин дома,— только отпусти, Прасковья Матвеевна...

— Не почухаешься, пока тебя не спросишь,— сказала она, отпуская наконец его горло.— Обижает бедную вдову.

— Тебя обидишь...

Амазонка поднялась, отряхнулась и огляделась.

— Об чем шла битва? — спросила она.

— Да вон затравили перед обедом,— указали ей на блаженно улыбающегося бродягу.

— Ну и чмурило... Кто таков?

— Немой.

— Ясно, что не твой, а мой.
— Немтырь.
— Без языка?
— С подрезанным, видать. Полоротый...
— Лишь бы руки были. Как же записать-то его? — задумалась охотница.

Бродяга не сводил с нее восторженного взора.

— У, чучело гороховое!.. — улыбнулась амазонка.

— Горохов... Молчальников... Немовляев... Тихонов... Безязыков... Немтырев... — посыпались советы.

— Погоди. Куда, говоришь, бежал?

— На Сечь, за пороги.

— Так пусть и будет Немтыренко. Иван Иванович Немтыренко, — определила она буквой «э» малороссийскую принадлежность новой фамилии и тем поставила в возникшем споре точку.

— Ку-ка-ре-ку! — радостно закричал пожилой рыжий человек с красным петушиным гребнем на макушке.

— Солнышко взошло, — молвил другой, с прибитым к палке языкастым солнцем. — Извольте глазки разлепить.

— Здравия желаем, государыня наша барыня! — уже всем хором отрапортовал квартет дворового начальства, единодушно поклонившись до земли. — С наступлением вас утра!

— Хвали утро вечером, днем не сеченый. Государыня-барыня, недавняя амазонка, утонула в кружевных подушках обширного своего ложа. Купаясь в лучах раннего солнца, она пила кофий из громадной фарфоровой чашки.

— Здравствуйте, друзья мои непытанные и немученные! — ответствовала она с генеральскими ухватками в голосе. — Ну что? Все ли здорово, ребята, и благополучно у нас?

Вперед торжественно выступил дворецкий с единоличным земным поклоном.

— В церкви святой и ризнице честной, в доме вашем господском, на конном дворе и скотном, на павлятнике и журавлятнике, везде в садах, на птичьих прудах и во всех местах, милостию спáсовой, все обстоит, государыня наша, богом хранимо, благополучно и здорово.

Помещица милостиво кивнула.

Выступил ключник, брякая связкой ключей:

— В барских ваших погребках, амбарах и кладовых, сараях и овинах, уличниках и птичниках, на ветчинницах и сушильницах, милостию господнею, находится, государыня наша, все в целости и сохранности.

Госпожа смотрела как бы сквозь него. Ключник растерялся.

Следующий, выборный, дернул его сзади за кафтан и выступил было с докладом...

— Ежели бы турок или жид, — задумчиво молвила вдруг барыня, — тонули вместе с православным, то которого из них прежде долбно спасты?

Выборный стал в пень.

— Долго думаешь, балда, — нахмурилась помещица. — С утра дурак — целый день будешь так.

Остальные трое хихикнули.

— Во всех четырех деревнях, милостию божию, — начал доносить староста, — все обстоит благополучно и здорово: крестьяне ваши господские богатеют, скотина их здорвеет, четвероногие животные пасутся, домашние птицы несутся, на земле трясения не слышали и небесного явления не видали...

— Где запорожец?

— Немтыренко? — переспросил староста, подражая интонациям хозяйки. — Сейчас представлен будет.

Тотчас ввели запорожца в шароварах, бритого наголо, с оселедцем, свисающим на лоб, с сомовыми усами и дымящейся люлькой в углу беспечно улыбающегося рта. Громовой хохот потряс сначала ложе, а затем эпидемическим образом овладел наличным составом дворового штата.

Отбросив недопитую чашку, барыня бурно каталась по постели, не щадя себя в смехе.

Управители, старательно надрываясь от хохота, быстро переглянулись... Первым с криком: Ой, не могу! Ну уморила меня! — рухнул на пол и принялся кататься по нему дворецкий. Следом, не мешкая, повалились и другие.

Брови «запорожца» удивленно приподнялись вослед за дымком, вившимся из люльки...

Смеялись повара и поварята в чаду барской кухни.

— Вот вам бечь в Запорожскую Сечь! — веселилась барыня, указывая на Немтыренко...

Заливалась псарня: кто смехом, кто лаем...

— Кому женишка?

Утопая в кружевных облаках, прыскали в ладошки девицы-кружевницы. Некоторые были прикованы к особым стульям, на шеях — рогатки, дабы удержать в непосадах прилежность...

Хохотня и в кузницу перекинулась, затрясла в пламени горнов блестящие от пота мощные торсы.

— Ну что еще вольным казаком желает стать? — вопрошала сквозь веселые слезы Прасковья Матвеевна...

— За чем пойдешь, то и найдешь! — громогласно шутила на народный лад барыня, гарцуя по пашне на горячем коне.

Пахари глаза повытарачили при виде ряженого, который никак не мог уразуметь, что ему делать с сохой.

— Вольному воля, ходячему путь!

По этому сигналу кнут свистнул и ошпарил «запорожца» по спине.

Немтыренко подпрыгнул и впился сохой в землю.

Все на поле засмеялись.

— Ну дружно, ребятушки! — подзадорила хозяйка.— Как на себя работаем!

Пахари, отсмеявшись, принялись за землю...

Качаясь и спотыкаясь, повел свою первую борозду Немтыренко...

Так началась его новая жизнь. И смешалось все в ней и замешалось общим смехом, общим горем, общим делом...

...Жил Святослав девяносто лет,

Жил Святослав да преставился.

Оставалось от него чадо милое,

Молодой Вольга Святославович,

Стал Вольга растётъ, матерётъ...

Бабий голос напевный растекался по огромной северной избе, вздыхают слушатели, сопит скотина за загородкой, побряктывают старики, поблескивают глазами ребятишки с печи, Иван Немтыренко, на лавке распростертый, с обессиленной улыбкой в сон проваливается...

Вместе с другими мужиками, так же по-мужички одетый, идет Иван по пахоте и зерно из лукошка раскидывает...

Прильнув к березе, сок пьет...

Веселую топотуху полдеревни отплясывает — пыль столбом! Неразборчивой, визливой скороговоркой девки заходятся, мужики дробью рассыпаются. И Иван — туда же, как и все норовит...

За провинность какую-то мужики мужиков секут. И Ивана в том числе.

— Радость не вечна, печаль не бесконечна,— философствует барыня в окно, оторвавшись от чтения...

Плотники амбар ставят, Иван на верхнем венце сидит, топором тюкает. Все отсюда видать окрест: река синееет, изогнувшись дугой, лес стеной до горизонта стоит...

Визжит свинья: восемь рук ее держат, барыня Прасковья Матвеевна как заправский умелец колет ее...

Вот и лето в расцвет вошло, борода у Ивана отросла. Покрикивают мужики, прибаутками сыпят, вытягивая невод из реки. Бывший «запорожец», а ныне свой — от других не отличить — на рыбу кидается, в ивовую корзину ее бросает...

Береза моя, березонька,

Береза моя белая,

Береза моя кудреватая!..

На «зеленой» неделе, на Семик девки хороводы вокруг разряженных березок повели. И Иван с детской своей улыбкой

встревает, колготится, мешается. Девки шугают его, колотят хохоча...

Прильнул Иван к мутному окошку и в ночь смотрит, во двор, где нагая баба вокруг дома бежит, приговаривает:

— Около двора железный тын; чтобы через этот тын не мог попасть ни лютый зверь, ни гад, ни злой человек, ни дедушка лесной...

Мокрый по колено от утренней росы, сноровисто, в лад со всеми орудует косой Иван...

Люди с криками в реку летят. На обрыве, над рекой качели гудят: шестеро парней их так веревками разматывали, что Ивана аж в небо унесло, а оттуда — на середину реки. Почти до дна достал... Смотрит — в мутной воде чешуя мелькнула... волосы длинные... лицо девичье... руки тянет белые как снег... Заторопился Немтыренко наверх, а снизу — хихиканье невнятное и будто: «Ой, красавчик, ты куда?» Вынырнул с открытым ртом, с глазами вытаращенными — а по небу мужики плывут, руками машут...

И опять холопы барские друг друга секут: теперь уж Иван наверху. Только плохо старается, без сердца бьет.

— Ты чего? — удивляется из-под розги мужик.— Гляди, а то самого уложат.

Иван тотчас подбавил жару.

— Жаль друга, да не как себя! — смеется барыня...

— Царь-огонь, достанься,— высекает баба огонь из печи,— не табак курить — кашу варить!..

В барской горнице просторной Иван да еще дюжина таких же на цыпочках ходят — мух на лету ловят. Посреди горницы — кисейный полог, под пологом хозяйка с гостями в карты играет, по-французски разговаривает, из-под полога лакей ползет с подносом...

А вот Иван в болоте тонет, а товарищи его на лесине вытягивают...

— Ску-у-чно! — стоном кричит с балкона в утренний мир барыня.

Дворня, скинув шапки, кланяется в пояс...

Двое мужиков Немтыренко за руки держат, щека у него флюсом раздута. Большой рвется, глядя с ужасом на Прасковью Матвеевну, что идет к нему с руками за спину спрятанными. Подошла и хватить его колотушкой по голове! Обмяк вмиг сердечный, обвис на руках. Барыня рот ему открыла, наложила щипцы на зуб и дернула. Заорал Иван, да дело уже сделано...

Пыльная заверть несется по полевой дороге. Со всех сторон, оставив прополку, мужики и бабы сбегаются.

— Чертова свадьба!

— К худу, к худу!

— Окаяшки подрались! Глядитя...

Кто уже успел, кто только становится на

карачки и просовывает голову промеж ног: ведь так только чертей-то увидишь.

— Вот они!.. Немытики!..

Немтыренко тоже подрос, в позу уже становится, как:

— Ах вы чернота! Суеверство дико! — мчит к месту происшествия помещица, хлещет налево и направо длинным кнутом. — А ну разойдись!

Вихрь удаляется по дороге с визгливым хохотом. С хохотом разбегаются по своим местам крестьяне.

— Язычники! Лентяи! Всех пересеку!..

На плывущем среди облаков прянике луны Каин в который раз убивает Авеля. Задрал голову, не в силах оторвать глаз от этой призрачной картины, бродит Иван вдоль барской усадьбы, постукивая в сторожевую колотушку. Эхом откликались ему со всех концов другие сторожа...

— Жатва — время дорогое, никому тут нет покоя, а ты, пьянюга, разорить меня вздумал?! — кричит Прасковья Матвеевна.

Вся деревня вокруг колодца толпится, с грустью поглядывая на рябого дядьку, что на журавле колодезном вниз головой висит. «Журавль» то и дело «кланяется», опуская мужика в сруб.

— Вот тебе, опивец, пей сколько влезет!

И Немтыренко смотрит — жалеет...

— На море, на окяне, на острове на Буяне стоит липовый куст, у липовом кусте лежит черная руна, под черной руной лежит змея скоропея, укывшись от частых звезд, от ясного месяца, от светлого солнца. — Иван большой лежит, полубеспамятный, огнем пышет. В закутке избы он только да знахарка древняя. Наклонилась над мисочкой с водой и шепчет на воду — болезнь заговариват. — Ты змея Ирина, ты змея Катерина, ты змея полевая, ты змея луговая, ты змея болотная, ты змея подколодная, соберайтесь округ и говорите удруг; вынимайте нечистый ад от сустав, от полсустав, от жил, от полужил, от полупожилков, от черной шерсти, от бела тела, от чистой крови, от чистого сердца, от буйной головы... — Древняя дунула на Ивана. — Царь гром грянул, — голос ее окреп, — царица моланья огненное пламя спустила, молния освитала; рассказали и разбежались нечистые духи восвоиси: водяной в воду, лесной в лес, под скрипуче дерево, под корень, а ветрянный под куст и холм, а дворовый мамонт, насыльный и находжий, и проклятый дьявол и нечистый дух-демон на свои на старые на прежние жилища... — Вновь дунула шептунья на больного. — И остался один здоровый!.. русский!.. дух! — И в третий раз сильно дунула она... И распахнулась душа немтыря, и вошла в нее шептунья хозяйкой, и выигрался бой нешуточный, завертелась морока рисковая.

Смотрит Иван — в закатном лесу он хворост собирает. Поодаль кобыла стоит, в воз запряженная, а воз уж полон хворостом. Чует Иван — притомился, кажись. Провел рукой по лицу — пот ручьями, жарко, душно ему. Попить бы где? Глядь — ручей журчит. Пошел к нему, да на правую ногу споткнулся. «Плюнь три раза через левое плечо», — будто ветер прошлестел по лесу. Недослышал Иван и дальше пошел. «Эх, Ваня, Ваня...» — прошлестело вновь. Прилег над омутом, пьет жадно. Вдруг кто-то хват его под водой за бороду и вниз тянет. «Продай душу, — говорит подводный голос, — отпусти». Взбрыкнулся Иван, задергался, а его и впрямь не пускают. Озверился Иван, дернул себя — полбороды оставил! — вырвался на волку. Задыхается, глазами блуждает. Схватился поскорей, и назад, к кобыле бегом. Огрел ее кнутом, глядь, а она закаменела, только с нижней губы слюна, словно вожжа, тянется... Заорал Иван и прочь от проклятого места в лес ударился. Бежит, бежит... видит: двое путников у костра сидят, в котелке что-то варят. Слава богу — туда! Добежал, озирается, зубы стучом стучат, рука ко лбу тянется... «Погоди ты креститься, — ему говорят, — ишь спужался-то... опохмелись». Потянулся Иван к кружке, а рука-то, что ее подает, как есть мохнатая вся. Ахнул он — и опять в бега! Летит — лес ломит, а вослед ему — хохот лешачий до небес. У-тю-тю!.. Кусты одежду когтями рвут, в волосы нороят вцепиться, меж ветвей то ли солнце, то ль луна мелькает, глаза слепит... Очнулся на дереве, слава тебе... Дупло рядом, сунул голову туда с перепугу и застрял. Ни вперед, ни назад. А в гнезде филин детским визгом визжит. Поднапрягся — чуть уши там не оставил! — вырвался. Опамятовался, глянул вниз — а низ-то вон он где! Глянул вверх — та же картина, только вверх ногами, и там низ, и там... Ну, думает, денек! Вдруг что-то на шею скользнуло и кольцо обвилось. Иван едва с дерева не упал — змея!.. А та в три кольца обвилась, хвост зубами закусил. Хотел закричать — куда там — все ту же кольцо, ту же... Глаза на лоб вылезли... «Тихо, Ваня, — слышит он ласковый девичий шепот, — тихо, милый, не змея я, а судьба твоя». Обалдел Иван вконец, не шевелится. «Заколдована я, — говорит змея, — темной силою. Ты — спасенье мое, ты мой суженый. Я кольцо — у кольца нет конца, искушенья все удержишь — не минуешь венца». Кольца, конца... Иван и так еле на ветке держится, змея шею скрутила, из дупла филин зырится. «Время дорого, Ваня. Иди! — торопит шепот девичий. — Только прямо иди, не сворачивай!» Внизу — низ, глазом не достать, вверху — низ... Куда идтить-то? «Вот она, доля твоя, Ваня, — прошлестела тихим хо-

ром дубрава.— Иди — собой станешь...» Ладно, всем смертям не бывать, одной не миновать — шагнул он в лесную пропасть... И пошел меж ветвей. Шел, шел и вышел на край поля утреннего, золотистого, где столько поту пролито. Жаворонки поют, кузнечики стрекочут, серпы там и сям рожь на землю кладут... Идет он среди жатвы со змеей — прямо ведь сказано, — голову повернуть совеститься. «Верь и иди, — прошелестело поле теперь. — Мы с тобой будем». Со всех сторон глаза-васильки провожают его, подбадривают. Кто-то, невзначай будто, мимо прошел, краюху хлеба сунул. Другой — лаптей связку. Одино дворец рябой, что в колодеце нырял, совсем рядом прошел, серп вытирая. «Молитва, крест, чуранье, лен, чертополох, — задуженной скороговоркой, сквозь зубы, наставлял он, — волосатые боятся медной пуговицы, про петуха ты знаешь... Рыжих обходи... И ни за что не оглядывайся!» Иван кивнул.

— Немтыренко! — вдруг барыня закричала. — Ты куда?!

Оглянулся Иван... и загремел с обрыва — откуда он взялся тут, ввек не было... Пока катился кубарем, все растерял — и хлеб, и лапти. «Говорили же: не оглядывайся!» — вздохнуло вновь. Долго катился, а все ж прикатился куда-то... Встал, отряхнулся — чисто поле, куда ни глянь, обрыва будто и не было. Только камни вокруг да пыль оседает. Неподалеку, на холме, три конных богатыря дозор несут, прямо — столб пограничный. Пошел прямо, как сказано было. «Ты куда, Вань, в тридевятое? — спрашивает больший богатырь. — Бог помочи!» «Бог-то бог, да и сам не будь плох», — прошелестели знакомые голоса. Шагнул Иван за пределы Руси... Спаси и помилуй!.. Заросли непролазные, обезьяны по ветвям мечутся, хохочут, на опушке избенка камышовая на столбах стоит, львы и тигры, будто кошки мурлыкают... люди черные, как смола, срам лишь прикрыв, вокруг огня пляшут... «О, урус, урус! — увидали его. — Заходи, дорогой, гостем будешь!..» А сами ножи точат булатные... Иван скоренько шаг назад... Исчезло все... Снова поле, столб полосатый, богатыри глядят сумрачно... Иван вздохнул, подвинулся к столбу ближе и опять шагнул... Враз оглушительно водопад заревел у самых ног — вниз глянуть страшно, красноежкие мужики в перьях, морды размазаны, на лошадках скачут — это в жатву-то! — удавками длинными целятся — поймать хотят. А уж он и так в петле... Сплоховал Иван, назад, на Русь, попятился. «Не дойдет до конца, — богатыри сомневаются, — ежи уж порог переступить не сдюжит... Да, разинул рот, а не поет...» «Ваня, Ваня, что же ты?..» — змея чуть не плачет.

Обошел он столб с другой стороны, напустил на себя смелость и в третий раз шагнул... Едва шаг этот сделал, как в песке завяз. Перед ним пустыня без конца и края, волнами уложенная, воздух и тот плавится, качается, дышать нечем, от лаптей дым идет — того и гляди загорятся, — сам красный как рак вареный стал. И пошел плясать с ноги на ногу!.. «Сама пляшу, сама скачу, сама солдатиков боюсы! Ха-ха-ха...» Ха-ха-ха да хи-хи-хи.. Кто такие, где они?.. Оглядедся — нет никого. Ну он и понесся вперед, приплясывая, а они опять рыгочут: «у-гу-гу...» Нет конца сковородке этой, песком посыпанной: бежал, бежал, совсем плох стал. «Ну готов?» — спрашивают. Глядь, откуда ни возьмись лужайка зеленая — как тут трава-то растет? — пруд прохладненький, ковры яственные под деревьями невиданными, на коврах басурмане сидят с басурманками, водку пьют. «Рус-Иван, заходи! — приглашают его. — Чай, намаялся?» Морды у мужиков тех копченые, головы тряпками замотаны, бабы — этих совсем не прозвать — лица за занавесками. «Водки тянешь, Иван? Не стесняйся». А Иван прямо к пруду бегом, с разбегу в воду бросается... «Хи-хи-хи!» Как ошпаренный вскочил он: песком плюется, глаза протирает. «Захотелось брызг — надирайся вдрызг или как там у вас... Ха-ха-ха... Вода не водка, ее тут заслужить надо». Глядь — у черт! — пруд-то на другой стороне лужайки... «Черти, Ваня, черти и есть», — подтвердили ему далекие голоса. «Фу, фу, — басурмане забеспокоились, — чой-то уж больно русским духом тянет. Нет ли тут еще кого?» Повскакивали с ковров, курлы-мурлы меж собой затараторили. Воспламенились лапти, Иван их с ног сбросил, голыми пятками на песке пляшет. «Отгадай-ка, Ванька, загадку, — плотную подошла одна занавешенная. — Что тяжелее всего на свете? А то ведь не пустим дальше. Вода наша — отгадка ваша». «Ваня, думай!» — притиснула ему горло, привела в себя змея. «Золото, — лужавые ему краем губ подсказывают, — голова с похмелья». А у Ивана, хоть и не с похмелья, голова гудом гудит, мозги от жары плавятся. «Голову отрежу, душу выну, дам пить, станет говорить!» — шутили пыталели. «Ну отвечай, отвечай и пей от пуза», — обступили его занавески со всех сторон, глазами чаруют. «Да он же немой, как же он скажет? — заволновались родные голоса на другом конце земли. — Помочь надо бы. Разинь, Ваня, рот, коли сможешь!..» Разлепил Иван запекшиеся губы. «Пустой живот — вот что тяжелее всего на свете», — многими голосами ответил он. «Цыц-перецыц! — заорали шиши пустынные. — Кто тут шопчет-то?!» Ан, делать нечего, пропустили его поближе к воде, и вновь вопрос: «Что светлее солнца?»

Что светлее?.. От солнца палящего аж круги в глазах... «Что тут думать-то, Вань,— на жаре думать вредно...» — суесловят вокруг, не дают пройти. «Правда! — голосом многозвучным отвечал Иван.— Правда светлее солнца!» Тут же рука невидимая оплеуху ему влепила. «Поговори ишшо тут! Ишь, расправдился...» А Иван обгорелый — головня головней — сквозь стоянку их дале идет, как по маслу нож — у, бесплотные хохлики!.. Девки ведрами в пруд воды доливают, плескаются там — блазнят, манят... Вот он пруд — рядом... «Что сильней человека?» Глаза у Ивана от пытки огненной вот-вот вытекут, еле жив уже... «Все, спекся... Сдавай карты, ребята, тасуй колоду... душу мне.. а мне змею, я из нее поясок сделаю...» Тут же бухнулись на ковер, раздавать карты начали. «Думай, Ваня,— сказали издали,— твой ответ...» «Сбрось удавку-то, ты ж в гостях!» — орут нехристи. «Ваня, не бросай меня!» — змея слезно молит. «Застрел дурак, не пройдет никак!» — девки в пруду ликуют. «Любовь! — тихим новым своим голосом сказал вдруг Иван.— Любовь и есть сильнее человека...» «Вот-те и немой...» — удивились свои. «Ваня!» — змея так притиснула его — чуть не задушила на радостях... Стон и визг!.. «Да пропадите вы все пропадом! — застонала нечисть.— На, залейся, лопни хоты!» Наваждение разом сгнуло. Глядит Иван — уж не пруд, а море синее, бескрайнее перед ним. Со всех ног к нему понесся! Летит — задыхается на бегу,— а море ну ни на шаг не ближе. Дотоле бежал, покуда из последних сил не выбылся. На карачках пополз, а море где было, так и есть. Упал в песок — двинуться не может. «Ну вот, Ваня,— шепчет девичий голос,— мы и пришли. Отступи теперь три шага назад». Поднялся Иван с трудом и на три шага назад попытался. «Это присказка была,— вздохнули вдали,— держись, Ваня!..» Тут как раз ворота тесовые за ним и захлопнулись. Озирается: белокаменный двор монастырский пред ним; вечер тихий, прохладный. С колокольным звонят — к вечерне зовут. Вот монахи идут — в храм направляются, на Иванамытаря исподволь поглядывают. А в глазах добро, благодать тихая. Чует Ваня — и его туда, куда все идут, ноги сами несут. Внутри вошел — в гулкой церкви черным-черно от монашеских спин, свечи плаваются, бормотанье повсюду благозвучное. В стороне семь открытых гробов стоят — покойников, знать, отчитывают. «Ты что же, нехристи, в храм святой с гадюкой заперся,— шепнули ему строго.— Ты в своем уме? Сними тотчас...» Все молещички повернулись к нему, смотрят гневно. Потянулся Иван к змее — вдруг слышит голос ее: «Прощай, Ваня...» А монахи уж с колен встают, к нему приближаются

Пронес Иван руку свою мимо суженой и шепоть на лоб положил — «свят, свят, свят...» А рука-то ко лбу и прилипла — отодрать не может. «Пособите ему!» — прогремело под сводами церкви. Чья-то лапа мохнатая дернула — отлетела рука... только пальцы во лбу торчать остались, кровь с них капает... Взвыл Иван, а ему в ответ: «Будешь знать. Все, что ни есть, оторвем. Ишь, раскрестился!» Хохот, визг, удар грома... Со свистом влетела молния, обратила всю монашью рать в стаю воронья — заматалось воронье в мертвенных лучах лунных... Иван здоровой рукой и зубами от рубахи кусок оторвал, кое-как культию заматывать принялся... а покойники уж из гробов встают, вместо глаз — пятики медные. «Вот оно, крепись...» — прошептали вдали. «Где он тут? Ни хрена не видать...» — дохлецы по церкви шастают, воронье орет-надрывается. Оцепенел Иван, в глазах — ужас... «Где же ты? Подай голос-то...» Ближе, ближе, совсем рядом уже... Не выдержал Ваня, обернулся, хоть и знал зарок, к двери бросился. Начал биться в нее, а она — как стена. Тут-то его и сцапали. «Вот удача-то! Вот улов! — ликуют усопшие и клыки вурдалачьи показывают.— Враз двоих в один гроб и заправим сейчас». Запихали Ивана, как ни бился он, в деревянный гроб, сверху крышечкой притиснули. Гвоздями приколачивают, приговаривают: «Родился неумным и умрешь дураком». Подхватили гроб и ну с ним бежать! Бегут, радуются: «Вот так праздникчек!..» Вон и яма — загодя, видать, вырыли. Прямо с бегу и швырнули туда. «Как, Ванюша, не отшиб ничего? Ха-ха-ха...» И давай сверху камни, землю бросать, блекотать по-козлиному... Иван колотится, орет что-то. «Полежи, полежи там, одумайся...» Вертится Иван в гробу, задыхается... все, конец!.. «Адшеолтартарнаракадийджханнам!» — грянул ад жутким хором... тьма кромешная... вечный плач... море полыхающее... бездна... и змея в огне с голубыми глазами человечими... Помилуй мя и спаси!.. Лунная ночь, погост деревенский. Шевелится земля на могиле — это Иван наружу выбирается. Вылез на волю: весь в земле, рот открыт — воздух ведрами пьет. «Ай да Ваня!..» Тотчас видит: мужики бегут — на подмогу небось! — все свои, все родные, деревенские. Наконец-то!.. «Упырь, упырь! — кричат.— Ведьмак! Хватайте!» Налетели вмиг, из земли вытащили. «Гляньте, и впрямь упырь — из могилы лез, да с змеей ишшо!» А змея шипит на них, не дает к ней приблизиться. «Ну мы его полечим!..» Кинули его наземь, руки, ноги прижали. «Кол давайте, да только осиновый!» — суетсяяй вокруг. Притащили кол, приспособились и ну его в грудь Иванову забивать. «Морока, Ваня, ой, морока,— шепчут свои,— не мы это, а они. Ты уж выдожи...» Кол тем временем вколосматили, пригвозди-

ли Ваню к земле-матушке. «Снимешь ошейник?..» Молчит Иван. «Вот упрямый... Ну бывай здоров и паси коров! — засмеялись «друзья». — Взаправду ведь сдохнешь...» — и пошли восвояси, лишь глаза-уголки в ночи светятся... Теперь ворон хищный на колу сидит, в глаз целится. Все, ребята, конец пришел... «Не конец, Ваня, только верь! — змея-невеста подбадривает. — Нет конца...» Вдруг, откуда ни возьмись, кружевницы-девки бегут, окружили, ахают, охают: «Ваня, милый, что с тобой сделали...» Ворон враз улетел, испугался. А девки-то, видать, прямо с постелей наладились: все босые, кто в чем, кто ни в чем, вокруг Ивана бегают, титьками трясут: «Ой, змея, змея гремячая! Вань,ними змею, очень боязно...» А сами все ближе и ближе: глаза смелые, руки к шее тянут. Змея шипит, торчком стоит. «Ваня, беденький, как они тебя... У, пропойцы! Расскажем все барыне», — кол осинового трогают, глядят... Смотрит Ваня — кол расти принялся, на глазах зеленеть... «Солнце выйдет, прижжет, ты в тени-то как раз и окажешься». А кол и впрямь уже в дерево вымахал. Зашелестел листвою, птичками запел, плодами диковинными украсился. Глядь — вот-те на! — нет погоста вокруг, а поляна ночная, костер посреди — искры в небо! Полуночницы-морюкуньи осмелели вконец — что было на них, и то скинули, хороводы шальные водят. «Вот охота ему, — меж собой говорят, — приварился к змее, змее-гадине. Отцепил бы ее да и к нам бы шел. Мы б потешили его, всласть потешили...» А Иван лежит, еле дышит — ствол грудь распирает, к земле давит. «Все, кончаюсь, братва, — напослед говорит, — не посетуйте...» Змея рыдает, бедная, с родной стороны торопят: «Говори, Ваня, вспоминая скорей — а не то заморочат, залукавят вконец...» Из последних сил собрался Иван, поднапрягся и явил голос свой на весь белый свет: «От осины не родятся апельсины! Чур меня, чур! Христос воскрес — исчезни бес!» Перекрестился культей и откинулся. Завизжали приворотные поросней, забрехали шутовки на разные голоса. Вновь блеснуло, закрутилось все — словно вихрем всю нечисть вымело. И раздался восхищенный вздох: «Морочила морока, да проскочила сорока...» Пальцы во лбу, кол в груди, змея на шее — видит Иван: стоит он на библейских холмах, в благодати земной... Тишина и покой — заслужил тишину! — и к нему сам Христос приближается... Ноги босые, голова в терновом венце, хитон бедный, вервью подвязанный... Упал раб земной, распластался... «Встань, Ваня, мы теперь равны — ты великие страдания выдержал». Встал Иван, господь десницу к нему простер... и тотчас и кол исчез, и пальцы вновь на руке оказались. «Все искусы прошел — дошел до конца, дальше некуда. Вот и пасха твоя! Молодец,

Иван! — все тянет спаситель руку к нему. — Теперь смело снимай, — на змею показал. — Разрешаю». Иван глянул в глаза ему — а глаза черные, бездонные, в себя, словно в пропасть, влекущие. «Это воля моя, — торопит божий сын. — Да и солнце встает». И впрямь — потеплело на небе, вот-вот ясное объявится. «Ну давай. Я ведь прошу! Ну!.. — черноглазый к змее тянется. — А не то прокляну!» Заворуженный Иван столб столбом стоит, не шевелится. «Не избудешь греха, право слово!» Бедный Ваня — он уже понял все, да сковало его, волю вылушило. «Ради себя — Христа ради прошу, что — на колени встать?!» — глаза уж вспыхивать стали, рожа дергается, светлый венчик тает на глазах... «Дай, Ванька, сей момент, а то порешу!» — и все тянет, тянет руку к нему, тянет лапу когтистую... Но тут заорал петух, заорал Иван, да так, что затряслись холмы: «Прочь изыди, враг рода!» Крест, сей же миг крест!.. Сатана — ясное дело, сам и есть: глаза красные, клыки в полвершка! Озверел вконец, ничто его не берет. «Ненавижу!» — кричит и... схватил бы Ивана за горло, да змея тут стрелой мелькнула и вонзилась, пронзила его насквозь. Гром!.. молния!.. взвихрился весь мир!.. Расслоился нечистый, распался, взрыднул, хохотнул жутко, возвернулся вновь и сгинул... Вновь церковь прежняя, светящаяся наливным солнечным жаром, — любую пылинку видать. Иван на коленях стоит — молитву творит, как заведенный. Вдруг на голову ему рука легла легкая. Вздогнул, поднял взгляд — дева чудная, красоты несказанной, будто из света сотканная. «Встань, — говорит, — Ваня. Избавил ты меня от заклятья, и теперь я твоя. Я жена твоя, богом данная». «Эх!..» — вздохнули радостно на далекой родной стороне. И от этого вздоха будто трепет по струнам побежал — загудели струны... Ну а встал Иван уж совсем другим — молодым и пригожим встал. Оба счастливы, оба светятся, в дорогах белоснежных нарядах — ни дать ни взять: царевич-Иван со своей Еленю Прекрасною. Так бы век и стояли — друг на друга смотрели, да свои отрезвили. «А теперь, — говорят, — Ваня, дёру! У кольца нет конца — это жизнь...» И вот скачут они на белых конях — на Русь поспешают. Перелески, ручьи, овраги — все назад летит! «А ну стой, Ваня, к земле прильни!» Слышит он — гудит земля. Соскочила Елена с коня, озирается. «Не уйти нам от них, просто так не уйти...» Гул все ближе... «Ваня, верь!» А Иван дрожит — теперь есть что терять... обняла его, обратила вмиг: коней — ведрами, колодец — себя, а его — старушкой древнею... И все вовремя — вот и семеро в черном на черных конях... «Эй, старуха! Не видала ли?» — «Что, касатики?» — «Добра молодца с красной де-

вицей!» — «Как же, выдывала, — бабка шамкает, — проезжали одни, я ишь девкой была...» «Вот неладная, не туда гребем», — своротили коней, прочь умчались... А Иван с Еленой дальше скачут, версты считать не поспевают. «Ну Иван, ну ловкач!» — свои кричат, удивляются. «Колотырники! Пусто-бои! Это ж были они! Догнать! Взять!» — страшный голос гремит за спиною... Скачут милые степью безбрежно, а погоня вновь слышна... «Ваня, стой, не уйдем!» — и опять они наземь соскакивают... А погоня летит быстрее ветра!... Луг зеленый, овечка пасется, при ней пастушок... «Эй, пастух! Не видал ли?...» — «Кого?» — «Добра молодца с девой красною!» «Я пять лет эту овечку пасу, — отвечает пастух, — а видать не видал ничего. Птица мимо не пролетывала, зверь никакой не прорыскивал.» «Эй, обида, не туда плывем!» — раскрутили коней, хлестанули сплеча, ускакали прочь... «Ну Иван! — поражаются близкие уж голоса. — Ну догада!» Мчатся лубые борами сырыми, холмами волнистыми, полями раздольными — Русь уж вот она, рукой подать! «Ах вы бестолковые, раззявы, шишмонники! В чогарку всех! — гром гремит за спиной. — Догнать, схомутать и представить!..» Снова грохот копыт — вновь погоня... «Близко, Ваня, Русь, — Елена кричит, — да видать, не сподобимся!..» Вздыхали они вновь коней, соскочили с них и в последний раз обнялись... Кони ивами стали, он — старым, плешивым попом, она — ветхой церковкой: еле стены держатся, кругом мхом проросли... А погоня уж тут как тут: «Эй, старик! Не видал ли?...» «Кого, батюшка?» — «Только врать не смей — добра молодца с красной девицей, пропади они пропадом!..» — «Я уж тут сорок лет служу — ни один человек не захаживал...» — «Фу, фу, это Русь?» — «Русь, родимые». «То-то нечем дышать, лучше ссылка!..» — развернули коней и утрехали... Неужели все? Радость, Господи! «Вот и все, — подтвердили рядом совсем. — Вот и все!..» Попик старенький слезу смахнул и, закрыв глаза, телом всем к церквушке прильнул, крепко обнял ее, милую...

Очнулся Иван, видит — за столом истертым посередь избы он сидит и беззубую знахарку-заговорщицу тискает. Та смеется — слезы льет — отовсюду на него лица добрые глядят — любят, похихатывают. Да и как не любоваться: стал хорош и пригож — добрый молодец!.. «Будь здоров, Иван! Вот и сказке конец, по усам бы текло... Не нальешь ли?»

— Это ж надо! — рябой хохочет. — От осины не родятся апельсины!.. Ну Иван!

— А чего, — ухмыляется Иван, — нас соплей не перешибешь — мы такие!

Под благодатным солнцем сентября, среди прощальной зелени деревьев неслась по снегу, сыпя серебряным звоном, тройка лошадей, запряженная в сани раззолоченные!

На подушках барыня Прасковья Матвеевна разметалась — от волнения красная, в кружевах вся, будто в облаке. На запятках два нарядных опричника с секирами — один выборный, другой староста. Дворецкого и вовсе не узнать: Дед-Мороз да и только, борода сзади летит! Он и правит.

— Соль еще есть? — крикнула сквозь скрип саней барыня.

— Есть, матушка!

— Заровнять за нами, дабы свежий был путь.

Свистнул выборный, и с обеих сторон от дороги явились из-под земли — в ямах сидели — мужики и бабы с ведрами, спешно соль метать принялись.

— Какая честь, господи! — воскликнул староста. — Да и по заслугам, нечего сказать!

Сани летели прямо на густую строевую рошу, что стеной стояла впереди.

Прасковья Матвеевна махнула платочком:

— По сему знаку, не ранее.

— Все подпилено, матушка, люди с утра ждут.

И впрямь, к каждому подпиленному дереву тянулась веревка из куста. В кустах угадывались люди.

— Какая мысль бессмертная! — восхитился Дед-Мороз. — Сама природа как бы ниц падет! И вид какой откроется!..

Тройка вынесла сани из обремененной роши и промчала их сквозь триумфальную арку, украшенную аллегориями отечественных побед, с огромным вензелем «Е» на вершине. Впереди и впрямь открылся отменный вид: усадьба, нарядная, словно невеста, пред ней — зеркальный пруд, пестрящий многоцветьем парусов, лодок и гондол...

На изумрудной лужайке, граничащей с прудом, под сенью лукового дуба красовались две пейзажные избы с кружевной резьбой. Селяне в шелковых рубахах и нарядных сарафанах вели пред ними беззаботный хоровод, пастушок играл в рожок, а пастушки плели венки из полевых цветов.

Барыня и гвардия ее придирчиво все оглядели.

— Бойчее, Прохор! — крикнул выборный одному из хороводников и погрозил кулаком.

Вдруг из парка выбежала избушка на куриных ножках. Смешно подковыляя, она молвила зычно:

— Уж ты гой еси, сударыня-матушка, исполать тебе! — Потом, бренькнув бала-

лайкой и заплясав: — ой, люли, люли!.. — она двинулась по аллее в глубь парка. — Провожу — покажу — не посетуешь! — заднее ее окошко распахнулось, и высунувшаяся оттуда рука поманила за собой.

Парк был самый новомодный, аглицкий: деревья высажены группами наподобие букетов, солнечные, в кружевных тенях лужайки, неглубокие овражки под выгибными мостиками, то басовито, то ласково журчащие ручьи. Повсюду на садовых скамьях и в беседках сидели парами пригожайки с пригожайями, застыв с приятными беседами на устах.

Избушка-поводырь ни на миг не унималась: то песни пела, то соловьями заливалась, то выпархивала из себя стаю голубей, то кваску из окошка испить предлагала.

Из недр пещеры вылез на свет божий древний, заросший донельзя отшельник.

— Пятьдесят лет, не ведая света белого, сижу я в сей пещере, — хрипло молвил он. — Пусть я ослепну, дал я зарок, но узрю ту, что ярче солнца!..

— Хрипишь ненатурально, — перебила его Прасковья Матвеевна. — Дать ему воды, да попустуёной.

Отшельник поклонился в пояс.

За очередным изгибом аллеи открылся вид на холмистость, возглавляемую неприступной с виду крепостью, сплошь усыпанную оверху турками в тюрбанах. Все подступы к крепости усеяны были доблестными россиянами, застывшими в штурмовом порыве, пушками, горками ядер. На лестницах, примкнутых к стенам крепости, гроздьями висела передовая русская атака.

Барыня со значением показала свой платочек фельдмаршалу, который чем-то напоминал как светлейшего, так и воеводу.

— Вмиг возьмем, матушка, не сомневайся, — заверил он.

— Вмиг не надо, но и не тяни... — она вдруг побледнела: издали лавиноподобно приближался многокопытный топот.

Побледнел растерявшийся фельдмаршал, побледнела и вся свита.

— Как?! — потрясенно выдохнула барыня.

— Это наши... гости! — донеслось с вершины дуба, из огромного гнезда со стоящим в нем аистом. Аист держал в клюве запеленутого младенца. — Со всей округи едут...

— Так что же ты стоишь?! — рыкнула Прасковья на дворецкого. — Встречай! Да держи их вместе всего, дабы не шлялись где попало! — и уже вслед убежавшему: — Вина не давать! — и широким петровским шагом устремилась далее.

Избушка поспешно заковыляла следом.

Аллея круто изогнулась, и перед взорами идущих предстали античные руины и на их фоне три всеизвестных мудреца: Сократ, Вольтер и Цицерон. Сократ был в хламиде,

Цицерон — в тоге, Вольтер — в привычном своем камзоле. Расхаживая взад-вперед в глубокой задумчивости, мыслители без умолку сыпали афоризмами, как бы делясь ими меж собой. Из врытой в землю бочки торчала голова четвертого.

— Не верю, ни во что не верю, — в ответ на все их утверждения талдычил Диоген.

— Как это — ни во что? — не своим, державным голосом удивилась барыня.

— В Русь святую верю, в божье провиденье, в мудрость скипетр держащих! — поспешно оправдался человек из бочки.

— То-то же... — удовлетворилась барыня и двинулась туда, где березы изогнутой подковой как бы окаймляли «зал» с дерновыми скамейками партера, с вырытой в земле пред сценой ямой, где сидел оркестр. Два богатыря, потянув за ленты, разверзли занавес из вьющегося гороха, открыв сцену, на которой толпились звери, герои басен Лафонтена: лиса и журавль возле кувшина, ворона с сыром в клюве, в очках мартышка и т. д.

— А это что за зверь?! — ужаснулась Прасковья Матвеевна.

Лиса ивспрям была толста чрезмерно.

— На сносях, матушка, — объяснил выборный. — Но уж больно верно изображает.

— «Изображает»... Лучше пусть рождает.

— Ха-ха-ха... — отозвалась избушка.

— Сменить немедля! — вся в гневных пятнах, барыня отворотилась от театра и уперлась взглядом в разряженного в пух и прах, приглаженного, поддурманенного пейзанца, что стоял с раскрытой книгой в руке вблизи плакучей ивы.

— А это что за чучело?

— Пейзан ля рюс, как вы сказали.

— Кто таков, я спрашиваю?

— Немтыренко.

— Почему один? Заблудился?

— Наедине с раздумьем, как было велено.

— Пусть вкупе размышляют — надобно поболее любви.

— Уже готово! Прохор, бабу!

Немтыренко стоял как каменный в вольной своей позе, слушал, как смолкали отдаляющиеся голоса ревизионной братии... В поле зрения его чрезвычайно задумчивого взгляда внесли скамейку и усадили на нее нарядную селянку. В руках селянка держала книжицу с торчащим из нее цветком, поза избличала крайнее к нему внимание...

Но что это, боже?!.. Даже косвенного взгляда достало, чтобы узнать в сидящей свою волшебную Елену...

И она, закаменев, не в силах вымолвить ни слова, на него глядела... Забыв про все, все вспомнив, к ней пошел Иван...

— Стоять! Не шевелиться! — тотчас взметнулся перед носом у него кулак. — В сибирку захотел?!

Так, шириной всего в три шага, легла меж

ними пропасть, но и через эту пропасть протянулись светящиеся нити счастья, протянулись из сказочной их повести прямо в живую явь.

— Молодцѐм! Так взгляд держать! Еще поболее любви. Опосля — по чарке си-вухи!

Для Елены с Иваном время остановилось, мир замер. Да и вокруг все замерло. Только солнце неумолимо двигалось к закату.

Недвижимы были богатыри с шелковыми лентами в руках...

Оркестр молча томился в своей яме...

Мудрецы переминались с ноги на ногу...

Отечественная рать, равно как и турки, каменела на поле брани...

Замертвел и хоровод...

Смеркалось...

Вдоль парковых аллей огненным пунктиром загорелись плоски с салом.

— Едет! Едет! — многоголосым эхом разнеслось повсюду.

Вмиг натянулись тетивой веревки в потемневшей роще...

Толпа гостей засуегилась у крыльев усадьбы, поправляя платья, теребя платочки, вера...

— Едет!..

Елена и Иван, застыв, томились в пытке.

— Стоять! Всем стоять! Убью!

Не вынеся ожидания, упал Вольтер — его тащили под руки в сторонку.

— Скотина!

— Да он с утра не жрал — все бубнил...

— Цыц, едет!..

«Снежная застава» — начало санного пути, зимы оазис среди лета бабьего — белым бела от соли, с льяною «снежной бабою», с детьми-милашками в шубейках — у каждого в руках «снежок», с Дедом-Морозом и медведем, с цветами и хлебом-солью. Во главе дворовой гвардии, вся в белоснежном кружеве — ни дать ни взять Снегурочка! — сама хозяйка с подзорною трубой, через которую и смотрит неотрывно вдоль просеки, ведущей к тракту...

И вот все ближе топот многих сот копыт, все светлее зарево, рожденное кавалькадой факелоносцев императорского поезда...

— Ну, друзья мои непытанные и немученные, возблагодарим судьбу! — звонко возгласила барыня. — И не ударим в грязь лицом! — она размашисто перекрестилась и отбросила трубу.

Огненное облако меж тем подкатилось к пункту поворота... подкатилось и... укатилось далее...

Всеобщее оторопенье и картина! Обморок души!..

Хозяйка с хлебом-солью на расшитом полотенце и с улыбкой на устах смертельно побледнела и превратилась в изваяние.

Светящееся облако удалялось все дальше и дальше...

Одинокий стук копыт, возникший вдалеке, стремительно приблизился, и все узрели всадника, скачущего к ним во весь опор.

Флигель-адъютант из царской свиты стал был и пригож.

— Мадам, ее императорское величество шлют вам свой привет и сожаление, увы. Курс изменился, ибо есть дела, важнее нет которых. — Придворный так и не спешился — исчез, будто и не был...

Над «заставой» нависла кладбищенская тишина: лишь щебетанье вечерних птах да слабый рокот удаляющегося облака...

В молчании, объявшем мир, едва слышалось дыхание двух людей, мучительно застывших друг от друга в трех шагах...

И снова несутся сани по белеющей в сумерках дороге. Ничего не видящими застылыми глазами смотрела пред собою барыня, и в глазах ее играли блики догорающей зари.

Промелькнули как во сне пруд с лодками... сияющий огнями парк... костюмы, лица... С невыносимо мерзким скрипом сани приближались к усадьбе, зеленый тон которой едва проглядывал сквозь завеси кружев с вплетенными гирляндами цветов.

Впереди, до самого парадного крыльца, двумя шеренгами стояли ливрейные болваны с корзинами цветов. Пастушки в белых платьях, изготовленные к бросанью роз и хризантем, пребывали в нерешительности...

Несколько букетов полетело все же...

Громко хрустнула соль — темнее тучи вышла из саней хозяйка.

Тяжелым шагом приговоренного к позорному столбу прошла она по триумф-аллее, устланной коврами, что тянулась меж рядов фигурно выстриженного кустарника; тяжелым шагом миновала «екатерининскую» арку, сплошь уснащенную медальонами, представлявшими державный фас и профиль; тем же шагом проследовала по саду вдоль бесконечного стола, рассчитанного на свиту многочисленную и блестящую, но ныне лишь на треть заполненного цветом местного дворянства.

Стол меж тем поражал зрение яствами самых причудливых форм — здесь также преобладала античная стихия: парфеноны, коллизеи, мавзолеи, сырно-масляные скульптуры. В дальней главе своей стол завершался высоким золоченым тронем, увы, пустующим.

Огорченные, соболезующие, а порой и язвительные взоры сопутствовали хозяйке в ее траурном походе, конечной целью коего был трон.

Низко перед ним склонившись в земном поклоне, она рекла:

— «Зри, премудрая царица, зри, великая

жена, что твой взгляд, твоя десница — наш закон, душа одна! — голос был глух и дрожал от ярости. — Зри на блещущи соборы, зри на сей прекрасный строй, — она взмахнула рукой вдоль стола. — Всех сердца тобой и взоры оживляются одной!..»

Державинские сии знаменитые вирши были прерваны вдруг далеким гулом, на который и повернулись головы всех присутствующих.

Там, на горизонте, звездами рассыпались гирлянды фейерверка...

Ропот волной прокатился по застолью.

— К Коровину поехала!.. — прослышалось в этом ропоте.

Прасковья Матвеевна с трудом оторвала от ненавистного виденья свой тяжелый, слепой взгляд и вернула его назад, в обитель своего позора.

Все взоры были к ней...

И тогда распрямылась гордо ее спина, окреп и приподнялся подбородок, глаза сощурились, рука медленно поднялась и царственным движением взмахнула белым платком...

Громоподобное «ура!» рвануло воздух, артиллерийский залп потряс окрестности. Содрогнулась твердь...

Пруд будто вспыхнул пламенем от множества зажженных в лодках факелов. Войска пошли на штурм, заверещали турки... И в этот миг над триумфальной аркой вспыхнул огромный царский вензель. Потрясенно онемев, следили гости, как, разгораясь все ослепительнее, «Е» оборотилось вдруг в раскаленный шар, который, брызнув искрами и разметав огонь, поплыл в ночное небо...

Единый восторженный порыв пронесся ветром вдоль стола: все повскакали с мест, все подымали кубки, все здравили хозяйку. А она, гордо опершись о трон, победно улыбаясь, им ответствовала.

Крепость, судя по всему, пала: в грохот канонады вплелись победные аккорды — то вступил оркестр, следом, без промедления, грянул хор. Небо ослепительно взорвалось, пронзенное, как шпагой, пламенным столбом, кой с величайшим грохотом рассыпался блистающим букетом разноцветных орхидей...

Лик Елены то озарялся новым светом, то исчезал во тьму, вновь озарялся...

Иван ей вторил: то он был, то не был...

Глаза ее его глаза искали и находили в яркие мгновения...

За праздничным столом смешалось все: гости пели, обнимались, вино текло рекой, мелькали блюда, глотки, разверстые в восторге, славил царицу бала, которая, воссев на троне, жмурилась от счастья, а личный виночерпий, Дед-Мороз, не успевал ей подливать и подливать...

Вдоль стола «поплыли» лодки с поющими вакханками.

Ночь вождеденная!

— Всех прощаю! — вконец расчувствовалась хозяйка и, чуть не плача от доброты своей, рукой махнула: — Всех до единого! И всех люблю!

В небо взвились фонтаны многоцветных комет; там и сям мерцали новые созвездья, млечные пути, совсем рядом проносились шары планет — то ликовал космос, воссозданный заново!..

Под огненными парусами, в сиянии небесного восторга плыли друг навстречу другу, руки протянув, то пропадая, то являясь вновь, не в силах далее откладывать объятье, Елена и Иван...

— Любовь и единение! — кричала государыня-хозяйка, стоя на троне. — Все свободны!

Повсюду в парке плясали «звери», «птицы», «селяне» и «селянки», пьяная избушка на курьих ножках заливалась соловьями.

Помещики целовались меж собой, целовались со слугами, кто-то рыдал у кого-то на плече, кто-то на коленях просил прощения...

Со всех сторон к столу катили хмельные бочки.

С криками «ура!» янычары и россияне на руках внесли фельдмаршала, черного от копоти, с победным знаменем в руке. Знамена неприятеля повергли перед тронem. Ликованье росло!..

Давя ногами античные творенья кулинарного искусства, к трону с дальнего конца стола неспешно, шаг в шаг, шли два богатыря. На их руках покоился в гигантском блюде шар земной, увенчанный на северной своей макушке главой Екатерины. К стопам величественного хода цветы летели, деньги, кубки, парики. Со всех сторон бежали с криком ликованья ряженые. Арку проломив, дав вазоны и кусты, продирались к трону, как медведь сквозь чашу, пьяная избушка...

— Не жалеть огня! — кричала вознесенная над всеми. — После ужина горчица не нужна!

Разметывая бесовские искры, завертелись куда ни глянь шутихи, огневые мельницы, колеса и спиральи.

Хозяйка бала, блеснув огромным ножом, снесла с торта державную главу и принялась делить планету на мелкие куски.

— Всем достанет! Мы все равны, как братья! — гремела она. — Всех отпускаю! Всем дарую волю!

— И мы! И мы! — вторили ей помещики.

Травянистый холм, невинно до сего возвышавшийся неподалеку, вдруг ожил и, оборотясь вулканом, стал изрыгать из недр своих языки адского пламени.

Страшный треск и грохот содрогнули землю — то рухнула подпиленная роща. Налево

и направо стволы валились, ломая и давя друг друга.

Новоявленный Везувий разверзся окончательно — взорвался склад всех фейерверков — и гигантским огнем унесся в небо, все осветив до горизонта.

— Солнце наше! — возопияли все, став белыми, как снег.

Как снег же белая бесплотная богиня Ника новоявленная взметнула к небу руки-крылья, желая как бы отделиться и взлететь...

Так вознесся к апогею пир неистовый, рожденный неумною гордыней.

Так огнем и светом была отпразднована любовь, и для двоих в ту ночь земля оказалась небом...

Утро выдалось пасмурное, но лучше бы оно не выдавалось вовсе.

Беспощадный свет дня наступившего представил в подлиннике все последствия минувшей оргии...

Глаза отказывались глядеть на самый воздух, траурно рябивший хлопьями гари.

Вулканический пепел лежал повсюду толстым слоем, скрывая под собой все признаки как лета зеленого, так и осени золотой.

Разверстая земля дымилась, источая вонь селитры.

Турецкая крепость взята была, как теперь выяснилось, самым зверским образом — лишь груды растерзанных обломков валялась на поле брани да бездыханные тела бойцов там и сям красовались в самых живописных позах: кто обнявшись с врагом, кто крепко сжимая недопитый штоф.

Лежала и роща, будто сметенная ураганом.

Ураган этот прошелся, видно, и по пруду, в котором наряду с пустыми и перевернутыми лодками плавали ветки и столы, гилянды цветов, кусты, чалмы, избушка кверху курьими ногами, а также множество прочих заманительных предметов.

Главный стол был разгромлен, а вместе с ним и многочисленный фарфор: его остатки, как и остатки кушаний, темнели мерзкой грудой прямо на земле. Сохранился только трон, на котором спал дворецкий в красной шубе и валенках.

Триумфальная арка существовала лишь наполовину, сад был поломан и местами выкорчеван.

Стада коров долизывали останки санного пути.

Особняк трудноопределимого цвета весь был увешан серыми, обгорелыми лохмотьями кружев.

Отшельник и побратавшийся с ним фельд-маршал тшились вспомнить друг друга, не в силах разомкнуть объятия.

Разоренная хозяйка стояла на веранде с бокалом рассола в руке и мутным взглядом

взирала на погромище. Опухшее лицо ее с сизыми мешками под глазами было страшно.

Все было мерзко, куда ни глянь.

За спиной ее восставали из обморока и со стоном силились приподняться гости.

Громыхание во внутренних покоях давало понять, что и там кто-то ожил.

Хозяйка перевела взор свой вниз и увидела две коленопреклоненные фигуры с поднятыми к ней святищами счастьем лицами.

— Государыня, благослови! — сказал Иван, волнуясь. — Дозволения твоего покорно просим под венец идти...

Прасковья Матвеевна схватилась за сердце. В другой руке дрожал рассол. За ее спиной теснилось уже несколько небритых, с губами черными оплывших лиц. Кто, промаргиваясь, чистосердечно ужасался утреннему пейзажу, кто, страдальчески морщась от непосильного умственного напряжения, пытался уразуметь суть дела.

— Мы друг друга любим! — добавила Елена молящим голосом.

С незапамятных времен любовь нас губит — новая обида змеей сдавила горло одинокой самодурки.

Секли на скотном.

Страшно свистели кнуты в руках дворовых экзекуторов, вонзаясь хлопко в обнаженные тела.

По шиколоть в навозной жиже помещики, их жены, дети, челядь следили мрачно за расправой.

— Я вам полюблю... Ишь, слова узнали... — приговаривала в такт кнутам Прасковья Матвеевна. — И ты туда ж, Матрена?. Я на тебя ошейник-то накинута... к стулу привяжу... Винись немедленно... Я благословлю — век помнить будете!

Скорбным полукольцом окружив место казни, деревня, превращенная в толпу ряженных, тупила взоры, стыдясь смотреть на двух нагих людей, привязанных лицом к столбам. Кнуты свистели не смолкая.

— Немтыренко-то... видали, запорожец... заговорил... обрел язык... Прощения моли!.. Я повенчаю — ляжете вдвоем в одну могилу!

Тела казнимых на глазах вздувались бурой сетью. Но они молчали.

— Молчите?! — задохнулась барыня. — Ужо! Пеняйте на себя! А ну, прожарьте их до косточек!..

Один из палачей ненароком будто исподлобья глянул на тираншу. Во взгляде этом была ненависть.

По пояс голый, лежал Иван вниз лицом на тулупе, брошенном посреди избы. Изба была пуста, и лишь шелудивый пес лизал его окровавленную спину.

Но вот он шевельнулся, придя в себя, и поднял голову. Повел туманным, тяжелым взглядом. Взгляд остановился на печи, где горел огонь... Медленно поднялся и так же медленно пошел к огню...

В печи горели два полуживых полена, мерцали, замирая, угли...

Иван с трудом великим поднял щепку... Щепку бросил... нашел другую, чуть поболее, и сунул руку в печь. Подождал немного и вынул руку. Щепка горела.

Затем он слепо, как бы света себе огнем добытым, добрался до двери...

Люди выходили из домов и шли за человеком, который медленно, оступаясь и покачиваясь, прикрыв ладонью от ветра огонек, нес его туда, где выселись господские хоромы.

В следующий миг ужас дуновением единым обуял весь барский двор: заметалась дворня, хлопая дверьми, забегали крича управители, заржали лошади, спешно запрягаемые в кареты и повозки, кто-то куда-то поскакал верхом...

Иван шел, бережно неся перед собой горящую щепу, а за ним шла вся деревня: кто с вилами, кто с дреколем, кто с серпом...

Усадьба разом занялась со всех концов. Судорогой огонь метнулся, побежал по всем ее пристройкам и постройкам. Разъяренные холопы на вилах и в руках тащили сено и швыряли его в пламя, ловили всюду и лупили барских холуев.

В господском доме под ударами топоров и палок крошилась мебель, брызгами летели зеркала, фарфор, хрусталь — все было ненавистно и уничтожало беспощадно.

Средь дыма, криков, звона, треска Иван метался по покоям с топором в руке — искал злодейку.

Она же — леденея от ужаса, затравленной тварью — ползком из-под кровати... прыжком от ширмы к шторе... вновь ползком — распатланная и ошалевшая — искала выхода... и не находила...

Пламя ворвалось внутрь дома, пожирая и разгромленное и уцелевшее еще. Люди кидались в двери, выбивали окна и прыгали из них.

Весь особняк пылал.

Немтыренко оттащили от огня и держали за руки.

Факелом живым вырвалась из полыхающего дома барыня и, будто пролетев по воздуху, с диким криком рухнула в пруд. Крик ее смешался с ревом пламени и ружейною пальбой.

Отряд солдат, теперь уж настоящих, тут и там сражался с крепостными. Появились и конные усмирители с нагайками и палашами.

Расправа беспощадно была: крутили руки, били чем попадя, тащили за ноги, за волосы. Кто мог, бежал, кто-то уже валил-

ся, сраженный пулей. Пламя перекинулось в деревню — вспыхнули сразу две избы. Спасенья не было нигде — с дальней околицы шла цепь стрелков и, поминутно останавливаясь, давала залп.

Немтыренко шел сквозь все это безумие, не убегая и не прячась — воспаленным, цепким взором он будто искал кого-то.

Деревня же тем временем превратилась в вопящий ад. Сраженье перекинулось на улицу, в крестьянские дворы и на задворки. По полю бежали со своими бесхитростным оружием мужики из соседних деревень. Навстречу им стреляли и скакали всадники.

Ту, кого искал, Иван нашел около избы, из которой вынес он недавно горящую щепу. Она сидела, прислонясь спиной к бревенчатой стене, глаза ее смотрели прямо на Ивана. Дым застилал ее и снова открывал. С топором в опущенной руке застыл Иван. Лучезарный лик Елены был тих и недвижим... Улыбка, чуть виноватая, покоилась на нем. Иван глянул чуть ниже и увидел, как домотканная ее рубаха набухла кровью.

Два молодых солдата стояли с ним бок о бок, не в силах оторваться от ее лица, от великой тайны, что свершалась на их глазах.

Подошел и третий, пожилой, распаленный схваткой, с кровоточащим шрамом на щеке. И он застыл, увидев, как отлетают в загадочную глубину темно-синих глаз две звезды, две искорки души...

И закричал Иван, сплавив в этом крике все горе и отчаянье свое.

— Не-ет!!! — разнеслось над миром, охваченным огнем.

На него набросились, пытаясь повалить, но он все рвался и рвался к ней и вновь кричал беспомощно:

— Нет! Нет!! Нет!!!

Буйная енисейская стремнина с грохотом ударилась в скалу, разлетелась на мириады брызг и, круто развернувшись, вонзилась гулко в узкую и каменистую горловину.

Беспорядочно забухали выстрелы — солдатские фигурки на скалистом берегу окутаны далекими дымками.

Из кипящей, черной воды вдруг вынырнула голова. Ее тотчас же подхватило и понесло туда, где река, вырвавшись из скал, разливалась на солнце бескрайним и слепящим серебром.

Вдогонку вновь сыпанули выстрелы...

С лицом, залепленным мокрыми полуседыми волосами, выбрался беглец на пологий берег великой сибирской реки. Шиколотки и запястья его были стиснуты обручами кандалов, с них свисали змейки разорванных цепей. Быстро кинув по сторонам одичалым цепким взглядом и не переведя еще

дух, он схватил тяжелый, острый камень и сильными ударами принялся разбивать оковы. Удары звонким эхом разносились окрест.

Неподалеку чиркнула о камни пуля и с осиным зудом улетела прочь. Затем донесся звук выстрела.

Кандалник откинул волосы со лба и поднял голову. Лицо его перерезал глубокий шрам, на лбу открылось давнее клеймо, единая для каторжников империи визитка — «вор».

Сверху по течению реки приближались три лодки, а в лодках — люди с ружьями.

Хищно рыкнув полубеззубой пастью, острожный ведрь ринулся в тайгу. Вокруг него свистели пули...

Ломаю ветки, в кровь раздирая кожу, продирался он сквозь чащу — подальше от людей...

Затем горстями ел бруснику, облепленный таежным гнусом...

И вновь бежал. Лес был бесконечен...

Хрипя, срываясь то и дело, лез по отвесной, будто перст великана, в небо указующий, скале.

Добравшись до вершины, он потрясенно огляделся: внизу — извилистые ленточки могучих рек, а вокруг, куда ни глянь, тайга до горизонта...

Один над целым миром, навсегда один...

Беглец не выдержал: стоя на четвереньках, глухо всхлипнув, он завыл по-волчьи...

В водах бурной таежной речушки каторжник боролся с рыбиной, то и дело скрываясь под водой, которая кипела от темных, гладких спин — рыба шла на нерест. Наконец он выбросил бьющуюся лососиху на берег, вылез сам, камнем в два удара размозил ей голову, брюхо разорвал и, склонившись, торопливо начал пожирать икру. Но тотчас, будто взгляд чужой почуя, поднял голову. Мимо на полузатопленном плоту, чуть накренившись, проплывала виселица. На ней покачивались обдаваемые брызгами штабс-капитан от инфантерии и двое, судя по всему, помещиков. Лица всех троих были неразличимо разбухшие, почерневшие, в роях мух.

Кандалник бросил рыбу и, собрав оставшиеся силы, побежал в ту сторону, откуда прибыл знак...

Расковывали в кузне под навесом. Хохот, гвалт, всеобщее веселье царили тут. Цепи и оковы звонко летели в кучу; одни, такие же, как он, тянули руки к наковальне, другие, свободные уже от пут, ликовали, потирая кандалные мозоли.

Одноглазый мужичонка залез на бочку и, размахивая руками, будто крыльями, орал:

— Ой, улячу!

У многих ноздри были вырваны, отрезаны уши.

Большая слобода гудела, будто улей. Пеший, конный люд сновал туда-сюда. Казачьи шапки, шлыки, треухи, тюрбаны, позаимствованные треуголки, голубые калмыцкие, рысьи башкирские, черные монашеские камиллавки, мохнатые кавказские папахи, фески — кого здесь только не было! Многоязыкий гомон заполнил все вокруг.

Вооружены все были абы как: кто копьем, кто пистолетом, кто офицерской шпагой, иным были розданы штыки, наткнутые на палки, а кто ходил и попросту с дубьем.

Штаб восставших был переполнен разнолюдьем. В обширнейшей бревенчатой избе толклись новоприбывшие — их вооружали и заносили в списки.

— Как тебя, браток? — спросил веселый голос.

— Никак, — отвечал раскованный уже беглец.

— А хвамилиё?

— Забыл.

— Ха! Ну ты, видать, свое отведаль, каторга, — бритоголовый пес — глаза себе от черта переставил, рубаха так красна, что аж звенит! — блеснул бедовым взглядом. — Коли без разницы, зовись Бесщастным. Тут все такие — счастья зычут. Эх, плачет по нам плаха! — и трахнул по столу руками — чуть не развалил его. — Пиши, косматый!

Писец-подъячий в черной рясе макнул перо в бокал с чернилами.

— Пиши: Бесщастный Емельян, Емелька. Чай помнишь Пугача? Аль и его забыл?

— Его забудешь.

— То-то!

— Ну, Омелья, не журысь с похмелья, — приобнял Емельяна могучей дланью ушкуйник запорожский с длинным оселедцем на лысой голове. — Пийшлы, уважу...

Вот она, лихая вольница желанная, красные деньки!

У крыльца две винные бочки — пей, кто желает, на крыльце две чугунные пушчонки — для красы. Дверь распахнулась, и вот он — Емельян Бесщастный, стриженный в кружок, в рваном армяке и татарских шароварах — ни дать ни взять Емелька-вор оживший! — в руке играет сабелька кривая.

И — эх! Крест-накрест рубанул он воздух и с подъяльдыком подмигнул императрице, что была тут же неподалеку.

Чучело Екатерины Алексеевны на небольшом «лобном» помосте видно было отовсюду: государыня стояла на коленях со сложенными в просительной мольбе руками, на груди — табличка, на табличке вкривь и вкось: «Праститя». Не перевелись еще таланты на Руси: лицо из теста выпечено, глаза — две медные пуговицы, парик лянлый —

похожа и красива, глаз не оторвать!

— Найн, нет, я ничего не сделать!..

К приказной избе, то бишь к штабу, вели с полдюжины дворян. Все были угрюмы, шли опустив глаза. Бесновался только чужестранец в дорожном платье и широкополой шляпе. Подозревая самое плохое, он непрерывно что-то говорил, доказывал, время от времени выкрикивая русские слова: «Я иностранец... Я дурак сюда приехать... георгрфи... Я нравы изучать... казнь нельзя!.. Я не ваш дворянин... ферштеен зи?..»

— Аглицкий паразит! — уверенно переводил другим пожилой казак. — Пытает наши ндравы... Хочет, падла, жить... не наш, талдычит, кровопивец, а ихний!..

— Эй, мсье французское! — крикнул прямо в ухо незадачливому землепроходцу здоровый лоб с серьгой в ухе. — Небось в своем Парыжу тыщенку душ имеешь, а?

Чужестранец с испугу вытаращил глаза и жалко закивал.

— Я, я...

Процессия уткнулась в человека с лицом безжалостным и с саблей, что стоял, расставив ноги, на крыльце.

Сотня его за главного, чужестранец быстро скинул шляпу, повалился в ноги и истошно закричал:

— Герр атаман! Я пользу приносить... — он лихорадочно выхватил из-за пазухи блокнотик, дрожащими руками перелистал странички. — ...Я ноги мыть и воду пить... — Еще перелистал. — ...Я свой в доску!

Его пытались поднять с земли, а он вырывался и кричал:

— Бунт — это гут!.. Свобода — карашо!..

— Заткни хайло, Июда, четвертую! — хрипло молвил Емельян Бесшастный. — Вишь, вонюга — теперь он за свободу. За свободу — мы! — громко сказал он на всю площадь. И продолжал еще уверенней и громче: — Ну что, братва, головы буйные? Не пора ли нам кудрями-то встряхнуть?!

— Пора!!! — отвечивал ему тысячеустый крик.

— Свобода или смерть! — грудь его распирало от нахлынувшего счастья единения.

— Свобода!!! — взревела площадь на всех российских языках.

И вздрогнула земля, и приняла на грудь свою атаку!

В сумерках предутренних грохочущим обвалом вырвалась в степь и заполонила ее всю несметная, шальная вольница.

И не было степи этой ни начала, ни конца, как не было предела у неоглядного, все сметающего порыва!

— На Москву!.. На Санкт!.. На бур!.. На Питер!..

Воздух рвался в клочья от крика, храпа,

топота. И уторапливая зарю, все быстрее, казалось, вращался огромный, тяжелый шар под согласными ударами копыт... Вот уже запыхало небо... вот гигантский, дымящийся край солнца выполз навстречу мчащейся лавине и осветил, покрасил лица всадников в один багровый цвет...

Ахнуло испуганно десяток пушек впереди, но звуки их тотчас захлебнулись в громкоподобном крике несущейся волны. Взметнулась сталь клинков, взмыли над редутом кони, сметая и давя все на своем пути.

Огненный шар плыл над землей, озаря своим светом лица тех, кто не знал теперь обратного пути. Вольный человек не раб! Емельян кричал за всех, все за него кричали!

Прекратил свое существование и следующий редут...

Победоносно пролетели сквозь деревню. С крыш домов восторженно кричали люди...

Отовсюду вливались в летящую тучу новые бойцы... Туча разбухла и разбухла, глуша все криком, неся над собой сверкающий нимб стали...

Немо и яростно раскрылся рот боевого генерала, и вскинутая его рука разрубила шпагой воздух.

Сотня пушек изрыгнула пламя навстречу конной лаве.

«Ура!» атаки удвоилось «ура!» военным, топот копыт смешался со свистом ядер.

Снова залп!

Взвились со ржаньем кони, теряя своих всадников, загромыхали ружья, забили барабаны...

И снова залп! Ядра догоняли ядра. Кровавый, сизый от пороха и пыли ад взвихрился на месте столкновения двух сил. Месиво из тел, лиц, лошадиных морд заквасило на огне. Снаряды до земли не долетали — прочь летели руки, ноги, головы...

Теперь со смертью обручившись, Емельян отчаянно рубил налево и направо.

— Кроши капусту, будет что солить! — орал он, истоиво сверкая глазами. — Гуляй, братва, до смерти доживем!

И снова залп!

Его рвануло в небо вверх тормашками, закрутило вокруг оси... в толику секунды меняя лики, будто в последний этот миг перелистывая себя как книгу позабытую, он вырвался из клубов дыма и полетел куда-то... Звуки битвы отдалялись прочь, а он все летел... и вот уже, обессилев от полета, стал падать сквозь замелькавшие навстречу облака... со свистом пушечного ядра врезался он в крону дуба и, ломая ветки, раздирая одежду в клочья, рухнул наземь...

Грохнувшись о землю, он тотчас же вскочил. Дымящийся, черный от пороха, бешено вращая глазом, он еще махал обломком сабли, хрипя и озираясь...

Вокруг был тщательно ухоженный зеленый садик, весь в красных яблоках и золотистых грушах, с веселыми кустами смородины и клумбами цветов.

От нарядного, будто игрушка, дома к нему бежала, опасливо вытягивая шею, девочка двенадцати примерно лет.

На крыльце стояла в скромном черном одеянии седая женщина.

Человек в разорванном казачьем облачении сделал шаг навстречу...

— О майн Gott! — всплеснула женщина руками и метнулась к нему, крича: — Теодор! Ну наконец-то!..

И обе — жена и дочь — со слезами заключили его в объятия.

НЕГОЦИАНТ НЕМЕЦКИЙ ТЕОДОР С. ГЛЮК ЗА НЕОСТОРОЖНОЕ УЧАСТИЕ В АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ АКЦИЯХ БЫЛ ВЫСЛАН ИЗ ПРЕДЕЛОВ ИМПЕРИИ РОССИЙСКОЙ НАВСЕГДА.

Эпилог

Фатерланд — отчизна. А именно — баварские предгорья и луга.

Садилось солнце и светом своим последним ласкало, золотило все окрест. Пейзаж, куда ни глянь, был райский, да и по заслугам — народ немецкий всегда умел трудиться. Все тут было ухожено, все прибрано, все на своих местах: хлеб, налившийся полновесным колосом, желтел где следует; виноградники зеленели на извечных своих местах; замки старинные недвижно высились там, где их поставили когда-то предки; шпили кирх, будто свечи в храме поднебесном, славили день уходящий.

Итак, солнце садилось, когда герр Глюк, вооружившись для прогулки палкой, покинул свою скромную обитель, свой домик с садиком, что притулился на краю то ли деревни, то ли городка — в Германии порой не разберешь, где город, где деревня, — и, насвистывая что-то из местного фольклора, начал ежевечерний свой променад.

Одетый так, что не отличишь от прочих, он шел, скучно глядя по сторонам, и в такт его шагам покачивались перья на его зеленой шляпе.

Вот и дорога, ровным булыжником уложенная. Издали приближался многокопытный цокот.

Крестьяне, бросив свои заботы в поле, торопливо шли к обочине, заранее снимая шляпы.

И Глюк остановился с краю от дороги.

Высоковельможный цуг меж тем приближался. Несколько карет возглавлялись всадниками на черных лошадях. Люди низко поклонились.

Лишь Глюк стоял, опершись о палку. Ни снять шляпы, ни поклона не последовало.

Из передовой кареты высунулась рука и махнула беленкиным платочком.

Весь поезд остановился.

Всадники изумленно глянули на невежу, и один из них, коня на край дороги выпятив, легким движением стека приказал снять шляпу.

Ничто не дрогнуло в лице стоящего, лишь в глазах такое мелькнуло что-то, что разъярило конный авангард.

— Снять шляпу, скот!

— Шляпу сьмают, когда в нее горох насыпают, — не меняя позы, ответил Глюк.

— Что?! — придворный хмырь взъярился пуще прежнего и двинул лошадь на нахала.

Тут из кареты полыхнуло пламенем, и шляпу будто ветром сдуло с сумасбродной головы.

Весь поезд довольно захохотал и двинул дальше.

Крестьяне во сто недоуменных глаз смотрели на человека, который из-за глупого упрямства чуть не поплатился жизнью.

Рукояткой палки как крючком подцепил Глюк шляпу, подбросил ее в воздух, поймал и вновь водрузил на голову, так и не согнувшись ни на йоту.

А потом Глюк запел, унесясь взором за горизонт.

— По Дону гуляет... — запел он громко, — по Дону гуляет... — запел он раздельно, — по До-о-ну гуляет, — рванул он во всю ширь своей души, — казак молодой!..

И тотчас тысячеголосый русский хор подхватил удалую песню.

Так они пели, голос в голос, складно, слитно, не жалея сил.

А прихожане местного собора в этот день впервые за всю жизнь не услышали колокола, что немо култыхался, зовя их на вечерню. И в этом, если глянуть в корень, своя есть польза. Недаром же в народе говорят: «Повадишься к вечерне — не хуже харчевни: ныне свеча, завтра свеча, ан и шуба с плеча».

Возвысив гордо голову, Глюк пел и пел не умолкая.

Хотим заметить, если кто-то вдруг не знает или забыл, что слово «глюк» по-немецки означает «счастье».

1982 г.

Сценарий подготовлен
Центральной сценарной студией



Марина
МАРЕЕВА

ОТШЕЛЬНИК

...Скосила глаза — не спит. Лежит тихо, на спине, глаза уткнул в потолок. Потянулась к часам:

— Гера, пятый час. Спи.

— Сплю.

Первый трамвай прошумел за окном.

— Первый трамвай.

— Едут уже, — пробормотал муж.

— Кто?

— Почтальоны. Сели в трамвай, едут на почту. Газеты — в сумки и — по ящичкам, по ящичкам!

— Гера, они дрыхнут еще! Чего и тебе жалаю! — Она поднялась на локте, с жаром: — Гера, кому ты нужен? Кто это прочтет?! Что ты тут корчишь висельника?!

— Заткнись.

— Ты хвалил соцреализм. Там три строчки в обзоре. Гера Зуев хвалил соцреализм. Ну и что? Его все хвалили. Его Шолохов хвалил.

— Заткнись.

— Мы его в школе проходили. Все, Гера, спи спокойно. Никто не прочтет, всем по фигу. Соцреализм! Ну и что? Я вообще на экзамен пришла со шпорой. На правой коленке чернилами — критический реализм, признаки. На левой — соц. Мы это сдавали, понимаешь?!

— То-то у тебя ноги кривые.

— Это юмор? Спасибо, Гера. Ладно, спи. Уснули.

Проснулась — муж тряс ее за плечо:

— Где у нас щипчики?

— Какие щипчики?! Ты что?! — Мутным

взором повела — уже светло, но еще тихо за окном. Часов шесть утра. — В ванной, в ящике... Отстань... — Повернулась к стене и вырубилась.

И снова проснулась. Села на кровати — Геры в комнате нет. Накинула халат, влезла в тапки...

В ванной его нет, сортир пуст, постучала к Витьке — молчок. На кухне Нина Львовна жарила свою вечную яичницу. Томила ее под крышкой до состояния микропорки.

— Нина Львовна, где Гера?

— А где «здрасьте»?

— Да ну вас...

Выскочила на лестничную площадку. Крикнула: «Гера, Гера!» На все восемь этажей, как идиотка. Влезла в лифт, нажала на третий.

Между вторым и третьим висели почтовые ящики. Выйдя из лифта и глянув вниз, Таня увидела аккуратную лысинку мужа и его сутулую спину, обтянутую майкой с линялой надписью «Ай лав джаз».

— Гера!!! — заорала она.

Муж творил святотатственное. Он вздрогнул, глянул на Таню затравленно, но с тупым упорством маньяка продолжил свои криминальные занятия: длинными металлическими щипцами он ловко вытягивал из узких прорезей ящиков свежие газеты, мгновенно отчленил от пачки пухлый четырехугольник «Литературки», бросал ее в висящий на локте пакет — там уже скопился десяток, — а

все остальное швырял обратно в ящики.

Все это было настолько дико, что Таня приснула:

— Ты спятил?!

— Отвали.— Рука с щипцами, занесенная над бумажным уголком, доверчиво торчащим из очередного ящика, замерла на миг и спряталась за спину — мимо и вниз пронесся сеттер, волоча за собой раскормленную бабищу.

— Ты что творишь? — зашипела Таня, когда за парочкой захлопнулась дверь.— Гера! Ты чокнулся! Отдай! Идиот! Положи на место! Тебя посадят!

Гера пыхтел, узкое блеклое лицо его налилось краской, но пакет он держал цепко. Тане стало страшно. Муж свихнулся. Попыталась выдернуть щипцы — держит.

— Четыре ящика уже пустые. Поди сходи по квартирам.

— Герочка...— Она заплакала.— Гера, ты устал... Опомнись! Ну что ты тут делал? Зачем?!

— Сходи заведи у них. Десятая, пятнадцатая, тридцать вторая, пятидесятая.

— Я схожу... Ладно... Но ты кончай. Тебя поймают. Иди поспи. Надо нервы лечить. У Жени есть хороший врач, купим коньяк и пойдем, ладно?

— Ладно. Пойди заведи у них.

В десятой открыл молодец пролетарского обличья.

— «Литературку» выписываешь? — спросила у него Таня.

— «За рулем», — сквозь чавканье.

— А соседи?

— Фокич! — кликнул молодец, почесывая овальное пузо.

Из глубины коммунального коридора выполз бесплотный субъект с испитой, багряно-синюшной физией.

— Нет, — сказала Таня. — Он не выписывает. Вряд ли.

В пятнадцатой — еще похленце.

— «Литературку» получаете? — вежливо спросила Таня у благообразного, крепенького еще старикана в реликтовой полосатой пижаме.

— Получаю ли я? Нет! Я получаю только по морде! — охотно заговорил старикан.— И только по ней! Вся жизнь! — Он очень воодушевился. Должно быть, его редко навещали внуки. Дефицит общения.

Таня попятилась.

— Я получил талоны только за май! — кричал ей вслед старикан.— Я прекрасно информирован! Головкины и Пилевич уже жрут июньский сахар! Получаю ли «? Вопрос! Нет, я не получаю!..

Шлепая тапками, Таня брела к тридцать второй. Навстречу ей спускалась женщина в такой же утренней затрапезе с мусорным ведром в руках. Они разминулись — женщина спустилась к мусоропроводу, а Таня подошла к полуоткрытой двери в тридцать вторую. Вошла недолго думая. Помялась в коридоре.

— Здравьете! — крикнула.— Хозяева!

В одной из комнат что-то грохнуло и — тишина.

— Эй! На минутку! — позвала Таня. Молчок. Тогда она открыла дверь в комнату.

Посреди забитой книгами, заставленной стеллажами комнаты стоял мужчина и молча смотрел на Таню.

— Вы «Литера...» — бодро начала Таня и осеклась.

Мужчина был странный, то есть он был нормальный — лет сорока, тощий, похож на ее Геру, такой же облезлый интеллигентшишка, — но был он очень бледен и дико смотрел на Таню, дико, с первобытным, священным ужасом, а с чего бы? Таня — она недурна, и халат у нее застегнут на все пуговицы.

— Вы что? — спросила Таня.— Дверь открыта, я и вошла. Чего вы испугались?

Тот же ужас и то же оцепенение.

Хлопнула входная дверь, в комнату влетела женщина, та самая, с ведром. Она молча схватила Таню за руку и поволокла к дверям.

— В чем дело?! — заорала Таня, отбиваясь.

— Идите-идите-идите,— женщина выпихнула ее на лестничную площадку, толкала в спину.

— Вы что, сбрендили? — сопротивлялась Таня.— Ну и утречко! Да не трогайте вы меня! Идиотство!

Таня спустилась на пролет ниже — женщина догнала ее, больно вцепилась в локоть: «Подождите. Подождите, я прошу вас... Вы никого у меня не видели! Хорошо? Хорошо?» — смотрит на Таню с мольбой, задыхается. Грузоватая тетка под пятьдесят.

— А что там у вас? Труп в сортире? — Таня тоже была разъярена: такое утро! Сплошные приколы, штабеля психов!

Она спустилась еще на пролет — и снова тетка ее догнала, схватила за руку, заглядывала в лицо просительно, моляще:

— Я вам заплачу. Хотите? Вы ни-ко-го не видели. Давайте я вам денег дам!

— Идите к черту! — заорала Таня.— К черту идите! Ко всем чертям!!!

В шестом часу вечера под напором горячих и потных тел совслужащих Таня пробкой вылетела из трамвая, пробежала узеньким замызганным переулком, пересекла диагонально ссохшееся чрево гастронома, где

с пустых прилавков ей нагло улыбались полногрудые женщины, запечатленные на коробках с молочной смесью «Малыш»...

В парадном она столкнулась с соседками.

— Танька, — крикнула ей Паня, — взять тебе крахмала? Крахмал на карточки переводят!

— Паня, вы рехнулись, — отмахнулась Таня. — Кому нужен ваш крахмал? Что у нас, картошки мало в Союзе?

— Танька, будешь просить — не дам! — рывкнула Паня. Нина Львовна покорно плелась за ней, навьюченная пустыми авоськами. — Балабанова из шестого подъезда говорит, крахмал гикнется. А Балабанова предсказала гречку и швейцарский сыр!

В их коммунальной кухне, где Паниными усилены, Паниным жеутренным матом соблюдалась стерильность и санитария, за дальним столиком сидели Гера и сосед Витя и усердно катали кругляши из мороженого и какао, именуемые в просторечии кашечками.

— Звонили? — спросила Таня, бросив сумки.

— Через каждые двадцать минут звонят, — отвечал Витя. — Я подхожу, говорю, что он в Гаграх. Все жалеют, все говорят, пусть он крепится. Передайте ему: «Крепись! Крепись!»

— Как будто у меня проблемы с пищеварением, — заметил Гера, слизывая какао с пальца. — Суки. Уйду вот к Вите в кооператив. Одна штука, — он повертел кашечку в руках, — полтинник.

— Ну-ну, — сказала Таня, верно оценив их разговорчивость и блеск в очах. — Ну-ну. — И она достала из пакета с мукой початую бутылку «портвешка».

Тут зазвонил телефон, и одновременно ввалились бабы. Паня сияла, Нина Львовна вышелушивала папиросину из пачки, а крахмал — тонны крахмала, километры, кубоцентнеры крахмала — волок на себе субъект с физиономией интеллигентного жулика, чем-то изрядно надушенный, в длинном белом плаще несмотря на зной, — о этот плащ! За этот плащ звезды рок-н-ролла не думая отдали б. трехдневный гонорар.

Телефон звонил, человек в плаще, сбросив с себя крахмальные пути, снял трубку, сказал: «Да. Да-да. Опровержение в октябрьских номерах. — И, бросив трубку на рычаг, распахнул объятия, поплыл через кухню к ошеломленному Гере, обняв, облобызал: — Ну здравствуй, здравствуй! — Обнюхал. — Бедняжечка, хлещешь партийное... Ну ничего, ничего. Пойдем поговорим».

— Спасибо, мужик донес. — Паня распаковывала сетки, невозмутимая среди всеоб-

щего замешательства. — Дать тебе крахмальцу-то в отмазку?

— Баушка, — заметил субъект, мягко выталкивая из кухни растерянного Геру. — С крахмальцем вы поторопились. Увы, увы! Как отмечает телеграфные агентства, крахмал в СССР покамест стабилен. Впрочем, надо послушать Рейтер...

В Гериной и Таниной зачуханной комнате — десять метров, окно на свалку, обои цвета селедочного масла — незнакомец достал визитку, бросил на стол:

— Тут телекс, телефакс. Кооперативное агентство «Эн бе».

— «Эн бе» — это как? Нотабене? — робко полубобытствовал Гера.

— «Эн бе» — это «Наших бьют». — Вспорхнули белоснежные шлицы, незнакомец приземлился на табурет. — У нас собран богатейший архив на каждого члена союза. Вас публично через центральный орган писателей оскорбил некто Гдынин, литературный критик...

— Пашка, да... — эхом отозвался Гера, — шестерка вонючая...

— С скромный денежный взнос — и в ваших дрожащих руках богатейшее досье на Гдынина. С кем пил, кому седалище лизал, кому здравичу пел в приснопамятные годы, — молвил незнакомец. — Все подтверждено документально. Блестящий способ отыграться. Ну?

Гера впал в столбняк. Его слегка покачивало. Пришелец загипнотизировал его. Скажи тот Гере, допустим: «Воспари!» — и Гера бы оторвался от пола и пролетел по комнате, задевая лысиной их плебейский плафон из зеленого пластика за семь пятьдесят.

— Мы его умоем, вашего Гдынина, — говорил пришелец, — мы его нарежем дольками, как морковку в винегрет.

— Морковку в винегрет режут кубиками, — заметила Таня, зверея. — И катитесь-ка вы отсюда... В темпе.

— Подойдите к окну, — предложил Тане кооператор.

Таня подошла. Внизу среди яблочных орызков и пустых пакетов из-под молока стояла «тойота», белоснежная, как плащ незнакомца.

— Тачка как тачка, — пробурчала Таня.

— Куплена на гонорар от одного деревенщика, нашего клиента. В результате выигранного нами дела деревенщик вошел в состав правления союза, его же соперник стигнул где-то в лесах Архангельской области. Говорят, оформился завклубом.

— Ой, держите меня, — скривилась Таня. — Забой.

Незнакомец меж тем выпростал из белоснежного рукава мощное запястье и про-

демонстрировал Тане роскошный браслет:

— Антикварная вещь. Подарок трижды лауреата. Его тут кусал один издатель, наш «буревестник». Ну мы «буревестнику» прищепили клюв, сыскали на него компромат. Лауреат — в фаворе, а «буревестник» спился и ездит с лекциями от общества «Знание». Пятерка в час. Я убедителен?

— Татьяна, оставь нас,— попросил Гера.

В кухне сумерничала Нина Львовна. Курила в своем углу. Татьяна подошла, села рядом.

— Нин, ты тут сто лет живешь. Кто у нас в тридцать второй обитает?

— Подожди... Это шестой этаж, это отдельные... А-а, да там нет никого. Пустая квартира.

— Как?! Как пустая?! Я...

— Пустая, пустая.

Хлопнула дверь, выполз этот поганец в плаще, слегка пригорюнившийся. Приобнял Таню за плечо, зашелестел интимно:

— Ажурные колготки, блеск губ, бельгийские спирали...

— Иди отсюда! — рывкнула Таня.

— Дама,— обратился к Нине неунывающий поганец,— вы фатально промахнулись с крахмалом. Но не спешите топить его в клезете.— Он сунул ей визитку.— Телекс, телефакс... Откроем лавочку, будем крахмалить сорочки мээнэсам. Кооператив «Скрежет манжет». Не слабо, а?

Таня взяла у Нины спичечный коробок и, целя визитеру в глаз, угодила в ухо.

— ...Или пачки балетным крахмалить,— не сдавался тот, отступая к дверям.— Милое дело! А то мне Семеняка на днях жалуется. Что за хрен, говорит, Владик, танцует, как проклятая, а пачки, говорит...

— Изыди!!! — взревела Татьяна.

За поганцем захлопнулась дверь. Нина Львовна раздавила окурочку в пепельнице: «Нет, в тридцать второй никто не живет. Никто».

Прошло несколько дней. Таня брела с работы, вяло кивая знакомым,— устала. На лавочке у ворот собралась вся кодла — дворовая старушня.

— Таньк! — окликнула ее Паня.— А крахмалу вправду пропал! На, согрейся,— Паня сунула ей в руки термос.— Киселек. Баб потчую.

— Ну Пань, ты у нас теперь монополистка,— хмыкнула Таня.— Держательница акций.

— Балабановой спасибо,— отвечала Паня.— Балабанова у нас в корень смотрит. Что скажет, то и пропадает.

Балабанова, крохотная чистенькая ста-

рушка, сидела тут же и со сдержанным достоинством внимала лести.

— Балабанова,— сказала Таня,— вот вы все знаете. Кто у нас в тридцать второй живет?

— Там Люда Хватова прописана,— зашамкала Балабанова.— Но она у матери живет. Она только утром придет, цветы польет и убегает. Я ей говорила: «Люда, сдай, сдай чучмекам — будешь миллионщица!» Нет, не сдает.

— Значит, никто там не живет?

— Никто, никто.

Утром следующего дня Таня сделала вот что: влезла в кухне на подоконник, благо он широк, и вгрызлась в яблоко. Сидела, сидела, сидела... И высмотрела-таки эту самую Люду Хватову.

Люда рысью пронеслась по двору, нырнула в подъезд. Таня спрыгнула с подоконника, дверь открыла, вышла на лестничную площадку.

Лифт уже шумел, полз вверх. Таня приоткрыла дверь и ринулась туда, к тридцать второй. С лифтом вперегонки. Лифт дряхлый, тяжелый. В нем, по слухам, еще Енукидзе поднимался. Ехал к деверю в гости. Один, без охраны. Грузины — культ родства. Одним словом, лифт Таня обогнала, успела на площадку выше забежать и увидеть, как Люда Хватова со своими сумками вышла из лифта, дверь открыла и захлопнула ее за собой.

Таня выжидала. Вот дверь открылась, выползла Люда с мусорным ведром, шлепая разношенными тапками, стала спускаться вниз к мусоропроводу.

Таня метнулась к двери, проскользнула в квартиру. Таня это проделала классно. Радистка Кэт сдохла б от зависти. За матовыми стеклянными дверями Таня успела различить силуэт мужчины. Он здесь. Отлично.

Уже слышны были щелчки Людиных шлепанцев по ступеням. Таня сунулась было в ванну — там горел свет, из крана била струя воды. Не то. Спряталась в сортире. Слышно было, как вошла Люда, грохнула на кухне ведром, застучала там посудой. «Лаванда,— мычала Люда,— горная лаванда...» Потом зачавкало белье в ванной. Таня стояла в сортире, обклеенном винными этикетками — советский модерн, клозетный дизайн,— и цепенела от страха и тоскливого недоумения: кой хрен она, Таня, здесь, у сливного бачка, в дурацкой какой-то роли?

— Серез! — крикнула Люда из прихожей.— Я пошла! Досоли голубцы!

Дверь за ней захлопнулась. Именины сердца. Таня тихохонько выбралась из сортира. Подкралась к стеклянным дверям.

Мужчина сидел там, в комнате, в кресле. Слушала музыку — что-то из классики, Таня, понятно, в ней не была сильна. Так, на уровне «Рабочего полдня»: полонез Огиньского, «У любви, как у пташки...». Музыка была очень красивая, жутко грустная. Альты стелились... И Таня решила.

— Только не бойтесь,— сказала она, распахнув двери.— Здрасьте. Только не бойтесь.

Его заколдобило от ужаса: сидел белый, перекошенный, вдавился в свое кресло. Какая-то аномалия, загадка, странность были в этой комнате, в этом человеке, в том, как затравленно смотрел он на нее, бледный, длинный, вялый, как картофельный росток.

— Не бойтесь, не бойтесь,— говорила Таня — себе, похоже, не ему.— Я ваш друг. (Что из нее полезло — какая-то высокопарщина, сплошная Войнич.)

— Как вы вошли? — спросил он хрипло.

— Понимаете, я вошла... Дайте мне... Дайте, я вам помогу... Вы можете подняться? — вцепилась ему в кисть, он ее отпихнул вяло.— Она что, вас держит тут, эта Люда? Она мне деньги предлагала... Как-то все настораживает...

— Уходите отсюда.

— Нет, а вы кто? Вас никто никогда не видел! Вы кто?

— Уходите!

— Нет, может, нужна помощь? Темная история... Вот в «Комсомолке» писали... Боже, что у вас с окном?!

Она увидела его окно. Стекла были покрашены густой темно-синей краской. В комнате горел свет. Вот оно что... Единственное окно, и стекла замазаны синей краской.

— Боже... Зачем это? — Ей вдруг расхотелось здесь находиться. Она попыталась к дверям. Он встал наконец, шел за ней.

— Я уйду,— бормотала она уже в коридоре.— Но вы... Если вам нужна помощь...

— Это так теперь носят? — спросил он вдруг.— Такие юбки?

— Что? — Она не сразу поняла. Она уже с дверным замком возилась.

Он смотрел на ее юбку — обычная «варенка», умеренное мини — с каким-то детским интересом: так папуасы глазели на зубочистку в руках Миклухо-Маклая.

— А вы что...— она медленно, тупо ображалась.— Ну да, «варенка»... Вы разве не знаете, что теперь носят? Вы...

— Идите,— быстро сказал он. Помог ей с замком.— Идите.

— Нет, подождите,— она, уже на площадке стоя, сунула ногу в проем, мешая ему закрыть дверь.— Подождите. Ничего не понимаю... Давайте сделаем так: я еще приду...

— Я вас не пущу.

— Я постучу условным стуком: три удара, пауза, три удара.

— Я не пущу вас! — он захлопнул дверь.

Таня и Гера сидели в «Ленинке», лихорадочно листали подшивки старых газет.

— Посмотри «Комсомолку» за семьдесят восьмой,— велел Гера.

— Я уже смотрела, Герочка. Три абсолютно нейтральные статейки. Сельский клуб, мелодии Пахмутовой, первый раз в первый класс... Гдынин чист перед перестройкой, как... как...

— ...как брачные простыни шлюхи,— резюмировал Гера, мрачнее.— Ну пролистай «Литературную Россию»...

— Пролистала. Гдынин неуязвим, зато ты, Герочка, славись Ленкину «Целину». Целый разворот. То-то.

— А ты забыла, как мы ездили в Цхалтубо на эти бабли?! — заорал Гера, оскверняя сленгом священные своды.— Как ты чачу там жрала на халяву?!

На них зашипели со всех сторон.

— Почему, я помню.— Таня отодвинула от себя газетные глыбы.— Я потом еще этот жуткий аборт делала на пятом месяце. Боялась, что будет дебил. Пошли отсюда.

Она встала, Гера покорно поплелся за нею, навьюченный макулатурой по уши.

— Господи, сколько тут наших,— шелестел он ей в спину.— Прикрой меня справа. Витька Арцимович из «Культуры и жизни»... Досье собирает на эту тварь из «Вечерки», Салимонова. Салимонов про Витьку написал, что Витька — масон... А вон этот длинный из АПН... Раньше был такой тихоня — «Заметки фенолога», «Грибными тропами»... Теперь вступил в «ДС», боевик, носит гирьку в кармане... Прикрой меня, он смотрит!

— Да пошел ты,— огрызнулась Таня.— Нужен ты кому.

Шли по улице.

— А почему мы направо свернули? — удивился Гера.

— Сейчас зайдем к одной бабе,— пояснила Таня.— Она... Ну там она шмотки привезла из Индонезии. Надо глянуть.

Остановились у цветочного магазина.

— Пойду венки ей куплю,— сказала Таня.— Жди.

Гера остался торчать у входа. Около магазинчика сидели прямо на земле какие-то экзотические юноши с подведенными глазами. Один играл на дуде, другой наяривал палочками по крохотному барабану. Тут же стоял транспарант с английским текстом и банка из-под зеленого горошка. В банку изредка летели медяки.

— А кто такие-то? — спросил Гера у интеллигентного вида бабки, швырнувшей в банку гривенник.

— Кришнаиты, наверное,— отвечала та, умильно глядя на юнцов.— Борятся за права.

— Кришнаиты? — спросил Гера у юнцов, доставая бумажник.

— В том числе, — томно отвечал барабанщик.

Гера вытащил рубль, но вышедшая из «цветочного» Таня перехватила его руку, прошипев: «Кретин!» Юнцам Таня вломилась:

— Хороши! Вагоны бы шли разгружать! — и супругу, отшвырнув его на метр от злополучного места: — Козел! Прочел бы сначала! Чему тебя в школе учили?!

— А чего написано-то?

— «Свободу гомосексуалистам в СССР!»

Таня нажала на кнопку звонка. За дверь затыкала псина, потом женский властный голос скомандовал: «Лицо на уровень «глазка!» Таня, как идиотка, присела на полусогнутых:

— Зуевы, на восемнадцать пятьдесят.

Дверь распахнулась, толстая армянка — крутая «химия» бирюзовых почти оттенков, четыре подбородка, дежурный скепсис на челе — брезгливо приняла из Таниных рук букетик и наметанным движением швырнула его в цинковое ведро, где томились, безропотно увядая в целлофановых удавках, десятки гвоздик и розанов.

— Пршу! — буркнула хозяйка и удалилась в комнаты.

— Ты иди-иди, а я тут, — прошипел Гера, но Таня с какой-то странной улыбочкой толкнула его в комнату, приговаривая:

— Герочка, ты спокойнее, спокойнее...

— Чего спокойнее? — тут он допер. — Это в связи с ценой? Ну давай, колись: триста? Четыреста?

— Во-он на тот стульчик, — пророкотала хозяйка дома, появившись на пороге комнаты.

Гера вздрогнул. Хозяйка облачилась теперь в несвежий докторский халат, в руке она держала тот самый сакраментальный молоток, которым Геру последний раз лупцевали по коленкам — дай бог памяти — да, лет двадцать назад при вступлении в ряды вооруженных сил...

— Зачем? — крикнул Гера, отступая к дверям, с негодованием и ужасом воззрившись на жену. — Тань, в чем дело?!

— Сядь. — Армянка мощной дланью швырнула Геру на стул и уселась визави, с ходу шарахнув Геру молотком по мосластому колену.

— Тань, ты что? — с отчаянной мольбой завопил пленник, пытаясь оттолкнуть могучую руку хозяйки. — Пустите, вы!..

— Гера, Джульетта Амаяковна хочет тебе добра, — прошептала Таня. — Расскажи ей все-все, все свои ощущения...

— Пустите! — орал Гера.

— Смотреть в глаза! — рычала Джульетта. — Прямо! Прямо!

Гера попытался встать, но чугунные колени врачевательницы намертво приплюснули его к стулу.

— О, это клиника, — говорила Джульетта Тане. — Это клиника. Как же вы так запустили? Зубами скрипит во сне?

Таня помотала головой, беззвучно плача.

— Ты же говорила, платье! — надрывался Гера. — Платье покупать!!

— Будет тебе и платье, — ласково говорила ему Джульетта, зачем-то оттянув нижнее Герино левое веко. — Будет тебе и рубашечка смиренная... О, это классический случай... И эпилепсия в анамнезе? Да, дружок? Сознайся!

Однако тут Гера, исхитрившись, лягнул Джульетту и, вырвавшись из ее цепких объятий, метнулся к дверям, повалив по пути ведро с цветами. Таня ринулась за ним, увещевая:

— Гер! Герочка! Это для твоего же блага!

— Ступни потеют у него, женщина? — допытывалась у плачущей Тани невозмутимая Джульетта. — Сядьте, надо заполнить формуляр...

Вихрем она слетела по ступенькам, догнала его только на улице, схватила за руку: «Ну прости... Ты же сам бы не пошел... Прости...»

Он вырвал руку. Она брела за ним, твердя: «Прости... Прости».

Уже темнело. Чужой двор, набитый орущей пацанвой... Он сел на край песочницы, закрыл лицо руками.

— Как ты могла... — она едва разбирала слова. — Шутом меня... гороховым...

— Гера, ведь ты же не видишь себя со стороны! Ведь ты же действительно болен! На почве своих газетных интриг! Все эти твои страхи маниакальные, все эти ваши сборища, пересуды телефонные... Ты знаешь, что нам пришел счет на сорок девять рублей?! Это все твои переговоры с Вологдой! Гдынин там наследил, а ты на него компромат собираешь! Зачем?

— Заткнись! — прошипел Гера. — Это моя борьба! Пришло время свести счеты с дерьмом! Нам судьба дала шанс!

— Гера, тебе судьба дала шанс написать о том, о чем всю жизнь мечтал! Честно, не прилетая через слово всю эту верно-подданническую блевотину! Зад не лизать редактуре! А ты... А ты...

— Ты дура! — орал Гера. — Дура! Приволочь меня к этой... С синими волосами... Ее саму надо в Столбы, Мальвину эту!

Таня снова заплакала. И как-то сразу он утих — выдохся. Сидел рядом с женой и тупо смотрел на грязный песок. Уже зажглись

огни, и мамыши уже кричали из окон: «Юля, домой! Витька, сколько раз мне...» — они все сидели, и Гера вдруг спросил:

— Что ж ты мне не сказала про тот свой аборт? После юга?

Таня вынула зеркальце и стала стирать потекшую тушь.

— Что ж ты мне не сказала? И поэтому у нас... Не может быть поэтому?..

— Пойдем домой.— Она поднялась.— Пойдем домой, Гера.

Гера открыл дверь, вошли.

— Господи, кто это у нас? — Таня принюхалась.— Накурили...

В предбаннике между кухней и прихожей, уставленном Паниными сундуками, сидели люди, много людей, человек пятнадцать. Они сидели в полумраке на этих самых сундуках. Мужики курили покряхтывая. Разговорец тек неспешный, плавный, задушевный. Говорили о еде.

— ...Или в шестьдесят втором, например,— басил оратор, пожилой чернявый дядька,— работал я в СМУ на Новокузнецкой... Идешь с полочки — а там какой кондитерский-то на Пятницкой! Райский уголок! Идешь с полочки — и целый килограмм шоколадного лому... Лом назывался.. Детишкам. И по такой дешевке, мать моя женщина!

— Они тут третий вечер сидят,— прошептал Гера.— Сидят, треплются, кто чего ел тридцать лет назад... Пасынки Эпикура... Иди в комнату, я разогрею и принесу.

Он шмыгнул мимо экс-сибаритов в кухню, загремел там кастрюлями. Таня осталась в прихожей.

— ...Или вот я масло шоколадное любила,— лепетала вечно насупленная тетка из восьмой квартиры, и морщинистое ее личико разглаживалось, молодело.— Вот придешь к нам в магазин на Казарменном — и всегда вот такой кирпич лежит, лоснится. Свежайшее! Триста граммов — неделю ешь...— Слабая, туманная улыбка озаряла лицо любительницы шоколадного масла, и слушатели блаженно улыбались — каждый своим гастрономическим видениям, кивали согласно, вздыхали негромко...

— Третий день сидят,— это уже сосед Витя обнаружился за Таниным плечом,— вспоминают. В крутом кафе. Как под марафетом. Вчера про селедочку астраханскую вспоминали, про залом. Одну старперку еле откачали... Таньк, дай трешку, пойти хоть «Молодежной» купить по два двадцать, без жира. Мочи нет, плоть терзают, сукины коты...

Татьяна потопталась у заветной двери и, решившись, позвонила условно: три звонка,

пауза, три звонка. Молчание. Она позвонила еще и еще. Тишина.

— Откройте! — Таня припала губами к дерматину.— Чего вы трусите-то? Откройте! — Ни звука.— Ну и дурак,— вздохнула Таня.— Сиди там. Плесневей.

Она уже шагнула к лестнице, как вдруг за спиной ее щелкнул дверной замок, дверь открылась, и странный ее знакомец, появившись на пороге, сразу отступил в глубь полуметровой прихожей. На секунду Таня застыла, боясь поверить удаче. Потом она влетела в квартиру, захлопнула за собой дверь и...

И вот они стояли друг против друга в темной прихожей в полнейшем замешательстве.

— У вас горит что-то,— Таня метнулась в кухню, прикрутила газ в конфорке почти наощупь, потому что и в кухне окно было краской замазано.

Он вошел, включил свет. Она перевела взгляд с синих стекол на владельца этой крупногабаритной одиночки.

— Ничего не объясняйте,— сказала она быстро.— Я все поняла. Мне все ясно.

— Да ну?

— Вы скрываетесь. Это однозначно. Так? Это так?

— Допустим,— он усмехнулся.— А от кого, позвольте поинтересоваться?

— Ну...— Таня пожалала плечами.— Это однозначно. Или рэкет, или правосудие.

— Рэкет? Это что? Это печенье вроде так называлось?.. Нет, «Крокет»... Это что? Это такой у вас неологизм?

Таня опешила. «Вы за дуру-то меня...» — начала она было, но тут же осеклась. Нет, он был абсолютно искренен. Никакого подвоха. И на шизоида он не похож. Нет, не похож.

— А вы давно... Давно вы...— забормотала Таня, подыскивая слова,— давно вы тут... сидите?..

— Я не знаю,— сказал он с той же спокойной, искренней готовностью.— Я не веду счет времени.

— А... А... сколько вам лет?

— Я не знаю.

Таня села к кухонному столу, сплела пальцы добела, стараясь сосредоточиться. Фантастика! Недаром она третий день выслеживает этого субъекта... Фантастика! Ею двигал интерес почти что естествоиспытательский, она чувствовала себя разведчиком недр. «О, сколько нам открытий чудных...»

— Ну хорошо, попробуем так. Вот вы тут сидите, не знаете про рэкет... Так... А в космос при вас полетели?

— При мне. Юрий Алексеевич Гагарин.

— Так, хорошо. Возьмем семидесятые. Кто там... Пугачева?

— Это... такая...— он припоминал мучительно,— такая рыжая... «Встреча была коротка...»

— «...в ночь ее поезд увез», — кивнула Таня. — Уже теплее.

— Господи! — он вдруг как будто опомнился, стряхнул с себя наваждение. — Девушка, дорогая, идите. Идите! — Он засуетился, стал своими бестолковыми неловкими руками отдирать ее от стула, подталкивать к выходу. — Ну что вам? Ну зачем вам?

Таня не сопротивлялась ему, поглощенная своими вычислениями. На пороге кухни ее осенило:

— Все же просто. Все просто. Вы при каком генсеке сели?

— Я не помню... Они там мелькали, как бабы в отпуске... Только успевай перестилать... Нет, я не помню. А-а, этот!.. Мы еще шутили... Кучер. Такой, на бурята похож...

— Черненко?!

— Во. Точно.

— И с тех пор вы... С тех пор... И вы ничего не знаете?! — Она задохнулась. Немо шевелила губами. Какое ископаемое! Какой птеродактиль! Но он уже выталкивал ее в прихожую, бормоча:

— Идите, ради бога... Что вы ко мне привялились... Я тоже идиот... Открыл...

— Но подождите... Пойдите...

Дверь захлопнулась, она очутилась на лестнице, встрепанная, красная, в полном отпаде.

— Нина, дай Гроссмана, — ввалившись к соседке, потребовала Таня. — И кто у тебя еще есть — Гумилев, Пильняк... И Мишу дай, я верну.

Михаил Сергеич висел у Нины в красном углу, над радиоточкой, вырезанный из журнала «Работница». Висел он в хорошей компании: справа — вождь мирового пролетариата, слева — Анна Маньяни в старости, дымит в кадр, и тут же, сбоку, — Ритка, дочь Нины Львовны, клиническая дура, с постной улыбкой на тонких губах.

— Верни, — велела Нина Львовна, бережно снимая со стены генсека.

Говорила она шепотом, потому что у телевизора, вперившись в экран, сидели недвижно Паня и Витька. С экрана на них глядел набывчившись, шумно сопя и вздыхая, какой-то мужик злодейского вида. Перед телевизором на столике лежала гряда овощей, стояли аккуратно расставленные в ряд все четыре Витькины зажигалки.

— Какой-то экстрасенс новый, из Каракалпакии, — зашептала Нина Львовна, суя Тане томики амнистрированных классиков. — Потрясающая энергетика, мощное поле. Выводит нитраты из корнеплодов, заправляет зажигалки...

— А чем он их заправляет? — спросила Таня.

— Ну чем? Газом.

— Вить, а откуда он его выделяет?

Газ? — Таня покосилась на бестрепетного Виктора.

— Иди отсюда! — заорала Паня, а Витька запустил в Таню разнитраченной картофелиной.

У себя в комнате Таня лихорадочно порылась в платяном шкафу, нашла кооперативную фуфайку с линялой надписью «Перестройка — Гласность», торопливо натянула ее, вытащила на свет божий пыльную пачку газет, расшвыряла по комнате, нашла две-три с отчетами о каких-то пленумах... Все. Перестроечная атрибутика иссякла. Таня закусил губу. Маловато. Она вздохнула, содрала со стены пошлейший — Герины плебейские вкусы — календарь с голой бабой (как-никак раскрепощение нравов, снятие табу — тоже козырь), нацепила Герину кепочку с надписью: «Борис, ты не прав!» и, призвав к груди стопку перестроечной макулатуры, выползла в коридор, где уже клубились, горячо обсуждая нового мессию из Каракалпакии, соседи.

— Нин, дай чего-нибудь антисталинское, — продираясь меж них к выходу, велела Таня.

— На, — сказал Витька гордо, доставая портсигар. — На Черемушкинском купил. Секи юмор.

На пластмассовой крышке портсигара красовалась мутноватая картинка: вождь времен и народов с трубкой в руке и надпись «Минздрав СССР предупреждает: курение опасно для вашей репутации».

— Гадость какая, — Таня толкнула ногой дверь. — Докатились.

Она опять молотила в дверь отшельника. «Чо ломисся?! — из соседней квартиры выглянула старушка. — Людка ушла давно!» «Сгинь!» — огрызнулась Таня. Старушка исчезла, в тот же миг дверь приоткрылась, и новый Танин знакомец втолкнул Таню в темную прихожую. Он был разъярен. Трясся весь. Отшвырнул Таню к стене — опальные гении в дешевых перелетах провинциальных издательств разлетелись по предбаннику.

— Я тебя убью! — прошипел хозяин и потряс ее за плечи, приплюснул к вешалке. — Что ты пристала?! Что ты вяжешься?!

— Пусти, дурак! — шипела Таня в ответ. — Ты меня не убьешь, ты мне спасибо скажешь!

— Дайте мне жить спокойно! — зашелестел незнакомец, меняя гнев на мольбу. — Чего надо-то? Денег тебе дать?..

— Кретин, ты дослушай! Ты ж не знаешь ничего! Сидишь здесь, тухнешь... У нас революция! У нас такие перемены!

— Мне насрать на ваши перемены! — завопил этот придурок.

— Да ты прочти-и! — Таня лихорадочно собирала расшвыранные по комнате томики, совала ему: — Гумилев! Гроссман! На, почитай газеты... Хотя бы тезисно... Материалы пленума... Конференция... Ты что делаешь, козел?!

Он рвал газету на мелкие куски. Кретин. Не читая. Таня вдруг заплакала.

— Дурак ты, — бормотала она всхлипывая. — Сидишь тут, тухнешь. Окошки замазал... Пойми, там уже другая страна! Гумилева издали...

— На хрена мне Гумилев? — бубнил этот долдон. — Я Бодлера в подлиннике читаю...

— Сноб ты вонючий, — заметила Таня, вытирая слезы. — На вот, посмотри, какое лицо хорошее. — Она сунула ему портрет вождя. — Какое открытое лицо! Мы все себя людьми почувствовали! У нас перестройка вовсю...

— Ах у вас перестройка! — осклабился незнакомец, повертев в руках портрет отца гласности. — Симпонпон. Это он придумал? Ах вы лапочки мои. Перестройка. Дайте детям новую соску. «Измов» им мало. «Измы» они исчерпали. Новый суффикс понадобился...

— Ты сначала дослушай...

— Да назовите как угодно! — орал уже краснойбай-отшельник. — Постопупизм, неокретинизм... Период развитого офонаризма... Да назовите как хотите ваше дерьмо! Хоть яблочным повидлом. Оно от этого не станет слаще.

И он ушел в свою сумеречную кухню. Закурил там, стоя у окна спиной к Тане. Таня же, всхлипывая, ползала на коленях, собирала обрывки газет в кучку. «Дурак... — бормотала Таня. — Сиди здесь... Злопахатель...»

— Кофтенки уже нашили, — ворчал хозяин из кухни. — На каждой титьке — по лозунгу. У-у, папуасы!

— Это выше твоего понимания, — огрызнулась Таня, одергивая на себе кооперативную хламиду. — Сиди тут, коростой покрывайся! А мы там... У нас... Мы потрясающе все живем!

— То-то меня Люда моя все ливерной колбасой кормит, — заметил хозяин, невозмутимо дымя. — Или эти... Суп-пакет типа клейстер. И в нем что-то плавает такое... вроде птичьего помета... Люда, говорю, давай свининки молодой изжарим! Она, бедная, молчит и плачет.

— А тебе бы только нажраться! — рявкнула Таня, обнаружив в себе неожиданный заряд патристического гнева. — Сибарит! Да, у нас есть трудности. Они неизбежны. Любая реформа... Но степень моральных свобод!..

— То-то я дважды в году просыпаюсь

спозаранку, — заметил хозяин, аккуратно стряхивая пепел, — от дружного топота ножищ и могучего рева. «Нам нет прегра-ад... — запел он гундосо, — ни в море, ни на суше!» Честное слово, это у меня календарь такой звуковой. Вот они там заблеют: «Утро красит...», и я понимаю, что это май и скоро Люда принесет черешню. А потом, по прошествии времени, я просыпаюсь в поту, потому что дом трясется, они там за окном топчут и голосят: «Нам ли стоять на месте...» и я понимаю, что это ноябрь и пора заклеивать окна...

— Знаете что, — Таня приблизилась к незнакомцу вплотную, — вы злобный, ядовитый тип! Вы ничего не захотели понять! И вы... И я... Сиди тут хоть двести лет! — И она двинулась к выходу, прижимая к груди стопку классиков.

Хозяин услужливо помог ей открыть дверь.

— Могу ли я надеяться на то, что это была наша последняя встреча? — спросил он вкрадчиво.

— Можешь! — заверила его Таня, глотая злые слезы.

Дверь за ней захлопнулась.

День прошел, или два, или три — вечер, теплынь, Таня бежала с работы. Вошла в квартиру, ткнулась было в дверь. Гера приоткрыл, но в комнату не пустил:

— Таньк, подожди, я полы домою, иди подыши, пошляйся...

Она толкнулась в ванную — закрыто. Паня проползла мимо, пробурчала зловеще:

— Я в эту ванну не сяду. Год будешь скрести — не сяду!

Таня открыла было рот спросить, почему, и замерла: звуки, столь же узнаваемые, сколь непотребные, донесли до ее слуха из ванной. Гера уже несся к жене из комнаты: «Пошли, пошли!» «А кто там?» «Там Дугин блюет, — заговорщицки зашептал Гера. — Перепил».

— Дугин?.. Это какой, из «Литературного вестника»?

— Ну да, да... — Гера оттеснял ее от ванной к комнате.

— Постой... — Таню пронзила догадка. — Ты опять?! Ты опять полез в эти дрязги? Мы же договорились!

— Не лезь в мои дела! — Гера отпихивал ее от ванной.

Таня заглянула в комнату: ну конечно, сервировочка, три стопоря, Витька, лыка не вяжущий, верхом на табурете.

— Т-таньк! — залопотал Витя, силясь подняться. — Во такой парены! Герку напечатает! Око за око, зуб за зуб!

— Халявник, — сказала Таня с отвращением и, оттолкнув мужа, помчалась к ванной. Дугин уже выполз, крохотный толстя-

чок, синюшно-бледный, перекошенный, что не помешало ему припасть к Таниной руке: «Танюрок! Лобзаю!»

— Ф-фу! — Таня отдернула руку и схватила подоспевшего мужа за грудки: — Гера, я с тобой развожусь! Мне все это надоело, Гера!

— Я в эту ванну не сяду, — цедила меж тем Паня, величественно проплывая мимо.

— Танюрок, помнишь, как мы с тобой у Хотьковых плясали? Отпа-ад! — верещал толстяк, пытаясь дотянуться до Таниного локтя зловонными устами.

— Нин, ты в эту ванну не садись, — Паня адресовалась теперь к Нине Львовне, вышедшей из комнаты. — Сволочи... Трешь пемолуксом каждый вечер...

— А я как сажусь после тебя?! — вдруг заорал Гера, побагровев. — Полдня плещешься, потом выползешь: «Ох, у меня экзема! Ох, у меня на пятках грибок!»

Тут у Тани потемнело в глазах. По стеночке, по стеночке она добралась до входной двери... Отодвинула задвижку...

На лестничной площадке она отдышалась. Худо. Куда-нибудь уйти, забиться, не видеть, не слышать... Села на ступеньки, ноги вытянула. Нет, заднице холодно. Дискомфорт. Куда? И — ну конечно же — побрела наверх, без надежды, что откроет...

Но открыл. Открыл и — повернувшись к ней спиной — ушел в комнату. Таня — за ним, собакой побитой. Он уселся в кресло, все молчком — но открыл же! — затих. Внимал музыке.

Таня опустила на край стула. Музыка была дивная, полумрак, лампа такая уютная, абажур медового цвета... И тут на Таню сошла благодать. После Таниного-то дурдома — тихо, покойно, музыка играет...

— Это какой композитор? — спросила Таня.

— Дебюсси. — Он к ней и не повернулся.

— А-а... — Помолчали. — А у тебя хорошо... Ты хитрый. Правильно. Всех их надо послать. Ты без людей не скучаешь?

— Нет.

— Правильно. Я тебя понимаю. Слушай... — Таня помялась. — Можно я буду приходить иногда? — Он молчал. — Я больше ни слова... Я молча вот тут сяду, полчаса посижу — и все. Это мне будет психологическая разгрузка... У нас там такой вертеп...

— Только после двенадцати, — сказал он наконец. — А то с Людмилой столкнешься. — Ой, ну конечно! — Она вспыхнула от радости. — Конечно! — И тут же себя осадила. Заторопилась. — Ну все, пошла.

Уже из прихожей крикнула:

— А как тебя зовут?

— Сергей.

— А я Таня.

И снова она возвращалась с работы. Вошла в парадное, одолела два марша... У дверей их квартиры — скопление старушек и Витька на входе — грудь колесом — преграждает им путь:

— Бабки, гривенник за вход.

— Вить, ты чо, сынок? — гомонили бабки. — Пусти!

— Бабки, у нас общественно полезное мероприятие, — пояснял Витька, собирая подать. — Может, слайды будут показывать. Карбонат натуральный, соус хрен. Прошу! — Таню он впустил бесплатно, распахнул объятия.

— Витька, допрыгаешься, — Таня вошла в прихожую. — Старух обирать...

В предбаннике собралось уже человек двадцать. Паня сидела в центре, каменно-важная, как монгольский божок. Какая-то тетка в пестром салопе славилла копченую колбасу. Ей внимали жадно, мужики курили в сладкой задумчивости...

— ...И вот из сальца — ровнейший узор геометрический. Вот так все — ромбами, ромбами. Ветчина была четырех сортов...

— Пяти!

— Четырех... Придешь в Смоленский...

— Герка, ты-то чего тут? — шепнула Таня. — Спятли?

Гера — он сидел сбоку — только рукой махнул: отстань! Сзади уже напирали, лезли со своими табуретами. Кто-то уже приглушенно скандалил: место не поделили... «Э! Э! Казначеев, ты куда? — сидевший рядом с Паней чернявенький мужичок вскочил, развернул к выходу рыхлого старика, который собирался присоединиться к слушающим. — Иди, иди, отдыхай!» Старик безропотно, хотя и с видимым сожалением, удалился. «Это ж первый стукач! Казначеев-то!» — пояснил чернявенький присутствующим.

— А чо мы такого-то говорим? — заволновалась публика. — Нормально сидим, вспоминаем...

— Это как посмотреть, — отрезал чернявенький. — Как истолковать. Все! Все! — он замахал руками на вновь прибывающих.

— ...И крабы стояли, как сейчас минтай, — завелась было вновь рассказчица.

— Вообще Панна Денисовна, — перебил рассказчицу чернявый, — надо как-то переписать всех членов. Типа клуба чтобы. Какой-то выработать устав... Вот я блокнот принес...

— Чего это ты тут раскомандовался?! — рывкнула Паня.

Она давно с тревогой наблюдала за чернявым — тот явно предпринимал попытки

узурпировать власть. Но уже со всех сторон загудели на Паню, требуя официозных мер, блокнот запестрел фамилиями новоиспеченных членов, чернявый заходил по предбаннику уверенней: «Давайте, товарищи, продебатируем статус... Затем проблема названия...»

— «Приятного аппетита!» — выкрикнул кто-то.

Чернявый задумался: «Нет, товарищи, тут какой-то подтекст... Какой-то, понимаете, оскал...»

— «О вкусной и здоровой пище», — предложил Гера, хихикая.

— Нейтрально, — согласился чернявый. — Проголосуем?

— Пошли, — Таня дернула Геру за рукав. — Он сейчас заставит членские взносы платить...

— А их Витька уже собрал, — хмыкнул Гера, когда они столкнулись в коридоре с Витьком. — Вить, сколько сгреб?

— На пиво хватит! — счастливый Витька пронесся мимо, на ходу натягивая пиджак.

— Бедные люди, — вздохнул Гера, открывая дверь в их комнату. — Бедные, бедные люди...

— Ладно, ты, Федор Михалыч, — одернула его Таня. — Чем сам-то меня кормить сейчас будешь?

— Макрорус, — пригорюнился Гера.

— Ну то-то.

В универсаме орала бабы, стоял визг, требовали администратора. «Чего такое-то?» — спросила Таня у кассирши. «Чего... Крахмал опять появился. Они накупили, дуры, по десять килограммов, когда слухи пошли... Принесли теперь сдавать. А кто у них примет-то? Беснуются».

Дома, в прихожей, треск стоял оглушительный: Паня срывала со стен обои. Таня поставила сумку на пол, стояла молча, смотрела, как соседка со зверским, кровожадным выражением лица расшвыривала огрызки старых обоев по прихожей, где уже стояло на полу ведро с мутно-серым клейстером.

— Пань, ты в своем уме? Мы их полгода назад клеили!

— Мне цвет не нравится, — буркнула Паня.

— Пань, это не выход, — Татьяна покосилась на клейстер. — Ну сколько ты сюда крахмала вбухала? Полпачки? А сколько у тебя всего?

— Пятнадцать кэгэ. — И Паня с яростью рванула кусок обоев.

— Ты пойдй попробуй сдать... Там бабы воюют...

— Танька, не вжись! — рывкнула Паня. — Иди отсель!

Задребезжал звонок, и тут же вошли чернявый активист из им же учрежденного общества экс-гастрономов, какая-то тетка из рядовых членов и крохотный улыбочивый старичок, которого чернявый и тетка бережно поддерживали под руки. Старичок все время мелко кивал головкой и озирался по сторонам с живейшим доброжелательным интересом.

— Панна Денисовна, — загудел чернявый, — так мы завтра у вас собираемся в восемнадцать сорок?

Паня угрюмо молчала, отцарапывая кусок обоев.

— Климентий Петрович вот выступит, — продолжал чернявый, выталкивая старикана вперед. — По всей Москве за ним гонялись. Очевидец изобилия... В Филипповской работал завсекцией. Такие байки закручивает про сдобу — слюни потоком...

— Только, Панечка, ты его оставь ночевать, а завтра за ним дочь из Нахабина придет, — затараторила тетка-членша. — И ему кагору надо найти, хоть полста граммов, он после кагора, — тут старичок закивал особенно рьяно, — очень взбодрится, прямо соловьем поет... Климентий! — крикнула членша. — Ты и Филиппова знавал? Во, Пань, вишь, кивает!

Тут Паня впервые развернулась к гостям и стала спускаться со стремянки. Выражение Паниного лица не предвещало ничего хорошего. Визитеры попятились, только старик продолжал кивать и улыбаться.

— А ну пошли-и отседа, и чтоб духу вашего! — зарычала Паня, расшвыривая по пути куски обоев. — Вон отседа, раз и навсегда!..

За гостями захлопнулась дверь, а Паня, постояв минуту-другую, рухнула на табурет, большая, раскаленная злостью, и, сжав выпачканные клейстером руки в кулаки, шархнула ими по табурету.

— О-осподи! — простонала Паня. — Да что ж это за жизнь такая?! Танька! Что за жизнь?! Да кто ж это над нами издевается-то, господи! Помирать скоро, а все в дерьме!

— Ничего, Пань, — сказала Татьяна. — Продержимся. Картошка всегда будет. Что еще русскому человеку надо? Картошка да соль.

— Картошка... — Паня вытерла слезы. — Уж конечно... Как я эту картошку копала... Немцы уж кругом. Полмешка наскребешь, все ногти обломаешь. Потом от Каланчевки до Палихи трамвай полтора часа тянется. Холодно... И по малой нужде — мочи нет! А терпишь. Трамвай еле ползет. Так я себе мочевой-то на всю жизнь испортила. И все ниже имущество... Вот она, твоя картошка! Жизнь наша паскудная! Чтоб их всех разорвало там! Одна жизнь коротаю...

— Паня, — Татьяна погладила ее по жестким седым вихрам, — у меня есть врач, армян-

ка. Дельная баба... Давай я тебя сведу?

— А сколько она дерет-то? — Паня трубно высморкалась. — Грибок на ноге полечить...

— Пань, она не по грибку. Она по нервам.

— У меня нервы лужены! — оцетинилась Паня. — Чо эт ты тут намекаешь? У меня нервы дай бог! Иди, иди, у меня клейстер стынет.

Сергей открыл ей и сразу пошел в глубь комнаты не оглядываясь. Ей показалось, обижен. А на что собственно?

— Сереж, давай я себе ключи сделаю. Дубликат.

Он не оглядываясь бросил ей связку ключей. Таня еле поймала.

— Зачем вам ключи? Вы ж все равно не придете? — спросил он глухо, повернулся к ней, и Таня с изумлением поняла: да, жутко обижен. Надулся, глаза несчастные. — Вас пять дней не было!

— Три дня. Но я напротив... Чтобы не надоесть... Не примелькаться...

— Ах, ах, ах! Какая деликатность вдруг! С чего бы это?... — Вдруг он резко сменил тон, сжал губы: — Отдайте ключи.

— Почему?!

— Отдайте. Вы же видите, что со мной происходит! Разве дело в вас? Вы там себе не воображайте... Дело не в вас. Думаете, мне все это просто далось? Уйти от людей? Я себя в банку закручивал, как консервы! А вы появились, и я опять... В консервы не должен попадать воздух! Понимаете? Не должен! Герметизация! Иначе все пропало. Вам нельзя было приходиться.

— А Люда? — пролепетала Таня. — Люда же ходит...

— Да ну, Люда! — он махнул рукой. — К Люде я привык. Вроде табуретки. Пришла — ушла... Отдайте ключи! Отдайте!

— Не отдам, — прошептала Таня.

Ну и еще пара дней прошла. Людмила, по привычке склонив голову, боясь встретиться с кем-нибудь взглядом, пересекла двор, вбежала в подъезд... Открыла дверь. Вошла в комнату. И застыла. Так и стояла с сумками, оттягивающими ей руки, а Таня — на Людмилу, на ее помертвелое лицо глядеть было тяжело — уперлась взглядом в длинные розовые хвосты, торчащие из сумки.

— Это что такое, господи? — спросила Таня.

— Хвосты говьяжи. Люда делает холодец обалденный. Люда... Люда, садись! Мы тебя ждем вот... — Сергей — он взмок, но держал улыбку, старался — привстал со стула и каким-то дурацким жестом указал Людмиле на соседний стул.

Но Людмила продолжала стоять. Лицо ее

приняло какое-то затравленно-покорное выражение, как будто она давно уже готовила себя к мысли, что однажды увидит в Сережиной комнате такую вот фифу, сидящую на табурете в довольно наглой позе нога за ногу.

— Люд, познакомьтесь! — Сергей улыбнулся вымученно.

— А мы знакомы. — И Таня сцепила руки на коленках.

— Люд, мы вот решили тебя разгрузить... — бормотал Сергей. — Ну что, право... Таскаться каждый день из Химок с такими сумками...

— Людочка, я заступаю на вахту, — и Татьяна улыбнулась ей лучезарно, — по-соседски. И накормлюсь его, и присмотрю тут...

— Люд, но ты... всегда-всегда! — Сергей — с фальшивым жаром. — В любой момент! Твой дом — мой дом! То есть это и так твой дом...

Людмила поставила сумки на пол. Она молчала тяжело, каменно, и эти двое тоже приумолкли, смешались...

— Вы подстригать умеете? — спросила Людмила Татьяну.

— ?

Тогда Людмила молча прошла к шкафу, достала коробочку с парикмахерскими принадлежностями, чистую простыню, Сергей послушно перебрался на середину комнаты вместе с табуретом. Они все делали молча, понимая друг друга без слов.

— Давай я тебя наголо побрею, — предложила Людмила. — У тебя тогда проблем не будет. Это когда они еще отрастут!

— Но ты же будешь приходить, — возразил он вяло.

— Нет, — сказала Людмила, — я, Сережа, приходить не буду. Я тебя сейчас под ноль сниму, а там уж пусть девушка твоя учится...

Он кивнул, зажужжала машинка, полетели на стол светлые, мягкие пряди его волос, и Татьяна, глядя на них, вдруг испытала острую неловкость, как будто она присутствовала при каком-то таинстве, касающемся только двоих. Она смотрела на эту немолдую — старше Сережи лет на пять... на семь — бабу с простецким, неумело подкрашенным лицом, на ее руку, осторожно, ласково разворачивающую Сережину голову во право, во влево... И видно было, что это доставляет ей радость — водить по его башке машинкой, касаться щеки рукой... Тогда Татьяна отошла к окну, отвернулась. Машинка перестала жужжать, зашуршала простыня, потом Людмила сказала:

— С сумками, девушка, сами разберетесь. Там масло селедочное, его в баночку переложить... Ну вот... Ладно. Пошла.

Татьяна кивнула не оборачиваясь, а обернулась только тогда, когда за Людмилой захлопнулась дверь. Посреди комнаты стоял Сергей, обритый под ноль, и это ему нежи-

данно шло: вдруг обнаружился высокий, красивой лепки лоб, черты лица обрели определенность — он стоял и смотрел на Таню, а Таня смотрела на него.

— Царица небесная, Танька у плиты! — изумилась Паня.

Татьяна действительно стояла у плиты, держа задумчиво стакан с водой над пустой кастрюлей.

— Паня, — спросила Таня заискивающе, — гречку куда сыпать, в кипятик или в холодную?

— Во что хошь, в то и сыпь, — отвечала Паня. — Была бы гречка.

— Паня, а в каких пропорциях?

— О-ё! — сплунула Паня. — Бабе четвертый десяток! — И пошла открывать дверь. Вернулась: — Танька, тебя.

На лестничной площадке Таню ждала Людмила в дурацком каком-то штапельном платье и, видно, только что из цирюльни: вся в налаченных завитках. «Господи! Как он с ней мог? Земля и небо!» У ног Людмилы стояла набитая продуктовая сумка.

— Варить ты все равно не умеешь, — начала Людмила без всяких присловий, обнаруживая незаурядные провидческие способности. — Давай так. Я тебе буду еду приносить, а ты уж сама разогреешь и — ему наверх.

— Чего это вы мне тыкаете?! — возмутилась Таня. — Почему это я готовить не умею?!

— Ну а что ты умеешь?

— Сациви, — сказала Таня, подумав. — Меня один грузин научил.

— Ах, сациви! — Людмила прикрыла входную дверь за Татьяниной спиной. Помолчала, явно преодолевая отвращение к Тане, к ее молодому гладкому личику, ох, да и в личике ли дело? — Кормить его надо витаминно, капустку там три с морковкой. Мучное он любит, клянит, а ты не балуй, у него жизнь сидячая, лежачая...

— Да, да, да, — кивала Таня, как ученица на уроке.

— Хочешь не хочешь, утром приди и форточку открой и полчаса держи. Проветривай.

— Это я понимаю, кислород! — закивала Таня усиленно и, видя, что Людмила уходит собирается, ждала ее локоть: — Люда, подождите... Я... Мне страшно неловко. Вы ведь его любите! Ведь любите, Люда! А я как бы отнимаю...

Людмила отдернула локоть резко, впервые глянула Тане в глаза. Теперь уж она не таила ни ненависти своей, ни отчаяния.

— Пошла ты... Ты меня не заводи, я ведь...

Людмила задохнулась, только головой по-

мотала немо, и — вниз по ступенькам, а Татьяна смотрела ей вслед, машинально двигая туда-сюда молнию на Людмилиной сумке, набитой кормежкой для Сереженьки: шарлотка, курица в фольге... В обозримом же будущем Сереженьке предстояло давиться комкастой кашей, картошкой в мундирах, подгоревшими магазинными котлетами — Танин потолок. Но он сам выбрал. Сам.

В семь утра Таня хлопнула ладонью по возопившему будильнику, перелезла через спящего мужа и, наспех одевшись, помчалась наверх к Сереже — проветривать.

Вошла в комнату на цыпочках — он спал, открыла форточку и уселась осторожно на краешек табурета. В скучной ее жизни — тридцать два, детей нет, полставки в нуднейшей конторе — что-то наконец забрезжило... Она рассматривала Сергея, его бритую голову, по-детски приоткрытый во сне рот. В каком-то смысле он и был для нее ребенок, его жизнь теперь зависела от Татьяны, вся, целиком... Сергей засопел во сне, повернулся на другой бок, выпростав из-под одеяла большую розовую ступню.

— Дурачок, — прошептала Татьяна, — дурачок...

Татьяна и Сергей обедали. Вернее, Сергей с гримасой страстотерпца глотал какую-то мутноватую бурду, а Татьяна, подперев рукой щеку, следила за ним с состраданием.

— Ну как? — не удержалась Татьяна.

— Стрихнин, — отвечал тот миролюбиво. — Морковь-то, девушка, чистить надо, прежде чем в суп бросать. Но это еще полдела... — Он вытащил из кармана тщательно сложенный номер «Правды» и отдал Татьяне: — Прекратите, девушка, подсовывать мне свои агитки!

— А что такое? — деланно изумилась та.

— А то такое, что под видом кульки для помидоров вы подсунули мне последний опус вашего генсека.

— Но ты прочел?

— А-а, сознаетесь! Нет, я читать не стал, более того, пришлось выкинуть сами томаты. Затем... — Он встал из-за стола, вытер губы салфеточкой. — Следуйте за мной, — подтащил Татьяну, вяло сопротивляющуюся, к сортиру, включил там свет. — Это что?

На сливном бачке высокой стопкой лежали аккуратно нарезанные из «Известий» — каждая с портретом оратора — стенограммы выступлений депутатов съезда.

— Топорно работаете, — заметил Сергей. — Я разгадал ваш маневр.

— Но это съезд... — забормотала вспыхнувшая Татьяна. — Я так хотела, чтоб ты прочел... Уж не знаешь, как тебе подсунуть...

У меня муж всегда читает в сортире... Я больше не буду! Я уберу!

— Да бог с вами,— Сергей перехватил ее руку.— Зачем же? Я их использую по прямому назначению. И у меня будет самая политизированная задница в мире. Она просто лекции сможет читать в ВПШ! Правда, там своих задниц хватает...

— Эх, ты...— лепетала Таня.— Если б ты знал, как у нас... Как мы... Ну ладно. Иди чай пить, там пирожки с рисом.

— Да,— ухмыльнулся Сергей,— а в каждом пирожке вместо начинки ксерокопия доклада вашего генералиссимуса?

— Сережа! — у нее задрожали губы.

Однако, когда он, насивистывая, отбыл на кухню, Татьяна молниеносно вытащила из своей авоськи несколько номеров «Огонька» и разложила их веером на столике в прихожей — русские не сдаются!

...И снова она бежала по улице, торопясь домой, вернее, в два своих дома. Ветки разросшейся, поздно цветущей в это лето сирени почти задевали ее волосы, лезли в лицо. И тут Таню осенило: она остановилась, воровато оглянулась по сторонам и, отломив ветку попышнее, сунула ее в сумку.

Сергей по обыкновению стоял у своего затушеванного окна, курил. Татьяна подкралась к нему на цыпочках с провокационной сиренью в руках, пощекотала веткой его щеку. Сергей вздрогнул, быстро повернулся, лицо его на мгновение расплылось в какой-то блаженно-растерянной улыбке, но тут же он помрачнел, вырвал ветку из Таниных рук, торопливо завернул сирень в газету, потом еще в одну.

— Ага,— усмехнулась Таня торжествуя.— Достала я тебя все-таки!

— Так нельзя. Это жестоко. Ниже пояса.

— Слушай,— перебила его Татьяна.— Тебе противны люди, система — допустим. Но есть еще дома, деревья, улицы... Мы выйдем ночью, ни одной души! Просто подышим!

— Что ты несешь?! Да никогда... Да...

— Тебе кислород нужен! — заорала Татьяна.— Ты подохнешь без воздуха! Я тебе давление вчера смерила, когда ты дрых,— сто на шестьдесят!

— Никогда! И уходи! Никогда, слышишь?!

У Нины Львовны часы проббили три, гулко, важно. Татьяна поднялась — она сидела у окна в своей комнате одетая,— влезла в лодочки, глянула на спящего мужа и вышла в коридор.

Сергей не спал, курил, листал какую-то книжечку. Тане, появившейся в дверях, он сказал сразу твердо:

— Никуда не пойду.

— Да ты ботинки уже натянул! Не ври себе-то!

— Вон! — заорал Сергей.— Вон!

Она молча повернулась, вышла, хлопнула дверью. На лестничной площадке села на ступеньку. Посидела, повздыхала. Поднялась, снова открыла дверь и столкнулась с Сергеем — нос к носу.

— В чем я пойду-то? — пробормотал тот.— У меня все из моды вышло...

— Да хоть в камзоле! Там же ни души! Хоть в шлафроке!

И вот уже он медленно, как старик одышечный, сползал с пролета на пролет, озираясь дико, и сам имел дичайший вид: мучнисто-бледный, с бритым черепом, в темном мешковатом костюме, при галстукке широченном, повязанном косо...

— Смотри,— сказал Сергей с нежностью, погладив испещренную обычной тарабарщиной стену.— Все те же надписи... «Спартак — чемпион», «Дип Пёрпл», «Анкудинов — педик»... И не заштукатурили!

— Анкудинов давно уж в Израиле, даром что татарин,— буркнула Таня.— Кто заштукатурит — лестницы некому мыть...

В подъезде он крепко сжал ее руки, взмолился: «Вернемся!»

— Мосты сожжены! — И Татьяна распахнула дверь.

Сергей шагнул на старую московскую улицу, такую зачуханную, с разбитыми фонарями, с двухэтажными уродцами, лепящими друг к другу, все вокруг было такое жалкое, убогое, родное, и воздух — воздух теплой летней ночи — да еще дождик прошел! — был таким, что... Таким, что...

— Хорошо...— прошептал Сергей.— Только кочан кружится...

Его действительно шатало. Татьяна вцепилась ему в локоть. Мимо пронеслось пустое такси — Сергей пролепетал восторженно:

— Машина! Смотри! Машина! Такая же, как раньше...

— Что ж ты думал, у нас «фольксвагены» по улицам бегают? Все те же тачки задрипанные...

— Хорошо...— лопотал он, бредя по пустой улице. Ноги у него заплетались, язык — тоже.— Хорошо... Смотри! — заорал он, останавливаясь у вывески овощной лавочки.— «...щи — Фрукты!» Господи! Это же я еще отодрал! Пять лет назад! По пьяни... Идем с Людкой из гостей ночью, она стонет: «Щец бы с бодуна...» Я говорю: «Щас! — а я тогда фраерился, в женихах ходил.— Щас!» И отодрал «Ово». Вот тебе и «щи»!

За пять лет три буквы не присобачили! — орал он восторженно.

— Зато какой тут хай в обеденное время, — усмехнулась Таня. — Знаешь, мешочники тульские к этому времени всю колбасу уже сметут и — сюда. «щи — Фрукты». Думают, что столовка.

Он уже ржал истерически, пластаясь по витрине.

— Где щи? Гоните щи! Они щи очень любят в Туле... Ну в итоге покупают какой-нибудь порей с горя. Редьку какую-нибудь, матерьясь... Магазин процветает. Кассирши все в соболях...

Так они покатывались оба на пустой ночной улице — нелепая парочка, два шизоида... К булочной, что напротив овощного, подъехал хлебный фургон, повыскакивали грузчики. Сергей шмыгнул под арку проходного двора, присел на выступ стены.

— Я свеженогого принесу, — предложила Таня. — Поглянчу!

...Когда она вернулась с буханкой горячего «бородинского», он сидел, прижавшись спиной к грязной штукатурке, и плакал беззвучно, наклоня бритую голову. Таня испугалась, не зная что сказать, села рядом. Протянула ему хлеб. Он надкусил, подавился, закашлялся.

— Ну что ты, что ты, что ты... — Татьяна гладила его по худым плечам, успокаивая.

— Дурак! — прорыдал он. — Дурак! Зачем? Зачем?.. Столько лет... Что мы делаем с нашей жизнью, Танька? За что нас так? Дураки... Жалко... Жалко себя, понимаешь?

— Да, да. Конечно... Да.

— Жалко всех...

— Конечно. Да. Конечно.

— ...Ну вот, а потом я ушел из НИИ в стройтрест, надо было зарабатывать квартиру... И там все началось. Понимаешь, там был крутой бардак, конечно. Жульё на жульё. И такой расклад, что будь ты хоть трижды чистеньким, будь ты хоть последней шестеркой, но все равно ты уже как бы повязан, втянут в это дерьмо, и в любой момент к тебе могут постучать ласковые граждане в цивильном и устроить тебе клетчатые небеса...

Они стояли у окна в Сережиной квартире, окно было распахнуто — революшн!

— Надо было уходить, но я уже боялся подать заявление, мне казалось, что это будет истолковано как бегство, как доказательство моей причастности... Наверное, я тогда уже начал свихиваться... Я там тихо сидел, никто меня не трогал, но я-то видел, что творилось вокруг меня, я понимал, что каждая мною подписанная бумажка может лечь в материалы гипотетического дела!

— По-моему, ты просто вбил себе в голову... Мания...

— Не знаю... Но когда полгода, год ходишь в ожидании наручников... Когда ты каждое утро застегиваешь запонки на манжетах и думаешь: вот тут они сомкнутся! Я перестал спать, дикие головные боли... Стал людей бояться. Вообще людей, на улицах. Шел пешком четыре остановки, боялся влезть в трамвай, боялся, что пихнут, обругают... В магазине кассирша кричала: «Говорите!», а у меня слова застревали в горле...

— Нервный срыв...

— Нервный срыв, да... Я всерьез обдумал идею самоубийства. Но потом я спросил себя: «Ты что, не хочешь жить?» «Хочу. Я просто не хочу больше людей, всего этого скотства, потных тел, оскаленных морд, изрыгающих мат...» Дальше — дело техники. Людка — святая баба, она все устроила: психопатия, инвалидность, нетрудоспособность... Я стал думать: «Где меня не смогут найти? Какая-нибудь нора в тайге, скит, ущелье...» Людка говорит: «Дурак, там на тебя обязательно наткнутся! Самая лучшая нора — это квартира в многоэтажке, запертая изнутри на два оборота». И вся история.

Татьяна слушала напряженно.

— ...Она меня ночью перевезла сюда к себе из моей коммуналки, сама ушла к матери. Валера, ее сын, золотой парень, сначала в моей десятиметровке жил, потом на Север завербовался. И стал я тут жить. И все, что я откладывал в жизни на потом, — книги, живопись, музыка, а от отца осталась хорошая библиотека, альбомы по живописи, пластинки, — все это мне наконец пригодилось... Вот так. Вот так. Нет вопросов?

— Но мы завтра... пойдем гулять ночью?

— Нет, — он с треском захлопнул створки, — хорошенького помаленьку. Но я хотел бы... — пробубнил он вдруг, не глядя на нее, взявсь со шпингалетом. — Может, ты останешься сегодня?

— Понимаешь... — она сразу одеревенела от неловкости. — Прости... Муж может проснуться... Пятый час...

— Да я не в том смысле! Я бы себе раскладушку поставил на кухню! — он мучительно покраснел, даже бритая макушка порозовела. — Просто у меня колотун после сегодняшнего. Боюсь один остаться...

— ...Нет, нет... В другой раз. Ну выпей валерьянки. В другой раз.

Гера спал, слава богу. Таня на цыпочках прокралась к кровати, легла не раздеваясь поверх одеяла. Лежала, глядя в одну точку. Уже светало, за окном сварливо затыкали псы, выведшие сонных хозяев на променад... Татьяна вдруг резко села на кровати, наша-

рила ногой туфли. Она не видела, что Гера приоткрыл глаза и напряженно наблюдает за тем, как она поправляет у зеркала кофточку, крадется к дверям...

Она открыла дверь Серезиной квартиры, вошла в комнату. Сергей спал, укрывшись с головой одеялом. Татьяна постояла немного, составила рядышком расшвыранные по комнате ботинки и двинулась к выходу. У распахнутой двери в Серезину квартиру стоял Гера, полуодетый, в полном оцепенении. Минуты полторы супруги с одинаковым ужасом взирали друг на друга, потом Гера сказал сипло:

— Как в плохом анекдоте, — и, отодвинув жену в сторону, шагнул в комнату.

— Не буди! — зашипела Татьяна, опомнившись. — Пойдем! Я тебе все объясню...

— Нет, я хочу на него взглянуть, — Гера пытался сдернуть одеяло с Серезиной головы, Татьяна отводила его руки, отталкивала.

— Вам тут не тесно? — спрашивал Гера с бессильным, горьким хохотком.

— Подлец!

— Шлюха!

— Шпион! — Оба — громким шепотом, не срываясь на крик.

Сергей замычал во сне, заворочался. Гера и Таня на секунду притихли, потом Татьяна с удесятиренной энергией принялась выталкивать мужа из комнаты и, вытолкнув на лестницу, взмолилась:

— Гера, выслушай меня...

— Гадость какая, — бормотал он, отступая от нее. — Пакость... Господи, с соседом! — хохотнул истерично. — С соседом!

— Ты можешь меня выслушать? — она попыталась дотронуться до его руки.

— Не трогай меня! — взвизгнул он. — Я ухожу к матери. Да, я ухожу к маме. — И, приняв решение, он метнулся вниз по лестнице.

— Гера! — крикнула она вслед. — Гера! Оденься хоть... — Слезы душили ее. — Гера!

Беззвучно плача, она толкнула дверь своей квартиры. Дверь в их комнату тоже была открыта. Гера отсутствовал. Татьяна опустилась на стул у окна — было уже совсем светло, часов семь — и, уронив голову на широкий в засохших каплях белил подоконник, зарыдала в голос.

Проснулась она в той же позе у окна. Яркий солнечный день слепил глаза. Татьяна поднялась и, плохо соображая, куда идет, побрела тем не менее к Сереже.

Она позвонила в дверь и невольно охнула,

отступив в сторону: дверь ей открыл муж.

— Иди домой, — велел ей Гера хмуро. — Иди и жди. Я скоро...

— Да ты что! — Она пыталась оттолкнуть его, он не пускал. — Может, ты его там убиваешь?! Пусти! Пусти! — И умолкла: за Гериным плечом замаячила бледная Серезина физиономия. — Серезенька! — заголосила Татьяна, пытаясь прорваться к нему. — Прости меня! Я не виновата... Он сам выследил! Прости...

— Все в порядке, Тань. — Серезино лицо ничего не выражало. — Все в порядке.

Пошатываясь — слез уже не было, сил тоже — Таня проделала обратный путь. Слонялась по пустой квартире, в кухне подставила лицо под кран, под ледяную воду... Хлопнула дверь — Герины шаги. Таня метнулась за ним в комнату. Гера, стоя к ней спиной, уже кидал в выдвинутый на середину комнаты чемодан рубашки и майки.

— Гера! — она заметалась, с трудом подбирая слова. — Подожди! Ну куда ты пойдешь? Не сходи с ума! Он же тебе все объяснил... Да? Да? У нас же ничего не было...

Муж повернулся к ней лицом, и Татьяна осеклась от неожиданности: Герино лицо не выражало ни ненависти, ни страдания, что было бы естественным в этой ситуации, — нет, Гера просительно, заискивающе улыбался.

— Так куда же ты пойдешь? — спросила Таня в замешательстве.

— Тань, я пойду к Сереже. Ты отпускаешь?

Обвал! Она медленно осела на табурет, стоящий у двери.

— Понимаешь, это катарсис, — бормотал Гера, бросая в чемодан носки и плавки. — То, что я пережил, то, что я понял... Офигенный мужик! Я тебя понимаю, я тебя не виню, Тань... Какой акт мужества, акт воли! Послать наш соцбардак на три буквы... Жить истинным, нетленным... Господи, да это то, о чем я мечтал!

— У тебя же договор с издательством, — к Татьяне возвращался дар речи. — Ты что, тоже затворником собираешься?..

— Ну вот я там и поработаю, — Гера захлопнул чемодан, выпрямился. — Созвонюсь с редактрисой, передвинем сроки... Тань, я там тебе столыжник оставил. Пойми, я же не навсегда: месяц, два, три...

Он подошел к двери — она схватила его за рукав:

— Лучше б ты меня убил! Ты же отрицаешь у меня все, все!

— Ну что ты говоришь, Танечка? — Гера посмотрел на нее сверху вниз. — Все-все у

тебя — я. Вот ты поскучаешь тут месяцок и допрешь: муж у тебя — все-все-все.

— А жрать вам кто будет носить? — крикнула она ему вслед грубым базарным голосом. — Я?! Не надейтесь!

— Витька подсуется, — откликнулся муж у нее из коридора.

Хлопнула входная дверь. Минуту-другую Таня еще сидела неподвижно. Потом она закрыла лицо руками и, давась от безудержного, истерического хохота, сползла с табурета на пол.

Потом она все же заставила себя подняться — вечерело уже; в полумраке, не включая света, она припудрила распухшую от слез физиономию и побрела наверх.

Открыла дверь своим ключом: в прихожей клубилось мутное облако табачного дыма, из комнаты неслись возбужденные мужские голоса. «Он должен его слушать, Шмелева! Под копирку — каждое слово!» — это Герочка родимый. «А дефицит бюджета?» — это Сережа. У Тани кровь застучала в висках — так, курсы политграммы. Сереженька расколослся-таки...

— Золотой запас! — доносились до ее слуха обрывки речений. — Фонды, фонды.. Да где Абалкину... Инфляционные процессы...

Таня заглянула на кухню — здесь теперь царил Витек. В ее фартуке, гад, уже в хорошем подогреве, и нож консервный занес над банкой импортной ветчины, добытой Таней такими трудами...

— Не трожь! — прорычала она, отнимая у Витька банку. — Не лапай! Халявник... Это я на ноябрьские отложила... — И добавила, помявшись: — Вызови Сережу.

Витька безропотно побегал исполнять. Через минуту в кухню ввалился Сережа, разгоряченный, глаза горят:

— Танюша, как хорошо, что ты... Слушай, но этот Гдяня! Какой парень! Смертник. Смертник, камикадзе! А этот... Ельцин... Титан! Титан!

— Сереж, — спросила Таня глухо, прижимая к груди ветчину, — ты меня бросил?

— Ну что-о ты, ну бог с тобой! Ну пойдём с нами чай пить!

Таня померкла, глянула на Витьку — тот крутился возле них, пас заморскую закуску. Таня сунула ему ветчину и, кусая губы, чтобы не разреветься, хлопнула дверью.

Теперь она жила в полупрозрации: все чувства в ней как бы притихли, притупились. Она плелась по улице, бессмысленно глядя себе под ноги... Зашла в магазин — вышла из него, не взглянув на прилавки: готовить не для кого...

Вечером явился Витька, приоткрыл дверь, Татьяна только голову приподняла — лежала ничком на неразобранной кровати.

— Записочка вам-с! — Витька игриво повертел запиской.

— Иди отсюда! — огрызнулась Татьяна.

— Дура, прочти! От Сереги!

— Да подотришь ею!

— Грубо. — Витька исчез, а Таня снова рухнула на подушку.

Ночью ее разбудил звонок в дверь. Сонная, плохо соображая, она прошлепала босиком по коридору, открыла дверь. Сережа стоял на пороге, улыбался: «Я соскучился».

— Как же тебя Герочка отпустил? — спросила Таня, стараясь быть язвительной и невозмутимой.

— Он заснул. Спекся. Слушай, он мне надоел! Я по тебе соскучился.

— А ты мне надоел. На-до-ел, — отчеканила Таня и захлопнула дверь.

Она стояла, прижавшись лбом к стене, обклеенной Паней наново. Она слышала, как Сережа мнетя там за дверью, — чиркнула спичка, потянуло «Опалом»... Если бы она знала о том, что ожидает их завтра!.. «Если бы я знала!» — говорила она впоследствии, сидя в какой-нибудь полуслучайной компании баб, и те ей отвечали дружно — уже подвыпив, уже раскинув карточки на всех своих королей: «А, задним умом, Танька! Задним умом сильны. На, попробуй вот этот, с креветками...»

Итак, она шла домой. Вечерело, она подходила к арке, ведущей во двор. Потом ей пришлось посторониться: какое-то складенькое импортное авто обогнало Таню и притормозило у ее подъезда. Из авто выскочил дядечка, такой же ладненький и щеголеватый, вытащил блокнотик, полистал... Таня, поровнявшись с ним, приостановила шаг, он тут же заговорил, ослабившись:

— О-о! Джасте момент!.. Девуч-ка... Один вопрос... Сер-кей, — он сверился с блокнотиком. — Серкей Софкофф...

— Я не понимаю, — быстро сказала Таня, предчувствие беды обожгло ее. — Не понимаю. — Она кинулась было к подъезду, потом вернулась, схватила иностранца за локоть, затараторила: — Подождите! Совков! Конеч-но! Ну коне-ечно! Это не здесь. Улица Макаренко. Макаренко стрит... Вот так поедете, так и так...

Иностранец глядел на нее недоверчиво, колебался.

— Сергей Совков, да-да! — верещала Таня, подталкивая его к машине. — Плиз! Плиз! Флэт намбе фоти файв... — Она выдохлась,

исчерпав свой скудный запас по части инглиша.

— О'кей! — кивнул заморский гость и уехал.

Татьяна кинулась в подъезд.

Открыл ей Гера, веселый, в руке вилка с куском колбасы.

— Прием пищи? — прошипела Таня.— А ты знаешь, что там внизу какой-то американец Сережкой интересуется?

Гера побелел. Замер с набитым ртом.

— Сволочь... — прошептала Таня.— Кому ты протрепался?!

— Это Дугин,— Гера судорожно сглотнул.— Но он же слово давал! Подонок... Я ему звонил... Ну и...

— И протрепался,— кивнула Таня.

— Я боюсь... — мямлил Гера, пряча глаза.— Боюсь, что он статейку тиснул. Он еще кричал: «Узник совести, узник совести!»

— А ты сам хотел накатать, да? — спросила Таня со спокойной яростью.— Обскакал тебя Дугин, да? — Гера молчал подавленно. Тогда Татьяна подняла руку и вlepила ему пощечину. Перевела дыхание.— Бери свой чемоданчик и катись. К маме, к папе, к этой шлюхе своей из ЦДРИ... К черту на рога!

Гера, держась за побагровевшую щеку, исчез за дверью и выскочил через минуту с чемоданом в руках. Он глянул на жену затравленно, сился что-то сказать, потом ссутулился, побрел вниз по ступенькам. Все. Привет.

Она открыла дверь. Сергей сидел на ящике для обуви, тупо смотрел перед собой.

— Сережа! — она опустила перед ним на колени, на грязный пол, не мытый со времен Людмилиной капитуляции.— Ты все слышал, Сережа? Надо уходить! Мы быстро соберемся и пойдём. Я тебя спрячу у своих... Вставай, Сереженька, миленький! Он посмотрел на нее, взгляд его не выражал ничего, кроме усталости.

— Давай завтра. Я, Тань, очень устал. Пойду посплю... Завтра.

— Завтра будет поздно, Сережа! — она тормошила его.— Поздно!

— Завтра,— повторил он в каком-то оцепенении.— Завтра.

— Се-ре-жа! Мы с то-бой! Се-ре-жа!

Таня открыла глаза, вскочила, кинулась к распахнутому окну: внизу во дворе стояли два парня и девица. Девица махала транспарантом. Парни, задравши головы вверх к Сережиным окнам, орали бодро, басовито: «Се-ре-жа! Се-ре-жа!» Га-ак. Опоздали.

Татьяна лихорадочно натянула пуловер, ринулась наверх.

У Сережиной двери бродили два сытомордых красавца.

— Пароль! — сказал один из них Тане, преградив ей путь.

— Пусты! — заорала Татьяна.

— Пароль!

Татьяна, изловчившись, пырнула молодца в брюхо острым своим локотком, ворвалась в квартиру, где у входа в комнату стоял на часах еще один детина. Сережа сидел в своем кресле понурясь, вокруг него расхаживал какой-то бородач, вещал заунывно:

— Под флагом русского монархизма придем мы к красному дню России-матушки!..

— Из «ДС»? — быстро спросил Таню детина, Татьяна же молча подвинула ногой табурет, села в дверях.

— ...Крестным ходом пойдём, крестным ходом! — бубнил бородач вдохновенно, успев, впрочем, окинуть Таню тревожным взглядом.

— Анархо-синдикалисты? — допытывался детина у Тани.

— За русскую-то идею! — надрывался бородач, обхаживая безмолвного Сережу.— Не на живот, а на смерть! Как прашуры завещали!

Таня покосилась на его живот — живот у стратотерпца был округл и упитан.

— От союза неорадикалов? — не унимался детина на стреме.

Бородач вития меж тем аккуратно подтянул брюки и рухнул перед Сережей на колени, возопив: «В духовные пастыри зовем! Приди под знамена веры истинной!»

— Неомусаветисты? — приставал к Тане детина.— Левопрогрессисты?

— Террористическая группа «Красные сопля!» — заорала Таня.— Вон у меня шрапнелью карманы набиты!

Детина попятился. Бородач не спеша, с достоинством поднялся с колен, отряхнул брюки и, тыча в Таню пальцем, заметил:

— Вот они, Сергей Андреич! Вот их уровень! Уклонисты, центристы, боевики, шпана ублюдочная! Сватать вас будут, валютой соблазнять — гоните в шею! — Тут бородач придавил Сережины колени к креслу объемистой папкой с вытесненным на ней золотым двуглавым орлом.— Программа наша, устав, как Библию читайте!

Затем он удалился величаво, смерив Таню взглядом, исполненным отвращения. Детина поспешил за ним.

Таня вскочила, подняла Сережу без особых усилий, как тряпичную куклу, набитую опилками. Теперь она была молчалива и деятельна — никаких молений, слез, пустых словес. Распахнула дверцы шкафа, вытащила его пиджак, пару сорочек.

— Танечка, не обращай на меня внимания,— сказал Сергей.— У меня опять, как тогда начиналось, те же симптомы — вялость... Спать все время хочется...

— Нет уж, выпались! — она натянула на него пиджак. — Пора когти рвать.

Лифт был занят. Татьяна держала руку у светящейся кнопки: скорей, скорей! Лифт остановился на их этаже, дверцы распахнулись, улыбочивый шатен с гладким личиком преуспевающего функционера (за его спиной громоздился здоровяк на подхвате: расклад тот же, что и у предыдущей парочки) спросил у Сережи:

— Товарищ Совков? Встречать меня вышли? Лады, лады.

В Серезиной комнате функционер, продолжая широко улыбаться, достал какую-то книжечку, ткнул Сергею под нос:

— Куликов Виктор Петрович, зампред райисполкома.

Сережа врос в кресло, Таня у дверей закашлялась, побагровев.

— Ну тут свои собрались, — Виктор Петрович оглядел ее цепко. — Дела такие... Дела следующие: замечочка вышла о вас, Сергей Андреич. Совершенно невзрачная, в заштатной газетенке. Ну знаете, как о казусе природы типа: колхозник Петров нашел шампильон пятьдесят сантиметров в диаметре. Так и там: такой-то пять лет сидит в квартире отшельником. Это бы ничего... Да «голоса» взвыли, — Виктор Петрович поморщился. — Вот «Свободная Европа» вчера передала, дескать, политзаключенный, пять лет на домашнем аресте, заложник КГБ...

— Утка, — сказал Сережа быстро. — Грязная инсинуация.

— Лады! — засиял Виктор Петрович. — Лады... Ну а ваши, к слову сказать, политические убеждения?

— Лоялен. — Похоже, слова у Сережи складывались сами собой, он выпаливал шаблоны механически. — Я — за руководящую роль.

— Лады! — Виктор Петрович совсем расцвел. — Такие кадры — и в подполье! Ну-с, к вам тут всякие гости заморские ходить станут... Мы, знаете ли, всех теперь пускаем... Вот сватать вас будут, к отъезду склоняют...

— Я не поеду! — выпалил Сергей.

— Лады. — Виктор Петрович покосился на чемодан, стоящий у Таниных ног. — Чемоданчик-то распакуйте. Куда вам спешить? Столько лет сидели — посидите еще. А то, знаете, явится какой-нибудь паскудник из «Ньюс Уик»: где Сережа? Нет Сережи! Ах, ах, упекли в каземат, ах, права попирают! На весь мир нас обкакает. Так что распакуйте. — Виктор Петрович посерьезнел, гаркнул: — Сайков!

Сайков вырос на пороге с блокнотиком в руках.

— Давай-ка тут это... — Виктор Петрович оглядел квартиру наметанным глазом: — Побелка, обои финские. Кондиционер... (Сайков произвел мгновенно обмеры, застрочил в блокнотике). — С интерьером поработайте. Комната темная, здесь орех будет хорош... Обивочка в пастельных тонах... Есть у нас орех?

— Так точно! — вытянулся Сайков. — Отыщем!

— Лады, — Виктор Петрович вновь широко, дружелюбно улыбнулся Сереже, протянул руку: — Ну-с, разрешите откланяться.

Сережа вскочил, пожал его крепкую ладошку.

— Вот это только нехорошо, — Виктор Петрович потрепал Сережу по короткому, едва отросшему ежику волос. — Навевает, знаете ли, параллели...

— Отрастут! — заверил Сережа.

— Лады, лады! — И чиновная парочка удалилась восвояси.

...Они молчали, а в тишине отчетливо был слышен скандеж за окнами: «Се-ре-жа! Мы с то-бой! Се-ре-жа!»

— Пойдем? — спросила Таня, хотя умом понимала: куда теперь?

— Куда теперь... — пробормотал Сережа. — Обложили.

— Се-ре-жа! — орали за окнами. Хор теперь звучал куда увереннее, мощнее, чем утреннее жиденькое трехголосье.

— Вот опять... — пробормотал Сережа. — Возвращается ко мне... Узнаю симптомчики...

— Что возвращается?!

— Страх.

Вечером Татьяна возвращалась домой. У достопамятной вывески «щи — Фрукты» она замедлила шаг. Взгромоздившись на стремянку, завмаг, рыхлая блондинка, самолично нанизывала на штыри букву «О». Рядом скачuli две продавщицы, держали наготове «в» и «о».

— Привет, Тань! — крикнула завмагша. — Вишь, начальство приказало. А то, грит, мимо вас иностранцы теперь ходят...

— Это куда ж они ходят?

— Куда! В твой дом. Зой, подавай «в». У вас там, грит, какого-то пророка откопали... Вроде Ванги. Прорицает. Девять лет в заколоченной комнате сидит, питается злаками. В январе, грит, Плутон на нас рухнет. Подохнем все, короче. Тань, я тебе скажу: мы раньше все подохнем, ублюдочная нация! Мы сейчас пять контейнеров получили с баклажанами, на каждом третьем баклажане, Тань, на шкурке — матерное слово нацарапано, знаешь... самое компактное...

Таня уже двинулась дальше, а словоохотливая завмагша все кричала ей вслед:

«...Я звоню на базу: кто разгружал? Они говорят, студенты из Гнесинского. Во, Тань, во народ! Ублюдки! Зайди завтра, кетчуп будет!»

Таня едва протиснулась к своему подъезду: взмыленная толпа штурмовала вход в него, кто-то толкнул ее в бок локтем, какая-то дамочка схватила за руку: «А вы куда? Не пускают!»

— Домой! — отпихнула ее Таня. — Я здесь живу!

Представитель жэка закрывал дверь своим телом, как Матросов амбразуру. «Куда-а?! — прохрипел он, завидя протиснувшуюся к нему Таню. — У меня распоряжение — посторонним вход...»

— Да я из двадцать второй! — закричала Таня.

Бедняга жэковец посмотрел на нее ошалело.

— Ну проходите. Завтра с паспортом. По паспорту будем проверять. Только жильцы! — истерически возопил он, сдерживая толпу, которая с удесятиренной силой пошла на приступ. — Только жильцы! Тих-ха! Совесть поймейте! Сейчас крымские татары прошли сорок человек! У нас лестница обвалится! Дом на капремонте!

Толпа надавила — и Таня влетела в подъезд пробкой от шампанского. Какой-то нервический, дурацкий смешок сотрясал ее, она никак не могла остановиться. Так и поднималась по лестнице, то ли смеясь, то ли плача, пока не наткнулась на странных людей — их было много, они сидели прямо на ступенях, многие курили. Здесь было несколько детей, смуглых, черненьких, как галчата. Таня молча протиснулась между этой странной публикой к дверям Сережиной квартиры. На этот раз ее пропустили безропотно, хоть и проводили угрюмыми взглядами.

В прихожей тоже толкались люди, пахло свежей известью, непрерывно звонил телефон, три грузчика выволакивали из комнаты старенький, облезлый Людмилин комод, впереди бежал Витька и отдавал команды: «Правее! Сюда подай! Слепел, что ль?» Телефон разрывался от звонков, Витька снял трубку и, поправляя болтающиеся на груди на длинном шнурке очки — откуда взялись? при Витькином-то орлином зрении? — сказал в трубку важно: «Да. Да. Секретарь по связям с прессой. Нет. Сегодня — нет. У него крымские татары».

Положив трубку, Витька сразу заорал, тесня к дверям смуглолицых визитеров:

— На лестницу, на лестницу! Все на лестницу!

— Вить, ты меня не узнаешь? — спросила Таня с ласковой злостью.

— Татьяна Игоревна, очистите помещение, — отвечал тот сухо.

— Вить, а как же плюшки-то? — и Татьяна примерила его очки, натянув шнурок. — Кто же теперь слойки-то продает у метро?

Пока он сочинял ответ, Таня шагнула в комнату. Оставшаяся в комнате мебель была укрыта газетами, два маляра споро белили потолок, у открытого окна в кресле сидел Сережа с несчастным видом покоровшегося судьбе. Группка татар держала перед ним бумагу, уламывала:

— Подпиши! Ну подпиши!

— Ну что я... — говорил Сережа вяло. — Ну что вам это даст?

— Подпиши! — молили татары.

— Ну что... Ну подписать? — спрашивал Сережа почему-то маляра.

— Да в элементе! — отвечал маляр бодро. — Пускай вернутся на историческую родину. А то чо же, они нам — иго, и мы им фигу?

Татары посмеялись через силу. Сережа вздохнул, взял бумагу и размашисто на ней расписался. Потом он поднял глаза и увидел Таню, глядевшую на него в упор.

— Танечка... — сказал он. — Пришла. Тань, ну что, может, им и впрямь пригодится? Может, я могу быть полезен? Может...

Татьяна повернулась и вышла из комнаты.

Она мыла голову в ванной, когда Паня забарабанила в дверь:

— Танька, открой! Открой!

Таня чертыхнулась, открыла.

— Танька! — Паня пребывала в крайнем возбуждении. — Чо деется! Эти там... Которые весь день под окнами орут... Они там лежат! В мешках! Лиза из семнадцатой сейчас собаку прогуливала — лежат! В знак протеста. Лиза говорит: бедненькие, я вам котлет принесу, а они: нет, у нас голодовка!

Таня — как была, в халатике, с мокрых волос пена течет — рванула полотенце с крючка, обмотала голову, бросилась к дверям.

Действительно лежали. Человек пятнадцать в спальнях мешках, термосы, плакатики: «Свобода Совкову!», «Сережа, мы вместе!» — классика советской диссиды.

— Дураки! — заорала Таня. — Делать нечего?! Идиоты! Встань! — она попыталась поднять какого-то очкарика. Полотенце сползло на плечи, мокрые пряди лезли в глаза. — Его никто не держит там! Его никто туда не сажал! Он сам! Сам!

— А ну катись! — рывкнул на нее очкарик.

— Здоровые лбы! — орала Таня в отчаянии. — Нашли себе икону! Подпольщика! Ну что ты улеглась? — Таня попыталась

поднять какую-то девицу.— Тебе детей рожать! Отморозишь себе все!

Татьяна глянула вверх на Серезины окна: темная фигура в желтом квадрате окна — ага, наблюдает! Мыло щипало глаза — Таня закурила тюрбан.

— О! — гоготнул кто-то из толпы — эти в мешки не лезли, так, группа поддержки.— Шахерезада! Шахерезада из райкома! Кому ты сказки рассказываешь, зампреду?

— Ну вставайте, пожалуйста, вставайте! — молила Таня.

— Ребята, это провокация! — выкрикнули из толпы.— Прислали подстилку аппаратную! Ребята, раз-два-три! — И они завопили дружно, и стоящие, и лежащие: — Се-ре-жа! Се-ре-жа!

— А я здесь,— откликнулся Сережа в паузе между воплями.

Он вышел из темноты под свет фонаря, и в наступившей тишине — слышно было даже, как дребезжит трамвай на бульваре — добавил:

— Идите, ребята, домой. Не надо ничего. Спасибо, но не надо.

Большее ему ничего не дали сказать: победный клич стаи взметнулся над ночным двором, толпа ринулась к кумиру...

И вот он уже взлетел в воздух, подкидываемый десятками рук.

Таня выбралась из давки. Прислонилась к тополю. Все было очень просто, как дважды два, в элементе, как сказал бы Серезин маляр. В беллетристике это называется опьянением властью. Вот он еще сердился, отбивался, пытался что-то объяснить, но его подкидывали, жали ему руки, какая-то молодуха кричала: «Можно, я вас поцелую?» Он уже смеялся, он полез за сигаретами — и множество рук протянули ему свои располовиненные пачки. «Владька, у тебя был "Салем"!» — кричал кто-то.

— Нет,— улыбался Сережа,— я — «Беломор».

—Таня только хмыкнула: Сережа — «Беломор»?! Но ему хотелось быть рубахой-парнем, симпатягой, он раскраснелся, он не замечал, что его заносит, что он дурачит неволью этих юных балбесов, изголодавшихся по идолу, этих стопроцентно советских детей с их вечной, с их гибельной установкой «делать жизнь с кого».

— Я — «Беломор», хоть подышать ГУЛАГом!

И все они дружно смеялись, радуясь этой сомнительной шуточке, и у Серези горели глаза... «Вы будете баллотироваться?», «Правда, что вам Солженицын писал?» — кричали со всех сторон. «Они сняли охрану? Нет? Да?» И Сережа отвечал им столь же охотно, сколь и уклончиво: «Баллотироваться? А вы выдвиньте мою кандидатуру!», «Что — охра-

на! Мы все под охраной...», «Сам Исаич?.. Так, устные приветы...»

Таня откинула волосы со лба — ого, они почти высохли! — сплонула смачно, так, как ее учил Геркин племянш, трижды отсидевший по двести шестой, и пошла прочь, помахивая мокрым полотенцем.

Опять звенели звонки в ночной квартире, опять сонная Таня топала к дверям, внимая попутно Паниной брани.

— Гер, это ты? — спросила она с надеждой, прежде чем открыть. Тишина, потом какое-то невнятное женское хихиканье.

Таня открыла дверь и отшатнулась: четыре тетки, коренастенькие, широкомордые, улыбались ей с порога. Процессию замыкал длинный юнец. Юнец, напротив, был хмур и смотрел все время куда-то вбок, стеснялся.

— Здравьете! — сказала самая бойкая из теток.— Здравьете. Мы из Абакана. А вы Таня?

— Да,— кивнула Таня обалдело.— А сколько времени?

— Три тридцать две,— прошептал юнец, продолжая глядеть в сторону.

— Вот мы так тебя и представляли! — сияла тетка (три ее товарки молча пожирали Таню глазами).— Мы проездом тут. Ну сидим на Казанском — скука. Дай, думаем, зайдем! Поднялись к Сергее Андреевичу — не открыл. Ну мы к тебе!

— А откуда вы знаете про...— начала было Таня.

— Так у нас лектор был! Все-все рассказал про тебя, про Серезеньку... Ой, так интересно! Билеты, правда, дорогие, ну ничего... И как ты через окно проникла, а он уже петлю накидывает...

— Кто?! — ужаснулась Таня.

— Ну Сережа! Он уже петлю накидывает, а ты ему говоришь так спокойно: «Ну прыгай, прыгай, коли жизнь недорога!» Ой, ну я не могу просто! Лид, ну чо ты молчишь? — И бойкая ткнула локтем товарку: — Это Лида, свояченица моя из Усть-Каменогорска, он у них тоже выступал. Лид, ну чего ты?

— Билеты дорогие больно,— сказала Лида сурово.— Уж больно много дерете. Ну так-то ничего, конечно... Я вот что: вы можете теофедрин достать? Хоть в ампулах, хоть в таблетках!

— Я позвоню? — спросил юнец, с трудом преодолевая застенчивость. И, не дожидаясь ответа, он робко отстранил Таню, вошел в прихожую.

— Раз уж он колетса, так что вам теофедрин, вы и пошибче наркотики достаете! — продолжала Лида неприязненно.

— Колетса?..— пролепетала Таня.

— Ну Сережа ваш! Лектор говорил, вы к нему пять раз в сутки со шприцем бегаете...

Теперь, Таня, как нам до «Лейпцига» добраться?

— Лена! — кричал юнец в трубку. — С абаканским приветом! Лена, ты напрягись: город Саки, ресторан «Голубой прибой», пятый столик у колонны!.. — Тут он ойкнул и уронил трубку, влекомый к порогу разъяренной Паней. Паня явилась к ночным гостям во всей своей красе: мужское трикотажное белье «Возраст любви», три бигудины над насупленным лобиком и краткий вдохновенный монолог, украшенный перлами российского красноречия.

— Я те покажу «Лейпциг», ядран твою мать! — кричала Паня вслед уносящим ноги провинциалам. — У-у-у, мешочники!

— Поздравь меня, Паня, — сказала Татьяна, когда Паня закрыла дверь на все три засова. — Вот и меня не миновала чаша сия. Меня знают в Абакане. Я прославилась на весь Усть-Каменогорск.

Паня молча проследовала к двери в свою комнату, но, прежде чем исчезнуть за ней, буркнула:

— Таньк, ты там поговори на верхах... Пусть нам с Нинкой по квартире дадут. Ну что тебе стоит? Тань, поговори!

Уже значки продавали. Уже стоял пухлорожий юноша в поддельной фирме, а перед ним на низеньком столике глянцево поблескивали кругляши: Сережа анфас, Сережа в профиль. Курточка и кепи юнца тоже были усеяны значками — реклама.

— Почему? — спросила Таня, покрутив значок в руках.

— Рупь, — отвечал юнец лениво.

— Рупь?!

— Ну давай половину, — вздохнул юнец (дела у него, очевидно, шли неважно).

Возле Таниного подъезда клубился народ: негромкий галдеж, группки спорящих, паратройка городских сумасшедших, пара-тройка ментов... Вдруг все притихли, ринулись к дверям — из подъезда выкатился Витька. Витьку теперь и вовсе было не узнать: к колесам на цепочке прибавилась кожаная куртка ядовито-изумрудного цвета. Под мышкой Витька держал плоский кейс. За Витькиной спиной высились два громилы — носы перебиты, жуют сладкую резину, синхронно двигая челюстями, — охрана.

— Аттеншен! — крикнул Витька, поднимая руку. — Кто тут от блока левых прогрессистов? — И он вручил протиснувшемуся к нему лысеющему блондину конверт. — Здесь ряд конкретных замечаний. Но в целом Сергей Андреич одобряет линию. Дерзайте! Блондин, прижимая конверт к узкой груди, попятился, кивая благодарственно.

— Всекавказский союз дашнаков! — выкрикнул Витька и, вручая смуглолицему

красавцу очередной конверт, добавил строго: — Сепаратизм неконструктивен.

— Так и сказал, слюшай?! — побледнел красавец.

— Так и сказал, — отрезал Витька и, вздев над толпой очередной конверт, заорал: — Кто тут от ассоциации «Новый РАПП»? Кто тут от «РАППА»?

— Витенька, а ты пообтесался! — Таня наконец протиснулась к Витьке. — Просто связующее звено меж пастырем и паствой. Да, Вить? А кто будет сортир чистить? Сегодня твоя очередь!

— Займись, — процедил Витька одному из громил, и в ту же секунду лапы охранника сомкнулись на Таниных предплечьях, после чего она была внесена в подъезд.

— Давай топай, — прогудел охранник, ставя Таню на ступени. — Там к тебе коробейники.

Перила лестницы были увешаны трикотажными изделиями — кофтенки, платья-мешки, и на каждом где люрексом, где иной блестячей дребедею было вышито «Таня», «Таня плюс Сережа». Все это шмотье караулили две тетki и разворотливый мужичонка.

— Танечка! — заверещал мужичонка, накидывая на Танины плечи какую-то вязаную хламиду. — Прослушав лекцию, три ночи не спали! Работало воображение! Мелькали спицы!

— Откуда? — спросила Таня устало. — Тында? Беркаки?

— Феодосия, — обиделся трикотажник. — Феодосийский кооператив «Клубок идей». Ах, Таня, какой у вас пропагандист!

— Вот гад, — сказала Таня, доставая ключи. — Обчистил Сибирь и Приуралье, теперь за Крым принялся. Гад. Знать бы кто. Тут за квартиру платить нечем...

— Таня, — мужичонка сжал ее локоть, — мы вам поможем. Мы будем спонсоры. Вот станете интервью давать, допустим, немцам, допустим, западным. Они вас спросят к примеру: «Где вы этот джемпер достали?» А вы им отвечаете: «Феодосийский кооператив "Клубок идей"». По рукам, Тань?

— Коттон? — спросила Таня, пощупав хламиду (ее опять обуял нехороший хохот, нездоровый, но она держалась).

— Тридцать процентов акрила, — признался мужичонка.

— Ну! — Таня развела руками. — О чем речь тогда! — И, скинув хламиду на руки обескураженному кооператору, скрылась за дверью.

— Войдите! — крикнула Таня. Она сидела у себя в комнате на полу у батареи, курила.

Вошли две молодежыые старушки, замялись у порога.

— Спонсоры?— спросила Таня понимающе.

— Нет, мы деньги принесли жертвовать. В фонд... В фонд помощи Сергею Совкову. Вот, девятнадцать рублей...

— А!— кивнула Таня.— В фонд!— Она уже ничему не удивлялась.— Я так понимаю, вы ошиблись комнатой. Пошли.— И она поднялась.

Витькину комнату теперь украшал большой двухтумбовый стол, за которым сидел сам хозяин, обложившись конторскими книгами,— важный, очки на носу, в нарукавниках сатиновых,— собирал подать. Вместо минздравовских плакатиков с игривыми намеками на пагубность случайных связей стены Витькиной халупы были обклеены плакатами на перестроечную тематику: «Как работаем, так и живем», «Трезвость — норма жизни» и тэдэ.

К Витькиному столу тянулась недлинная очередь благодарителей. Витька принимал тугрики, шарахал печатью по ведомости и сдержанно благодарил публику, квитанций, впрочем, не выдавая.

— Сколько?— спросила Таня у замыкающего очередь подростка.— Трешка? Ну поди себе мороженого купи.

— А можно продуктами?— спросила Таню стоящая рядом дамочка.— У нас есть китайская тушонка...

— Увы,— вздохнула Таня, выталкивая дамочку и подростка.— Он вегетарианец... И вы, бабушки, идите...

Витька вскочил из-за стола: «В чем дело? В чем дело?!»

— Все! Перерыв на обед!— заорала Таня.— Ревизия!— Она выталкивала из комнаты последних жертвователей.— Отбой!

— Это произвол!— сопротивлялась одна из старух.— Я член партии с одна тысяча девятьсот двадцать седьмого года!

— Ну поди сдай членские взносы,— грубо сказала Таня и, захлопнув дверь, схватила Витьку за лацкан пиджака.— Ты что творишь?!— прошипела она.— Ты что творишь?!

— В чем дело?— вырвался Витька.— Я о Серге забочусь! Его вон в Грецию приглашают, на форум! У него даже ботинок нет приличных!

— Зато ты кожан себе смастерил! Потрошишь старых дур, гнида! Ты же Сережку подставляешь, сволочь! Сережку!

Но тут кто-то повернул ключ в замке, дверь отворилась, и один из Витькиных охранников вошел в комнату.

— Ай-я-яй,— сказал он с ласковой укоризной, освобождая Витьку от Таниных рук и небрежно отшвыривая работодателя в сто-

рону (сразу стало понятно, что Витька ему не командир, скорее, наоборот).— Ай-я-яй! Какая бяка девочка!— и он покрутил Таню за ухо. Пальцы у него были ледяные, жесткие.— А если папа снимет ремень?— Он буравил Таню маленькими бесцветными глазками.

Таня вырвалась. Ухо горело. Телохрани- тель ухмылялся недобро. Впервые ей стало по-настоящему страшно. Весь этот бардак приобретал отчетливый криминальный оттенок. Таня попятилась, пятясь, нащупала рукой дверь и выскочила из комнаты.

Она шла домой, глядя себе под ноги. Привычным усталым взглядом Таня отмечала приметы ежевечернего идиотского действия вокруг их подъезда: вот девочки-«фанки» малевали мелом на стене: «Сереза, мы тебя любим!», клубились у входа все эти «эсдэки», «трудовики», «постепенновцы»...

Таня вошла в подъезд, подняла голову: какой-то дядька пытался впихнуть в лифт инвалидную коляску. В коляске сидела женщина, наверное, жена. «Я помогу!» — Татьяна метнулась к ним. Справились. «Спасибо», — кивнула Тане женщина. Такая интеллигентная, хорошее лицо. Аккуратно причесана, кофточка отглажена — следит за ней, холит. Наклонился, поправил ей шаль на плечах...

— Какой вам?— спросила Таня.

— Шестой,— сказал мужчина.

Татьяна потянулася к кнопке и — замерла: — Шестой?! К Совкову?!

— К Совкову,— кивнул мужчина.— Жмите.

— Не надо... — Она закрыла спиной щиток с кнопками.— Пожалуйста... Зачем? Зачем вам?!

— Вы что? — мужчина побелел.— В чем дело?!

— Ну зачем? Зачем вы приехали?! — говорила Таня, преодолевая отчаяние и стыд.— Он не поможет! Он вам не поможет!

— А ну отойдите! — Мужчина трясущимися руками пытался оттолкнуть Таню от щитка.— Вы что? Вы что, не видите, при ком вы все это несете?!

— Андрюша, правда, пойдем домой,— сказала женщина спокойно.

— Да, домой! Пожалуйста.— Таня опустилась на корточки перед ней, вцепилась в подлокотники коляски: — Пожалуйста! Простите меня...— Ее трясло.— Простите... Он вам не поможет, он шарлатан... Ничтожество. Пустой звук...

— Выйдите из лифта! — шипел мужчина.— Как вам не совестно!

— Мне совестно,— сказала Таня.— Правда, мне очень совестно. Но поезжайте до-

мой, прошу вас! Не нужно туда! Не нужно!
Сверху кто-то стучал уже, орал:

— Лифт! Лифт! Освободите лифт!

— Андрюша, вывези меня,— сказала женщина.— Вот сколько возни... Все правильно. Я говорила тебе. Все правильно. Не нужно.

Он вытащил коляску — дрожащий от гнева, но послушный воле жены. Таня дождалась, пока, одолев четыре ступеньки, супруги покинут подъезд. Хлопнула дверь — и Таня застонала, зажимая рот рукой. Ее было в бесслезной мучительной истерике.

— Лифт! — орал сверху уже несколько голосов.— Лифт!

В кухне Таня перерыла содержимое шкафчика. Заглядывала в пакеты из-под крупы, в пустые бидоны...

— Не там ищешь,— Таня вздрогнула, оглянувшись — Паня стояла в дверях, скрепив руки на груди.— Он ее в банке из-под муки прячет. Твой-то.

Таня схватила рижскую банку из-под муки, вытащила из нее ополовиненную чекушку, помедлила — ну хрен с ней, с Паней! — и отхлебнула из горла. Паня смотрела на нее спокойно, насмешливо — всклокоченная баба с опухшим от рева лицом сидела на краю кухонного стола и, превозмогая отвращение, хлебала мужнюю водюру.

— На,— и Паня, порывшись в кармане фартука, протянула ей сморщенную карамельку.— Дюшес.

Таня толкнула дверь — открыто. Вошла. В комнате кто-то переговаривался возбужденно: мужчина и женщина.

— Гарик, а если в профиль? — ворковала баба.— Вот так он стоит у окна, в профиль, нахмурившись. Серж, нахмурьтесь!

Щелчок фотоаппарата. «Нормалек! — сказал Гарик.— Только сытый больно для отшельника».

— Но меня же кормили! — Таня напряглась: это Сережа.— Ходила женщина, кормила...

— Да, тут прокол,— вздохнула баба.— Публика, знаете, любит абсолют. Отшельник — это отшельник. Питается сам.

— Свет, а ты так напиши,— предложил Гарик.— «Заслыша грохот крышки мусоропровода, Совков выскакивал на лестничную площадку и, опасливо озираясь, извлекал из бачка пищевые отходы. Хватал, жевал, дрожал. Маугли городских джунглей». Все слезами умоются.

Таня — она сидела в прихожей на стуле — поднялась и вошла в комнату. Сережа, в новом пиджаке, в хорошем галстуке, стоял посреди комнаты мумией. Гарик, носатый живчик, крутился вокруг него, бесцеремон-

но лапая Сережину физию: ставил кадр.

— В чем дело? — зашипела на Таню баба.— Мы работаем!

— Я тоже работаю,— отрезала Таня.— Совков, на выход! Вам телекс из ЮНЕСКО! Сережа послушно поднялся и двинулся к дверям.

— Куда?! — заорала корреспондентка.— Мы из «Вечерки»!

— А я — из агентства «Синьхуа», — буркнула Таня.

Они спускались по лестнице. Сережа — впереди, Таня — сзади. Внешне они напоминали конвоира и пленника. Таня толкнула ногой дверь на улицу и тут же отшвырнула экс-затворника в угол парадного — публики заметно прибавилось, один мент уже сдавал вахту другому, молодой уже разворачивал транспарантки...

— Нет,— вздохнула Таня.— Не выйти. Вся твоя кодла в сборе.

Таща его за собой, она подошла к двери в подвал, приоткрыла ее — крутые ступеньки, полумрак... «Куда?! — Сережа отшатнулся от двери.— Я не пойду!» «Давай-давай! — Таня подтолкнула его в спину.— Давай!» И он послушно ступил во тьму, нашаривая ногой скользкие ступеньки.

Они шли молча по длинному, узкому коридору, рассеянному пыльными полосами света, бьющего из подвальных оконцев. Теперь Таня шла впереди, Сережа брел сзади. Споткнулся о какой-то ящик, упал, поднялся, чертыхаясь, растирая занывшее колено.

— Все,— сказал он.— Дальше не пойду. Хочешь говорить — говори!

Таня повернулась к нему. Она стояла в полосе света, угрюмая, брови сдвинуты, глаза спокойные, злые: «Пойдешь».

— Не пойду! Чего ты?! Чего ты хочешь? Я нужен этим людям! Я могу им помочь. Чего ты бесишься?!

— Кому ты можешь помочь?! — заорала она.— Кому? Не пудри мозги им! Помоги себе хоть! Такой же жизнью затраханый, такой же спятивший, как они все! Как мы все! Помочи!

— Я чувствую в себе силы... — пробормотал он, кисая.

— Иди вагоны разгружай! Чувствуешь силы — иди дрова коли! Только не лезь в пророки! Не лезь!!! Их и так как собак нерезанных! Не лезь!

Она замолчала, выдохлась. Он тоже молчал. Рядом шумела улица, шуршали шины, шли люди. «Ладно,— Татьяна подтащила к открытому подвальному оконцу пустые ящики, составила их один на другой.— Помоги мне». Она вскарабкалась на ящики, пытаясь достать рукой до оконной рамы. Тротуар был совсем рядом: цокали «лодочки», стуча-

ли ботинки. Они обогнули дом по периметру, это была противоположная сторона улицы, вероятность столкновения с Сережиной паствой здесь была минимальна. «Ну чего ты? — Таня оглянулась на Сергея.— Подсади!»

Она вылезла первой. Какая-то тетка, остановившись на бегу, глядела на Таню с осуждением. «Это еще что,— сказала ей Таня, отряхивая от пыли мятую юбку.— Сейчас репку вытяну». И, присев на корточки, она подала руку пыхтящему от натуги Сереже.

И вот они стояли посреди шумной московской улицы. Солнце садилось, пылали стекла... Неистребимые ночные пакостники вновь исковеркали вывеску у «Овощного». Теперь они ограничились тем, что упряднили первое «О» и отодрали палочку у «щ». «Воши — Фрукты», — прочел Сережа. Посмеялись. Потом Таня сказала:

— Гони Людмилин телефон.

— На,— он отогнул манжетку на рубашке.— Читай. Она мне на каждой тряпке крестиком вышла, на случай ЧП.

Таня прочла, поискала «двушку», потом перебежала через дорогу к автомату. Сережа стоял и смотрел, как, переминаясь с ноги на ногу, она что-то там говорит в трубку, смотрит на часы и снова говорит. Когда Таня вернулась, он сказал ей:

— Все правильно. Ты все правильно делаешь, Таня. Ты молодец.

— Уж прямо.— Она вложила ему в руку пятак.— Я тебе навредила круто. Пусть ты дурачки жил, но в этом была какая-то логика. Вот. А теперь ты... Ну ладно. Пойдешь по этому переулку — упруешься в метро. Доедешь до Сходненской, первый вагон. Там тебя Людмила будет ждать.

— Тань,— он сунул пятак в карман.— Меня ж все равно разыщут через сутки.

— Кому ты нужен?! — снова заорала она. Какая-то парочка, идущая мимо, шарахнулась от них в сторону.— Про тебя забудут через неделю! Нового найдут. Новому ползут молиться. Ладно, иди. Иди!

— А ты? — спросил он.— А как я тебя увижу?

— А на хрена? — усмехнулась Таня. Башка у нее гудела после выпитого, тошнота подступала к горлу.— На хрена? Иди... Раз уж вляпался снова в эту жизнь — иди, живи. Людка поможет... А я не гожусь.

Сережа молчал, стоял, не двигаясь с места.

— Ладно...— Что-то дрогнуло в ней, она быстро, порывисто обняла его и сразу отстранилась.— Иди, Сережа.

Он кивнул и побрел прочь, ссутулившись. Потом свернул в переулок.

Таня осталась стоять на вечерней улице. В соседнем кинотеатрике кончилось кино,

толпа повалила. Таня отошла к стене дома, прижалась спиной к грязной известке. Люди шли... Девятый, стало быть, час. Ну и ладно.

— Хорошее кино? — спросила Таня у белобрысого недоросля.

— Туфта,— отвечал тот охотно.— Не советую. У вас правый глаз потек. Ага, тут.

Она вытерла слезы, покивала ему — дескать, спасибо, детка, все в ажуре, катись,— постояла еще минуту-другую и пошла себе потихонечку к подворотне, ведущей во двор.

— Третий час, Гера. Уже не позвонят. Спи.

И тут же задрезжал телефон. Междугородка. Гера вскочил, кинулся в коридор. Таня слышала, как он орал в трубку.

— Алло, алло! Вас не слышно! Алло! — Потом пауза, потом Герин сдавленный стон и — тишина.

Он вернулся в комнату, шелкнул зажигалкой — пальцы дрожат, бледен, понур.

— Аут, Танька! Свершилось! Гдынин депутат от Ямало-Ненецкого округа. Обольстил всю автономию, собака. Поставил им ящик чачи и посулил присоединение к Аляске. Популист проклятый. Он — депутат, а я на него помой лью в сентабрьском номере.

— Ненцы тебя тамагавками забросают,— вяло отозвалась жена.

— Боже! — Гера тщетно пытался прикурить.— Он меня уничтожит теперь! Боже! Через полгода он будет стоять на Мавзоле, вот помажемся! Тань, ты слышишь меня?! Тань, ты слышишь?!.

Она повернулась набок, натянула одеяло на голову и закрыла глаза.

1990 г.



Надежда
ПОКОРНАЯ

НЕ РЫДАЙ МЕНЯ МАТИ

Запомним эту улицу такой: самое пасмурное июньское утро, время определить невозможно — то ли непроспавшийся рассвет, то ли несостоявшийся день, то ли вечер, когда сумерки не решили: быть или не быть новой ночи. И огня в домах никто не зажигал, и никто не спешил на работу или домой — улица, носившая название Солдатской, была гадко вымершей и мокрой.

Какой-то тип сидел возле кирпичного дома и, скорбно морщась, дул в губную гармошку. Под лавкой насыпана целая куча выкуренных до самого мундштука растоптанных «беломорин».

Детей подталкивали к раскрытым дверям автобуса. И автобус этот был для них диковинным монстром. Дети, малыши от двух до четырех лет, с опаской карабкались на высокие ступени, косились на огромные зубастые шины, старались не смотреть на ватную серую спину большого дядьки, что сидел за рулем и делал вид, что читает газету. Три воспитательницы заталкивали икающих, перепуганных детей на широкие сиденья.

Выхлопная труба автобуса — черная, подзорительная — была готова задымить... Ботинки шофера выстукивал что-то неопределенное по рельефному полу кабины. Потели окна от частого взволнованного дыхания детей.

Вот и милиция подкатила. Один советский «мерседес» и два черных мотоцикла с кожаными всадниками в белых шлемах.

Чуть дальше — еще два автобуса. В од-

ном — грудные дети прямо в кроватках лежат, спеленутые невзрачные мумии. В другом — малыши сидят сами, крепко вцепившись в железки сидений.

Никакой особой суеты, никакой спешки. Воспитательницы пытаются как-то увещевать детей: кто лаской, кто профессиональным движением укротителя.

Застегнуты все пуговицы, поправлены все шапочки. Десятки ртов невнятно что-то шепчут. Десятки пар глаз следят за чем-то неизбежным. Все приготовления к дороге закончились. Тронулись.

По-разному в автобусах, «мерседесе», мотоциклах заработали включенные моторы... Каждый водитель посмотрел в зеркало заднего вида. У каждого дернулись скулы. Одновременно, как говорят, в один голос, зарыдали, заголосили все дети... Что-то непонятное вдруг тронулось с места... Поплыла улица, покатались дома, заборы, деревья. Дети повскакивали с автобусных сидений, бросились в разные стороны — кто к окнам, кто на пол, кто друг на друга. И все как один громко плакали, кричали и бесновались с перепугу. Это обычное движение автобуса вперед было для них новым, ужасным, необъяснимым. Воспитательницы в белых халатах металась по салонам, пытались усадить, успокоить детей. Дети прижимались к окнам, стучали по ним кулаками, ладонями всем было страшно, больно и непонятно.

Вот появились люди на улицах, встали на тротуарах как вкопанные, никто ничего не

понял. Обычные автобусы, ну милиция, ну мотоциклы, ну знаки «Осторожно, дети!», полосатые гаишные жезлы. Но почему в автобусах эти дети так перепуганы, так рыдают горько и страшно, точно просят у них, прохожих, помощи и пощады?.. Постояли, потоптались на месте, пожимали плечами и разошлись в разные стороны по своим делам люди.

И на улице Солдатской опять тихо, опять никого. Самостоятельная собака выбежала из подъезда погулять, совершила ритуальный танец на трех лапах возле урны и села у ног старика, который как безумный продолжал дуть в свою губную гармошку. Собака смотрела на него дружелюбно и преданно. А старик смотрел на стену кладбища. Кладбище это называют немецким.

На памятниках — фотографии, прощальные слова. Кое-где догорают маленькие свечи у подножия...

Режиссер протянул девушке микрофон, улыбнулся. Телевизионная камера укрупнила ее лицо. Лоб, глаза, губы.

— Нет, в микрофон я говорить не могу... Держите его сами.

— Алла, вы начните, не волнуйтесь... Можете начать со стихотворения, песенки.— Режиссер посмотрел за здание дома ребенка и взял у нее микрофон.— Хотите, отойдем подальше?

— Нет, мне все равно.

Съемочная группа стояла на той же самой улице возле дома ребенка, откуда только что отъехали автобусы. Только сейчас была зима и было много снега.

Алла отвернулась от камеры, посмотрела на вывеску, сказала тихо:

— А что творится, когда летом их вывозят на дачу?! В Жуковском — дачный поселок... Есть несколько домиков, которые занимает наш дом ребенка. И когда в этот день подъезжают автобусы... Так же, как детей отправляют в пионерлагерь...

Сплошной забор тянется по периметру дома ребенка. Забор, забор, ворота... Снова забор — плотно пригнанные друг к другу светлые доски. Внутренний двор с беседками, песочницами, грибами-мухоморами. Сейчас всё в снегу. Во дворе никто не играет... На втором этаже женщина отодвинула занавеску. Посмотрела на улицу. Телевизионщики сели в «рафик». Только Режиссер и Алла остались стоять на улице, разговаривают о чем-то... Женщина спичкой поковыряла ноющий зуб, отошла от окна.

— И вот, как только их сажают в автобус и автобус трогается, начинается такой визг, крик... Они не знают, куда кидаться, лезут куда попало. Им страшно, потому что «это» едет... Для них это настолько дико! Они никогда не ездили, никогда этого не испытывали... Они не знают, что с ними хотят еще сделать!!!

96

Съемочная группа сидела в «рафике», «рафик» ехал по Москве. Брызгал жидкий снег из-под колес. Тер лоб водитель, передразнивал кого-то невидимого: бу-бу-бу, бу-бу-бу... Оператор растирал ноги девушке-ассистентке. Она положила ему их на колени, и он грел ее ступни, одновременно отогревая и свои руки. Алла смотрела в чистый кружок заиндевелого окна. Режиссер через наушник слушал ее голос. Крутилась кассета:

— Ну, может быть, в том году летом их вывозили на дачу, но прошел год и они забыли обо всем... А когда автобус трогается, они кидаются все в разные стороны. Они кричат! Ну просто... паника, паника начинается... Страх! Там три воспитателя пробуют их успокоить. И единственный способ — это заорать, перекричать их: «Заткнись, сядь, сволочь!..» Только такой разговор, тогда они будут сидеть как вкопанные... Никто не скажет: «Саша, сядь вот так. Успокойся, не плачь, детка»... Ну все — выключай!..

Он снял наушники, выключил магнитофон. Потом тоже надышал себе кружок на стекле, прислонился к нему.

На втором этаже дома ребенка в коридоре стоял шкаф. Белый, обычный. Стекло двери замазаны краской, тоже белой. Кто-то соскреб часть краски со стекла, и теперь в этот просвет были видны кипы папок, разложенных в неравномерные стопки.

Алла и ее подруга, обе в белых халатах, возились с замком, пытались подобрать к нему ключ.

— Да он открыт, смотри... — подруга подцепила дверцу ногтем, и она открылась.

— Наши вот... Возьми пока только их...

Папки, голубые скоросшиватели, лежали перед ними на столе. Алла прикрыла дверь, под села к подруге. Одну за другой они стали просматривать эти папки. Там были справки, бумаги, метрики, фотографии. Ярко горела под потолком лампа.

Другая Алла, да нет — та же, только лет на десять старше той, которая была в белом халате, стояла в комнате и смотрела на себя как бы со стороны. Девушки же были поглощены своим волнующим делом, и поэтому, когда «сегодняшняя» Алла заговорила, голоса ее они не услышали:

— На втором этаже дома ребенка стоял белый шкаф. Обыкновенный белый шкаф, такой же, как в каждой группе и в кабинете заведующей... И вдруг прошел слухок, что в этом шкафу хранится... Ну я считаю, что самое заветное. Личные дела, то есть «истории болезни» этих детей. И в один прекрасный день мы подобрали ключи к этому шкафу... То есть это был не день, а вечер, когда уже никого не было — ни врачей, ни администрации. Нашли мы эти обыкновен-

ные изорванные голубые папки. Скоросшиватели за девять копеек... В каждом было свидетельство о рождении... Отказное письмо, написанное корявым почерком мамы ребенка...

Алла прошла мимо девушек, они встретились взглядами и снова углубились в чтение.

В коридоре было темно, где-то в холле горел ночник. Алла старалась ступать тихо, говорила шепотом:

— Дом ребенка номер четырнадцать на Солдатской улице. Здесь бывает примерно сто детей, начиная с грудничкового возраста и где-то до четырех лет. Дальше их передают в детский дом... Шесть групп — по восемнадцать-девятнадцать человек. Все нормальные, хорошие дети... В поликлинике нас пропускают без очереди, говорят: с казенными детьми вне очереди. Никто не возмущается... Пришла я сюда работать после школы. Не хотела поступать в институт — решила отдохнуть...

Алла подошла к спальне, но внутрь не вошла и даже не заглянула. Повернулась к ней спиной...

— В группе, где я работала, была спальня на девятнадцать мест. Дети забытые... Их быют... Постоянный шум, это, конечно, раздражает. Разговаривать они почти не умеют, даже трехлетние. Воспитательниц зовут «мама». Женщин, которые приходят, — «тетя мама»... Мужчин боятся. Ужасно боятся — они их не знают...

По потолку спальни пробежали лучи от фар проехавшей машины. Скрипнули тормоза. Кто-то крикнул: «Жора, дай трюндель!» Хлопнула дверца. И все стихло...

Алла прошла в большую комнату... В ней много шкафов, за стеклами — игрушки. Красивые, разные, но детям до них не дотянуться.

— Это игральная комната. Ковры, пианино... Так в каждой группе... Дежурили мы сутки. Уставали, нервничали, злились. Очень сложно без нянечки справиться одной с двадцатью детьми, которые не умеют ни говорить, ни вовремя попроситься на горшок. Да и вообще одной поднять, одеть двадцать человек... Одеваться сами они не умеют... Их этому никто не учит...

Ванная комната. Туалет. Столовая.

Алла продолжала:

— Умыться... Этого не бывает никогда. Встали — прямо за стол. Садятся и начинают качаться и тянуть: а-а-а-а, а-а-а. У них у всех эта привычка. Своего ребенка можно отучить... А эти... Никому они не нужны...

Ночь. Спящие дети. Почти все сосут палец, а кто и два сразу. Спят и поверх одеяла, и закрывшись им с головой. Со всем голые, в колготках, в рубашках. И мальчики, и девочки. Улыбаются, плачут, постанывают во сне. А по спальне летают птицы — вы таких

не видели никогда, бабочки с усами, ботинки, совки и много всякой еды.

— Но государство их не обижает, — сказала Алла и поймала на легу большой персик, откусила его. — Они обеспечены одеждой, едой. Всем необходимым. Ковры, пианино... А дети постоянно хотят есть...

Ночь. Алла подошла к окну. Фонари освещают огромные сугробы во дворе. Беседки, домики завалены этим холодным сердитым снегом.

— Зимой они выходят гулять... Играть не умеют. Стоят, как сосульки... Ни шарфиков, ни варежек... Даже на морозе у них нет ни румянца, ни блеска в глазах... Пицца без калорий — морковные котлеты и кефир кислый без сахара. Мяса они не видели... На полдник дают яблоки — десять штук на двадцать человек. Мы режем их пополам... Кухню никто не контролирует... Тащат все... Потому что понимают, что эти дети... Им некому пожаловаться...

Десять лет назад. Алла уложила детей спать. Села напротив спальни за стол, достала сумку. Разложила на столе продукты, которые принесла из дому. Приготовилась есть. Поднесла бутерброд ко рту. Замерла... Ее обступили дети. Стояли возле нее босиком и молча смотрели ей в рот...

— Да... — Алла отвернулась от окна, подошла к детским столикам и стульчикам, присела на корточки, — пить им тоже дают мало... Чтобы лишний раз не описались и не обкакались.

Она провела рукой по поверхности детского стола. На столе лежал маленький пластмассовый медвежонок. На стене висел календарь: «С Новым, 1987 годом!»

Был ненастный весенний день. За окном шел дождь. На стене висел календарь 1977 года... В игровой комнате по трое за одним столом сидели дети. У каждого был свой стульчик. У окна, спиной к ним, стояла высокая воспитательница. Покачивалась с мыска на пятку. Руки в карманах белого халата. Дети следили за ней. Спина и раскачивание этой великанши гипнотизировали их. В руках дети держали пластмассовых зверюшек. Кто-то робко стукнул медвежонком по столу. Сначала тихо, потом сильнее. За первым ребенком начал стучать игрушкой по столу другой, потом еще и еще кто-то. Теперь все монотонно долбили своими игрушками по столам, но глаз с белой спины, стоящей у окна, не сводили.

Алла и Режиссер стояли под зонтом перед домом ребенка... Сверху на них смотрели равнодушные, ярко подведенные глаза молодой красивой женщины. Ее глаза то приближались то удалялись от стекла... Режиссер

поднес к губам Аллы диктофон. Алла вздохнула...

— Может, сейчас все изменилось... Все-таки десять лет. Ну ладно... Если была плохая погода, дети проводили день в группе. В игральном зале. Их сажали за столы. Каждому в руки давали игрушку... Игрушку не самую интересную. Машинку, паровозик, зайчика, медвежонка... Ну что может сделать двух-трехлетний ребенок с этой игрушкой?.. Ему нельзя было встать, сойти с места. Они должны были сидеть. Держать в руке игрушку. А у детей много энергии, им так хочется двигаться, бегать... Но игрушку дал воспитатель... Подержат они в руках этого медвежонка, покрутят, рассмотрят со всех сторон. На это нужно буквально пять минут. А дальше? Ребенок начинает его терроризировать. Бить об стол. Что они могут знать про эту игрушку? Как с ней можно играть?

Все дети в группе стучали своими игрушками по столам. Воспитательница перестала раскачиваться. Руки с игрушками застыли в воздухе. Спина в белом халате выпрямилась и напряглась. Она стала казаться еще больше и ужаснее. Она резко развернулась и пошла грудью на детей. Лица у этой женщины не было. Была только шея. Шея медленно приближалась к детям. Рука расстегнула воротник на халате и медленно скользнула в карман... Пуговица на животе была больше остальных... Теперь к детям продвигались большие, похожие на кулаки, колени...

Алла продолжала говорить, но теперь она на корточках сидела в игровой вместе с детьми и смотрела на эти огромные колени.

— Ребенок не знает, каким должен быть медвежонок. Он не видел никогда в жизни телевизора, радиоприемника не слышал... Что это такое — медвежонок? А что такое зайчик? Как зайчик прыгает? Как медвежонок ходит? И книжки им тоже не читают. Им невозможно читать книжки... Они не умеют их слушать...

Дети держали в руках по игрушке. Смотрели на колени не мигая. Колени завернулись. Белый халат снова занял свое место у окна. Снова спина закрыла собой окно. На улице шел дождь. Под окном по талому снегу гуляла мокрая курица.

Главврач, она же заведующая, шла по длинному коридору. За ней — Алла. За кадром звучит ее голос:

— Я пришла в эту группу, и меня оформили медсестрой. Тут все воспитатели — медсестры, хотя большая половина персонала не имеет медицинского образования. А другая половина, которая образование имеет, — вообще ничего не понимает. Это люди, кото-

рые не могут оказать даже первой медицинской помощи детям.

Возле дверей группы они остановились. — Зайдем вместе первый раз? — предложила заведующая.

— Можно я посмотрю на них, а потом сама...

Главврач кивнула и быстро пошла к себе в кабинет. Алла заглянула в комнату и отступила на шаг. В этой группе дети играли на полу. Их было восемь мальчиков и десять девочек. Игра их была нехитрой.

— Задирай задницу — буду тебя бить! Пилятя такая! — девочка замахнулась на другую пластмассовым совком.

— Не бей, тетя мама, не бей! — жалобно подыграла другая малышка и с готовностью подставила попку под удар.

Мальчик и девочка держали за лапы резинового кота и колошматили им по игрушечной кровати, где спал голый жирный пупс. Кот пищал дырочкой в спине. Пупс молчал.

Несколько ребятишек раскачивались, положив ногу на ногу, на своих стульчиках и тянули нескончаемое: а-а-а-а, а-а-а-а...

Кукла била куклу. Медведь медведя...

Алла в белом халате стояла в дверях, не решаясь зайти в игральную. Другая Алла приблизилась к ней и, глядя на детей, сказала:

— Что такое мама, папа, свой дом — откуда эти дети знают?! Даже когда они играют, они играют в дом ребенка. Не в дочки-матери, а в тетя-воспитательниц... Они думают, что везде так...

Быстро приблизились окна соседнего дома. Как в зеркальном отражении — тот же дивный мир, та же игральная, те же дети, те же куклы, те же игры...

— И соседний дом — тоже дом ребенка... Весь мир — это дом ребенка. Некому пожаловаться, что тебя здесь бьют... Лопаткой, рукой, мокрым полотенцем... Да и как жаловаться, если тебе четыре года, а ты еще не умеешь говорить?

Алла из 1977 года зашла в свою группу. Пауза узнавания была недолгой. Они все разом подбежали к ней, стараясь опередить друг друга:

— Тетя мама! Мама, мама! — все набросились на нее, хватали за халат, пригибали к себе, чтобы первому поймать ее взгляд...

Алла и Режиссер ехали в переполненном трамвае. Нахально сидели, никому не хотели уступать места. Народ в вагоне дышал морозным паром друг другу в затылок. Зимние одежды делали тесноту эту еще более невыносимой и злой. Трамвай добрался до перекрестка, заснеженного и ветреного, остановился, словно ждал решения, в какую сторону следовать дальше. Слева — церковь Петра и Павла, справа — ряд домов с большими и

маленькими магазинами, забегаловками и мастерскими.

В трамвае снег таял под ногами усталых пассажиров. А окна были белые, непроницаемые. Какой-то острый приложил пятерню к холодному стеклу — так она и отпечаталась с растопыренными пальцами, под ней надпись, нацарапанная ногтем: «Ура! Скоро лето!»

Алла смотрела сквозь этот просвет на улицу и видела там лето и такую сцену...

Лето. По той же самой улице Алла вела за собой детей. Группа маленьких ребятшек дружно, но с опаской следовала за ней. И тут из-за угла прямо на них вылетел огромный ярко-красный дребезжащий трамвай. Да еще сверху с дуги посыпались на землю страшные искры... Дети закричали и бросились врассыпную...

В церкви шла обычная воскресная служба. У икон горели свечи. Кто-то в белом облачении читал тропарь:

— «Радуйся, дверь Господня не проходящая; радуйся, стена и по крове притекающих к Тебе; радуйся, необуреваемое пристанище и неискусобрачная, рождающая плотию Творца Твоего и Бога; молящи не оскудевает о воспевающих и поклоняющихся Рождеству Твоему.»

Дети подбежали к церковной ограде, вцепились в нее руками, прижались к стенам. Громко плакали и кричали.

Трамвай, в котором ехали Алла и Режиссер, остановился. Как в стоп-кадре, замерли дети и растерянная молодая воспитательница...

— Один раз я решила вывести свою группу за наш сплошной дощатый забор... Хотела показать им, что там за воротами творится... Какая жизнь... Вышли... Одежда у них у всех одинаковая — все в синих шапочках с белыми полосками... И вот они идут по улице, двадцать одинаковых клопов, а на Солдатской — там, где церковь Петра и Павла, — трамвайные линии... Ну вот, я довела их до перекрестка, а тут трамвай... Они его никогда не видели... А тут первый раз... Они как кинулись все в разные стороны... Я так испугалась, не могу их собрать. Начали кричать, потому что трамвай гремит. Для них это было что-то страшное... Вот этот грохот... Двигается эта машина. Они кричали, побежали куда-то от меня... Куда-то далеко... Вцепились в ограду церкви, плачут... Глаза закрыли. И всё — народ вокруг собрался... Все одинаковые дети... Я думаю: господи, мне сейчас попадет, что я их вытащила показать... Я им просто показать хотела... Что вот люди ходят... Что вот... Ну они этого вообще не знают... И никого не знают... Я так испугалась и скорей их собрала... И скорей, скорей, скорей — за ограду, обратно в сад, в дом ребенка...

Пассажиры в трамвае быстро потянулись

к выходу. Алла и Режиссер остались одни в пустом зимнем трамвае.

Курский вокзал. Вечер... Обычная толчея. Едят, встречают, провожают, ругаются, целуются. Милиционер с рацией подозрительно оглядывает сидящих в зале ожидания. Что-то хрюкает в микрофоне... Кто-то снял сапоги, блаженно пошевелил затекшими пальцами. Уборщица гребет мусор на перроне. Носильщики. Милиционер закурил сигарету, затянулся глубоко, сосредоточенно. Вдруг кого-то подметил цепким взглядом, повернулся, чтобы бросить сигарету в ящик для мусора... Замер... Сигарета застыла возле раскрытого рта...

...Он быстро шел по вокзалу, нес в руках ребенка, завернутого в зеленое одеяло. Ребенок не спал. Улыбался, глядя в хмурые глаза милиционера... Милиционер о чем-то ругался с дежурным по вокзалу. Отъезжали, приезжали поезда и пригородные электрички. Кто-то бросил в урну сломанный букет георгинов. Кто-то плюнул прямо себе на ногу. Жирные голуби клевали батон...

...Ехала по городу машина. Тот же милиционер держал ребенка на руках, что-то шепотом объяснял водителю. Ребенок улыбался...

Церковь Петра и Павла...

Ворота дома ребенка...

Кабинет заведующей... Она толково что-то объясняет милиционеру. Он потеет, старательно выводит буквы под ее диктовку... Звонит телефон... Заведующая снимает трубку, говорит с кем-то коротко и строго... Милиционер смотрит на нянечку, которая выносит ребенка из кабинета... Мальчик улыбается, глядя на растерянного дядю с погонами...

Милиционер вышел из дома ребенка, обернулся, надел фуражку. Быстро пошел по улице. Перед церковью перекрестился, поклонился. За углом сел в трамвай. На улице не было ни души...

В приемной заведующей Алла с подругой продолжают читать «истории болезни» «своих» детей. Алла открыла папку с именем: «Андрюша Зайцев»...

...В коридоре возле игального зала ссорился пожилой полковник со своей женой. Он без конца проводил большой ладонью по колючему седому ежику на голове, фуражку летчика держал под мышкой. Женщина мягко, но довольно упорно, отрицательно покачивала головой на каждое его предложение. Полковник не смотрел ей в лицо, он смотрел вверх ее головы в комнату... На ковре стоял мальчик, протягивал ему апельсин и улыбался... Полковник не выдержал, психанул и, не дослушав жену, быстро

зашагал по коридору к выходу, на ходу махнув ей рукой, что могло означать: дело твое, поступай как знаешь!

— Я помню их почти всех по именам... Я буду про них рассказывать по порядку, как они лежали у меня в спальне... Андрюша Зайцев... Его нашел на вокзале, в мусорном ящике, какой-то милиционер...— Алла стояла в другом конце коридора и наблюдала сцену ссоры полковника с женой... Она начала говорить прямо в камеру.— Он принес его сюда, в дом ребенка... Мальчику был годик — говорить он не умел, не мог сказать даже, как его зовут... И вот когда его стали оформлять, милиционер сказал: назовите его, как меня,— Андрюша Зайцев... Андрюша был совершенно некрасивый мальчик, то есть он был какой-то бледный: бледнолицый, бело-волосый... Эти волосы каким-то ежиком стояли на голове, жиденькие. Но он был добрый, веселый мальчик... Его очень хотел взять один летчик, но жена выбрала Ритулю... Про нее я расскажу позже... Он все просил: давай Андрюшу возьмем, но она хотела девочку... А Андрюша был такой добрый, тихий мальчик... Мне было так обидно за него...

Андрюша неумело чистил апельсин и корки клал себе в кармашек на груди. Рядом с ним стояли дети, а ближе всех была Ритуля. Первую дольку он протянул ей... Алла подошла к женщине и что-то сказала ей. Женщина задумалась...

— Я ей сказала: «А вы возьмите и Андрюшу и Риту. Им будет хорошо, потому что они давно знают друг друга...» Одно время как бы так они и думали, но потом жена настояла на том, чтобы взять Ритулю, и Ритулю взяли...

На двери надпись: «Главврач». Алла открыла дверь. Ритуля переступила порог... В кабинете было полно кур. Белые куры — странные, сумасшедшие, большие, похожие на бойцовых петухов,— расхаживали, хлопали крыльями, клевали телефон, ковер и мебель. Шум был страшный, во все стороны летели перья. Куры подозрительно косились на Ритулю, расхаживали перед ней, пританцовывая на длинных ногах. Ритуля стояла в центре этого дикого курятника и без страха, но как-то отрешенно разглядывала белых кур...

— Ритуля была моей любимицей, — с нежным восторгом говорит Алла,— это была просто картинка. Не девочка, а кукла. Я бы сказал — какая-то изящная хрустальная куколка. У нее были такие ручки маленькие... Такие ножки. Она была такая худенькая. Но не тощая, а стройненькая...

Алла расчесывала волосы Ритуле, а Андрюша держал в руках красивый голубой бант для нее...

— ...И она была как бы не от мира сего...

Ритка! Ну просто необыкновенная... У нее были такие синие глаза, длинные-длинные ресницы, алые губки бантиком... Ну такая красулька! И на солнце — волосы у нее были русые — они казались рыжими, и причем эти волосы были такие... Просто шикарные волосы! Густые, длинные, вьющиеся... Но Риту не все любили. Потому что она была действительно как хрустальная, как не от мира сего... Все что вторилось вокруг нее — как бы ее не касалось...

Алла в белом халате подняла голову от истории болезни. И посмотрела на Аллу, стоящую у окна, сказала:

— Ее история самая обыкновенная: мать Риты приехала в Москву поступать в институт... Не поступила...

...По городу мчалась большая черная машина. Не машина, а просто зверь! В ней было человек десять молодых людей. На переднем сиденье, на коленях у шофера сидела красивая рыжая девушка. Играла музыка. Молодежь пила пиво из банок. Девушка и шофер целовались. Движению машины их любовь не мешала... По небу над Коломенским летел дельтоплан...

— ...Познакомилась с отцом ребенка... Она пишет его имя, фамилию...— Алла подчеркнула что-то в истории болезни ногтем, продолжила: — Имя — такое-то... Фамилия — такая-то... В таком-то году родила девочку, назвала Маргаритой... С отцом ребенка отношения прекратила... От ребенка отказывается, ничего против ее удочерения не имеет...

Алла гуляла по парку с Ритулей. На красивую девочку многие обращали внимание... Другая Алла шла навстречу с Режиссером, он держал ее под руку и был настроен романтически. Увидев Ритулю, он остановился. Алла сказала, обернувшись на камеру:

— ...То есть — шаблон. Все писали такие письма одинаково: от ребенка отказываюсь, разыскивать его никогда не буду и ничего против его усыновления, или против удочерения, не имею...

Алла с Ритулей шла по парку. Алла взяла девочку на руки, вдалеке показалась старуха с белым пуделем на поводке... Алла и Режиссер поровнялись с собачкой, Режиссер сделал ей «козу». Снова голос Аллы:

— ...Вообще я Ритулю немножечко баловала... Я всем говорила, что очень люблю ее, и часто брала к себе домой. Я снимала недалеко комнату вместе с подружкой, а когда брала ее, мы с ней гуляли в парке... Однажды она, бедненькая, увидела собаку... Первый раз в жизни очень испугалась, хотя собака прошла вместе с хозяином мимо. И Рита испугалась настолько, что обкакалась мгновенно — такая у нее была реакция... Она заплакала, заметалась, что у нее вот это вот... Потом я всегда брала ее на руки или обходила стороной, когда собаки... Однажды — она была та-

кая нежная девочка — она испугалась темноты. То есть мы вошли в подъезд, а там не было света...

...Подъезд был темный, а из темноты двигалась на Ритулю огромная воспитательница Ирина. Белый халат, ярко накрашенные глаза, а в руках большая пластмассовая лопата. Этакая вамп с лопатой. Ритуля закричала...

— ...Она очень испугалась и заплакала. И снова у нее был понос... Не из-за того, что у нее был желудок такой, а просто от страха, то есть вот она такая была...

...Утро. В доме ребенка подъем. Алла помогает детям встать с кроваток, одевает их. Доходит очередь до Ритули. Девочка смотрит на нее виноватыми глазами. Алла смотрит на ее пододеяльник и что-то вдумчиво и подробно объясняет девочке. Ритуля на каждое слово согласно кивает головой... Другая Алла стоит тут же и объясняет эту сцену:

— У Ритули была странная привычка: когда она ложилась спать, брала краешек пододеяльника, скатывала его в комочек и сосала. Только тогда могла уснуть. Не знаю, почему они так делают... Может быть, потому, что соски им почти не дают в грудном возрасте, а рефлекс остается надолго?.. Они почти все так делают. А Риту я пыталась отучить. Но только я уходила, она снова сосала пододеяльник...

...Ритуля стояла в кабинете заведующей. Кудяхтанье кур перешло в некое подобие человеческой речи. Да и куры сами стали превращаться в строгих женщин в белых халатах. Одна курица ну никак не хотела превращаться. Только в клове у нее появились человеческие очки.

— Ну, что решит комиссия? — спросила белая курица и уронила очки на пол. — Я считаю, девочка очень слабо развита... Она даже не может, сказать, как ее зовут!

— Да, отдать ее в таком виде в семью нельзя!

— Нельзя!

— Нельзя! — донеслось со всех сторон, как эхо. — Нельзя, нельзя...

Ритулю за руку вела новая мама. Полковник ждал их на улице возле машины и улыбался...

— ...Ритульку вызвали на комиссию. Всех детей, которых хотят забрать в семью, экзаменует специальная комиссия...

Алла с тряпкой и щеткой работала в кабинете главного врача. Выметала перья, стирала многочисленные следы присутствия пернатых. На столе возле телефона лежала солидная горка отборного зерна. Рядом стояла красивая коробка с надписью по-английски: «Воздушная кукуруза».

— ...Эта комиссия, — продолжала говорить Алла, собирая в совок белые перья, — решает, соответствует ли развитие ребенка его возрасту... Они устраивают им небольшие

экзамены... Дают решить игровую задачу... Ну там разное... Так вот Ритулька этот экзамен не выдержала... Ей задавали вопросы, а она их просто игнорировала... А женщина очень волновалась за нее, боялась, что ей Риту не отдадут...

Алла протерла коробку с воздушной кукурузой.

— Ну потом она с кем-то пошептала, что-то передала, и Ритулю разрешили отдать...

Из окна на улицу смотрел мальчик, Зайцев Андрюша. Белые волосы ежиком торчали на голове. Он смотрел, как шла Ритуля, как улыбался военный, и тоже улыбался.

Алла и ее подруга стояли на коленях перед своими детьми и старательно прихорашивали их... Внизу, в холе, сидели пожилые мужчина и женщина. Мужчина заботливо поправил прядку волос, выбившуюся из-под меховой шапочки своей жены, и выжидательно посмотрел на лестницу. По лестнице медленно спускалась заведующая...

Дети наклоняли головы, чтобы их причесали, и хохотали. Им нравилось это занятие. Алла одевала и прихорашивала девочек. Ее подруга — мальчиков. Перед Аллой стояла крошечная смешная малышка. На ней было яркое платье с многочисленными цветными тесемками...

Другая Алла открыла голубую папку и прочла вслух:

— Калимулина Гюзель... — Закрыла ее и продолжала, глядя на девочку и на себя саму со стороны: — Как войдешь в спальню, первая справа была Калимулина Гюзель. Кличка ее была Килька — потому что фамилия такая и еще потому что очень маленькая... Милая, шустрая такая татарочка... Попала она сюда еще грудным ребенком... Ее мама устроилась к нам работать нянечкой. Поработала здесь немного и пропала куда-то на месяц. А потом объявилась и написала отказное письмо... Многие женщины так делают. Поработают в доме ребенка и оставляют здесь своих детей. Условия-то здесь терпимые...

...Женщина медленно, с трудом, дикими каракулями вывела фразу в письме: «Обязуюсь ее никогда в жизни не разыскивать».

— ...Килька была очень умненькая девочка, хитренькая, настоящая татарочка, и очень ласковая — характерная черта этих всех детей... — Алла продолжала одевать девочек, а за кадром звучал ее голос. — Они все как бы хотят выслужиться перед воспитательницей. Несмотря на то что они такие маленькие, они понимают уже, что если они выслужатся, если угодят, то им, может быть, что-нибудь дадут... Ну конфетку или яблоко, или еще

что-нибудь... Может, поглядят просто по голвке...

Дети стояли рядом. Пожилые мужчина и женщина сидели перед ними на корточках и кормили их мандаринами. Килька подошла к женщине, расправила свое платье — показала себя, а потом обняла за шею и что-то шепнула ей на ухо. Женщина как-то неуклюже пошатнулась, сгребла Кильку в охапку, прижала к себе...

— ...Килька была очень маленького роста. Ей было два с половиной года, но она была меньше двухлетних... Она была очень мелкая, и чтобы выделить ее, мы старались надевать на нее самые яркие платья. У нас было несколько таких — штапельных, с яркой тесьмой, похожих на татарские национальные. Их мы всегда только на Кильку одевали...

Мужчина и женщина уводили Кильку из дома ребенка. На ней были красные брючки и белый свитер очень красивой заботливой вязки. Килька смотрела себе под ноги и перелетала через лужи. Новые папа и мама помогали ей в этом.

Алла смотрела на них из окна. Другая Алла встала с ней рядом, но спиной к окну и, глядя на пустую игральную комнату, сказала:

— Когда они забрали ее, она навсегда забыла, что она татарка. Потому что они дали ей имя Таня. А Килька обезоружила эту женщину тем, что очень быстро назвала ее мамой... И вообще, она плохо умела говорить, но она была очень смешная и трогательная... Над ней могли очень просто издеваться воспитатели. Сажали ее на пианино и ее попкой играли по клавишам. А она смеялась... Ей так нравилось, она думала, что это такая привилегия, что, кроме нее, ни с кем так больше не играют. Я очень рада, что ее так быстро забрали отсюда.

По улице шла пожилая женщина — грузная, устадая, с очень добрым открытым лицом. Ее бы взял позировать любой художник и наверняка бы создал лучший положительный образ скромной труженицы. Да она и была такой. Руки с грубыми пальцами, ноги в резиновых бинтах от тромбофлебита.

Работала она в доме ребенка и нянечкой, и медсестрой, и уборщицей. А вечером подавала кашу старому мужу-паралитику... Смотрела программу «Время» по телевизору... Подкладывала ледок в цветущую азалию... А утром все начиналось сначала...

На работе она пришивала пуговицы к детским одеждам, стирала ее вручную, мыла туалет, выносила горшки, чистила едким порошком раковины... Потом смотрела на свои красные руки, дула на них... Снимала с вешалки вафельное полотенце, мочила его и медленно, болели ноги, шла в группу...

— У нас работала одна старая нянечка. И в группе у нее всегда была мертвая тишина. Я удивлялась, почему так тихо на третьем этаже... Такой порядок, такая дисциплина... Но атмосфера у нее была очень серая, мрачная. И дети под машинку подстрижены, как во время войны, и глаза у них отчаянные... И если приглядеться, то на теле этих детей можно было заметить... клеточки... Такие мелкие, вафельные клеточки... Вот так она их была... Воспитывала...

Пожилая воспитательница посмотрела в камеру... Глаз не видно, а губы ее произнесли:

— Не вам все это вывозить, а мне. Так что не лезьте!

По улице шел дед с внуком. Внук забегал вперед, заглядывал в лица прохожих, делал зверские рожи и кричал: «Я — баба-яга! Я — баба-яга!»

Так человек пять были напуганы мальчуганом, но все мило улыбались ему вслед кривой улыбкой. Дед смущенно его дергал за рукав. Они поровнялись с домом ребенка и невольно замедлили шаг. Окна были раскрыты, и оттуда доносился дикий вой, писк, плач. Дед покачал недоуменно головой, а внук посмотрел на дорогу и, не увидев подходящего объекта для шуток, гаркнул в лицо деду: «Я — баба-яга!» — и захохотал.

— Будешь так себя вести, сдам тебя в этот детский дом, — строго сказал ему дедушка.

— Пошел ты, старый пердун! — живо отреагировал внучек и побежал вперед, приметив на улице следующую жертву.

...А в доме ребенка было шумно. Плакали почти все дети. Сегодня там был банный день. Детей поочередно ставили в ванну, мылили, мочалили, поливали водой, мыли уши, головы, хлопали по попке, вытирали поспешно и отправляли в кровать... Следили, чтобы никто не увильнул. Алла купала мальчика, белого кудрявого голубоглазого кроху, который мужественно держался, не плакал, а потом вдруг заявил, глядя на всех ревущих детей:

— Я — грузин!

Дети оторопели замолчали... Алла раскрыла голубую папку и прочитала вслух:

— Дима Соколов... Ему было всего два годика. Забавная такая мордашка. Он спал у окна... И почему-то всегда плакал, очень сильно обижался на всех и плакал... Сказать он не умел, ничего делать не умел и все время плакал. Он был очень хорошенький, небольшого росточка, светленький-светленький. Глаза тоже светлые и грустные. Он был очень привлекательный... От него отказались еще в роддоме. Но его усыновила семья из Грузии. Из какой-то деревни... Я не помню названия, но точно помню, что из Грузии...

Женщина была вся в черном, обмотана как-то странно, не очень молодая. Одетая не по современному. Да и мужчины — в этих кепках огромных, «аэродромах». Вот они почему-то этого Диму, самого светленького в группе, выбрали...

Дима лежал в кроватке и улыбался. Его держала за руку красивая молодая женщина. Одетая она была в черные таинственные шелка. А глаза были такие добрые, волшебные. И слова она произносила удивительные, говорила, как песню пела. И на каждое слово Дима кивал и улыбался. Гладил ее по руке...

Алла вышла из душевой, положила очередного ребенка в постель. Остановилась. Старая, заматанная во все черное женщина говорила что-то по-грузински Диме, и он, казалось, отвечал ей. Только Алла не поняла, что говорила женщина и почему Дима говорил ей: «Ки, дэда».

Дети первый раз видели в своей спальне незнакомую женщину. Первый раз видели, что эта черная тетя может плакать. Дети молча смотрели на нее, и никто больше не плакал.

— Самый любимый мой цвет — черный, — тихо сказал на ухо Алле Алеша Клещевников, лег в кровать и закрылся одеялом с головой.

Дима и Алла смотрели на улицу... Под окнами гордо гуляли по двору три огромных орла...

В кабинете главврача на столе лежали красивый серебряный браслет и пояс. Рядом, перевязанный черным платком, лежал квадратный сверток.

— Диму забрали в этот же день. Не было ни комиссии, ни долгого оформления.

— Держи Клеща! — орала красивая высокая белая медсестра Ирина. Она не могла встать из песочницы. Видимо, кто-то ее туда только что толкнул.

Этот кто-то, Алеша Клещевников, с расчесанной бровью, диким затравленным зверенышем взлетел на высокий забор.

Алла подошла к нему и протянула руку. Он спрыгнул на землю и вытер кровь с лица. Закусил губу. Так и застыл.

— У Алеши Клещевникова были и отец и мать. Они учились и жили в Москве, в общежитии. С детьми туда не пускали, а может быть, им надо было много учиться, и поэтому ребенок жил в детском доме. Мама навещала его нечасто, но все же навещала. Отца я не видела никогда... Он казался мне таким страшеньким. Может, он и не был бы таким, если бы не был таким избитым. Всегда в синяках, изодранный, он был какой-то озлобленный, но никогда не плакал. Его били иногда несколько раз в день... Особенно Ири-

на... Да и многие не любили его. Его бьют, а он еще больше озлобляется и мстит...

Дети сидели на стульях и смотрели на Ирину молча, с ужасом. Она подошла к Алеше, взяла его за ухо, подвела к открытой двери. Легко подбросила его вверх, так, чтобы он смог уцепиться за верхний край двери, и отступила на шаг...

Нянечка мыла пол в коридоре, улыбнулась, глядя на эту сцену:

— Ну ты, Ирка, — Макаренко!

Повариха солила репчатый лук и грызла его без хлеба. Молодая няня читала конспект в тетрадке.

— Смотри сюда, студентка! — Ирина взяла пластмассовую лопатку, которой дети копают снег, и подошла к Алешке.

Он висел на руках. Пол был довольно далеко от него. Внизу стояла белая женщина. Она размахнулась лопаткой и первый раз не больно, но очень звонко щелкнула его по попке. Алешка вздрогнул и подтянулся на руках чуть вверх. Ирина несколько раз подряд сильно стукнула его и спросила:

— Больно?

Алешка висел из последних сил, но молчал.

— Больно? Больно?

Она колотила его уже по ногам и не плашмя, а ребром лопатки. Он молчал. Заплакали самые маленькие дети. Но под взглядом Ирины тут же смолкли. Кто-то тер глаза кулаками.

Одна девочка, лохматая, черноглазая, быстро встала со стульчика, подошла к стеклянному шкафу и что было сил ударила ногой по стеклу. Стекло разбилось, сверху посыпались игрушки, девочка спокойно развернулась и пошла в спальню. Там она легла на кровать животом и сняла колготки.

— Ну Вика! — прошептала изумленная добродушная повариха и звонко откусила лук...

За Алешей пришла мама, унылого вида женщина с длинным носом. В спальне она одевала его, причесывала. А он смотрел на пустую кровать, где раньше лежала Вика.

Одетый во все новое, чистое, хорошее, причесанный как-то по-особенному, он точно преобразился. Мрачная детдомовская одежда лежала ровной стопкой на кровати. Многие воспитательницы, в том числе и Ирина, пришли проводить его. Ирина даже пыталась пошутить с ним. Он же ничего, кроме мамы, не замечал.

Алла и Режиссер стояли на улице и готовились снять сцену его ухода. Алла говорила в микрофон:

— ...Потом Алешины родители получили комнату. И мама пришла его забрать... Многие лебезили перед ним, кивали: «Ну счастье-во тебе, Алешенька! Всего тебе самого доброго...» Но это была только видимость. Никто

его не любил, никому он был не нужен. Но всем было интересно... Он вышел, никому не сказал «до свидания», ни на кого не посмотрел и не помахал рукой.

Алеша посмотрел только на кровать Вики да еще на детские макушки. Взял маму за руку. И перешагнул порог. Мама нагнулась, поцеловала его в лоб, а когда они перешли на другую сторону улицы, он заплакал.

Говорит Алла:

— Как они сильно отличаются от домашних детей! Они намного умнее, проницательнее. И глаза совершенно другие. Несмотря на то что они еще такие клопики, они понимают, как горько жить на свете... Некоторые сделают все, чтобы быть в милости у воспитателя. Лишь бы только она их не била. Для них основное — страх быть побитым. У некоторых детей можно сломать волю, их можно подчинить... Но Алешка не сломался бы никогда... Если его побьют сегодня, он завтра делает то же самое. Назло... Потому что он ненавидел всех этих женщин, которые его воспитывали.

Снова, только медленно и с фиксированными паузами, повторялась сцена Алешино ухода... Вот он встал... одернул куртку... скользнул взглядом по лицам детей. Повернул голову... Посмотрел на кровать Вики... Поднял голову... Протянул маме руку... Перешагнул порог... И глядя прямо перед собой, вышел из ворот. Мама наклонилась к нему.

От ворот к подъезду дома ребенка понуро шел средних лет милиционер, за ним — пританцовывая — молодая блондинка, длинноволосая, длинноногая и очень джинсовая.

— Слушай, околочный! — обратилась она к сержанту. — Давай путевку — дальше пойду сама. Шел бы ты...

Он молча открыл дверь и первым зашел в помещение.

...Заведующая взяла из рук сержанта лист бумаги — на шапке надпись: «Комсомольская путевка».

Девушка сидела на стуле и с пристрастием разглядывала кабинет главврача: ковер, добротная мебель, замечательные японские куклы в киноно, портрет дедушки Ленина с детишками, Брежнев над аквариумом с золотыми рыбками и серая заколка в прическе заведующей...

Потом девушка переключила свое внимание на милиционера, который что-то обстоятельно и нудно докладывал заведующей.

— Марина Ивановна, вы все поняли? — неожиданно так обратилась к девушке.

— Всё! — тоскливо отозвалась Марина.

— Без фортелей давай, Туманова! — строго приказал милиционер.

— Фак оф! — весело кивнула девушка, сложив по-японски ладони.

— Не понял...

— Яволь! — пояснила она.

— Вот так вот! — понял сержант и вышел из кабинета. Потом заведующая занудно выпрашивала у Марины подробности ее биографии. Та вяло ей отвечала и все смотрела то на портрет Брежнева, то на рыбок, которые лениво плавали в аквариуме...

Алла и Режиссер сидели в ресторане и молча наблюдали, как группа советских служащих танцует сиртаки.

— Марина попала к нам из бюро по трудоустройству. Ее как тунеядку привел участковый... Ей грозил сто первый километр... Но вместо него она попала в Америку. За месяц своего пребывания у нас она почти навела порядок... Она была удивительная, но и у нее нашлось свое слабое место...

Марина застыла перед кроваткой, на которой спал кудрявый растрепанный мальчишка. Она села на пол возле него и одним пальцем гладила его белые локоны.

Алла в белом халате раскрыла голубую папку с его «историей болезни».

— Саша Сидоров... Он тоже был моим любимцем... Я его всегда звала Иванушкой. У него были длинные-длинные волосы — белые, кудрявые, а на концах просто локоны. Огромные голубые глаза, именно голубые, не синие. Пухлые щеки. И конечно — хулиган...

Алла закрывала собой вход в группу. С ней очень зло разговаривали две шустрые женщины в белых халатах. А внизу во дворе стояла машина «скорой помощи».

— Я не знаю, почему, но все его считали психически неполноценным. Я говорила — Иванушка, многие добавляли «дурачок». Это было еще до прихода Марины... Считали его ненормальным ребенком... Саню хотели отправить в психушку. Но я его не отдала. Они приехали за ним в мою смену... Я очень жалею, что, когда увезли Вику, меня не было в группе. Но Саньку я отстояла...

Марине пришлось делать все, что делали остальные няни в группах... Она мыла полы — не очень умело. Выносила горшки — без особого энтузиазма. Умывала, подмывала детей... И все время смотрела, любовалась Сашей-Иванушкой... Она научила его подмигивать и танцевать... Приносила детям удивительные конфеты, жвачку и кока-колу.

Хозяйничала на кухне. Следила, чтобы все продукты шли на стол детям. Проверяла сумки поварих и уборщиц, ругалась с ними. Они ее боялись... Гадость могли ей сказать только в спину, когда она уже была далеко:

— Проститыня!

На нее жаловались заведующей... Но та тоже побаивалась Марины и при встрече с ней всегда улыбалась.

Саша-Иванушка бегал за ней как хвостик, Марине это было приятно, она с радостью

возилась с ним... Играла, танцевала, кормила его.

Однажды она пришла в кабинет заведующей. Положила ей на стол свидетельство о браке, паспорт.

Та с опаской и как-то двумя пальцами раскрыла его. Это был общегражданский заграничный паспорт. Заглянула в свидетельство о браке, выдохнула весь воздух из легких, прошелестала желудком:

— Американец?!— и с трепетом взглянула на портрет Брежнева.

В коридоре Марину ждал Саша. От нетерпения прыгал и пел что-то на непонятном детском языке.

Марина и заведующая вышли из кабинета. Саша поднял два пальца вверх — что означало вопрос: «Победа?» Марина весело и утвердительно подмигнула ему. Заведующая тщательно заперла дверь и на всякий случай подержала ручку.

На ковре, под столом, стоял огромный блестящий магнитофон.

Уходили из дома ребенка они днем. Во двор вышли все, кто работал в группах, вышла «кухня» и администрация. Все почему-то скрестили руки на животах и кивали головами, улыбаясь, как китайские болванчики.

Марина была незлобива, она помахала всем, передала каждому по воздушному поцелую и посмотрела на Саньку. Лакированные ботинки, красный пиджак с «бабочкой», яркая американская кепка с большим козырьком, белые локоны до плеч. Санька-Иванушка сложил комбинацию из трех пальцев и этим италю-американским жестом попрощался с домом ребенка, гордой головы в сторону провожавших его воспитательниц не обратив.

Ирина после тихого часа поднимала детей. Ее слушались беспрекословно. Все вставали, кое-как одевались, косясь с опаской на большую белую тетю. Один мальчишка подтянул одеяло к подбородку и с отчаянным страхом следил, как к нему подбирается эта пыхтящая злом и силой огромная масса. Она — в трех кроватях от него... В двух... Одной...

— Вставай, голубы!— Ирина низко склонилась над ним, принялась.

Как ужасна человеческая кожа — хуже, чем у зверя! Пыры — ямы, волоски — щупальца, румяна, как кровь, ресницы — грабли. Так близко было ее лицо, что мальчик зажмурился.

— Фу-у, какая вонь! Обосрался, тварь! Она стащила с него одеяло и схватила за плечи.

— Тварь, тварь, блядь такая!— она ударила его несколько раз подряд открытой ладонью.

Дети продолжали одеваться, но движения свои заметно ускорили. Ничего удивительного для них в этой сцене не было. Они сели на свои постели и, сложив руки на коленях, безучастно наблюдали за всем.

Ирина колотила его сильно и долго... Мальчик упал с кровати и пытался спрятаться под ней. Она вытащила его и пару раз напудрила ногами.

Дети не слышали ни звука, хотя Ирина орала во все горло, а мальчик громко кричал от ужаса и боли...

Вика, лохматая, с дикими огромными глазами, вскочила вдруг на кровать и начала прыгать, подлетая к самому потолку. Она кричала что-то сумасшедшее и подбрасывала вверх сложенные на кровати детские вещи.

Эта выходка отчаянной девчонки отвлекла Ирину от запойного избиения. Она подхватила мальчика под руки и поволокла в ванную. Сам он не мог идти, громко кричал от боли. В ванной она стала его зло умыть. Он захлебывался, кричал и падал на пол...

Полная, очень крутая в плечах женщина осторожно вела мальчика к беседке. У него была загипсована нога. Там она его заботливо усадила, ласково прижала голову к своей груди. Она укачивала его и тонким-тонким голосом пела какую-то взрослую непонятную песню...

Мальчик заснул.

— ... Я забыла его фамилию,— говорит за кадром Алла.— Но звали — Валентин. Он был хороший веселый мальчишка... Была у него мама... Работала прорабом на стройке. Дома она его воспитывать не могла, потому что была лимитчицей и жила в общежитии. К нему приходила иногда... Что можно сказать о ребенке, который в два года восемь месяцев знал уже, что такое страх, по-настоящему... Когда Ирина к нему подошла, у него уже дрожали губы и он вроде бы плакал и боялся плакать. Выл тихо-тихо. Мне кажется, бывает такая истерика у человека перед казнью... Таким матом она его крыла, так измордовала, что он долго потом не мог говорить... Я увидела, что нога у него распухла и он не может на нее наступить... Ирка сказала мне, что он упал во сне... Мама его погоревала, погоревала, погуляла с ним и ушла.

Алла зашла с Валентином в кабинет хирурга. Валя слегка хромал, но гипса уже не было. Теперь вдоль его тела плетью висела рука...

— А через месяц я опять принимала у Ирины смену, а Валя руку не может ни поднять, ни опустить. Я позвала главврача, нашу заведующую, она посмотрела и сказала, что у него, наверное, вывих руки. И снова я его повезла в поликлинику и попала к тому же хирургу, что и в первый раз, с ногой...

Хирург осмотрел Валентина, взглянул недовольно на Аллу.

— Ну куда же вы, мамаша, смотрите? — проявил он банальный интерес.

— А вы посмотрите его «историю болезни»...

Он посмотрел и вздохнул понимающе:

— Ах, казенный! Ну да, ну да... Перелом ключицы.

Мама Валентина резко говорила с Аллой и заведующей. Заведующая, не дослушав ее, развернулась и быстро прошла в свой кабинет. Алла и мама-прораб остались один на один. В коридор вышла растрепанная Вика и, как бы заступаясь за воспитательницу, сказала очень по-взрослому:

— Нечего их сюда сдавать... Воспитывайте дома.

Женщина оторопела, помолчала несколько секунд, а потом вдруг заплакала так же рьяно, как только что поучала заведующую и Аллу... Потом она почти побежала по коридору к выходу. Алла обняла девочку за плечи.

Алла и Режиссер расступились, пропустив выбежавшую из дома ребенка женщину.

— Вот и весь разговор... Валька был очень, очень хороший мальчик. И если его мама забрала, я думаю, он растет нормальным терпеливым человеком. Я не думаю о детском доме — не хочу в это верить.

— А почему ты ничего не рассказываешь про Вику? — спросил Режиссер.

Алла обернулась в сторону ворот... Возле решетки гулял старик с беспородной верной собакой. Он остановился, посмотрел на окна дома ребенка и заиграл на гармошке простую тихую мелодию... Был или не был старик на самом деле? Улица была безлюдна. Только мелодия прозвучала где-то рядом...

В грудничковой группе плакали сразу все двадцать младенцев. Старая няня по-деловому кормила по очереди каждого из алюминиевой кружки. Дети давились, глотали, плакали еще громче. Вторая няня, тоже очень старая и опытная, ловко собирала пеленки и, едва промокнув старой, пеленала заново накормленных и беспомощных детей...

На станции метро «Комсомольская» было мало народу. Вот-вот должен был подойти последний поезд. Уборщица длинной шваброй вместе с мокрыми опилками гребла к выходу горку мусора. Махнула шваброй под скамейкой и закричала так, что заглушила криком приближающийся поезд. Вместе с ней что-то под скамейкой тоже громко запищало...

Неуклюже встав на колени, она достала оттуда крошечный сверток, который нестерпимо громко кричал...

— Ася, кто там? — спросила еще одна подоспевшая уборщица.

— Девочка! — восторженно произнесла пожилая Ася, распеленав сверток прямо на лавке.

— Вот суки! — сказал дежурный по перрону.

— Девочка, — сказала нянечка и внесла в грудничковую группу новую малышку, — Ася Миронова назвали...

Алла открыла голубую папку и прочитала:

— «Ксения Миронова». Или Ася... Ее нашли на станции метро «Комсомольская». Нашла ее Ася Миронова... Она попала в грудничковую группу. Ей было семь месяцев...

...Старая нянечка в кухне размешивает кашу в солдатской большой кружке... Дети в спальне лежат очень беспокойно. Видимо, чувствуют, что сейчас их будут кормить. Няня дышит тяжело, с одышкой и даже с каким-то присвистом. В пеленнице бычки от папирос.

...Няня с кружкой и ложкой входит в спальню к детям. Дети начинают один за другим громко плакать...

— В грудничковой группе должно работать пять или шесть нянечек. А здесь она одна, и медсестра одна на двадцать человек... Грудничковая группа это вообще страшно...

Темно в группе. Все двадцать малышей спят... Медленно плывут по потолку не то облака, не то снежные хлопья, которые липнут и тают у фонарного стекла... Нет, грудные дети не похожи друг на друга. Все они разные.

— ...Когда они попадают сюда из роддома или с улицы, их сразу отучают от соски... Только ночью иногда им дают ее... Няни здесь старые, работают еще с войны. У них свой метод кормления... Из солдатской кружки... А ребенок и глотать-то еще не умеет. Кладет она его к себе на колени, одной рукой придерживает, а другой ему нос зажимает. Он дышать не может, рот открыт — она ему туда жидкую кашу вольет... А если не ест — то она его ложкой по лбу — хрясь!.. Ну и что — старинный народный метод. Опробованный еще до крепостного права... Правда, может, «старые» — перестроились сейчас?

Нянечка выпила капли из мензурки и заела их оставшейся кашкой. Подошла к каждому малышу, заглянула в лицо — хорошо ли спит? И села в дверном проеме на стуле, голову на грудь повесила и захрапела мирно.

Дети были готовы к «смотринам». Сегодня несколько супружеских пар пришли выбрать себе единственного, неповторимого.

Дети стоят в рядок, с любовью смотрят на каждую незнакомую тетю, улыбаются и

пританцовывают — на все готовы, лишь бы только выбрали, увели отсюда поскорее.

Вдалеке ото всех стоит некрасивая, но очень смешная девчужка. На жидких волосиках большой, самый большой бант и лучшее в группе платье. Но вот она ни на кого из тетей не смотрит, у нее просто хорошее настроение и никаких иллюзий.

— Ася Миронова... Наверное, когда вырастет — будет некрасивой. Как ребенок, она была пухлой и забавной... Похожа на такую смешную неуклюжую зверюшку. Она все время сосала палец. И все время ее за это били... Потом она чаще всех раскачивалась на стуле. И за это ее часто лупили. Ее можно было отдать в какую-нибудь семью. Мы даже на «смотринах» старались одеть ее лучше всех. Но никому она была неинтересна. Никто ее не выбирал... Была она как смешной заморыш... Но чувствовалось, что растет она очень добродушной... хорошей. Она так радовалась, когда кого-то из детей выбирали...

Заведующая и несколько воспитательниц разглядывали маленькую девочку, которая вполне спокойно позволяла себя трогать и послушно открывала рот, когда ее об этом просили.

— Судя по зубам, ей года два, может, чуть больше, — предположила заведующая. — Зубы у нее, правда, в ужасном состоянии... Как тебя зовут, скажи нам, маленькая...

И девочка сразу сказала:

— Лена Комарова...

...В группе почти все дети спали. В соседней комнате громко хохотали две воспитательницы: одна — Ирина, вторая — Светлана, в больших красивых очках.

Ирина что-то фривольное изображала руками, шептала Светлане на ухо, и, чокаясь детскими кружками, они закатывались вместе и плакали вместе от собственных острот.

А в спальне не спали Лена Комарова и Вика. У Лены болели зубы, она тихо постанывала и слезы вытирала рукавом рубашки. Вика гладила ее по щеке и укачивала, как это делала бы мама.

— Ты не плачь, не плачь, Комарик... — шептала Вика, — у кошки боли, у собачки боли, а у Комарика не боли... Ну что, проходит?

Лена кивнула благодарно и опять заплакала...

...Ирина завернула пустую бутылку в газету. Светлана положила ее к себе в сумку.

— Зверюгу эту ненавижу! — вдруг зло прошептала Ирина, покосившись в сторону спальни.

— Кого? — не поняла Светлана.

— Вику эту... Дрянь такая. Настоящая психопатка!

— Да они все недоделки. Правда, мне всех их жалко...

— А нас кому жалко? Люльку?

Светлана хохотнула и прислушалась:

— Не спит кто-то...

Ирина встала и быстро прошла в спальню. Вика и Лена вздрогнули. Комарик закрыла лицо руками.

— Ирка, у нее зубы болят, — сказала Вика.

— У тебе дам «Ирка»! — воспитательница толкнула девочку к кровати. — Спи, сучий потрох!

Вика легла в постель, но посмотрела на Ирину таким взглядом, что ту даже перевернуло.

— У-у, бестия! — Она вышла из спальни и прикрыла за собой дверь.

Вика снова села на постель к Комарику и зашептала ей что-то на ухо. Говорила ей на своем детском языке, доступном и понятном только посвященным...

...В спальне вдруг появился старик с губной гармошкой. Он играл, а умная собака танцевала вокруг него на задних лапах... Появились вдруг куклы-японки в красивых кимоно. Посыпались сверху розовые цветы диковинного дерева. Старик и собака на ковресамолете поднялись под потолок, и оттуда посыпались вдруг разноцветные конфеты — целый дождь из конфет. А конфеты стали превращаться в ночных бабочек и мягко, чтобы не разбудить детей, садились к ним на подушки и тут же вновь превращались в конфеты, пряники, золотые орешки.

Старик достал с потолка луну — светящийся бумажный шар — и осторожно передал девочкам в руки... Потом всё медленно начало таять, таять и исчезло так же внезапно, как кончается сон...

На Солдатской улице горели фонари. Старик и собака смотрели, как мошки вьются возле них. И вдруг все разом они потухли, стало совсем темно, только в доме ребенка светилось несколько окон...

Лена, Вика да и все дети в группе спали.

— Лену оставили на каком-то вокзале. Она помнила только свое имя и фамилию. Больше ничего... Она была умной, хорошей девочкой... И очень страдала от зубной боли. Почти все зубы были испорчены. Они мешали ночью спать, она плакала от этой боли, но никому не было до этого дела. Она просто не могла есть, а так как они всегда ходили голодные, это было для нее настоящей пыткой...

Алла и Лена сидят в кресле у стоматолога. Лена сидит у нее на коленях и, обхватив руками Аллу за шею, громко плачет, уткнувшись ей в грудь. Истошно визжит борма-

шинка. Врач выключил ее и отвернулся:

— Все, ничего сделать не могу...

Алла вела Лену за руку из поликлиники. Лена уже не плакала.

— Ну не могу так не могу...— говорила Алла.— А что он действительно может? Мало кто понимает, что казенные дети не такие, как домашние... Да и вообще Комарику очень не везло...

Женщина поцеловала Лену в висок и протянула ей пакет с мармеладом. Погладила по голове и пошла к выходу. Обернулась и помахала ей от калитки рукой. Девочка тоже помахала ей и счастливая вернулась к детям, которые возились возле песочницы...

— ...Ей не везло... К ней ходила одна женщина, и Комарик ее очень полюбил. Ну как — полюбила?! Все они любят этих посторонних женщин, которые приходят на них смотреть, потом выбирают одного из детей и начинают их обхаживать... Вот и эта женщина выбрала Лену Комарову...

...Лена стоит у окна и смотрит вниз, на ворота. Гладит рукой стекло. На улице сильный дождь... И вот кто-то зашел в калитку. Лена побежала вниз.

— Лена была очень умная девочка. Она хорошо говорила и была очень симпатичная... Женщина ходила к ней целый месяц, каждое воскресенье. Комарик ее всегда так сильно ждала...

...Женщина со своей подружкой смотрят через дверное стекло, как в группе играют дети. Она показывает подружке на Лену. Подруга одобрительно кивает.

— ...Женщина носила ей гостинцы, приводила свою подружку, показывала: вот эту девочку я выбрала... И Комарик понял, что счастье и ей улыбнулось... И вот в один прекрасный день... Эта женщина выбрала ребенка из другой группы...

Вика поставила на маленький стол еще один, а на него стульчик. Залезла на эту шаткую конструкцию и с верхней полки шкафа достала красивую куклу-японку. Завела ее ключиком, кукла раскрыла веер, начала вращаться под тихую, очень странную мелодию... Куклу она протянула Комарику, которая лежала на кровати, смотрела в потолок не мигая...

...Ирина ударила Вику по щеке. Та закричала и вцепилась в ее руку зубами...

...Ирина что-то говорила в телефонную трубку. Мазала руку йодом...

Мальчик, самый высокий в группе, подошел к Вике и что-то прошептал ей на ухо. Вика испуганно покосилась на дверь. Мальчик взял Вику за руку и подвел к пианино. Между пианино и стеной было небольшое пространство. Вика туда залезла без труда. Спряталась и вопросительно посмотрела на

мальчика. Он, довольный, что Вику оттуда трудно достать, улыбнулся. Сел на ковер и стал беспечно катать по нему игрушечный танк.

...И снова Алла открыла голубую папку.

— Сережа Гомель... Он тоже был очень даже симпатичный мальчик. Высокий для своего возраста, для своих четырех лет. И мать и отец у него сидели в тюрьме... За что, я не знаю. В «истории болезни» этого не написано. Просто — «родители лишены свободы»... Я не могу много сказать про него... Помню, что он был самым видным в группе, самым заметным. Он старался вести себя так, чтобы его не били. Не делал ничего, за что могут побить. Старался вести себя так, чтобы быть незаметным, хотя внешне был очень заметен.

В иральную вошла Ирина, искала кого-то взглядом, заметила Сережу, который глуповато улыбался, пускал слюни и катал по полу танк. Она фыркнула и пошла искать кого-то в спальню. Искала она Вику. Вика спокойно сидела за пианино. Сережа спокойно играл непонятной игрушкой.

— Родители Сережи не были лишены родительских прав. Они всего лишь навсего были осуждены, сидели в тюрьме. И когда они выйдут из тюрьмы, они должны будут забрать его. На «смотринах» Сережу часто выбирали приходящие семьи. Но Сережу никогда не отдавали.

Мальчик лет четырех стоял под деревом и разглядывал свой указательный палец, может быть, он проверял, откуда дует ветер, может, у него были на этот счет собственные соображения. Рядом, около беседки, играли дети, в сторонке о чем-то беседовали воспитательницы. А мальчик стоял и смотрел на палец... Вдруг что-то теплое и жидкое плюхнулось ему на самый кончик выставленного пальца — точно какой-то снайпер долго и тщательно целился.

Мальчик-созерцатель поднял глаза вверх и на ветке увидел веселого шкодливого воробья, который невинно чирикал, довольный метким попаданием...

— Владик Гусев... Он был странный мечтательный ребенок, если так можно сказать про медвежонка, на которого он был похож. Полный, неуклюжий. Он был самым крупным в группе, но каким-то очень беззащитным... Маленькие дети всегда его обижали... Мать его также была осуждена. Были какие-то дальние родственники, хотели его забрать. Но что-то у них не получилось. Настаивать они не стали. Владик рос в доме ребенка, должен был ждать, пока его маму освободят.

Владик подошел к воспитательницам и показал им палец. Они удивленно посмотрели на него, расхохотались... На ветке мерзко

чирикал воробей... Алла вытерла Владуку палец носовым платком, потрепала по голове. Владик задумчиво потопал к беседке, случайно наступил на кулич из песка, получил за это по спине лопаткой от маленькой крохи-цыганочки. Он сначала улыбнулся ей, а потом вдруг тихо заплакал. Девочка посмотрела на него сердито, подумала какое-то мгновение, а потом подошла к нему, обняла за шею, пожалела...

...По улице с авоськой, наполненной зелеными яблоками, шла, хромая, женщина. Невысокого роста, обмотанная старым цветастым платком — цыганка. Она делала шагов десять, останавливалась и, передохнув немного, снова делала десять шагов...

Вероника потянула Владика за руку и побежала с ним к воротам: «Мамацка, мамацка пришла!»

— ...Цыганочка Вероника была такая маленькая, темненькая, с тонким писклявым голосочком... Я понимаю, почему мама сдала ее в наш дом ребенка. Она была инвалид второй группы, ходить ей было совсем тяжело, но девочку свою она навещала каждый выходной... Это была большая семья, все они жили в одной комнате в коммуналке... Поэтому Вероника пока находилась у нас... Но эта женщина никогда бы не отказалась от дочки, она мечтала поскорее забрать ее. А Веронике часто попадало от воспитательниц. Всех раздражал ее тонкий писклявый голос. Мало кто любил этого общипанного воробья...

...Мама-цыганка угощала детей невкусными дешевыми яблоками. Дети их ели с удовольствием.

Алла и Режиссер ехали в электричке... Шли от станции по унылому поселку. Вдали был темный дремучий лес. Вокруг — сугробы, белые крыши и много-много шумных ворон. Низкое солнце похоже на луну. Кто-то воровал доски и толь на бесхозной стройке. Кто-то ел квашеную капусту... Кто-то плакал и молился Богу... Кто-то спал или умер в пустой квартире...

Алла и Режиссер зашли на территорию летнего детсада, который теперь был весь в снегу. Домики ушли под снег до второго этажа... Через забор была видна большая частная дача. В окнах темно — хозяева живут в городе.

Режиссер провалился в сугроб. Алла смеялась. Протянула руку, чтобы помочь, он схватил ее сильно и притянул к себе... Очень тихо вокруг, и смех слышно далеко. Солнце садилось, и в пустых летних домиках вспыхнули все стекла, точно кто-то взял и включил в них свет.

— На летней даче были нормальные домики... Устроенные-благоустроенные, я считаю,

вовне прилично. Были там и печки на случай холодной погоды, но их никто никогда не топил. Не умели да и не хотели этого делать. Ночью, конечно, было сыро и холодно... Детей кладут в чем гуляли целый день — в шерстяных костюмчиках и в штанах... Лежат они всем гуртом, дрожат, кашляют и чихают. Ну что делать? Спят... В каждом доме располагалось по одной группе, а второй этаж, ну это не этаж — чердак, занимал персонал. На втором этаже часто бывали гости...

...Лето. Детей рано уложили спать. Еще совсем светло. Пищат комары, ворочаются, не могут согреться дети... На втором этаже чердачное окно затемнено газетой. На полу лежит ручной фонарик, слабо освещает угол комнаты, кровать. На ней согревают друг друга мужчина и женщина. Им-то тепло — даже одеяло не нужно... Внизу заплакал маленький мальчик. Сидит на кровати и не знает, что делать с испачканными штанами. Кое-как стянул их с себя, взял в руки и полуголый, босой стал подниматься на чердак...

— ...Условия на даче терпимые. Но горячей воды нет... Если кто-то наложил в штаны, то его прямо холодной водой подмывают. Ребенок плачет, кричит... ну...

Алла и Режиссер отряхивают друг друга от снега...

...Ребенок поднялся на второй этаж, открыл дверь. Переступает с ноги на ногу — совсем малыш. Протянул штаны. Плачет: «Тетя мама... Вот я — гад...»

Голой дядя был, видимо, вратарь, вскочил, прикрылся руками — испугался голого «засранца». Но с юмором у него было все нормально, рассмеялся зычно. Голой тете маме смех его не понравился. Она вскочила, обмоталась одеялом, подбежала к ребенку, стрепала его в охапку, вынесла на улицу. Там возле домика она схватила его за руку и за ногу, раскрутила и бросила в кусты...

Алла и Режиссер подошли к высокому забору, посмотрели на соседнюю дачу. Высокий красивый дом... На окнах — белые занавески... В комнатах добротная мебель, много книг и никого из обитателей... Он поцеловал Аллу, она надвинула ему шапку на глаза.

— Мальчика звали Геночкой, ему было два года. Не знаю, в чем уж он провинился. Воспитательница схватила его за руку и за ногу... Но тут летом заросли такие... Трава всякая, крапива. И вот она раскрутила его, как самолетик, и бросила в кусты, в эту крапиву... А это дача бывшего редактора журнала «Огонек» Софронова... И его жена увидела эту картинку и пошла к нашей заведующей...

...В домике заведующей — чисто и тепло. Работает телевизор. Внуки сидят на диване,

смотрят мультики... Софронова, заведующая, «тетя мама» и мальчик стоят на веранде. Судя по жестике, разговор не очень светский...

— ...Она настояла на том, чтобы эту воспитательницу уволили из дома ребенка, — голос Аллы звучит за кадром. Сама она и Режиссер возвращаются в электричке в Москву. Стоят в тамбуре, целуются. — А Геночка...

Гена спал на даче у Софроновых. Ему снился сон...

...Высоченная крапива с длинными цепкими стеблями, как слепая, нащупывала что-то в воздухе. На земле, в самой гуще этой жгучей травы, сидела жирная жаба. Она раскрывала огромный свой рот и языком слизывала комаров. Мальчик летел прямо к ней в пасть. Но вдруг крапива исчезла, а жаба превратилась в большую красивую конфету-леденец. Чьи-то руки развинули блестящий фантик, а внутри леденца спал Геночка...

— Спи, моя конфетка! — ласково произнес кто-то.

...Снова в группе были «смотрящие». Две женщины, молодая и пожилая, пришли выбирать себе детей. Они угощали их конфетами из большой коробки. Дети робко берут их, но сразу не едят — прячут, кто в колготки, кто в карман, и тянутся за новой. Геночке тоже хотелось конфетку, но он не брал. Ласково смотрел на тетю, улыбался, хлопал в ладоши, демонстрировал себя, надеясь на что-то большее. Обе женщины подошли к воспитательнице и одновременно указали на Гену.

Алла стояла у окна в группе и комментировала эту сцену:

— Геночка... Ну он был просто лапочка. Ну очень хороший мальчик. Такой — с пухлыми щечками, с черными глазками-смородинками... Такой всегда застенчивый. Когда его начинали хвалить, он глазки опускал, стеснялся... Такая загадочная улыбка... Гена был совсем маленький. И писался, и в штаны делал... Ему попадало, конечно, но не так сильно... Старался Геночка проситься на горшок, но разговаривать почти не умел... Родители у него... Мама была в тюрьме, отца не было. Этого мальчика нельзя было отдать никому. Мама его не была лишена родительских прав. А он так старался всем понравиться. Но, к сожалению, мама его сидит в тюрьме, не знаю, за что, за какой проступок... А ребенок страдает, несет за нее всю тяжесть вины здесь. Все мамины грехи отбывает в детском доме...

Женщины ушли из группы. Дети доедали свои конфеты. Гене не досталось ничего. Вика подошла к нему и протянула два кулачка. Гена улыбнулся, дотронулся до правого. Вика разжала руку — там была конфета,

чуть подтаявшая от тепла ладони. Он осторожно взял ее, съел. Съел так быстро, что сам не распробовал. Вика разжала второй кулак и протянула ему еще одну теплую конфету. Он взял. Она слизнула оставшийся шоколад с ладоней...

— ...Но бывали такие случаи, когда мать возвращалась из тюрьмы и не приходила забрать своего ребенка. Или даже его проведать. А без отказного письма отдать ребенка в семью было нельзя... Вот так Геночка и остался ждать своей участи в доме ребенка...

Из дверей квартиры доносился детский плач. Даже не плач, а какой-то тихий жалобный стон. Возле двери стояли милиционер и группа соседей. Все взволнованы, энергично жестикулируют, объясняя что-то участковому... Милиционер через балкон подобрался к окнам, разбил стекло... Впрыгнул в квартиру. На полу сидела девочка пяти лет и уже не плакала, рядом, в кровати, лежала совсем маленькая девочка. Глаза были открыты, но дышала она с трудом... Потом детей куда-то везли на машине. Старшая сестра гладила младшую и прижимала к своей груди.

Старшую подвезли к зданию, возле которого скульптурная группа детей изображала запуск спутника в космос. На вывеске надпись: «Детский дом». Девочку несла на руках женщина. Девочка плакала и слабо пыталась вырваться, чтобы побежать за машиной, которая увезла ее младшую сестру неизвестно куда...

А младшую привезли в дом ребенка на Солдатской улице. И передали ее в руки воспитательницы в белом халате. Это была Ирина. Ирина бережно внесла ее в дом, раздела. Потом она купала ее в теплой воде, очень осторожно и нежно, чтобы не напугать, не причинить ей боли...

— Девочку нашли в квартире вместе со старшей сестрой. Им было три и пять лет. Мать заперла их в квартире и ушла в запой. Детей нашли только через три недели. В ужасном состоянии. Младшая, Катя, лежала в кровати вся мокрая, обкаканная. Старшая была почти в голодном обмороке. Ее определили в детский дом, а Катю привезли к нам...

Ирина кормит Катю мандаринами. Девочка гладит ее руку. А Ирина накручивает на палец ее волосы — получают красивые локоны. Девочка смеется...

— Мать Кати отсидела в тюрьме. Но прошел год, она так за ней и не пришла... Ее очень полюбила Ирина. Катя была смысленная, красивая девочка... Голубоглазая, вся в локонах, умела хорошо говорить... Ирина баловала ее, таскала ей конфеты, разные вкусности. У Ирины был собственный ре-

бенок, сын Женька. Он тоже воспитывался в нашем доме. Катя и Женька очень подружились. Катя была единственной, кто звал Ирину мамой. Все дети и даже собственный сын называли ее Ирккой... А вот Катя только мамой...

...Зима. Дети играют на улице. Женька залез в сугроб и стал сам себя закапывать в снег. Ирина вытащила его оттуда так быстро и стремительно, что валенки его остались где-то в самом низу сугроба. Она выхватила у него из рук лопатку и начала его сильно избивать сына. Мальчик закричал, к ним подбежала Катя. Она повисла на руке Ирины, но та смахнула ее как пылинку и снова принялась колотить сына.

— Мама! Не бей его, не бей!— закричала Катя.

— Пошла на хер, дура! Заткнись!— рявкнула та и с новой силой набросилась на Женьку.

— Ирка, не надо так!— Катя упала на Женьку и закрыла его собой.

...Ирина сидела в холле — за ней следила Катя... Ирина шла по коридору — Катя бежала за ней. Катя заглядывала ей в глаза, моля о прощении и ласке,— Ирина зло отворачивалась и проходила мимо. Несколько раз она ударила Катю по щеке — девочка не заплакала, а лишь улыбнулась заискивающе... Женька подошел к Кате — протянул ей игрушку... Катя сильно оттолкнула его от себя...

— Потом Катю удочерила какая-то молодая парочка...— Алла говорит прямо в камеру, а Режиссер в это время корчит ей смешные рожи, «делает чертика».— Это было не в мою смену. Ирина рассказала мне, что пришла молодая парочка и, не стесняясь, сказали, что им надо ехать в командировку за границу и они хотят ее удочерить... Все формальности они уладили очень быстро... А так она им, в общем-то, была и не нужна...

Катя подошла к Ирине и показала на пианино. За ним пряталась Вика. Ирина холодно посмотрела на Катю и отвернулась от нее... В дверях Катю ждали молодые родители...

Катя уходила и всё с надеждой оборачивалась на Ирину, но та стояла, сложив руки на груди, и смотрела в окно. Когда Катю вели по дорожке к воротам, она последний раз обернулась. У окна стояла Вика и грустно смотрела на нее сверху. Ирины в окне не было...

— Вот так они ее и увели... И Катя, наверное, никогда не вспомнит, что где-то в другом детском доме у нее есть сестра. А сестра никогда-никогда не узнает, что младшая живет теперь в новой семье. С папой и мамой.

Ирина подошла к Вике и крепко взяла ее за руку...

Дед с собакой шел по улице, очень спешил. Он остановился у здания исполкома, поправил шапку, одернул пальто, высморкался в большой красный платок и стал робко взбираться по ступеням к парадному подъезду. Посмотрел на собаку, та села возле водосточной трубы и терпеливо приготовилась ждать. Старик взял за ручку, передумал, снял сначала шапку, а потом уже открыл дверь. Вошел...

Ирина заперла Вику в душевой на ключ. Детей усадила за стол обедать... Дети молча ели суп. Ирина на кухне лакомилась мозговой костью и шутила с поварихой.

За столом сидели две девочки: одна — совсем маленькая, робкая узбечка Зухра, другая — самая высокая и крупная в группе — Маша. Маша обучала Зухру, как можно из суповой гущи и хлеба делать дополнительное блюдо на десерт:

— Вот, бери хлебушек... Достань картошку и горох, полей жижеккой, положи морковку — вот пирожное готово... Давай.

Зухра попробовала сделать так же, как Маша, но у нее все полетело на пол и на платье...

— Все дети в группе повторяли всё за Машей и Викой. Вика была главной... Такая маленькая атаманша. Маша же во всем старалась походить на Вику. Но это ей не всегда удавалось. Маша была бледная, невзрачная, но умненькая. Она была из многодетной семьи, из очень многодетной... Жили они в ужасных условиях, и ничего лучшего не предвиделось. Сначала мать просто отдала Машу в дом ребенка на воспитание, а потом, когда умер ее муж, написала отказное письмо от Маши...

Алла разговаривала с мужчиной и женщиной в коридоре. Маша стояла чуть в сторонке и теребила пуговицу на казенном платье.

— ...Маша попала в хорошую семью, но какую-то странную. Когда они пришли забирать ее, то не принесли девочке никакой одежды. То ли их не предупредили, то ли беспечные были, то ли жадные. Всякие бывают... Ее, Машу, конечно, отпустили в казенной одежде... Но все это было как-то непонятно мне...

Старик вышел из исполкома грустный и усталый. Шел медленно по улице, нес в руках шапку. Шел снег... Понуро брела за ним собака, поджимая то одну, то другую отморозенную лапу. Старик достал губную гармошку из кармана и бросил ее в сугроб...

Вика сидела в душевой на краешке ванны. Глаза ее были закрыты...

...Ирина ела сливы из компота, косточки собирала в кулак...

Вика открыла глаза — увидела Ирину. Они были вдвоем в огромной комнате. Это была «игральная». Все стены до потолка заставлены шкафами — в них куклы. Куклы спят.

Окон в комнате нет. Вика прямо, не мигая, смотрит на Ирину. Взгляд Вики заставляет ее вжаться в стену. В руках у Вики губная гармошка. Она подносит ее ко рту — дует... Куклы открывают глаза, оживают. Прыгают на пол и начинают надвигаться на Ирину. Она бежит к двери, толкает ее плечом, дверь не поддается. Вика играет на гармошке. Куклы поднимают руки. Медленно, но неотвратимо приближаются к Ирине. Она хочет закричать, но из горла вырывается только кашель. Хочет оттолкнуть куклу, но это уже не в ее силах. Вика дует в губную гармошку, и куклы становятся огромными. Они выше Ирины, их много, они бессердечны... Ирина зачем-то смотрит на свои часы... Сильная пластмассовая рука сдавила ей шею...

...Ирина посмотрела на часы. Закашлялась. Повариха стукнула ее по спине...

Зухра все-таки сделала себе из хлеба и суповой гущи пирожное. Долго примерялась к нему: с какой стороны повкуснее откусить.

...Женщина была закутана до самых глаз в пеструю шаль. Она быстро везла по улице коляску с маленькой девочкой, которая спала и во сне сладко сосала палец. Женщина привлекала внимание прохожих именно своей непохожестью на них и тем, что громко пела какую-то грустную песню на непонятном языке. Возле входа в «Детский мир», что возле метро «Щербаковская», она бросила коляску и побежала прочь сквозь толпу. Люди сначала не поняли, в чем дело, а потом, услышав, как заплакал проснувшийся ребенок, кинулись догонять женщину. Она бежала по трамвайным путям, размахивая руками, точно собираясь взлететь...

...Зухра откусила хлебное пирожное и от удовольствия зажмурилась.

Алла открыла голубую папку, прочла:

— Зухра... Фамилии в «истории болезни» нет... Мать ее своей фамилии не помнит. Зухру оставила в коляске возле магазина, хотела убежать, но ее поймали... На следующий день снова привезла ее на то же место и бросила там... Миллиционер заметил, что женщина была больна... Второй раз это он ее поймал. Раньше женщина была избита кем-то и ничего не помнила. Знала только имя дочери... Зухра. Под диктовку эта безумная женщина написала отказное письмо... Все стали считать Зухру тоже сумасшедшей... Но это было не так...

Маша шептала что-то на ухо Зухре. Та

внимательно слушала, кивала. Девочки косились то на кухню, где не могла откашляться Ирина, то на душевую, где была заперта Вика...

Зухра собрала грязные тарелки и понесла их на кухню. Никто из детей никогда этого не делал. Повариха и Ирина были крайне удивлены...

— Умница какая! — ласково сказала повариха.

— Мамина помощница растет... — хмыкнула Ирина и потрепала девочку по щеке.

Зухра прижалась к Ирине, погладила ее по руке. Рядом, около кастрюли с компотом, лежал ключ с деревянной биркой. Когда Зухра выходила из кухни, ключа уже там не было...

Алла, Режиссер и молодой доктор беседовали в холле главного корпуса психиатрической больницы. Это была даже не беседа — легкий приятельский разговор, они смеялись. Смешил их молодой симпатичный доктор. Он листал свою довольно старую потрепанную тетрадь и зачитывал им какие-то выдержки из нее:

— Вот, пожалуйста... В ночь с девятого на десятое ноября Семенова Т. Ю. ударила санитарку банкеткой по голове, за что была наказана «сульфазинном». Потом ее спросили: зачем же ты женщину ударила... банкеткой... по голове?.. А зачем она врачиче нажаловалась?

— А что такое «сульфазин»? — поинтересовалась Алла.

— Сульфа... Она нарушает передачу в нервных синапсах, прибавляет к молекулам сульфидную группу, блокирует деполаризацию мембраны...

— Кайф, мы все поняли! — обрадовался Режиссер.

— Короче — это жуткая боль. Делают укол — больной не может шевельнуться... Любое минимальное движение — ужасная мука, пытка. Сульфа — это огромное наказание, — популяризировал доктор.

— По-моему, это не очень гуманно... — заметил Режиссер.

— Когда тебя убивают?.. Банкеткой еще ничего, у нее хоть обивка мягкая... Сульфазин для всех этих милашек, — доктор указал пальцем в потолок, — это как кефир перед сном...

— А кто здесь лежит? — спросила Алла. — И дети и взрослые в одной палате?

— Да, молодые оторвы... Лет по двенадцать-пятнадцать. Озабоченные, трахаются вовсю, пьют, ширяются... Мурцовку хавают, сыкухи... Когда мы студентами сюда приходили, они все в коридор выбегали: «Какой мужик пришел!» Это-то в тринадцать лет... — Доктор полистал тетрадь: — Вот смешной

эпизод я записал. У одной спрашивают... Ну девка — просто караул! Четырнадцать лет... Мать в тюрьме. Какая-то трагическая история... Она с отцом киряет... Ничего уже не понимает, что одна, без матери, что живет погано, что она уже не личность, а деградировавшая девчонка... Есть такой вопрос в тесте — показатель психического здоровья подростка... «Сколько вам нужно выпить, чтобы ничего не помнить?.. Ну зачем вы пьете?» Она: «Мне все равно... Мне нравится пить... Я уже оппилась... Уже по полу катаюсь, меня тошнит, блюю, а мне все равно пить хочется».

...Девушка произнесла последнюю фразу. Глаза блестят, сладкие воспоминания делают ее улыбку мечтательной и дикой...

Режиссер рассмеялся. Алла не улыбнулась. Доктор с интересом посмотрел на нее.

— Маленькие девочки, лет по пять, тянутся за ними... Те их опекают — жизни учат... А у самих нездоровый инстинкт материнства сильно развит. — Доктор снова заглянул в свою тетрадь. — Они трахаются вовсю, ходят по общепитиям, живут у одних лимитчиков в комнате по два дня, потом к другим переходят. Все про себя рассказывают, все фамилии помнят... Сережка Воробьев — фуфло, а Ваня Жуков — классный мужик! Не девочка, а лейтенант милиции просто! Так вот натрахалась она с лимитчиком и на вокзал. А там ребенка из коляски своровала... Перепеленает его, покачает... Играет в дочки-матери... Три дня жила с младенцем на Киевском вокзале, с цыганами. «Ай-нанэ» села, ребенка нячила. Правда, кормить забывала. Понячила его так, потом он ей надоел, она его в помойку выбросила... Культурная такая девочка, вполне нормальная пионерка.

— Ну что, они все психи? — спросил Режиссер.

— А что психи?! Очень интересные люди... Мы на лекции ходили только психов слушать, намного интереснее, чем профессоров... Они про синхрофазотроны, позитроны все понимают. О раздвоении личности объяснят наглядным примером. Про голоса с Марса, которые призывают их раскрыть все секреты нашей страны. Это интереснее, чем Кубрик, чем Спилберг... Это рафинированный Спилберг — только не на экране, а на сцене...

...Девочек-«психи» врач привел в учебную комнату. На стене — наглядная агитация. Симптом Кандинского — Клерамбо... Зеленый перекошенный монстр с глазами, как яичница... Рот сбоку — выше уха... Рисовал — точно псих...

— Вот будете пить и колотья — будете такими...

Девочки гогочут, изображая Кандинского — Клерамбо...

— Ну а что же Вика, вы ее помните? — спросила у доктора Алла.

— Девять лет прошло... Нет, — доктор положил тетрадь, — маленьких я плохо помню... Нет лиц... За их голосами ничего не слышно... Просто какой-то вой...

Но он вспомнил безумные черные глаза, нет, не безумные, отчаявшиеся, но где-то на грани и того и другого... Лохматые короткие волосы... Сетки на лестничных пролетах. Раскрытая входная дверь без ручки... «Психи» работают в саду на субботнике... И маленькая детская фигурка в большом, не со своего плеча свитере, в ботах на одну ногу — промелькнула и растаяла в конце аллеи и в его памяти...

— Помню, что одна девочка сбежала во время субботника... — сказал молодой доктор.

Старик вышел из церкви Петра и Павла. У ворот его ждала собака, радостно виляла хвостом. Старик был тоже рад. Он почти бежал по улице, он знал, что надо делать теперь...

Маша ходила между столиков и собирала у детей то, что смогли они оставить после небогатого обеда. Собирала для Вики, дети знали это. Каждый что-то положил ей в подол платья...

Зухра принесла на кухню новую порцию грязной посуды. Ее погладили по макушке, дали сливу из компота.

— Смотри, захочешь срать — скажи... — Ирина погрозила ей пальцем.

Ключ с деревянной биркой снова лежал на месте...

Дом ребенка. Детей укладывают спать. Это уже другая группа, дети в ней все похожи друг на друга. Все подстрижены под машинку, тихие, серые. Голосов их не слышно. В группе неподвижная тишина... Ползает между рамами муха.

— В этой группе было совсем тихо... Они были маленькими безмолвными личинками, — рассказывала Алла. — Им давали есть только то, от чего можно не ходить в туалет в постель. Они бы и хотели попросить поесть или попить... Но они просто боялись это сделать. На них могли так рывкнуть, так пнуть ногой, что он полетит в другой угол. Девочки-воспитательницы ходили к нам и делились своим опытом: «Чтоб тебе много не стирать и не убирать много говна — поменьше давай им пить, поменьше давай им жрать... Морковные котлеты мы им вообще не даем». А иногда эти морковные котлеты составляют полностью ужин. Стало быть — их просто не кормят ужином...

...Двадцать пар колготок, двадцать пар штанов, платья, рубашки — гора белья стирается в ванной. Болит спина. Красные ру-

ки. Злые глаза... Девушке 20 лет, не больше.

— В этой группе детей на ночь клали спать в колготках, платьях, майках. Мальчики там ходили днем в колготках, и в них заправлена байковая рубашка, девочки в платьях и в колготках. Трусов там не было. Вот так их и клали спать, а вместо простыни — голая клеенка. Чтобы за ночь не испачкали постель. Если он описается, то в этих колготках походит часок-другой, на нем все высохнет. Постель чистая останется. Утром зато легко и быстро... Раз, раз — подняли детей, осталось только ботиночки одеть...

...Двадцать сонных детей. Воспитательница зашнуровывает каждому ботинки. Сама сонная, еле двигается. Зло снимает с некоторых совсем уж непотребные колготки, несет их в ванную. Снова шнурует ботинки... И так каждому из двадцати. Дети все на одно лицо...

— ...Умывать детей — на это уже нет ни времени, ни сил. Умывают, только когда уж совсем грязные приходят с улицы... А тут со сна и прямо за стол. Спальня не проветривается ночью, только днем. Ночью надышат эти двадцать человек, тем более обкакается кто-то, описается... Запах стоит жуткий... Ну вот так и спят они во всем этом... На голых клеенках, в этом запахе, в одежде.

— Убью, уродка! — заорала Ирина и бросилась за Зухрой.

Душевая была пуста. Вика стучалась в кабинет заведующей.

Кричали все дети. Нянечки из соседних групп подоспели на помощь Ирине. Зухру изловили, заматали простыней, бросили на пол в кухне. Сверху смотрела на нее повара и плакала. Очень крупные были слезинки... Зухра от ужаса выла, в глазах не было слез.

Вика сидела спиной к двери, руки на коленях. Перед ней огромный стол. За огромным столом — огромное радио. Посередине — глаз. Глаз говорит:

— Дедушка твой болен, он старенький. Сам себя обслужить не может... Это решенный вопрос. Ты поедешь в другой домик. Там ты полечишься и пойдешь в школу. Потом тебе дадут звездочку с дедушкой Лениным, а потом оденут красный галстук и под бой барабана примут в ряды... Ты что, не знаешь, что такое красный галстук?

Вика видела, как за решеткой забора дед вытирал глаза красным платком. Он был очень старый, добрый.

Потом радио на столе стало хрюкать, кашлять, потом оно загудело... Двенадцать раз ударили куранты на Спасской башне...

Вика закричала и бросилась из кабинета

вон. За ней через стол прыгнула большая голая кукла...

Вику и Зухру вез по ночному городу маленький автобус. Девочки вцепились друг в друга, дрожали. Белые тети горевали вместе с ними. Все качали головами и шептали: «Ну надо же...»

Алла стояла в спальне возле пустой Викиной кровати. Собирала белье, сняла пододеяльник и наволочку. Сложила аккуратно платье, майку, колготки. У колготок сильно вытянуты колени, дырка на мыске. Она понесла все это в ванную, стала стирать.

— Вику и Зухру отправили в психиатрическую больницу. Так Ирина избавилась от неудобной для нее девочки, а заодно и совсем маленькую Зухру перевели в специальный дом ребенка... Я точно не знаю даже, как он называется... Куда именно определили Вику — я тоже никогда не узнала. Сначала я переживала сильно, просила, уговаривала заведующую вернуть ее к нам. Но потом все как-то забылось, улеглось... Начались собственные проблемы... А через месяц я уволилась...

...Вику везли куда-то на коляске... Очень длинный коридор. Сетки на лестничных переходах... Двери без ручек. Ручки в карманах у санитарок. На окнах в большой палате — решетки. Спят, храпят, стонут взрослые дети... Вика кричит, пытается вырваться. Лица склоняются так близко к ней. Какая-то девушка на соседней кровати приподнимается, ворчит что-то безразлично. Падает на подушку, тут же засыпает. Вика снова пытается вырваться из больших умелых рук. Ей делают укол. Все становится безразлично. Ни хорошо, ни плохо — никак... Дверь в коридор открыта. Там кто-то сидит под лампой, разговаривает. Вика слышит голоса:

— ...Школа, ПТУ не справляются — отправляют в детскую комнату милиции... Милиция не может ничего сделать — сразу к нам, в психушку, или в тюрьму... Терапевту лень лечить — посылает к хирургу... Хирургу резать неохота — снова к терапевту. Все психи! Все с ума походили. Матери — в детский дом. Дети родителей — в дом для престарелых...

— Да ладно, всегда было блядство и распутство... Помнишь, у Некрасова, про женщин?

— Это про тех, кому на Руси жить хорошо?

«Жить хорошо», «жить хорошо»... — донеслось из коридора. Вика заснула... Увидела, как дед заворачивает что-то деревянное квадратное в газету...

По тропинке к дому ребенка шел дед. Нес под пальто, прижимая к груди, какой-то свер-

ток... Алла гуляла на улице с детьми. Они лепили снежную бабу... Дед остановился, поманил к себе Аллу. Она подошла. Шла медленно — боялась его, боялась этого разговора с ним...

Режиссер с оператором установили камеру, приготовились к съемке. Пошел звук и изображение...

— Возьмите это... Отдайте мне Вику, — дед достал из-за пазухи небольшую доску, развернул газету. — «Не рыдай меня Мати» — очень редкая икона... Вот помолитесь на нее, и боль утихнет... Это ребенок свою мать уговаривает не плакать... Сам на муки идет, ее успокаивает... Возьмите — отдайте мне Вику... Если ребенок из-за матери все детство будет страдать — бессердечным вырастет... Я с Викой не пропаду... Где Вика?

Алла молчит, отступает на шаг. Поворачивается — смотрит в камеру. За камерой ее голос:

— Я не знала, как ему ответить... Он был очень старый, беспомощный. Он всегда хотел забрать Вику из дома ребенка, но государство ему не разрешало... Он каждый день ходил под окнами... Навещал ее каждое воскресенье... Он стоит, смотрит на меня. «Где девочка?» А я не знаю, что сказать, у меня слезы наворачиваются на глаза... Сказать — твою девочку отвезли куда-то? Вы подойдите к заведующей, она объяснит. Я не смогла сказать, что ее увезли в психиатрическую больницу...

Главврач примеряла, как смотрится икона на стене. Мешал портрет Генсека. Она вернула ее в газету, спрятала в сумку...

Дед ехал в трамвае... Стоял у окна... На окне — пятерня и надпись: «Ура — скоро лето!» Дед прислонился к стеклу и медленно сполз на пол...

- Старичок, тебе плохо?
- Чего с ним?
- Плохо кому-то...
- Кому именно?..
- Останови, водила, человек загнулся!

...В доме ребенка — музыкальное занятие. Музыкальная тетя обрушилась на инструмент, заиграла что-то бравурное. Дети нестройно маршировали по кругу...

— А теперь песенку споем, детки, — ласково торопила время музыкальная тетя. — Ну, быстренько... Как в прошлый раз:

Вот зима — кругом бело,
Много снегу намело.
Утром Ваня санки взял,
На дорожку побежал...
А в саду у нас гора,
Все катаются с утра.

Крикнул Ваня — берегись!
Покатился с горки вниз.

И руками показывает, как он покатился с горки вниз: у-у-у...

— А теперь — какая у нас гора высокая? Ну-ка, ручки вверх, детки! — ласково просит она. Дети подняли руки, так и застыли...

— Бляди, подъем! — крикнул кто-то из коридора и заржал.

Вика открыла глаза. На окнах увидела решетку. Легла на живот, голову закрыла подушкой.

— Убирайте постели — студенты идут, — приказала санитарка.

Вику кто-то стукнул по спине. Она не пошевелилась.

— Не трогай мелкую — пусть спит, — сказала санитарке соседка Вики. — Ее вчера нааминазилили... Дай очухаться.

Вика услышала шаги в коридоре, много-много шагов, мужской смех. Натянула на подушку одеяло. Стало совсем темно и тихо.

...Ночью у Викиной соседки началась истерика. Она кричала долго и громко, требовала чего-то. Упала на пол. Ее схватили санитары...

Вика приподняла край подушки, выглянула одним глазом, ничего не поняла... Руку девушки крепко держала чья-то лапа. В плечо ей быстро всадили иглолку, поднесли шприц, вдавили какую-то жидкость. Девушка дернулась несколько раз и одеревенела в немой скрюченной позе.

Когда санитары ушли, Вика приблизилась к ней, хотела закрыть ее одеялом.

— Не трогай, — прошептала соседка, стараясь не шевелить губами. В глазах — боль и страх. — Беги отсюда, линяй...

В палате все спали. В коридоре горел свет. Кто-то гремел в коридоре стеклом и железками...

...Утром Вика вышла в коридор. Выхода из него не было. Белая дверь — как стена. Ни ручки, ни щели... «Сумасшедшие» девочки и женщины убирали постели, мыли пол и стены. Откуда-то с улицы доносилась музыка.

Вдруг в дверь кто-то постучал. Санитарка подошла и открыла в двери маленькое окно. Выглянула. На лестничном переходе стоял небритый знакомый санитар. В авоське банок десять хрена.

— Хрен будешь брать? — спросил небритый.

— Фу ты, уже остограммился, — проворчала она, достала из кармана ручку-ключ, открыла дверь в отделение. — Чего так много накупил, Валера?

— Детям хрена купил в честь субботника.

Дома кушать нечего... — Он протянул ей две банки.

Вика увидела на спинке стула свитер. Быстро взяла его и незаметно выскочила из коридора в раскрытую дверь. Санитарка с Валерой делили хрен. Им было не до нее.

На улице была весна... Прошла одна ночь, может быть, Вике так показалось, что это была всего одна ночь...

Играла музыка. Жгли ящики и мусор. В парке — много народа, все чем-то заняты. Никто на Вику даже не взглянул. А вид у нее был странный: маленький заморыш в длинном маминном свитере, на ногах боты — с одной ноги... На выходе, возле ворот больницы, ей встретился молодой парень в белом халате. Он только мельком взглянул на нее и пробежал мимо, прижимая к груди сумку с пивом.

Вика побежала. Быстро кончилась стена больницы... Много-много луж на асфальте... Окна домов завешены огромными портретами. Одни портреты кругом — нет живых лиц. Брови, усы, очки, лысина... Какие-то дяди вместо окон и домов... Две собаки танцуют друг на друге... Деревья с белыми стволами... На стволах — банки. Что-то капает в них...

...Вика вспомнила, как текла жидкость через шприц в плечо девушки, как девушка одеревенела... Побежала прочь из парка.

Люди появились неожиданно. Их было много, они чистили улицу, копали, рыхлили землю.

Возле киоска — очередь. Все едят что-то белое, холодное и очень вкусное. Вика проглотила слюну. Обошла киоск с задней стороны. Вся стена обклеена круглыми этикетками, на земле валяются пустые бумажные стаканчики. Она подняла один, понюхала, бросила на землю. Побежала дальше...

Много машин. Широкая дорога. Вика не знает, куда идти дальше, смотрит по сторонам. Все чужое, этого мира она не знает... Увидела детей, они шли из школы — за спиной и в руках у них что-то большое, тяжелое...

— «Двоек» много нахватал? Давай портфель! — веселый дядя пожурил мальчика и взял его сумку. Пошли по улице вдвоем.

Вика посмотрела им вслед и повторила задумчиво: «Портфель»...

Побежала за ними. Остановилась резко. На нее мчался трамвай. Она улыбнулась, вспомнила, как первый раз увидела этот красный вагон...

Тетя Алла, Зухра, Маша, Ася Миронова, Ритуля, Саша-Иванушка, Гена — все бросились в разные стороны... Вспомнила улицу и церковь, забор и дом ребенка... Окна... Дед с собакой ходит по улице. Смотрит наверх, играет на губной гармошке, машет ей рукой.

Вика смело подбежала к трамваю, залезла в него — чуть не потеряла бот. Веселый дядя

помог ей надеть этот бот. Вика села у окна, рядом с ней — мальчик с портфелем, достал книжку, разглядывает картинки. Вика смотрит тоже. Картинки в книжке живые... Слон плюется водой, мишка ест малину, курочка снесла золотое яичко... Яичко покатилося и разбилось...

Вика увидела церковь, дальше был их забор. Сплошной, деревянный, и ворота знакомые. Трамвай провез ее далеко от «дома». Она прыгнула на остановке и побежала назад...

Дедушки возле ворот не было. Вика прошла по улице, увидела красный кирпичный дом, у подъезда — скамейка. На скамейке тоже никто не сидел. Она подошла к красному дому и вдруг вспомнила...

...Из подъезда ее вела за руку тетя в белом халате, рядом шел милиционер. Вика шла с ними и все время оглядывалась назад. Из подъезда выбежал дед и смешно шлепал за ними в тапочках, почему-то тряс в воздухе кулаком и плакал. На дороге сидела маленькая собака, чесала лапой ухо... Дед взял ее на руки. Так и стоял с ней посреди улицы, смотрел, как Вику увели за высокие ворота в дом ребенка № 14...

Вика зашла в подъезд. Быстро взбежала на последний этаж. Остановилась около двери. Замок заклеен бумагой, на бумаге — печать. Вика позвонила в дверь. Звонок слышен, а шагов за дверью нет. Она подождала немного. Стала сильно стучать в дверь.

Свою дверь открыла соседка, всплеснула руками.

— Вика!.. Ты откуда? А бабушка-то... Нет его теперь... Подожди — я выключу кастрюльку... Подожди... Отведу тебя в садик...

Соседка оставила дверь открытой и побежала в кухню.

Вика попятилась к окну... Дернула за ручку. Рама поддалась. Она вскарабкалась на подоконник. Посмотрела вниз. Скамейка была пуста... Рядом дом и очень близко — чужое окно... В окне — трое в очках: мать, отец и ребенок едят жареную курицу.

Соседка накинула на плечи плащ, выскочила в коридор.

— Дедушка тебе иконку оставил... Ты что, Вика?!

Вика увидела у нее в руках дощечку. На дощечке грустно улыбалась какая-то женщина. Вика повернулась к ней спиной и полетела вниз.

...К дому ребенка на Солдатской улице подъехал автобус. Съёмочная группа выгужала на землю технику.



**Петр
ЛУЦИК**



**Алексей
САМОРЯДОВ**

ДЮБА-ДЮБА

Часть первая

Ох, крутые это ребята! Раньше я таких и не видывал.

Первый — гордец среднеазиатской выпечки. Очень сильный. Самолюбивый до заносчивости. Не переносящий никакой критики. И естественно, уязвимый. Ранимый до девичьего румянца на щеках, до бледности, до капель пота на висках. И — добрый, вальяжный, расслабленный, когда что-то получается, когда хвалят.

Второй — хитрец. Этакий казак-хитрован из оренбургских степей. Балагур, смехач, забияка, гулена, близорукий черт с ярмарки. Ему бы сапоги гармошкой, шаровары с лампасами и пару рожек на макушку — заместо шашки на боку. Но вообще-то вы ему не верьте. Никакой он не казак и не черт. На самом деле он просто неисправимый романтик с одинокой душой и тайной надеждой написать роман лучше, чем «Сто лет одиночества», и покорить самую красивую девушку в мире.

И оба — не пацаны. Битые жизнью, гнутые свинцовыми веригами идеологии, умеющие сами добывать свой хлеб, полные замыслов, смеха над жизнью и упоения ею.

Как мы с моей напарницей по мастерской Верой Владимировной Туляковой учили их целых пять лет? А бог знает. Ну объясняли что-то. Ну ругали. Ну знакомили с режиссерами и начальством. А вообще-то они в основном учились сами: взахлеб смотрели кино, горбатились над

восьмью каждый раз принципиально новыми вариантами первой короткометражки, помогали режиссерам снимать, монтировать, озвучивать, снимали и снимались сами, толкали операторскую тележку, со скрипом сочиняли курсовые работы, куда-то исчезали, влюблялись, скисали, воспалялись, влезали на самую вершину баррикад пресловутой вэжиковской перестройки, потом с грохотом слетали оттуда, выслушивали наши советы и делали все по-своему, снова влюблялись, снова исчезали и все реже и реже приходили на занятия по мастерству и все чаще — в Дом кино. Вполне можно спросить и так: а как мы их терпели целых пять лет? Вот так и терпели. Иногда убить хотелось. Чаще — жалели и уважали. Верили — всегда. Видно, любили.

«Дюба-дюба» — пока лучшее, что они написали. Два года назад нас с Верой будто обожгло, я читал всю ночь, перечитывал, не мог спать. До сих пор от последних страниц цепенею. Жжет, не проходит. И хотя жизнь идет, идут новые рукописи, есть уже и фильмы, есть договоры (даже и в Голливуде!), хотя и изрядно воды утекло, «Дюба» — жив и тащит, поднимает за собой и своих авторов, и уровень мастерской, и весь смысл нашего терпения и веры.

Да, крутые это ребята. Полнота бытия, его дикая мощь, его уродующая и оплодотворяющая сила — несущие крылья их сочинений. Это было уже в первом их полнометражном сценарии «Праздник саранчи», опубликованном в этом журнале, это было во всех новеллах, этюдах, набросках — в каждом слове, каждой запятой. Что бы они ни писали, они никогда ни на йоту не были стилизаторами, они всегда шли за жизнью как главным Автором наших творений, они были собой — Луциком и Саморядовым.

Дай бог им и дальше ими оставаться.

О. Азишев

«Буря началась!» —
Грабитель на дороге.
Предостерег меня.

(Бусон. Из японской поэзии
XVIII века)

I

Звезды так расположились, Андрей Плетнев не пошел под землю, в метро, а свернул зачем-то в сухую, криво скатывающуюся вниз улицу, где снег под стеной лежалый, угольный, где на голых яблонях, на крышах — свинцовая зимняя пыль, где ветер апрельский такой сладкий, такой тоскливый... И пришел вдруг на Казанский вокзал.

Навстречу ему из темноты вышел тотчас высокий парень в шубе и спросил закурить, Андрей дал.

— Слушай, брат, а не знаешь, где здесь водки достать можно? — тут же снова спросил парень.

— Да бог его знает, — Андрей с интересом оглядел его косматую не по плечу шубу и маленькую, острую, как заточенный карандаш, голову. — Ты спроси у таксистов, а я не здешний.

— Не здешний? погоди, постой! А куда едешь, не в Казань?

— Нет, — Андрей снова остановился, взгляделся внимательно в его острое костлявое лицо.

— А куда? — парень смотрел просто и нагло, правой рукой все шарил что-то в кармане.

— Никуда я не еду, — Андрей снова пошел, боком.

— А говоришь не здешний. погоди, постой, — он опять догнал Андрея. — Ну не может быть. А? Ты посмотри, сколько окон горит. Ведь варят же, сволочи, самогон!

— Не знаю... — уже хмуро и резко ответил Андрей, отступая, он все косился на его правую руку.

— Постой, поговорим!

— Некогда мне...

— А ты не бойся!

— Я не боюсь, — Андрей встал, выпрямился, вынул руки. — Ну чего надо?

Парень засмеялся и достал наконец из правого кармана нож. Они стояли в тени за камерами хранения, под мостом. В нескольких шагах горели фонари, ходили с чемоданами люди.

— Чего ты... — Андрей глядел на нож.

— А ты не бойся! На! — он сунул ему финку.

Андрей отшатнулся.

— Ну на! Посмотри! — он шел за шатавшимся Андреем, тыча ему в лицо ножом.— Ну на! За червонец отдам.

— Не нужно,— Андрей выбежал на свет, пошел резко прочь.

— Ну пригодится же, на! — кричал парень ему вслед.— Пожалеешь!

Но он вошел уже через высокие двери в вокзал, люди с чемоданами, узлами, шедшие сплошным медленным потоком, подхватили, повлекли его с собой, и он пошел вместе со всеми, медленно, мимо колонн, киосков, мимо маленькой статуи вождя в другую, огромную залу, полную, забитую людьми. Они шли, останавливались, натываясь на передних, задние толкали их в спины, снова шли куда-то влево, все хмурые, суровые, наконец встали совсем. Андрей, опомнившись, попробовал протиснуться назад, к выходу, но не смог даже повернуться. Все снова двинулось, пошли, и его, упировавшегося, отеснили к стене.

Со всей страны согнали сюда людей, они стояли, сидели на своих мешках, обнявшись, положив головы друг другу на колени, ждали, спали вповалку за киосками и молчали все.

И всех старух согнали сюда. С мешками и узлами нескончаемой вереницей пробирались они по кругу, а в кругу, на полу, сидели бритые солдаты в шинелях и майор курил среди них в рукав. И всех детей согнали сюда. Они лежали на газетах у стены, и цыгане, перешагивая через лежавших, искали кого-то... А сверху, в тусклом желтом свете, высоко-высоко, как на небе, улыбались золотые колхозники, раскинувшие в полнеба красные флаги. Вдруг все заговорило, загудело вокруг Андрея.

— Поезд, наш поезд! — закричали разом в разных концах зала.— Пропустите нас, наш поезд!

Зал качнулся, люди, поднимавшие чемоданы и выюки, двинулись все влево, отхлынули и также все, сминая друг друга, вправо. Андрея ударили чем-то тупым, он упал, встал тут же, и его понесло куда-то вперед.

— Дети! Осторожно, дети! — истошно закричали впереди.

— И у нас дети! Осторожно, дети! — тотчас завопили сзади, и, перекрывая шум, где-то завизжал ребенок.

Какой-то человек, смеясь, выбирался на четвереньках из-под их ног к стене, но тут вдруг передние встали, и Андрей с десятком старух, сбитые задними, все полетели на пол, на колени. Где-то лопнуло стекло.

— Сволочи! Что с людьми делают! — закричали ему в ухо.

— Поезд. У нас поезд уходит!

Больше он не сопротивлялся, стараясь только устоять на ногах...

На перроне он отскочил в сторону, едва выбравшись из толпы, отошел подальше от

бегущих к поезду, принялся отряхивать брюки.

— Плетнев! Андрюха! — закричали справа, и оттуда же, где у оконных ниш стояли люди, отделился парень, пошел к нему.

Андрей глядел на него недоверчиво, хмуро, но, разглядев, улыбнулся. Они сошлись, пожали руки, отошли к стене, к вещам, встали, закурил.

Парень был высок, строен, из-под лисьей шапки его выбивался светлый чуб. На нем был белый затертый на локтях кавалерийский полушубок, под ним в расстегнутом вороте рубахи крепкая шея, на ногах — высокие рыжие сапоги на каблуках.

— Так ты не домой разве? — все спрашивал он.

— Да нет, шел вот мимо... — Андрей оглянулся.

Люди по-прежнему рвались с криком из узких дверей вокзала.

— Гляди, что делается. Сколько людей, — сказал он.

— Да здесь всегда так, — засмеялся парень.— А ты что же, учишься?

— Да... вроде того. Ты на «Южный Урал» или на пятый?

— На наш, на «Урал». Подадут уж скоро. А чего, кино будешь снимать или как артист?

— Нет, я сценарист. Я только придумываю все. А делают другие. Дауны делают.

— Кто?

— Дебилы.

— Что, все дебилы?

— Ну не все, конечно, но очень много. А может, я сам такой, дебил. Ты лучше скажи, что нового слышно в Оренбурге?

— Да чего там слышно. Ничего не слышно. Пусто. Водки нет, ничего нет. Все ходят, косятся друг на друга, — он плюнул, открыл сумку, стоящую на подоконнике, достал сигаро, развернул курицу, разложил нарезанное сало, яички.

— А в Москве чего? — Андрей с удовольствием следил за приготовлениями.

— Да к брату приезжал, думал устроиться. Он в колонне здесь работает. Ну Саня, он в семнадцатой школе учился, лет на семь старше тебя. Ну рыжеватый такой.

— Не помню. Ну и как?

— Да никак... Где сейчас заработаешь? Везде одно, — он, не вынимая из сумки бутылку, зубами скусил пробку, налил осторожно в стакан на три пальца.— Ну давай! За встречу!

Андрей махнул в рот, задышал с удовольствием, выпуская пар. Запил лимонадом, взял сала.

— Домашнее?

— Ну, — он тоже выпил.— А ты как здесь живешь? Не женился?

— Нет. Так, кручусь все. Ничего хорошего. Сам-то не женился?

— Да куда там,— он засмеялся.— Девки с ума походили, гуляют, как в последний раз... Хотя правильно, чего еще делать. А кто учит тебя? Известный хоть?

— Да, хороший мужик. Снегирев. Знаешь? Ну «Здравствуй, новый гражданин», «Счастье за углом»...

— Не припомню. Да знаешь же, мы в кино редко ходим. Было бы чего посмотреть... Давай еще.

— Да нет, понимаешь, ничего ведь в кино нельзя, пить нельзя, в постель нельзя, дебилов не трогай, ничего нельзя...

— Слушай, а как же этот, новый, Горбачев? Что в Москве говорят?

— Да бог его знает.

Выпили еще по одной, закусили яичком. Ветер к ночи похолодел, на перроне зареял редкий снег.

— А у меня брата посадили,— засмеявшись, сказал парень.

— Да ты что? Здесь?

— Нет, этот двоюродный, родного. Взяли сдуру универмаг подломили, тот, что на Советской. Знаешь?

— Знаю. Напротив филармонии. И сколько дали?

— Да семь, меньше не дают. Вообще чего-то пересадили в этом году всех. Генку Юрганова. Помнишь, с Ренды, худой такой, дрался все.

— Не помню.

— А участкового, помнишь, зарубили?

— Помню.

— Ну вот, повязали их всех. Они, оказывается, анашой торговали, опиум, ну вот, он к Бурцеву пришел, один, дурак, а там бабы еще были. Ну они его порубили и зарыли за Уралом... И в таксопарке мальчишек посажали, Сашке девять дали. Помнишь, Суханов, из вашей школы?

— Так я с ним учился.

— Ну вот. Всех, наверное, человек тридцать, за разное... Эту Таньку.

— Какую Таньку?

— Ну ту, что медсестрой работала. Говорят, морфий она им доставала. Ну курносая, вредная такая. Ты ж с ней ходил еще.

— Воробьеву, что ли?

— Ну ее...

— Да она же девчонка совсем! За что?

— Девчонка не девчонка, а семь лет дали. За банду. Ну знаешь, как они, может, и не занимались ничем таким. Ну пили вместе, собирались, значит, банда. Город почистили просто... Ладно, тебе-то чего?

Андрей курил. Парень снова налил в стакан. Они выпили еще по одной. Объявили поезд на Оренбург. Снег пошел крупнее, ветер наносил его на прожектора волнами.

— Да, как-то все это... — Андрей бросил папиросу.

— А чего еще делать,— отозвался па-

рень.— Только грабить и остается... Ладно, иди надо.

Они выпили по последней, он быстро свернул все, убрал в сумку, поправил съехавшую на ухо шапку.

— Давай провожу тебя.

— Да не надо... А то, смотри, поехали?

— Не могу я сейчас... Ладно, ты там кого увидишь, привет передавай.

— А я же был у твоих, у Плетневых,— парень уже стоял с вещами в руках.— Сейчас вспомню. Да... позапрошлой зимой как раз. Все нормально у них, привет тебе передавали...

— Да я вот в январе сам был.

— Да, точно, позапрошлой зимой, я вечером, часов в девять зашел. Батя твой дома был, он простудился как раз, сестра. Я им сказал, что в Москву скоро еду, они и адрес дали.

— Чего же не зашел?

— Да ладно, и так встретились... — он засмеялся.— Слушай, а ведь ты не признал меня.

— Да нет, что ты, помню.

— Не признал... Горюнов я, Ваня, Толика Горюнова брат, с Шанхая, помнишь, мы с тобой в парке Победы подрались в шестом классе, возле пивной. Ты еще с Маратом был. А потом у Зинки Малеевой на день рождения сидели рядом...

— Да помню я! Говорю же.

— Ну ладно, счастливо тебе... Глядишь, увидимся...

Он повернулся, не спеша пошел на платформу, и скоро его закрыли носильщики, катившие тележки, и старухи, неуклюже бежавшие с мешками на плечах.

II

Пройдя пустым холодным коридором общежития, Андрей отпер дверь в прихожую, напился из-под крана в ванной, прошел не раздеваясь в Мишину комнату.

В комнате было еще холоднее, горел свет, ветер из открытого окна качал красные грязные шторы. На подоконнике, на полках, на стульях стояли стаканы, валялись бумаги, носки, окурки. На столе лежала куча табаку, рядом сапог, над кроватью на стене был прибит растрепанный пучок соломы.

Миша спал в ворохе одеял и полотенец.

— Спишь? — спросил Андрей громко.

Один глаз у Миши открылся и уставился на него.

— Ю-ю,— тихо, но внятно произнес Миша.

— Что? Миша, девочки пришли...

Глаз моргнул, перешел с Андрея на потолок.

В комнате Андрея было чисто и пусто, как в медпункте, стоял лишь диван и стол.

— Гамак, что ли, купить? — Андрей огляделся и, как был в пальто и ботинках, лег ничком на диван.

В Мишиной комнате засмеялись вдруг тихо, залиvisto.

— Михаил! — Андрей прислушался и накрыл голову руками.

Миша снова засмеялся, потом зевнул долго. Вдруг, заскрипев, встал и, шлепая босыми ногами, показался в дверях.

— Ты дома? — он оглядел Андрея. — А мне сон приснился.

— Какой? — Андрей лег на бок, скосив на него глаза.

— Что-то... — Миша зевнул, почесал голый живот, развел руками. — Уже не помню.

— Слушай, а может быть, ты даун? — ласково спросил Андрей, он перевернулся на спину и закинул руки за голову.

— Может быть... — Миша снова почесал живот, разглядывая Андрея. — А знаешь, на кого ты сейчас похож?

— Ну?

— На Павлика Морозова, который украл в столовой компот, а его поймали. Съел бы целого гуся, обмозанного сметаной, в чесночке, зажаренного на углях?

— Нет, не хочу.

— Может быть, у тебя триппер? Тогда доверься мне, я самый главный специалист по трипперу...

— Да уж знаю... — Андрей встал, подошел к окну, глядя на огни в темноте.

— Ну что, — Миша закурил, — проводил ее?

— Знаешь, — Андрей прислонился к окну, — какая-то странная история...

— Она что, оказалась мальчиком?

— Да я не о ней... Ну проводил и все. Поцеловались в подъезде, потом мне стало грустно. Я зашел на Казанский вокзал, там недалеко, и вдруг встретил земляка. Понимаешь, мы с ним выпили, поговорили, он всех моих вспомнил... Но я его не знаю. Я его первый раз вижу...

— Может быть, за тобой следят?

Андрей усмехнулся.

— Я тебе как-то рассказывал, — он отошел от окна, — как у нас за Уралом нашли участкового, разрубленного на части... Так вот, их посадили, всех, банда целая. И с ними девчонку одну... Воробьеву Таньку... Я ее знал. Еще до института случайно познакомился. Мы куда-то ехали, на дачи, по-моему, а перед этим зашли в магазин, просто по пути. Я ее увидел на улице, когда мы проходили мимо, она стояла во дворе у калитки, в халатике, и глядела на дорогу, а может быть, на меня, — он засмеялся, все прохаживаясь по комнате. — Понимаешь, у нас уже все было, вино, закуска, нас ждали хорошие девчонки, не помню сейчас кто. Ребята торопили, я сказал, что догоню, и пошел прямо к ней во

двор. Ну что ты, я тогда молодой был, сухой, стройный, как журавль, веселый... Понимаешь, я любую с двух слов уговаривал... В общем, она поехала с нами, даже халатик не переодела, бежать пришлось. Парень ее уже к калитке подходил, чернявый такой, борец. Она меня огородами увела... — Андрей перестал ходить и встал под лампой.

Миша сидел на корточках в дверном проеме и трогал пальцы на ногах.

— А тот? Ее парень?

— Бог его знает. Ухаживал, жениться хотел, мы его и не видели больше.

— Они уже с ней спали?

— Да нет же! Она девочка совсем была, лет пятнадцать... Ну чего ты смотришь?

— И сколько ей дали?

— Семь. Представляешь, семь лет... Мы с ней встречались потом, я и с другими ходил, знаешь, молодой, ни во что не верил, только в радость... Потом с ней мой товарищ один ходил, — он засмеялся вдруг. — Лет на восемь ее старше был, а с ней рядом, как мальчишка, робеет, слово боялся сказать... Знаешь, убиваться из-за нее или как-то серьезно, она бы меня насмерть засмеяла, да я и сам такой был, — Андрей так же сел у стены на пол, раскинув ноги. Весь пол был в его мокрых ребристых следах.

— Может, тебе жениться надо было? Был бы счастливым?

— Да нет, ты что. Она бы изменяла мне на каждом шагу... Хотя, черт ее знает, может, наоборот... Знаешь, я не верю, что она в банде была, скорее, так, вертелась с ними, может, помогала чем-то. Хотя... — он засмеялся снова, вспомнив что-то. — Она, если нужно, могла бы и убить. Не из-за тряпок или денег, понимаешь, если нужно... Помочь бы ей как-нибудь.

— Как же ты ей поможешь?

— Не знаю. Пойти просить кого-нибудь. Кого? Кого здесь можно просить? Ей сейчас лет девятнадцать, а выйдет старухой.

— Был бы царь, можно было в ноги упасть.

— Царь... Кто из них теперь царь?

— Напиши Горбачеву. Напиши, что женишься и возьмешь на поруки, — Миша засмеялся. — А ты отработаешь. А если что, пусть сажает потом обоих. Хочешь, напиши, пусть и меня сажают...

— Понимаешь, если серьезно, я бы написал, мол, всю жизнь на него работать буду и молиться за него и за товарища Суслова...

— Суслов умер.

— Ну кто там жив. За товарища Вороникова, за других товарищей... Но им же не нужно. Они же не понимают, что мы можем придумать что угодно, какой угодно сценарий, что мы можем придумать все! И как мы придумаем, так все и будет...

Пальто на нем сбилось в ком, но он сидел все так же, прислонившись к стене. Миша

засмеялся.

— Знаешь, я, кажется, придумал.

— Что?

— Надо достать тротила, ну пудов восемь, и положить все под лестницей в гостинице «Космос».

— А почему там?

— А потом напишешь письмо, неважно куда, в прокуратуру или на радио, или в «Мурзилку», неважно. Пишешь: освободить в течение трех дней. Они, конечно, смеются. И тогда ты рвешь «Космос».

— Но почему именно «Космос»?

— Там одни иностранцы. Ну и армяне. После этого пишешь еще письмо, снова даешь три дня. Я тебе обещаю, они освободят и еще по телевизору покажут.

— Вычислят?

— Не вычислят. У нас в Тамбове знаешь сколько ребятшек под всесоюзным ходит. Их всю жизнь ищут, а они тихо работают, пиво пьют, газеты читают... А когда освободят, ты пишешь еще письмо. «Теперь относительно ваших музыкальных программ по телевидению...» или «Давно хотел обратить ваше внимание на качество питания в студенческих столовых...» и снова даешь три дня. Тротил можно не класть больше. Главное, в первый раз побольше иностранцев рвануть... Я тебе обещаю, мы через месяц как люди заживем...

Андрей закурил. Миша тоже, он сидел на полу, обхватив голые колени, они смотрели друг на друга.

— А чего бояться? — тихо сказал Миша. — Было бы что терять... А тротил я достану.

— Брось, — Андрей встал. — Тебе лишь бы экзамены не сдавать.

Миша вдруг снова засмеялся. Андрей обернулся к нему, сел на стул.

— Я сон вспомнил, — объяснил Миша. — Началась война, ну атомная, а я был старший главный за бомбоубежище, и у меня, в моем бомбоубежище, все диванчики, чистые простыни, мясо на стеллажах, ситро, окороки висят — ну все что хочешь. И ко мне привели поселять все хореографическое училище. А у меня мест нет, вернее, есть, но я их придерживаю. Они плачут, заливаются, беденькие, жалобно так, одни девочки, и светленькие, и черненькие, рыженькая одна есть. А мальчики в другом бомбоубежище, или их послали воронки копать, не помню...

— Ну?

— Ну вот, они режут, сморкаются, и я реву вместе с ними, слезы и сопля пускаю, такие душевные девочки...

— Ну? Пустил?

— Нет... Я их к тебе отправил. Записочку написал. Идите, говорю, родные, прямо к товарищу Плетневу, тут рядом, у него и убежище пошире, и гречки больше, он вас всех возь-

мет. А у меня, говорю, пенсионеры одни, старушки, скучно...

III

Ночью Андрей спал плохо, и утром после бритья и умывания лицо его осталось серо и угрюмо.

Ветер гулял на улице, холодный, тугой ветер рвался в узком проходе у пожарного училища, тряс провода, задирали одежду, валил с ног старух, уносил фуражки у пожарных майоров.

Вот девушка впереди не выдержала, повернулась, и понесло ее назад, прямо на Андрея с Мишей, и пронесло бы, если бы не спряталась она в нише у пожарных красных ворот, где стояла уже, сжавшись, маленькая старушка.

— Ну что?! — как в шторм крикнул Миша девушке. — Давай с нами!

Та, смеясь, поглядела на них заслезившимися глазами и показала фигу, вдруг решилась и, выбежав, сама подхватила их под руки. Они побежали вперед втроем согнувшись.

У поворота Мишу и девушку оторвало, они отстали. Миша догнал Андрея уже у дороги. За киоском ветер валил на землю штабеля пустых ящиков.

— Как рыбы на перекате! — крикнул Миша, расставляя руки самолетом. — Хорошая девчонка!

— Женись!

— Женюсь!

В роще было потише, лишь сверху гремели голыми ветвями березы.

— Что-то случилось, — сказал Миша.

— Что?

— Ветер.

Они побежали к автобусу. В автобусе Миша облизал губы.

— Ты не понял, наверное, — сказал он. — Это уже ненормальный, нечеловеческий ветер... Ты старуху в нише видел? Она там стоит... она там простоит еще трое суток и умрет от голода. Страшно...

В институте было пусто, полные вешалки в гардеробе и пустые коридоры.

— Плетнев, — окликнул Андрея на третьем этаже проректор.

Миша задумчиво прошелся по коридору, вернулся к нему, подошел, постучал не спеша пальцем в плечо старику, спросил:

— Слушай, а что это с тобой за девчонка была позавчера?

Проректор, полный, лысый, умолк, старчески отступил от него, изумленный. Андрей засмеялся. Миша прищурился быстро, потер глаз:

— А, это вы, извините, обознался, — и быстро ушел в туалет.

— Вы не обижайтесь,— объяснил старику Андрей,— на Селиверстова. Он близорукий, не видит без очков ничего...

— Да я не обижаюсь,— вежливо ответил проректор и пошел, кивая мелко и оборачиваясь...

Миша осторожно выглядывал из уборной.

— Кто это? — спросил тихо.

— Это? Это, Михаил, проректор.

— А-а, я так и подумал, что проректор.

— Чего ж ты тогда его пальцем тыкал?

— Ну, понимаешь, я не сразу подумал, что это он, а потом...

Они поднялись наверх, там из зала доносились музыка и хохот. Шла какая-то американская картина, и все были там, за закрытыми дверьми, а перед дверьми, в холле, за фортепиано сидел одинокий латыш, курил и наигрывал что-то свое, латышское, не обращая внимания на шум в зале...

— Ты не знаешь случайно, что за фильм? — спросил Миша, оглядев его прежде как следует.

Латыш перестал играть, облокотился на клавиши.

— Что-то-о-чень-ве-со-лое,— сказал он по слогам и, довольный своей шуткой, засмеялся, протяжно ухая и тряся бородой.

Они вышли на улицу, встали, застегиваясь на ветру. Прямо перед ними на дороге нескончаемо шли тяжелые грузовики. Ветер рвал брезент на их бортах, носил гарь.

— Знаешь, что здесь было раньше? — Андрей показал на серый гранитный утес Института марксизма-ленинизма, поднимающийся из серых, в сажу, яблонь.— Раньше здесь был СМЕРШ.

— Коминтерн здесь был, знаешь такую организацию?.. Я придумал гениальную фразу,— Миша искал очки в карманах.— Слушай: все-все смешалось в доме Облонских. А? Нет, даже так: все-все-все смешалось в доме Облонских...

— Эвакуация,— пробормотал Андрей, глядя на грузовик.— Тогда уж так: ах, все-все-все смешалось в доме Облонских...

Миша пошел домой, а он уехал в город. В метро, в вагоне, напротив него встала девушка. Андрей все глядел в пол, а когда поднял глаза, она тотчас отвернулась резко.

— Да вы смотрите,— сказал он тихо.— Я сам отвернусь. А так у вас, простите, шея заболит...

Онаглянула на него, отодвинулась. Никто не слышал его голоса, но все задвигались, оглядываясь, почуввав необычное...

Какая-то старуха все ерзала за его спиной и вдруг ударила его злобно в спину, и еще раз. Он обернулся к ней, распахнув пальто:

— Бейте! В грудь бейте!

— Пьяный... — шепнул кто-то.

Он шел по проспекту, был уже промозглый, сырой вечер, его толкали, он останавливался у светлых витрин, оглядывая прохожих. На углу бойкий чернявый мужик быстро торговал цветами, собирая деньги в большую лохматую пачку.

Андрей зашел в комиссионный, постоял, поглядел на пустые полки, на какие-то транзисторы. Продавец, длинный, с утиным носом, весь какой-то мышино-серый, даже не глянул в его сторону, все шептался с какой-то толстой бабой, перегнувшись через прилавок.

В спортивном магазине он обошел весь зал, перепробовал мячи и гантели, перешупал все лыжи, постучал в грушу. Зал был пуст, лишь кассирша внимательно и зло следила за ним.

— Молодой человек, ну вы берете что-нибудь? — не выдержала она.

— Заверните свисток,— важно ответил он.

Купив зачем-то свисток, он вышел, проехал в троллейбусе. Хорошенькая женщина, неловко качнувшись, наступила ему на ногу, извинилась. Сходя, он подал ей руку, она, улыбнувшись, обернулась, но он не пошел за ней.

На углу, в стороне, его внимание привлекла красивая дама, он подошел ближе, разглядывая ее гордое, надменное лицо.

— Ну славу богу,— сказал он, даже улыбнулся.— Разыскал. Вторые сутки ищу, а вы здесь.

Она медленно, презрительно оглядела его, отвернулась, не отошла, а просто отвернулась.

— Ну не сердитесь! — Андрей протянул ей руку, едва-едва коснулся пальцами меха на ее рукаве.

— Слушай,— сказала она медленно, лениво.— Иди,— и так же лениво прибавила: — Мудачок...

— Это что, пароль? — засмеялся Андрей и, порывшись в карманах, достал свисток, резко, пронзительно свистнул.

Прохожие встали. Девушка проснулась, вынула руку из кармана. Андрей подошел к ней вплотную и свистнул еще раз, в лицо, она отшатнулась, пошла прочь, оглядываясь.

— Не положено! — объявил громко Андрей людям и, спрятав свисток, заложил руки за спину.

У Манежной площади он спустился в сырой от испарений тоннель, постоял, оглядываясь в шаркающей, спешащей толпе, вернулся наружу, закурил, глядя через площадь на Исторический музей, на тускло светивший прожекторами в тумане Кремль...

Напротив Курского вокзала Андрей прошел в подворотню, встал в заснеженном, грязном колодце двора, глядя на окна. В подъезде он долго возился с дверным кодом, выругавшись тихо, снова вышел на улицу, долго листал записную книжку под фонарем. Плюнув, вернулся в подъезд, прислушался, осмотрел замок. Взявшись за ручку обеими руками, он уперся ногой в стену и рванул что было сил дверь на себя. Замок выскочил, дверь с лязгом отворилась, Андрей упал на пол...

Прислушиваясь, поднялся по узкой треугольником идущей лестнице, прошел запутанным коридором, постучал в дверь без номера.

Долго не открывали, затем тихий голос спросил:

— Кто?

— Я это, Плетнев.

Дверь открылась бесшумно, его за рукав втянули в темную прихожую.

В маленькой тесной кухне хозяин включил свет. Это был худощавый, русоволосый, с такой же русой бородой парень, сутулый, с длинными жилистыми руками. Он обнял Андрея, поцеловал.

— Что случилось?

— Ты извини, я телефон твой потерял...

— Да пошел ты! Хоть бы позвонил раз, подлец. Пойдем, у меня гости, кино поглядишь.

— Володя, мне нужен адвокат.

— Ты что, наконец зарезал кого-то?

— Да нет. Просто нужно посоветоваться... Мы сценарий пишем.

— Да пошел ты! Скажи, что случилось?

— Ничего.

— Ну не хочешь, не говори. Как твой Селиверстов? Пойдем в комнату, выпьем...

— Володя, если ты не можешь...

— Вот подлец! — он зло оглядел Андрея, взял телефонную книгу. — Дам я тебе адвоката! Мой товарищ, изумительный мужик, его друг защищал капитана с «Нахимова», помнишь дело... — он взял телефон, набрал номер.

Андрей вышел, включил свет в уборной. Когда он вернулся, на столике стояла бутылка водки, рюмки, сыр.

— Выпей.

— Не хочу...

— Ох ты и подлец! Андрей, я последнее время очень плохо к тебе отношусь!

Андрей выпил рюмку, Володя тут же налил еще.

— Вот адрес. Это сразу за театром Пушкина... Тебе когда надо?

— Сейчас.

— Андрей, так не делается!.. Да черт с тобой, езжай!

Андрей выпил еще рюмку, взял сыр.

— Что за сценарий?

— Да потом расскажу...

— Ну ты и скотина!

— Ну хорошо... Там одна девушка попадает в тюрьму, ей надо помочь, вот и все.

— Ну у тебя и бабы! Пойдем в комнату, у меня девочки из ГИТИСа, познакомлю...

— Володя... У тебя деньги есть?

— Сколько?

— Рублей сто. Я отдам сразу.

— Да пошел ты! — он достал бумажник, вынул две полусотенные, протянул. — Смотри осторожней, одна фальшивая...

Они засмеялись.

— Спасибо тебе...

— Да пошел ты! Знать тебя больше не хочу! — он вышел за Андреем на лестницу, стоял, перегнувшись через перила. — Андрей, позвони, слышишь! Позвони!

Адвокат жил один, в старом доме на Тверском бульваре, в коммунальной квартире, в маленькой, очень узкой комнатке, где умещались лишь холостяцкий диван, шкаф, полный разных бутылок, и несколько стульев. Не было даже стола, но в углу стоял японский видеоманитофон, на стенах висели рога, ружья, патронташи, а среди бутылок, оказавшихся полными, небрежно валялся золотой портсигар.

— Егор, — представился адвокат. — Если вы не спешите, то мы закончим, а тогда поговорим. Это мой друг, Андрей, — представил он его троим мужчинам, сидевшим в ряд на диване. Перед ними на стульях стояли бутылки водки, коньяка, богатые закуски.

Андрей сел, стал смотреть на экран. Шел документальный фильм об Америке. Ему тотчас налили водки, он выпил, прислушиваясь к разговору.

Говорили о каком-то деле. Старший из троих, с гладким пробором, с блеснувшим во рту золотом, по виду цыган, спрашивал. Адвокат, полный, лысеющий мужчина, с добрым обрюзгим лицом, отвечал, остальные двое, тоже, видимо, цыгане, но помоложе, молчали, не пили и не ели. Один из них, рослый, чернявый ромал, раскрыв рот, глядел на экран, где как раз показывали голых смеющихся красавиц. Другой, худой, сутулый, недобро косился на Андрея.

— С врачом вам ясно... — говорил Егор. — Далее, пусть он сделает, как я говорил, признание. Будет следствие, ему пересмотрят статью, может, набавят несколько месяцев, но по этой статье со справкой он попадает под амнистию, и там другая категория на поселение. Я потом объясню, как сделать нужный район...

Андрей снова выпил, и Егор не глядя снова налил ему рюмку. Андрей вдруг размяк как-то, закурил.

— Ну вот, — Егор вернулся, проводил цыган. — Теперь я к вашим услугам.

— А что у них за дело, если не секрет?

— Да чепуха, младший сын с товарищами взял магазин. Они набрали всего, а потом выпили там. И так, простите, надрались, что их утром и взяли там же... Просто я с отцом дружу, защищал его когда-то.

— Нелепое дело.

— Все дела нелепы. Хотя, может быть, ваше — исключение... Да вы ешьте, ешьте. Дайте, я вам еще налью...

Андрей в двух словах рассказал про Воробьеву. Егор слушал, казалось, не очень внимательно. Андрей нервничал, глядя в его рыхлое лицо, как он думал, лицо недалекого человека.

— Простите... Володя мне сказал, что это нужно вам для сценария?

— Да. Видите ли, мне по сюжету нужно знать юридически совершенно точно, как можно в этом случае ее освободить...

— Невозможно, — адвокат откинулся на диване, закурил с удовольствием. — Наркотики, во-первых, во-вторых — соучастие, я понимаю, понимаю, но формально идут именно эти статьи... Потом, я думаю, там еще несколько статей... Если вы, конечно, хотите, чтобы это было реально.

— Да, конечно... — адвокат раздражал Андрея. — Егор, а скажите, какие-то ходатайства, не знаю, какие-нибудь самые невероятные варианты...

— Невозможно! Нет... — Егор улыбнулся. — Может быть, мы придумаем вам какой-нибудь другой состав, ведь, как это вы сказали, сюжет в принципе не изменится...

— Да нет же! В том и дело, изменится!

Андрей выпил еще водки. Егор порывлся в шкаф, достал несколько нераспечатанных бутылок.

— Может быть, коньяку? — предложил он. — Или виски? Или вот вино есть чудесное...

— Да нет уж! Я лучше водку. Я не задерживаю вас?

— Нет, что вы... Хорошо, ну тогда, может быть, вы перенесете ваше действие во время следствия? Тут можно было бы покрутить и скинуть несколько годиков...

— Слушай! Да не могу я перенести! Ты пойми... — Андрей подался вперед, но замолчал, замялся.

— Ничего, ничего. Давай на «ты», так проще, — Егор теперь с интересом наблюдал за ним.

— Слушай! — продолжил Андрей, расквашивая тихо. — Ну не может так быть... чтобы ничего нельзя было сделать... Понимаешь, я чувствую, я уверен, можно придумать и выстроить, что угодно... Что угодно! Я не верю, что это невозможно...

— Понимаю... Ну, конечно, можно при-

думать... но ведь это другой жанр, насколько я понял, история у вас реальная. Ну есть, конечно, еще вариант... С побегом...

Андрей на секунду увидел ясно его глаза, внимательные, цепкие.

— ...Но это тоже практически невозможно, требует денег и... смертельно опасно... Я думаю, вам это не подойдет...

— И-да... Ну ладно, — Андрей встал. — Спасибо вам. Я должен что-нибудь...

— Бросьте, — он тоже встал. — Вы мой друг... Да, — он развел руками. — По-видимому, есть сюжеты...

— Да нет таких сюжетов, — перебил Андрей. — Просто гнать меня надо в шею... За профнепригодность, — он потрогал ружья на стене, сложенный вдвое гамак, засмеялся. — Гамак у вас хороший.

— Вам нравится? Возьмите. Возьмите, возьмите! Иначе обидите. А кроме того, вот вам моя визитка, всегда буду рад, и просто посидим за водкой, и по делу... Мне кажется, я вам еще понадобится.

IV

Дома он разделся, бросил на диван сверток с гамаком, прислушался. В комнате у Миши разговаривали.

— А я никого не призываю! — говорил Миша. — Это мое мнение, что будет тихая гражданская война. Может, я дурак, но мне так хочется писать, может, я просто шучу, почему это я должен запрещать своей фантазии. — Ну и тебя не напечатает никто, даже сейчас...

— Да и бог с ними...

Андрей вошел; кроме Миши в комнате сидело еще двое мультипликаторов и на Мишином диване лежал с закрытыми глазами Сергей. Он поздоровался, сел рядом с Костей. Костя улыбнулся ему ласково, обнял его за плечи огромной волосатой рукой.

— В Китае есть казнь, — важно произнес Владик, волосы его были всклокочены, словно он только проснулся, а в толстых стеклах очков отражался свет лампы. — Свиныя. Человеку выкалывают глаза, отрезают язык, кисти, ступни и оставляют жить в хлеву. При этом хорошо кормят.

— И кастрируют, — добавил Андрей.

— Нет! В том-то и дело, что нет.

— Я придумал мультфильм про наше правительствo, — добродушно сказал Андрей Костя. — И уже хотел делать, а потом подумал, зачем...

— Здорово, — засмеялся Миша. — Как они там в Кремле ходят, едят, спят. Интересно, Он сам бреет или его бреют. Каждое утро приходит маленький киргиз с чемоданчиком, а Он ему старые вещи дает донашивать. Нет, его вещи, наверное, сжигают вместе с секретными протоколами секретных заседаний...

— А мне показалось, это пошло,— улыбнулся Костя.

— Правительство всегда пошло,— Владик поправил очки.— А в творчестве не может быть никаких запретов, иначе все передохнут, насколько я понял Мишу...

— Ладно... — Миша сидел на полу.— Я только одно могу сказать. Я не верю, что они там такие умники, наверху. Я, например, не считаю их умней себя. Ну пусть Он тогда уж напишет хотя бы новеллу и принесет, а мы посмотрим...

— И напишет! — мрачно изрек Владик.

— Смотри... — Костя протянул Андрею раскрашенную фигурку.

— Что это?

— Это бизюлька, — ласково сказал Костя, погладил фигурку.— Ну бизюлька, понимаешь. Вот усы, вот уши, вот хвост...

— А глаза?

— Ну как ты не понимаешь, это же просто бизюлька. Бизюлечка...

Андрей отложил фигурку, встал.

— Ты куда?

— Вернусь.— Он вышел в коридор, постоял, глядя вдоль голых стен, вернулся в прихожую, встал, глядя на говоривших.

— Ну брат! — кричал Миша.— А ты берешься за искусство! Небось в своих фильмах людей калечить будешь, убивать. А сам на малое не отважишься! Пошли бы давно, связали и посекали его...

— А может, он масон? Был ведь тихий, нормальный студент, а теперь директор общежития... — с дивана сказал Сергей.— Морду ему набью...

— Он дебил,— заявил Миша.— И был дебилем. Он еще поступал когда, сказал, что его заветная мечта сделать фильм о Владимире Ильиче... И взяли! Костя, ведь ты еврей?

— Да, еврей,— улыбнулся Костя.— Еврей я.

— Давай собери всех евреев здесь и организуй масонскую ложу. Скажи им: пора действовать... А на самом деле главным буду я,— Миша захохотал.

— А знаешь,— Костя бережно держал бизюльку,— я впервые узнал, что я еврей, в третьем классе. Кто-то меня жидом обозвал. Я пришел и говорю маме: мама, неужели я еврей? Да, сынок, еврей... Я говорю, а папа, папа же не еврей? Еврей, сынок... Мама, а дедушка, он тоже еврей? Да, сынок, еврей... У нас собака была, Чапик, я говорю, мама, а Чапик тоже еврей? — он засмеялся.— Да, сынок, и Чапик еврей... Я так плакал...

Андрей снова вышел в пустой коридор, посмотрел на мигавшие лампы, на пыль, что крутил в углах сквозняк, вернулся, снял с вешалки пальто. Разговор все катился.

— В Китае есть казнь... Тысяча кусочков. Из человека вырезают в течение долгого времени по одному маленькому кусочку,

так, чтобы он раньше тысячного не умер и не потерял сознания. Тысячный вырезают из сердца...

Андрей вышел, закурив, прошел на пожарную лестницу. На открытой площадке он постоял на ветру. Где-то внизу лаяли собаки.

Он пошел с этажа на этаж, вдоль длинных коридоров, здороваясь с разными знакомыми, заходил в комнаты, его звали пить, играть в карты, просто усаживали, не отпуская, но он лишь окидывал взглядом сидевших, словно искал кого-то или проверял, и шел дальше.

Застегнув пальто, он вызвал лифт, но тут до него донеслось тонкое, отчаянно нежное пение. Он вернулся в коридор, прислушался у первой двери. Его окликнули, но он, не обернувшись, толкнул дверь, вошел.

Из-за стола навстречу ему поднимался, сморщившись, толстый губастый араб, перестав жевать, он разглядывал с удивлением Андрея. Андрей прислонился к стене. На пластинке пел Роберттино Лоретти. Араб снова зажевал, он хотел что-то сказать, но Андрей приложил палец к губам. Араб сел снова, недовольно и зло, не зная, то ли кушать дальше, то ли выгонять Андрея...

Но песня кончилась, он ушел сам. В коридоре его уже ждал парень в очках, с постоянно улыбающимся мокрым ртом. Андрей кивнул, хотел пройти, но тот, расставив руки, почти поймал его, придвинулся вплотную, спросил, брызгая слюной:

— Ну как, прочитал?

— Прочитал,— нехотя ответил Андрей.— Мне понравилось.

— А что лучше, сценарий или новелла? — парень не отпускал, держа его за локоть.

— Сценарий,— Андрей поглядел на его густую баранью шапку волос, на гадко улыбавшийся рот.— Очень хороший сценарий. Огромный шаг вперед. А новелла — говно, выбрось... Нет, новелла, новелла — гениальная, а сценарий — говно.

Он высвободился, пошел быстро, но парень снова догнал его, шурша бумагой.

— Я хочу дать тебе еще одну штуку...

Андрей встал, парень загоразживал ему путь.

— Слушай, ты что, не видишь разве? Я же пьян, еле на ногах стою.

— А куда же идешь? — тот снова попытался ухватить Андрея, улыбаясь понимающе и подло.

— Блевать! Ты отойди лучше, испачкаю,— и он пошел дальше, но парень еще бежал за ним, покашливая и посмеиваясь.

Пришлось вернуться домой, но, открыв дверь, он услышал хохот и гул голосов. В Мишиной комнате сидело уже человек двадцать. Играл принесенный кем-то магнитофон.

Андрей встал в прихожей, обходя его, смеясь, в комнату прошли еще четыре девицы.

В его комнате кто-то целовался. Андрей вышел, хлопнув дверь.

Парня уже не было, но навстречу ему, улыбаясь хитро, двигалась девица, невысокая, крепкая, увидев его, она раскрыла руки и побежала к нему. Андрей тотчас повернулся в другую сторону, пошел быстро.

— Плетнев! — крикнула она.

Он открыл первую попавшуюся дверь, вбежал в прихожую и заперся. В дверь постучали, еще...

Навстречу ему из комнаты вышла высокая полная девушка с мокрыми волосами, обмотанными полотенцем.

В дверь ударили ногой.

— Вам кого? — спросила девушка.

— Никого. Я так.

В дверь равномерно били ногой.

— Сволочь! — крикнули оттуда.

— Знаете, это хамство, — важно и презрительно сказала девушка.

— Знаю. А что сделаешь? — он все держал дверь. — Чаем не напоите?

— Еще чего! Убирайтесь!

В коридоре стихли.

— Значит, не напоите... Ладно, — он вышел в коридор, пробежал к пожарной лестнице, перешагнув по пути через мальчика, игравшего со сломанной мебелью. Мальчик выстрелил ему в спину из ножки от стула...

В маленьком грязном ресторане шумно играет ансамбль, шатаясь ходят пьяные. Андрей, не раздеваясь, стоял у дверей в зал, разглядывая сидевших за столиками. Какой-то парень, пройдя мимо, толкнул его нарочно, но он сдержался. Спустился вниз, внимательно оглядел холл, прошел в грязный сырой туалет, закурил.

У писсуара спиной к нему стоял мужик, покачиваясь, пьяный до невменяемости. Еще один, невысокий, по виду — командировочный, вышел из кабинки, долго приглаживал перед зеркалом лысеющую голову. Когда он вышел, пьяного повело, он наткнулся на Андрея, замычал что-то.

Андрей схватил его за плечо, придерживая, поглядел странно в бесцветные, не ображающие глаза. Пьяный засмеялся. Не выпуская его, Андрей быстро затыкнул, бросил сигарету. Он все стоял, придерживая его левой рукой, правую сжимал, тер пальцы, словно испачкав в чем-то. Потом оттолкнул его, вышел, внимательно поглядев на швейцара и говорившего с ним молодого безусого сержанта в милицейской форме. Сержант оглянулся на Андрея весело, он отвел глаза, подняв воротник, ушел на улицу.

В общежитии в лифте он ехал один. На одном из этажей лифт остановился, двери

раскрылись, и Андрей вздрогнул. Прямо на него двигалось мертвенно бледное, морщинистое лицо, глядевшее черными глазами, с отвратительной, ужасной полуулыбкой на белых трупных губах. В черном женском пальто и черном женском берете, из-под которого выглядывали редкие выцветшие желтые пряди, эта жуткая старуха подошла к нему, обняла, придвинувшись, высунув изо рта мерзкий сизый язык. Андрей вырвался из ее объятий, отступил, услышав хохот и даже увидев смеющиеся лица, заглядывавшие в лифт, не сразу сообразил, что это маска. Он, все еще не веря, протянул руку, сорвал тонкую, похожую на противогаз резину, увидел смеющееся бородатое лицо.

— Джаник, ты...

Парень снова натянул маску, пошел на этаж, друзья за ним. Выглянув из лифта, Андрей увидел какую-то худую девицу. Она вдруг завизжала истошно, укусила свой кулак и, крича, побежала прочь...

Андрей зашел к грузинам. Оба грузина лежали, глядели в потолок и, раскуривая папиросы, рассуждали о том, сколько денег можно истратить за один день, если ничего не покупать, а только кутить. На стуле посреди комнаты сидела хорошенькая девочка в черных чулочках, морщила острый носик и тоже курила папироску. Андрей присел рядом с ней.

— ...Что-то очень мало выходит... Мы не успеваем истратить даже десять тысяч, ну! Даже угощаем всех...

— Завтракаем в Москве, обедаем в Ялте... может, во Владивосток полетим?

— Не успеем, ну!

Андрей пальцем потрогал клеточку в чулке на девочкиной коленке. Клеточка была крупная, Андрей просунул в нее палец и погладил ножку. Девочка сидела, не обращая на него внимания, улыбалась загадочно, выпуская дым.

— ...А! Посчитай машину. Я, пьяный, сажусь в чужую машину, разбиваю ее тут же, и мы платим хозяину.

— И угощаем, ну!

— Пойдем, я покажу тебе свою комнату, — тихо сказал ей Андрей.

Девочка молча взяла его руку и отодвинула в сторону. Он вздохнул, встал, достал пятьдесят рублей и положил одному грузину на грудь:

— Извини, что поздно...

— Что это, деньги? Нугзар, одевайся, ну! Идем скорее, кутим. Кашу, ши, что там? Сосиски, Нугзар, сосиски, десять штук съем, кланюсь. Ну! Андро, не уходи, идем с нами, куда ты...

Андрей вышел, зашел в соседний блок. Там пели хором. В густом табачном дыму за столом сидело человек пятнадцать, Андрей

разглядел лысого мужика, рядом с ним вьетнамцев. Мужик утирал слезы...

Выйду я на улицу, гляну на село,
Девки гуляют, и мне весело...

Андрей вышел, наткнулся в коридоре на маленького негра с печеным лицом, за ним следом вышла статная полная женщина.

— Ты хочешь, чтобы я скандаль делал? — услышал он, отойдя, обернулся.

Негр прыгал вокруг женщины, стараясь ударить ее кулачком в пышное бедро, она легко отводила его руки.

— Пойдем домой сейчас! — кричал зло негр.

Андрей хотел вмешаться, но не стал, пошел быстро по коридору, стуча кулаками в стены.

На пожарной лестнице в темноте он услышал легкие сбегавшие шаги, разглядел нежный женский силуэт. Когда девушка поравнялась с ним, он вдруг схватил ее, прижал к перилам и, целуя, принялся быстро расстегивать на ней кофту.

— Кто это? Пусти, пусти! — закричала она. — Я кричать буду!

Андрей засмеялся.

— Олег, это ты? Перестань! Олег, пусти! Андрей снова засмеялся, тише, задирая ей рубашку на шею...

— Игорь, ты? С ума сошел! Пусти, дурак, я узнала... Да пусти же! — она вырвалась наконец, встала, стараясь запахнуть оголившиеся груди, отсвечивающие в темноте синевой.

За окном, через улицу, светились желтые окна больницы. Она попыталась еще раз разглядеть Андрея, ойкнула вдруг, побежала вниз, опуская на бегу задрвшуюся рубашку...

Он вышел на площадку, вдохнул свежего воздуха. Собаки внизу все так же тоскливо и протяжно лаяли.

Дома было накурено, пусто. Андрей лег на свой диван, но тут же встал, взял гантели, большие гвозди и принялся вбивать в стену.

Когда вернулся Миша, гамак уже висел в углу, от оконной рамы до стены. Андрей, забравшись в него, в пальто и ботинках, лежал, раскачиваясь, держа на груди папку, лепил на ней что-то из пластилина.

— Здорово, — Миша, смеясь, потрогал гамак, шнуры крепления, — теперь ты как на шхуне! — он склонился над пластилиновыми фигурками. — Это что, гуси?

— Нет, кони. Всадники. Я вылепил их целый эскадрон. Они входят в город по Калужской дороге...

— А дальше?

— Дальше я еще не придумал.

Миша уселся на пол под гамаком, скрестив ноги, как узбек.

— А знаешь, что со мной сегодня случилось? Ко мне пришла Анна, шведка, оглядела меня странно и говорит: «Мне нужен настоящий мужчина. Я долго думала, и мой выбор пал на тебя», — он засмеялся тихо. — Я засмутился, конечно, спрашиваю: «А что делать нужно, шкаф перенести?»

— А она?

— Она в комнату, прямо ко мне: я пришла тебе отдаться... Я говорю: что, прямо вот так, сейчас? А она: прямо сейчас...

— А ты?

— Я? Я сказал, я так сразу не могу. Надо хотя бы погулять немного. И повел ее на Лосинный остров, — он захохотал.

Андрей тоже.

— Представляешь, мы часа три гуляли, я ей озеро пошел показывать, и она подвернула ногу. Я еле домой ее довел. Сидит сейчас у себя, ругается по-шведски, компрессы ставит...

— Больше не придет?

— Придет. Сказала, решения своего не переменит... Что мне делать?

— Не знаю... Она же совершенный поросенок.

— Это же хорошо! Чистый белый поросенок... Я ее щепочкой буду чистить, — он снова засмеялся, показывая, как он будет чистить.

Андрей выбрался из гамака, отложил пластилиновый эскадрон, сел на диван. Миша следил за ним.

— А ты чего? — спросил он. — Все переживаешь?

— Да нет, так чего-то, — Андрей закурил. — Надоело все. Все эти разговоры, хождения. Ненавижу я это общезитие, болею в нем. По-моему, легче в сумасшедшем доме жить. И город ненавижу, больной город, мертвый...

— А я стихи сочинил, ты не будешь смеяться? Или тебе не интересно?

— Давай...

— Вот... — Миша помолчал.

Михал Сергеич дорогой
Идет по земле босой
Зелеными лесочками,
Росистыми лужочками...

Они молча смотрели друг на друга, потом захохотали оба.

В дверь постучали, сначала три длинных, потом несколько коротких и длинная фигурная дробь...

— Интересноенько, что это за радист у нас новый? Не открывай!

Но Андрей встал, подошел к двери, открыл. В коридоре стоял все тот же неприятно улыбавшийся парень в очках. Андрей хлоп-

нул дверь, вернулся, порывшись в бумагах, взял две рукописи, снова открыл дверь.

— На,— он протянул бумаги.

— А где Миша? — парень, наклонившись, полез под рукой Андрея в комнату.

— Его нет,— Андрей перехватил его, оттолкнул, не сдержавшись.

— Я подожду,— тот достал еще бумаги.— Я новую вещь принес.

Андрей оглянулся и, выйдя в коридор, толкнул его несильно кулаком в бок. Парень смотрел, не переставая улыбаться, моргнул, затем протянул рукопись.

— Это совсем новая идея...

Андрей взял, наклонил дверь, постояв в прихожей, снова открыл ее. Парень стоял все перед дверью. Увидев Андрея, он засмеялся и пошел оглядываясь по коридору...

— Боюсь я его,— Миша осторожно залез в гамак.— Может, это и есть дьявол... И ведь Достоевского любит... А знаешь, я сцену придумал в сценарий. В разгар гражданской войны все атаманы съехались на хутор. Перепились и заснули. А утром в хутор вступил регулярный полк. Им делать нечего, бежать поздно, они оружие попрытали и вышли с хлебом, с солью... А полковник взял и мобилизовал их всех, как простых солдат в полк зачислил. И вот они ходят с похмелья, на кухне помой несут, уборную копают, а у каждого в соседних станицах по десять тысяч войска... — он засмеялся.— Как? А ты придумал что-нибудь?

— Нет, Миша, у меня пусто, совсем пусто. Вдруг ушло все тихо куда-то... и грустно. Радости нет. Дома ночью после работы писал и счастлив был. А сейчас просыпаюсь утром и спешу глаза закрыть, нового дня не хочу... Не для кого писать.

Миша засвистел, он висел в гамаке вниз головой, раскинув руки.

— Я представил, как утром просыпаюсь и гляжу на пол. Кажется, что это не пол, а поле, а я высоко-высоко... Дураком можно стать. Слушай, как мы садимся писать, так набивается полный двор девок, каких-то умников! Ты бы Наташе позвонил, что ли, ведь хорошая девчонка, посидели бы.

Андрей привстал.

— А ведь ты прав, что-то я, дурак, совсем забыл про нее... Умница. А знаешь, давай-ка завтра возьмем ее и поедем покутим как следует! А потом писать сядем... — он засмеялся.— Вот... Бой идет на холме, в высокой траве, так что коням по брюху, а двоих вынесло, они скачут бок о бок, с холма на холм, и рубятся. Небо низкое, то одна лошадь чуть вперед, то другая, пар из ноздрей, заморозки уже, кругом ни души, они все скачут и рубятся...

Встретились в вестибюле Дома кино. Анд-

рей поцеловал Наташу в щеку, улыбаясь радостно:

— Ты сегодня очень красивая... — и не знал, что добавить.

Миша пожал ей руку, сложил губы трубочкой:

— Я научусь и тоже буду так целовать.

— А тебе не обязательно,— голос ее был тих, тонок, говорила она очень правильно.— Ты и без этого очень мил и симпатичен.

Они разделись, оглядываясь по сторонам, Андрей поздоровался с кем-то, все трое улыбались радостно, празднично.

— Все-таки она умница,— шепнул Андрей Мише.

— Хорошая девчонка, скромная. Ты дурак. Я бы женился на твоём месте...

— А что, возьми и женись.

Навстречу им по лестнице спускались важные пузатые мужчины, старики с палками, старухи.

— Почему нас пустили? — спросила она, когда их посадили за столик.— Здесь же по членским билетам.

— Почему? Сюда пускают и студентов. Отличников. Ты показываешь зачетку, и тебя пускают.— Миша встал, вышел куда-то.

Андрей огляделся. Вокруг сидели хорошие чистые люди, с удовольствием пили, с удовольствием ели. Он потер кулаком живот, повернулся к Наташе.

— Закажем мяса и вина,— сказал он, стараясь убедить в этом и себя.

Наташа отвела взгляд, снова посмотрела на него, поправив и без того аккуратные волосы, заплетенные в короткую толстую косу, перевязанную желтеньким шнурком. В ушах ее висели желтенькие клипсы.

— Тебе идет желтое,— добавил он и вдруг затосковал.

— Спасибо. Как продвигается работа над вашим сценарием?

— Прекрасно,— пробормотал он.— Просто прекрасно.

— О чем же вы теперь пишете?

— Мы? — он закурил.— Бог его знает.— Он вдруг встал, улыбаясь вымученно.— Я сейчас, ладно? Позвоню только...

В холле он поймал Мишу.

— Не могу, ну не могу я, Миша, не могу! Поеду, пойду, на вот деньги, что-то она такую тоску на меня наводит. Всем хороша, умница, но я говорить даже не могу, у меня аж зубы сводит! Вы сидите! Скажи, я к мастеру срочно уехал, ну не обижайся! Я похожу, вернусь...

Внизу, уже одевшись, он позвонил:

— Лена? Срочно подъезжай к «Баку», я тебя жду... Потом объясню, только скорей!

— Андрюша, приветствую вас, — перед ним остановился огромный бородатый человек с умными, навывкате, глазами. — Я настороженно прочитал вашу комедию, но она мне понравилась. По-моему, это гениально! Что вы делаете? — он похлопал Андрея по плечу и пошел наверх.

Андрей стоял у лестницы, глядел ему вслед, хотел было что-то сказать, но человек помахал ему рукой, засмеялся:

— Увидимся...

Он постоял еще, огляделся и вышел на улицу в темноту.

V

Денег не было, оставалась какая-то мелочь. Он усмехнулся, высыпал все, что насобирает, в левый карман куртки...

В ресторан прошел нагло, без очереди, похлопав швейцара по плечу как старого друга. Тот удивленно посмотрел на Андрея, но ничего не сказал. Заказав столик, он снова спустился вниз, увидел за стеклом Лену. Высокая, стройная, хорошо одетая, она ждала его на тротуаре. На нее оглядывались.

В зале было шумно, дымно. Здесь пили. Кругом них сидели кавказцы, старики с крашеными бабами, какие-то мордатые парни, не сдавшие даже свои лохматые волчьи шапки.

— Что случилось, Андрей? — спросила Лена оглядываясь.

— Ничего, просто захотелось посидеть с тобой, — он заказал официанту вина, закусок, от горячего пока отказавшись.

— Но почему не в Доме кино? Здесь же пошло, какой-то вокзал...

— Вот и хорошо, — он, посмеиваясь, все оглядывал зал.

Толстый мужчина, пошатываясь, прошел к лестнице.

— Как-то странно все это... — она тоже все оглядывалась брезгливо.

— Я сейчас, — Андрей встал и пошел вниз.

Спустившись, он внимательно оглядел вестибюль, гардеробщиков, молодых парней, раздевавшихся у стойки, прошел в грязный туалет.

Пьяный, качаясь, стоял у писсуара, кроме него еще один, маленький кавказец, стоял у зеркала и упорно причесывал жесткие волосы, смачивая под краном стальную расческу. Андрей встал за ним, словно хотел помочь руки, тот несколько раз настороженно глянул на Андрея в зеркало, наконец вышел.

Пьяный все возился со штанами. Андрей тихо прошел за его спиной, подергал ручки кабинок. Одна дверь не поддавалась, за ней завопили, закашляли густо. Андрей зашел в соседнюю кабинку, закрылся, стал ждать, кто-то зашел, выругался, включил фен. Андрей проверил шпингалет, ногой проверил вы-

соту щели под дверью, спустил воду, вышел. Никого не было.

Наконец в занятой кабинке зашумела вода, снова закашляли хрипло, завозились, и вдруг оттуда вышел мальчик. Покосившись на Андрея, он, не помыв рук, выбежал.

Андрей сполоснул лицо под краном, закурил, сделав две быстрые затяжки, бросил папиросу. В туалет зашел невысокого роста полный армянин. Андрей разглядел на его руке кольцо.

Армянин встал к нему спиной, расстегивая штаны, Андрей, поправляя ворот рубахи, боком двинулся в его сторону, косясь одновременно на входную дверь. Встал, задержавшись, быстро пошел на выход, выглянул.

В холле было пусто, лишь у стены красивый парень помогал одеться девушке. Андрей вернулся, закрыв тихо обе двери. Армянин стоял все в той же позе.

Андрей тихо подошел к нему, встал за спиной, перебирая пальцами карманы своего пиджака. Армянин сопел, его затылок покачивался в полуметре перед лицом Андрея. Андрей медленно поднял руки.

Армянин вдруг обернулся и засмеялся. Андрей вздрогнул, отступил на шаг и тут же засмеялся сам.

— У вас сигарет не будет? Извините...

— Возьми. Вот здесь, — он повернулся к Андрею боком, подставляя карман, сам все возился, застегивая ширинку. — Возьми, возьми!

Андрей медленно, глядя на его висок, протянул руку, достал из кармана пачку, взял сигарету, она упала, взял еще одну, закурил неловко.

— Спасибо...

...Лена ждала его, не прикасаясь к столу, на котором стояло уже вино, закуски.

— Что с тобой? Куда ты пропал?

Он молча сел, налил ей, себе, выпил сам, улыбнулся, налил снова:

— Ну давай. За твое здоровье.

— Какой-то ты странный сегодня. Красный.

— Работы было много. Не спал ночь.

— Как твой фильм, уже снимают?

— Нет еще. Что-то там тянется, — он все смотрел по сторонам.

— Андрей, да что с тобой?

— Бог мой, ничего, я же говорю, устал! — он улыбнулся ей. — Ты лучше расскажи, как ты...

— Я? — она отпила вина, поморщилась. — Я сейчас пишу реферат по Древнему Востоку. Знаешь, я открыла столько нового. Вот шумеры — это же, оказывается, целая цивилизация... Ты куда?

— Сейчас... — он встал и снова пошел вниз.

В туалете было пусто, лишь толстый грузин

пристраивался к писсуару. Андрей встал за ним, но тут, шумя, вошла целая компания. Он быстро отошел в кабинку, заперся, приложившись лбом к кафелю...

Когда все стихло, он вышел, снова проверил дверцы кабинок, открыл кран, стал ждать. Послышались шаги, он вздрогнул. В форме вошел швейцар, покосился на него, высморкался на пол, вышел.

Андрей сунул руки под кран, сжал их. Никто не шел. Вытерев руки платком, он медленно пошел к выходу, в дверях, на пороге, лицом к лицу столкнулся с человеком. Высокий, худощавый, со смуглым лицом, он поглядел на Андрея внимательно раскосыми азиатскими глазами. Держась трезво, прошел мимо него, на ходу отирая локоть на зеленом велюровом костюме.

Андрей, усмехаясь, вышел в холл, глянул на лестницу, постоял так немного, приглаживая волосы, и медленно пошел наверх. Пройдя пролет, еще один, вдруг резко обернулся, сбегал вниз, прошел в туалет.

Человек стоял у стены спиной к нему. Андрей сразу от двери на носках тихо пошел к нему, выставляя вперед руки, сощурившись, открыв рот. Он поймал, схватил судорожно черноволосую голову и, рванувшись вперед, мыча, двинул изо всех сил эту голову в стену. Что-то хрустнуло. Оба замерли не дыша... Прошло несколько секунд.

Не меняя позы, человек медленно оседал на пол. Андрей подхватил его под мышки, озираясь на дверь, потащил в кабинку. Здесь еще раз ударил его о стену. Человек завалился на пол за унитаз.

Послышались голоса. Опомнившись, он закрыл дверцу на крючок, ногами отодвинул его ноги от щели под дверью, нагнувшись, зажал ему рот, стараясь не глядеть на лицо...

В туалете переговаривались люди, кто-то засмеялся. Андрей стоял не двигаясь, боясь разогнуться. Люди долго возились, смеялись, мыли руки. Андрей шмыгнул носом, вытер его ладонью, снова шмыгнул, но из носа все текло. Не разгибаясь, не отпуская руки от его рта, он достал из кармана платок, высморкался тихо, глядя на щель под дверью.

Наконец все стихло. Андрей разогнулся, рука его была в крови. У человека был разбит нос. Андрей осмотрел руки, осторожно платком поднял крышку бачка и медленно, аккуратно вымыл руки в бачке, затем, не сводя глаз с человека, так же аккуратно, насухо вытер их платком и о подкладку своего пиджака.

Склонившись, осторожно, стараясь не испачкаться, он поднял его, с трудом усадил на унитаз, взял за подбородок, глянул в закатившийся глаз. Кровь шла у него из носа и разбитой брови. Прислонив его головой к стене, ощупал карманы костюма. Достал из

внутреннего бумажник, выбрал все, не глядя спрятал себе в карман, бумажник засунул обратно. Нашел еще деньги, тоже положил в карман. На безымянном пальце он увидел золотой перстень, попробовал стянуть его. Перстень не шел.

Прислушавшись, он открыл дверцу, выглянул в туалет. Было пусто. Он метнулся к раковине, взял обмылок, вернулся, снова закрылся.

Он мочил в бачке и мылил палец, тянул, перстень не шел, он снова мылил и снова тянул. Наконец ему удалось стащить кольцо, он так же осторожно раздвинул ему ноги, бросил обмылок в унитаз, а перстень промыл в бачке.

Спустил воду, вытер руки. Было тихо. Человек сидел не двигаясь, кровь застыла на его лице, на груди, на зеленом велюровом пиджаке. Андрей наклонился к нему, прислушался. Потормошил его. Тот слабо вздохнул. Андрей усадил его попрочней, еще раз прислушался. Потом встал на унитаз, на бачок и быстро перелез в кабинку рядом. Отряхнувшись, вышел из нее, подергал дверцу соседней...

В зале громко играла музыка. Лена сидела, глядя на музыкантов. Андрей поймал официанта, сунул ему деньги, подошел быстро к ней.

— Пошли!

— Куда? Что с тобой?

— Пойдем отсюда. Только скорей! Потом объясню...

— Но что случилось? — она, продолжая сидеть, глядела на него, обиженно поджав губы.

— Лена, я прошу. Скорее! — он оглянулся на лестницу. — Поедем в другое место.

— Но мы уже никуда не попадем!

— Ну я прошу тебя. Скорее! — он стоял над ней злой, двигая ее вместе со стулом.

— Тебе плохо? Может быть...

— Господи, ты можешь встать?!

Она встала, пожав плечами, взяла сумку. Он подхватил ее за локоть, потащил вниз.

— Ты мне синяки сделаешь! — она высвободилась. — Больно же...

Внизу, стараясь не смотреть на туалет, он протянул номерки гардеробщику. Тот не спеша пошел к вешалкам. По лестнице спустились двое парней. Зашли в туалет...

Андрей взял ее пальто, резко набросил на нее, быстро надел свое.

— Я не понимаю, что случилось?

— Потом, — он потащил ее к выходу.

Дверь была заперта.

— Мне нужно зеркало, — она пыталась вырваться.

— Отец! — он не выпускал ее. — Мы очень опаздываем, — а сам все время глядел как замороженный на дверь в мужской туалет.

Швейцар медленно встал со стула, подошел не спеша, завозился с ключом. Очередь глядела на них через стекло.

— Я сейчас, — она все-таки вырвалась. — Мне надо в туалет.

Андрей едва успел схватить ее за шиворот. В уборной закричали. Выбежал сначала один парень. За ним второй. Смеясь, он кинул в первое коробком спичек.

Андрей машинально сунул руку в карман, вынул рывком, вся его мелочь, звеня, высыпалась на пол. Швейцар открыл наконец дверь.

— Я помогу, — он наклонился, загораживая проход.

— Не стоит, — Андрей, стараясь улыбнуться, не выпуская Лену, ласково отодвинул его лысую голову и, вытолкнув Лену, потащил ее прочь.

Пройдя, почти пробежав метров сто, Андрей отпустил ее и вышел на дорогу, ловя машину.

— Сейчас, — приговаривал он. — Сейчас поедем в «Прагу», куда угодно! А здесь плохо...

— Я не поеду, — сказала Лена. — Я с тобой никуда не поеду.

Остановилась машина. Ему пришлось вернуться, говорить что-то, он снова взял ее за руку, ласково подвел, усадил.

В машине он закурил.

— Ну не обижайся, ладно? Знаешь, это нервы просто, нашло что-то. Сейчас все будет хорошо...

Она отодвинулась от него, сидела в углу, напуганная, обиженная. Он попробовал взять ее руку, поцеловать. Она резко и зло оттолкнула его. Андрей вдруг засмеялся.

— Ты уж извини, что я в туалет тебя не пустил...

Она не разговаривала с ним, он заплатил водителю и вышел вскоре, прошелся не спеша по улице, вдыхая ночную свежесть.

В Доме кино он первым делом зашел в туалет и там, запершись в кабинке, пересчитал деньги. Денег было четыреста с лишним, не считая перстня. Выходя из кабинки, он механически проверил соседние дверцы, усмехнулся, в чистой белой раковине долго с мылом мыл руки. Вдруг вошел Ролан Быков, глянул на него хмуро, прошел к писсуарам. Андрей сушил руки и внимательно смотрел на его спину. Тот вдруг обернулся сердито и быстро перешел в кабинку, раздраженно хлопнув дверцей.

Андрей смеясь бегом поднялся в ресторан. Миша и Наташа были еще здесь, пили кофе.

— Где ты есть? Мы уже рассчитались, — крикнул Миша.

— Ничего, — он сел рядом с Наташей, радостный, возбужденный, позвал официантку.

— Карина, милая, принеси нам еще вина, а мне мяса какого-нибудь и сигарет, — он сразу, не глядя, дал ей деньги.

— Ну как Мастер? — спросила Наташа своим тоненьким голосом.

— Замечательно! Миша, знаешь, я даже сцену придумал, пока ходил...

Кругом за столиками уже шумели, говорили громко пьяными голосами.

— Расскажи.

— Не знаю, может, это бред... Отряд встал на хуторе, и на ночь в караул поставили парня, молодого, ну такого, как мы с тобой. А ему днем девка одна хуторская понравилась. Они с ней залезли на сеновал, целуются, обнимаются. В это время комиссар посты обходит, суровый мужик такой. Смех услышал, зашел в сарай. Кто там? Парень девку толкает. Она назвалась. Ты одна, что ли? Одна. А чего смеешься? Так, приснилось... Комиссар усы покрутил и, подумав, полез на сеновал. Парень, бедный, перепугался, не спрячешься уже, и как выскочит навстречу: так мол и так, за хутором противник. А комиссару стыдно, что он к девке полез, он и заорал: в ружье... Вышли все за овраг, а там правда банда, ну и побили ее. Комиссар парня к медали и начальником разведки...

Карина принесла вино, откупорила:

— Вырезка есть. Тебе как, прожарить или с кровью?

— С кровью, Карина, с кровью! — он налил себе вино, тут же выпил, налил снова всем. — Ну! Давайте, что ли...

Весь вечер и весь следующий день у него было хорошее настроение. В институте он здоровался со всеми, шутил, целовал всех знакомых девушек, институт гудел, коридоры, переходы, лестницы были полны знакомых, так что с первого на третий этаж только подниматься можно было весь день.

С кафедры он позвонил домой, в Оренбург, сказал, что, наверное, скоро придет. Потом остановился в колле, поговорил с пожилой преподавательницей литературы о Шекспире.

— Вы зря не приходите, — говорила она ему звонким, совсем не старушечьим голосом. — Вы пропустите самое важное звено в цепи развития, самый яркий гений... и тогда не поймете сегодняшний день. Ведь посмотрите, все герои Шекспира — талантливые люди, творцы своей жизни! И как они свободны, как мгновенно решают свои судьбы, стремительно развиваясь и угасая! Как полны их жизни в окружающем хаосе и как эта полнота, эта искренность порождает трагедию... Порой кажется, Шекспир едва успева

за ними, чтобы воспроизвести их судьбы, а порой, — она засмеялась, — кажется, даже не успевает...

— Я обязательно буду ходить, — искренне обещал Андрей. — Просто вы себе не представляете, сколько дел...

Но к вечеру он все более мрачнел, замыкался... Он не остался на вечерний просмотр и тихо, когда все пошли в зал, оделся и уехал.

VI

На этот раз Андрей пришел один и даже не стал раздеваться и садиться на стол.

Это был один из шумных гостиничных ресторанов, где напивались командировочные, отмечали дни рождения продавщицы универмагов и крутились разного рода торгаша, проститутки, прочий люд.

Андрей, обследовав грязный туалет, завернул теперь всю мелочь в платок, положив во внутренний карман, еще один платок положил в брюки. Он стоял в холле, наглухо застегнутый, с туго затянутым поясом, курил и следил за входной дверью и дверью в мужской туалет. Он ждал. В уборную заходили, выходили разные люди, все не то, он считал, сколько их входило и выходило.

Наконец, когда в холле опустело, в уборную прошел невысокий пожилой мужчина, по виду узбек. Андрей заглянул на лестницу. В зале играла музыка, лестница была пуста. Он не спеша прошел в туалет, закрыл за собой дверь.

Узбек стоял в странной позе, согнувшись, под задранной штаниной виднелась его худая желтая нога. Услышав шаги, он быстро выпрямился, испуганно глядя на Андрея. Тот тоже встал, удивленно разглядывая узбека, его задранную брючину, ботинок, из носка которого торчала мятая пачка денег... Узбек опустил штанину, улыбнулся пойманно.

— Вот, — развел руками, — деньги спрятал. — Помолчав, достал зачем-то расческу, снова развел руками: — Понимаете ли, какие-то очень подозрительные люди... Боюсь, ограбят.

Андрей кивнул, вышел из уборной в холл, закурил снова. По лестнице спускалась подвыпившая компания, один из парней сильно задел плечом вышедшего из туалета узбека. Тот насторожился, отошел к Андрею.

— Вот они, — шепнул тихо, косясь на парней. — Вы тоже в гостинице живете? Пойдемте, пожалуйста, вместе.

— Я не в гостинице, — с досадой сказал Андрей. — Да вы идите. Идите! Никто не тронет...

— Да? — узбек с сомнением оглянулся на парней, те нахально смотрели в их сторону. —

Хотите, я вам свой адрес оставлю, — он засуетился, хлопая себя по карманам.

— Да не нужно... — Андрей поморщился.

Но тот уже на клочке писал адрес. Парни постояли, ушли наверх.

— Вот, — узбек протянул Андрею листок. — Приедете в Самарканд, в гости, будете жить, как дома... — он оглянулся. — Большое спасибо вам! Большое спасибо.

Он ушел, Андрей повертел листок, хотел бросить, но сунул в карман. Лист вздохнул, прошелся, остановился ждать дальше.

По лестнице спустился еще один человек, по виду кавказец. Он был невысок, курчав, с маленькими усиками, проходя мимо Андрея, глянул на него почему-то зло и воинственно плюнул на пол.

Андрей подождал, пока он там, в уборной, расстегнет штаны, и быстро прошел за ним.

Он увидел его спину и затылок, шел к нему прямо, протягивая руки к затылку.

Андрей помедлил всего секунду. Этого хватило, чтобы кавказец обернулся. Андрей тотчас же схватил это испуганное злое лицо, но оно соскользнуло куда-то вниз, закричало пронзительно, подло, и он увидел с удивлением, как кавказец, отталкивая его руки, отступает, присев, и при этом от крика, от напряжения продолжает мочиться, заливая себе и Андрею брюки... На корточках, голося, как баба, он побежал к умывальнику, ударился о него, вскочил и, поддерживая штаны, не переставая кричать, выбежал из уборной.

Андрей медленно оглядел свои брюки, опомнившись, кинулся к выходу, но вышел спокойно, медленно, сдерживаясь едва, пошел к входной двери.

Кавказец бегал у гардероба и, стараясь застегнуть брюки, кричал тонко:

— Бандит! Сволочь, тварь! Хотел убить меня... Держите его, он бандит, вор, у него нож! Смотрите, нож! Нож!

— Хам! — громко, спокойно сказал Андрей и засмеялся. — Все штаны мне обоссал. Кого ты пускаешь? — он стоял уже перед швейцаром.

Швейцар, с сомнением глядя на Андрея, медленно открывал ему дверь.

Кавказец вдруг кинулся к Андрею, ударил его в спину, завизжал:

— Не выпускай! Не выпускай, он вор! Вор!

По лестнице сбегали люди, среди них кто-то в форме... Андрей рванулся, оттолкнув за голову швейцара, выбежал за дверь, вынес на себе кавказца, побившего на спине, как собака. Зарычал, разворачиваясь, ловя его руками, но кавказец тут же отскочил назад, сбивая людей, лезших из двери, захлопнул дверь.

— Сука, тварь! Ловите его, уйдет! — визжал он за стеклом.

Андрей побежал, неуклюже, тяжело, ныр-

нул за угол. Он обежал корпус, прыгнул через забор, ломая ветки, выбежал во двор, обогнул дом, еще один. За ним никто не гнался, но он все бежал, пока хватало сил, затем бросился за угол, вбежал в подъезд.

На площадке между вторым и третьим этажами он согнулся, стараясь отдышаться, все кашлял и смеялся...

Хлопнула дверь, с третьего этажа на несколько ступеней сошла женщина, встала, не спускаясь дальше:

— Вы к кому?

— Ни к кому. Так, — Андрей улыбнулся ей.

— Уходите сейчас же, нечего здесь стоять, — она глядела на Андрея с брезгливой ненавистью.

— Ухожу, — он кивнул. — Уже ухожу.

Дома, в общежитии, он сначала зашел к Джанику.

Джаник, полулежа на диване, читал что-то. Он был один.

— Работаешь? — Андрей сел, потер затылок.

— Да какая это работа... Так, читаю вот японцев, вернее, пытаюсь читать.

— Ну и как японцы?

— Знаешь... — Джаник внимательно разглядывал его, отложив книгу. — Нико мавацу, кейко ивацу.

— Что это?

— Не говори, что видел все, не увидав Нико... Это дворец... Я их стал понимать. Они выстроили свою жизнь в коридоре жестких ритуалов, и теперь счастье для них — в выполнении этих ритуалов. Как ты?

— А ты?

Джаник засмеялся.

— Жениться тебе надо... — и он, засвистев, изобразил полученный удар, уткнулся в подушку. — Поехали в хореографическое училище!

— Что, больше некуда?

— Некуда... Это единственное место, где еще остались милые, воспитанные девочки. Это же монастырь!

— Жениться тебе надо, — мрачно сказал Андрей. — Как там, ивацу, мавацу? Знаешь, — Андрей все трогал голову, — макушка болит. Не виски, не лоб, а именно макушка...

У себя в комнате он пересчитал снова деньги, часть отложил, а остальные, с перстом, спрятал в диван.

Пришел Миша, привел полную белую девушку с приятным добрым лицом. Она по-мужски протянула Андрею руку, представилась с гордостью:

— Анна. Из Швеции.

Миша засмеялся, повел ее к себе.

— Щечочку взял? — крикнул ему Андрей.

Они закрылись. Андрей, не снимая куртки и ботинок, залез в гамак, прислушиваясь к их смеху, взял папку с пластилином.

В дверь постучали, громче. Засунули ключ, пробуя открыть. Андрей, не вставая, ждал... Наконец дверь открыли, и через прихожую прямо к нему вошли люди, встали, глядя на него. Андрей лежал все так же.

— Спасибо, что навестили, — сказал холодно. — Я еще жив.

— Извини, Андрей, — вперед выступил высокий худой парень с длинными, подвижными, словно без костей, руками. — Мы мебель описываем... Мы стучали.

— Но ведь я вам не открыл.

— Мы всех проверяем. Я теперь директор... — руки у него двигались, словно резиновые шланги.

— Ты? — Андрей засмеялся, вылез из гамака. — Зачем тебе это?

Двое других парней и девушка с книгой описывали его диван и стол.

— Здесь Плетнев, а там Селиверстов, — сказала девушка. — Там никого нет?

— Нет.

— Ты один в комнате? — спросил директор.

— Ты же знаешь.

За стеной упало что-то и раздался женский смех. Парни переглянулись. Андрей закурил. За стеной заскрипел диван, кто-то застонал.

— Ну? — спросил Андрей. — Описали?

— Вам полки нужны? — спросила девушка.

— Будут нужны, я вас сама найду.

— Вы что думаете, нам это так приятно, — она обиделась.

— Ну так не ходите.

Они пошли к выходу, директор задержался, он хотел что-то сказать Андрею, но тот засмеялся, хлопнул его по спине:

— Ты же режиссер. Как ты теперь кино снимать будешь?

Всю ночь и до обеда следующего дня он провалялся в гамаке, наконец встал, как был в ботинках и куртке, промыл в ванной глаза, поехал в институт.

В автобусе контролер, огромная толстая баба, прижав его к окну, долго орала на него, требуя, чтобы он заплатил штраф. Из-за нее он проехал институт, опоздал и, когда наконец прибежал к кассе под лестницей, окошко уже было закрыто.

Он постучал, в кассе, похожей на собачью будку, еще горел свет. Окошко резко открылось.

— Ну что стучишь? — заорала на него

сразу маленькая девушка, пившая за столом чай.— Делать нечего? По голове себе стучи!

— Понимаете, я опоздал,— он улынулся, стараясь говорить вежливо, просительно.— Вы уж дайте мне деньги, я один здесь... — Закрыто, я сказала! Все! Теперь через месяц получишь.

— Я не могу, вы уж извините, денег нет. Там же всего тридцать восемь рублей, ну что вам стоит?

Она хотела захлопнуть, но он придержал, все улыбаясь.

— Убери руку! Убери руку! Я сказала, убери руку! — глаза ее блестели истерично.

— Господи, что же вы такая...

Андрей вышел на улицу, пошел не застегиваясь через дорогу, мимо будки, на выставку.

Было тепло. Он ходил аллеями, останавливался на огромных площадях у нелепых триумфальных арок, глядел с тоской на тупые квадратные дворцы достижений, на их тяжелые шпили под пасмурным тихим небом.

В павильоне животноводства, вдыхая с удовольствием запах овчины и навоза, он прошел вдоль длинного ряда клеток, в которых на бетонном полу стояли грустные бараны, зашел к здоровым ленивым быкам, позвякивавшим в безделье цепями.

Белые быки, влажно дыша, жевали тихо сено...

В этот же вечер Андрей, уговорив Михаила прогуляться в город, привез его в центр.

— Вот послушай меня, Миша,— они стояли на углу площади Маяковского, у концертных афиш.— Видишь этих людей? Их очень много в этом городе, всяких,— он обвел рукой площадь.

Мимо них в разные стороны спешили люди, некоторые косились на Андрея, показывавшего на них пальцем.

— Мне пришла вот какая идея. Не знаю еще, что из этого выйдет, может быть, новый сценарий, может, нет... Слушай, человеку нужны деньги. Он молодой еще, как мы с тобой, и решает эти деньги у кого-нибудь отобрать. Но! И в этом идея, он не связывается с уголовниками, не выслеживает долго среди знакомых. Нет времени. Он просто выходит в город и смотрит, вот так. Просто смотрит на людей и через час находит человека, у которого есть деньги. Большие деньги... Как?

Миша, надев очки, молча глядел на прохожих, вдруг медленно пошел за кем-то.

— Ты куда?

Миша встал, покачал головой, свернул за угол. Андрей пошел за ним.

— Вон,— Миша показал ему пальцем.— Вон мужик стоит, гладкий такой, в черном.

— Ну?

— Вот у него есть деньги. Но,— Миша закурил,— не очень много. Тысяч десять, и все на книжке. Но квартира у него богатая, наверное, и собака есть. Не редкая, а так, дог какой-нибудь.

Андрей засмеялся.

— С чего ты взял?

— Не знаю. Мне так кажется,— и он пошел дальше по улице Горького, вдруг зашел, махнул Андрею рукой.

Андрей едва поспевал за ним. Миша все шел и шел, почти бежал, высматривая кого-то впереди. Андрея толкали, он тоже все смотрел вперед, пытаясь разглядеть, за кем спешит Миша. Вдруг тот встал.

— Ну чего ты? — догнав его, Андрей все смотрел вперед.

— Нет! — Миша огляделся.— Сплошная нищета. Так, есть по мелочи, но в общем — нищета.

Люди спешили, обходя, глядели с удивлением на них, стоявших посреди тротуара.

— Может, этот? — Андрей показал на высокого грузина в распахнутой дубленке, останавливавшего такси.

— Нет,— Миша покачал головой.— Ну есть у него штука, ну две, он пыль пустит и уедет. А дома, наверное, даже машины нет. Нет, приезжие — не то. Надо здешнего найти. Тихого маленького старичка...

— Или старуху... — Андрей мрачно усмехнулся.— Процентщицу.

Они не спеша пошли дальше. Молчали, оглядываясь по сторонам.

— Можно было взять директора Елисеевского магазина, но его уже взяли.

— Кто?

— Государство. Дело же было... Опять нас с тобой опередили... Вот если бы года три назад, я тебе сразу показал бы, у кого деньги, а сейчас людишки попрятались.

Он остановился у витрины за спиной пожилого человека в плаще и шляпе. Тот обернулся с удивлением к Мише, разглядывавшему его, отошел в сторону, снова обернулся.

— Знаешь, кого можно? — Миша вдруг засмеялся.— Мережко. Или Черныха. Вот у кого денежки водятся. А что?

— Да нет... — Андрей усмехнулся,— не так много у них, да и что есть, на книжке держат. А нужно такого, кто бы дома в матрасе прятал.

— Понятно... — отозвался Миша.— Да, интересненько. Может быть, их просто останавливать и спрашивать?

Они прошли еще немного.

— Смотри,— Андрей показал на старика, вышедшего с тростью из подворотни. Изжелта-белые волосы его были прилизаны, усы крашено-черные, под пальто строгий костюм, на длинных желтых пальцах — перстни.

Старик прошел медленно по улице, оставившись, улыбнулся им...

— По-моему, он просто педик,— сказал Миша.— Понимаешь, все эти перстни и прочее... Сейчас перепуталось все, не угадаешь. Они пошли снова, оглядываясь, рассматривая людей. Вдруг Миша встал.

— Знаешь, я нашел!

Андрей обернулся, увидел спину и затылок. Человек шел, уходил торопливо, средний, ничем не примечательный, в обычном сером плаще.

— Почему? — Андрей с удивлением почувствовал дрожь в голосе.

— Глаза. Понимаешь, он меня сразу узнал. Видишь, он не обернулся, хотя ему очень хочется...

— Брось выдумывать!

Человек зашел в какой-то магазин. Миша отвернулся, заговорил быстро:

— Смотри. Ты кури и просто поглядывай. Когда выйдет, он обязательно посмотрит на нас.

Андрей закурил, встал вполоборота, искаса наблюдая за входом в магазин. Миша, сняв очки, потер глаза, а мимо все шли, задевая их, люди...

Андрей замер, застыл, чувствуя холод на спине. Человек стоял у выхода и, поправляя серый плащ, внимательно смотрел в их сторону. Потом пошел, но вот снова встал, обернувшись. Андрей будто смотрел на дорогу.

— Ну? — спросил его Миша.

— Не смотри,— шепнул Андрей.

Миша засмеялся, разглядывая его.

— Что, видел?

— Ну и что... это еще ни о чем не говорит.

Они пошли следом за человеком. Вскоре он свернул в переулок, снова зашел в магазин. Через витрину Андрей видел, как он зашел за прилавок, вышел снова вскоре, уже без плаща, в таком же сереньком пиджачке.

Это был небольшой комиссионный магазин. Они отошли в сторону, встали, глядя друг на друга.

— Я же тебе говорю,— серьезно сказал Миша.

— Но откуда ты знаешь, что у него есть деньги?

— У него есть деньги,— твердо сказал Миша.— Даже тысяч сто. И он их прячет дома.

— Но почему?

— Я как-то читал, одну бабу взяли на границе, жену чью-то. Она везла только часов около тысячи штук. Там их на сдачу дают, а здесь... Понимаешь, она же сама продавать не будет.

— Чепуха,— Андрей снова посмотрел на магазин.— Тихий, обыкновенный продавец. Кефир любит...

— Ну не знаю... Почему же он чувстви-

тельный такой? Может быть, он поэт?

В общежитии Андрей зашел к знакомому оператору, взял у него бинокль.

— Девок в окнах подглядывать? — спросил тот.

— Да, что-то вроде этого...

Он вернулся к комиссионному магазину, когда тот уже был закрыт, и, зайдя в подъезд напротив, пряча футляр с биноклем под курткой, стал ждать.

Вскоре человек в сером плаще вышел, остановился около беленького автомобиля, достал из него тряпку, стал протирать лобовое стекло.

Андрей пробежал дворами в другой переулок, поймал машину, показал, куда подъехать. Человек сидел в машине за рулем, рядом с ним сидел еще один, в шубе.

— Подождите пока,— попросил Андрей водителя.

Вскоре тот, что в шубе, вышел, прошел вперед, сел в другую машину, комиссионщик вырливал уже на дорогу.

— Поехали. Вот за беленьким...

Таксист, не удивляясь ничему, поехал следом. Андрей, сидя на заднем сиденье, глядел вперед на машину, изредка лишь оглядываясь, запоминал дорогу.

На Пятницкой, за «Букуром», белый автомобиль свернул в переулок и сразу во двор. Андрей остановил на улице, расплатился, быстро прошел следом.

Машина стояла во дворе старого пятиэтажного дома, человек как раз входил в подъезд, он задержался на секунду, оглянулся. Андрей, прислонившись к стене, ждал. Уже стемнело.

В подъезде он осветил спичкой панель с кодом. Нажал затертые больше других кнопки, дернул дверь, нажал те же кнопки в другом порядке. Щелкнул замок, он осторожно скользнул в подъезд.

Где-то наверху слабо хлопнула дверь. Бесшумно, бегом, он поднялся по узкой пыльной лестнице. Лифт стоял на последнем, пятом, этаже. Здесь было две квартиры. Нагнувшись, Андрей осмотрел пол. Редкие капли вели к правой, обыкновенной, потертой двери с номером «9». Андрей потрогал ее ногтем, дверь была сварена из стали...

Со двора он еще раз оглядел дом, нашел окна девятой квартиры. Вошел в подъезд дома напротив. Здесь кода не было. Поднялся в темноте. Встал на площадке у окна, достал из футляра бинокль.

Его окна были задернуты шторами. В щели между ними виднелось кресло. Вдруг шторы отодвинулись, и он, выглянув, посмотрел в окно прямо на Андрея. Андрей, отступив в темноту, встал за стену...

Вернувшись, он первым делом отдал хозяину бинокль, поднялся в буфет, ему хотелось пить, он положил мелочь на прилавок без очереди, кивнул буфетчице.

— Танюша, дай мне чаю.

Та улыбнулась ему, тут же налила. Он почувствовал, как его отодвигают.

— В чем дело?

Его толкнули еще раз. Прямо перед ним стоял незнакомый парень, немного боком, широкоплечий, рукастый.

— Не лезь, я тебе сказал.— А рядом с ним был еще один, с такой же наглой усмешкой. Андрей молча медленно взял не глядя стакан с чаем, словно задумавшись о чем-то, все смотрел на парня.

— Ты понял? — повторил тот.— А то я рассержусь.

Молча, так же медленно, Андрей отошел в сторону, посмотрел внимательно, словно удивленный чем-то, на стакан, вдруг поставил его и вышел.

Михаил, вернувшись откуда-то, увидел его раскачивающимся в гамаке.

— Ты пьян, что ли? — спросил с порога.

Андрей все так же глядел в потолок.

— Знаешь,— Миша сел на стул,— ко мне шведка приходила снова. Мы с ней стали бороться, и она мне вывихнула руку... О чем думаешь?

— Я думаю, что ты как честный человек должен теперь жениться.

Миша засмеялся.

— Мне нельзя. Ты же знаешь, что я несовершеннолетний. Чего ты какой-то?

— Так. Какая-то галиматья в глаза лезет. Мне вдруг представилось, сюда войдут люди и поставят нас вот к этой стенке. К чему бы это?

— К деньгам,— тотчас же отозвался Миша.— Давай купим муки, мяса и налепим пельменей. Я даже в один железный рубль положу, на счастье. Ты сломаешь себе все передние зубы и будешь счастлив.

— Слушай,— Андрей раскинул руки,— а ты человека смог бы убить?

— Конечно,— снова сразу откликнулся Миша.— Только пусть мне покажет кто-нибудь,— он закричал.— Вот этот! Вот из-за него мы все так живем!

— Нет, я серьезно. Понимаешь, вот меня сейчас одна морда в буфете толкнула... И я вдруг подумал, что хочу его убить. А я ушел. Это какой-то страх, наверное... Понимаешь, я начинаю думать, что можно, что нельзя, и вижу в каждом из нас, где-то далеко внутри, страх... Он помогает дожить нам до старости. А может быть, не надо доживать до старости? Это какая-то ось, она возникает из

страха, и мы все вертимся, вертимся на ней, как то колесо. Но вверх не двигаемся. А что там, сверху? Смерть? Нет, там кроме смерти есть еще кое-что...

На следующий день, когда он все так же валялся в гамаке, к нему вбежал Володя с гитарой в чехле и позвал его тотчас ехать с ним на концерт. Андрей достал деньги, вернул ему сто рублей, ехать отказался.

— Ну и пошел тогда... — он достал плоскую фляжку, заставил выпить Андрея, выпил сам.— Подлец ты, так и не позвонил ни разу...

— Слушай,— Андрей внимательно оглядел его костюм, белый галстук.— Мне деньги нужны. Тысяч пять, а лучше десять. Я бы отдал в течение года.

Володя сел, долго молча глядел на него.

— Ну чего ты смотришь? Отец машину купить хочет...

— Ну да,— Володя улыбнулся.— Ну конечно... Ладно, ты можешь не говорить,— он закурил.— У меня, ты же знаешь, нет... У Жванецкого есть, но он мне сейчас не даст столько... Был бы жив Володя Высоцкий, он бы мне дал... Подожди месяц, два, у меня будет тысячек две-три, я тебе дам.

— Спасибо...

— Да пошел ты! — он встал, снова достал фляжку.— Ну поедем, там машина ждет!

— Не могу...

Они выпили еще. Володя обнял его, выругался:

— Ты посмотри, Андрей, какие бляди все кругом. Бляди и хамы! Знаешь, у кого есть деньги, кто мог бы дать? Евреи. Спроси у знакомых евреев! Есть у тебя евреи? И обещаю вернуть с процентами... Но учти, никто сейчас не даст в дол! Никто!

Вечером Андрей позвонил Лене, она больше не обижалась. Он приехал к ней домой.

— Я спросила папу,— шепнула она ему в коридоре, пока он раздевался.— Он обещал поговорить с тобой после ужина.

Ужинали за большим столом в гостиной, в течение всего ужина почти не говорили, лишь ее мать, тучная пышноволосяя женщина, изредка вежливо спрашивала Андрея, какие сценарии у него покупает студия, как происходит выплата гонорара и когда выйдут его фильмы. Андрей коротко и вежливо отвечал ей, томился за богатым столом, стараясь есть медленно и аккуратно. Под закуску выпили по рюмке водки, настоянной на орехе, но только по одной, потом подали суп-лапшу, на второе — тушеную курицу. За столом сидели отец, сухой, седоватый мужчина, который совсем не смотрел на Андрея, и двое младших сыновей, оба курчавые, полнокровные юноши.

После чая с медом и вишневым вареньем Ленин отец провел Андрея в кабинет с

книжными шкафами, большим столом, африканскими масками, статуэтками и китовым усом, висевшим у потолка. Предложив Андрею кресло, он сам сел за стол, спросил прямо:

— Позвольте узнать, зачем вам эти деньги?

Андрей достал папиросу, огляделся.

— Курите, курите, я проветрю потом,— он глядел внимательно, с некоторой иронией.

— Отец хочет купить машину... Илья Александрович, я скоро получу гонорары и сразу отдам. Я, конечно же, напишу расписку...

— Дело не в этом... Я вас, мягко говоря, не очень знаю.

— Вы мне не верите?

— Нет, верю. Я вижу, вы честный, порядочный человек. Что вы будете делать после института?

— Не знаю еще... Писать, наверное.

— Это понятно,— он усмехнулся.— Насколько я могу судить, вы ухаживаете за моей дочерью?

— В общем-то мы друзья,— Андрей не отвел взгляда.

— Видите ли,— он встал, прошелся.— Я, конечно, могу дать вам эту сумму... и вы искренне будете желать мне ее вернуть. Но... Вы принадлежите к людям, которые не гарантируют своего будущего... В вас есть какая-то неопределенность. С такими, как вы, часто случаются всякие ситуации...

— Что со мной может случиться?

— Я не знаю. Я вас еще очень плохо знаю. Вы приходите. И к Лене, и просто в гости, буду рад. Если у вас какие-то сложности, у меня, кстати, есть друзья на киностудии... В институте вашем есть друзья, может, я чем-то помогу вам. А вы приходите почаще...— он остановился напротив Андрея.

Андрей встал.

Вернувшись в общежитие, он пошел к Джанику. Джаник открыл ему сияющий, радостный, взял его за руку, провел в комнату.

— Вот! Это Андрей. А это,— он засмеялся.— Это Надя и Оля. Они из хореографического училища...

Обе девушки, улыбаясь, встали легко ему навстречу. Он почему-то застыл, глядя на них, растерялся и вдруг покраснел. Они же с веселым интересом, совершенно открытые, глядели прямо в глаза, обе тонкие, удивительно свежие и радостные, словно светящиеся чистым горячим светом.

— Да вы садитесь,— Джаник смеясь следил за Андреем.

Девочки сели, одна из них, уступив Андрею стул, пересела на диван к подруге, сделав при этом еще какие-то удивительные движения

плечами. Андрей, завороченный, смотрел на нее. Джаник засмеялся снова.

— Ну что вы так смотрите? — Надя оглядела себя, вдруг потрогала мочки ушей, снова радостно обернулась к Андрею: — Ну что, разве я что-то не так сделала?

— Надя, можно тебя попросить,— вкрадчиво сказал Джаник.— Встань, пожалуйста, еще раз, просто встань и сядь.

Она тотчас же встала, покрутилась, оглядывая себя, поправила платье и вновь уселась.

— Ну что такое? — она снова засмеялась смущенно, подвинулась к подруге и закрыла лицо прядью каштановых волос.— Зачем вы меня стесняете?

Они переглянулись живо, обе раскрасневшиеся, снова засмеялись. Джаник, вытирая глаза, заливался тихо, как ребенок. Андрей почувствовал, что смеется громко, восторженно, глупо и ничего не может с собой поделать.

— А вы правда...— начал было он и снова засмеялся.

Все вчетвером, переглядываясь счастливо, смеялись без всякой причины...

— Представляешь, Андрей, оказывается они тоже сдают гражданскую оборону, надевают противогазы, учат историю партии! — закричал Джаник.— Боже мой, у них есть комсомол!

— Какой комсомол? — Андрей, все смеялся, глядя на Надю.

— Обыкновенный! — воскликнула Оля.— Вот она у нас в комитете комсомола!

— Господи...— Андрей перестал смеяться.— Зачем вам это?

— Но я же не виновата...— удивленно воскликнула Надя.— Нас заставляют! Ну что вы опять смотрите, я не так говорю?

— Нет, что вы! — Андрей испугался, что она обидится.— Просто вы так двигаетесь...

Джаник достал чашки, вышел в прихожую. Девочки смотрели на Андрея, Надя что-то шепнула подруге, они засмеялись, но тут же сели очень прямо, две маленькие женщины...

Андрей тоже вышел, прикрыл дверь. Они переглянулись, засмеялись тихо. Входная дверь открылась, зашел один из грузин, посмотрел на них, улыбаясь, спросил почему-то шепотом:

— Где они?

— Там,— Джаник покачал головой.— Ну все, началось.

Грузин зашел в комнату. Открылась дверь, заглянул еще парень, тоже шепотом спросил:

— Правда что ли? — и тоже пошел в комнату.

— Но они же совсем девочки! — тихо сказал Андрей.

— Нет. Они настоящие женщины... Да и потом мне не нужно ничего, просто вот так, посидеть с ними! — он улыбнулся.— Андрей,

таких больше нет, учти, ведь они десять лет уже танцуют... с детства.

— Нет. Есть такие, кому от природы дано.

— Есть, наверное, одна на миллион. Может быть, вообще одна на всю страну,— он засмеялся.— Пойдем, потом проводим их, погуляем.

— Нет,— Андрей достал, протянул ему деньги.— На вот, не отказывайся, поедешь на такси через рынок, пусть они себе цветы возьмут,— он заглянул в комнату.

Оба парня говорили что-то наперебой. Девочки слушали вежливо. Надя обернулась радостно к Андрею, тут же огорченно спросила:

— Вы уже уходите?

— Нет... Я ненадолго,— он отвернулся, спросил Джаника: — Джан, слушай, то лицо у тебя? Ну маска?

— Что, испугался тогда? У меня.

— Да, оно страшное, как смерть. Я возьму его у тебя, мне нужно будет.

Ветер был совершенно теплый, текли, высыхая уже, ручьи. Куртку он оставил дома, подъехал к «Праге» на такси, вошел в одном пиджаке, улыбаясь, насвистывая что-то, поднялся в большой, сверкающий бронзой, белыми скатертями, люстрами, зал. Так же, посмеиваясь, сбежал вниз, в просторный чистый туалет, из которого навстречу ему как раз выходил старик в желтой ливрее с орденскими планками на груди.

Двое молодых парней с бледными порченными лицами, в ондатровых шапках, в куртках, шепчась, разглядывали что-то в маленьких пакетиках. Увидев Андрея, они разошлись, один вышел из туалета, другой встал в кабинку.

Не переставая напевать, Андрей прошел за ним в кабинку, легко свалил его на унитаз и принялся выворачивать ему карманы. Тот испуганно глядел на Андрея, щурился, закрывая лицо руками, но кричать боялся, лишь скулил тихо, жалобно постанывая. Отобрав у него деньги, Андрей столкнул его за унитаз, сказав весело:

— Сидеть!

Второй, видимо не дождавшись приятеля, вернулся, стоял, удивленно глядя на пододвигшего к нему Андрея. Схватив его за голову, отдуваясь, Андрей, как мешок, заволок его туда же, где сидел тихо первый, посадил прямо на него. Парень не сопротивлялся, лишь так же закрыл лицо руками. Лишь когда Андрей добрался до внутреннего кармана, закричал тихо и укусил его за палец. Андрей ударил его не сильно.

— За что? — воскликнул он, хлюпая.

— Так надо.— Андрей не спеша рассматривал на свет маленький полиэтиленовый пакетик с золотыми кольцами.

Пересчитав деньги, он увидел, что часть из них в долларах.

— Молодец,— похвалил Андрей и снял с него еще шапку.

Так же спокойно, не спеша вышел из туалета, улыбнувшись, дал на чай возвращавшемуся швейцару, сказал, надевая шапку:

— Хорошо...

— Да, весна уж,— отозвался довольный швейцар.

Он вышел на улицу и побежал ловить такси...

В тот же вечер он бросил в чемоданчик кое-какие вещи, в том числе шапку; золото и доллары спрятал в диван, остальные деньги и маленькое колечко взял с собой. По пути купил в магазине с заднего входа почти пудовый вырез из задней говяжьей ноги, на такси уехал в Домодедово. Ночью он улетел в Оренбург.

VIII

Еще оставалось время до того, как всем — отцу, матери, сестре — нужно будет идти на работу. Его приезд разбудил их раньше обычного, но мать, когда он постучал, уже возилась на кухне.

— Я чего-то блинов решила напечь... Все не спится мне и не спится,— она сидела рядом с Андреем и гладила его по руке.— Ешь, сынок, ешь. Ты и в сметану мажай, и в мед.

Андрей один за другим молча проглатывал горячие, с румяной корочкой блины. Отец стоял напротив, у холодильника, на котором таял говяжий брус, курил в форточку, худой, в трусах и майке, состоявший, казалось, из одних жил, с бритым морщинистым лицом и неожиданно высоким гладким лбом под густыми, крепкими, без проседи волосами.

Вошла сестра, уже умытая, причесанная, села, прижавшись к брату, невысокая, но стройная и крепкая, с таким же простым лицом, как у матери, но живыми, смешливыми глазами.

— Холодно там? — отец, босой, переминался на худых ногах.

— Да нет, не очень.

— Ты уж, сынок, извини,— снова заговорила мать,— что мы теперь денег мало высылали, тут то одно, то другое, папа, сынок, болел, а потом вот ей, Ирине, на свадьбу собирали, да она опять что-то поругалась.

Ирина засмеялась, поцеловала брата. Андрей встал, вышел, принес молча, протянул отцу ондатровую шапку, положил на стол деньги.

— Купите чего... И больше, мам, не присылай, я теперь гонорары получаю...

— Неужто платить начали?

— Начали, начали... — он незаметно протянул сестре колючку.

— Господи, это мне, что ли? Мам, смотри! — она проворно надела его на правую руку. — Золотое.

— Слушай, какая-то она не такая, — отец, надев шапку, трогал ее руками. — Важная какая-то.

— Ничего, в цеху зимой будешь надевать...

Они сидели вокруг него, расспрашивая, пока было время, а он все ел горячие, в масле блины.

Когда все ушли, он умылся, но спать не лег. День выходил хмурый, ветреный, ранние тучки носились-носились над серыми улицами, и вот в просвет брызнуло солнце и заиграло в мутных стеклах, осветило кусты с набухшими почками и пыльные, с еле приметной зеленью клумбы.

Стоя в автобусе, Андрей открыл стекло, глядел на старые желтые дома на Советской, на редких в рабочий день прохожих. Выйдя, шел переулками, распахнувшись теплом ветру, глядел все на старые деревянные бараки, на пустые просвечивающие сады...

Дом стоял среди таких же одноэтажных домов, за домом — огород, за огородом — обрыв к Самаре, уже открывшейся, с черной полной водой, из которой на той стороне торчали загопленные осины, а дальше лежала бурая сохнувшая степь. По реке шло сало, ветер здесь на обрыве был особенно свеж и чист.

Мать ее — он не помнил, как ее зовут, — пришла недавно со смены, еще не ложилась. Она узнала его или сделала вид, что узнала, очень обрадовалась, когда он спросил про Таню, провела в ее комнату, села напротив, утирая выступившие тотчас слезы.

— А как же, пишет, — отвечала она и, встав, принесла письма. — Все нормально, пишет, работает швейей, рукавицы шьет, я, значит, тку, а она шьет, пишет, женщины попались хорошие, жить можно, даже кино показывают... — она снова утерла глаза. Видно было, что она уже привыкла к тому, что слезы текут сами собой. — Пишет, чтобы не волновалась я, а как не волноваться, хожу вот и плачу целыми днями, — она засмеялась. — Видно, у нас счастья не было и у вас не будет.

Андрей, успевший оглядеть прибранную комнату, учебники на аккуратных полках, цветы на окне, платья в приоткрытом шкафу, с волнением взял у нее письмо.

Это был простой тетрадный листок, на

котором среди прямых, детским почерком написанных строчек аккуратно и неправильно той же шариковой ручкой нарисованы были роза и улыбающееся лицо.

— Из школьной тетради лист, — сказал он тихо.

— Наверное, там дают такие... — отозвалась она. — Ну а ты где?

— Я? Я так... учусь в одном институте... в Москве...

— Правильно, сынок, учись. А если, дай бог, встретится хорошая девушка, женись и оставайся там. Может, повезет тебе...

— А Тимонин? — Андрей вернул письмо. — Коля. Он заходит к вам?

— Заходил раз, после суда, пьяный... Она последнее время дома жила. Иногда у него оставалась, но больше дома. Я ему говорю, что же вы так-то живете. Женились бы, как люди... Вот оно и вышло все.

— Скажите, может быть, вам деньги нужны?

— Да на что они теперь? Посылку только через год можно послать, да и то одну. И навестить через год, один раз только... Господи, и за что так-то, девочка ведь еще совсем. И никаких таких особых тряпок у нее не нашли, и денег, ничего. Уже, правда, лучше бы ограбила или убила, чем так. Глядишь, минутку пожила бы... — закончила она с неожиданной вдруг ненавистью.

После обеда он купил в ресторане водки, держа бутылки в карманах куртки, нашел в политехническом институте Марата. Они выпили за встречу в одном из пустых дворов, за гаражами, закусили.

— Марат, мне ствол нужен...

— Когда? — Марат, невысокого роста худощавый татарин, курил, трогал черный ус, глядел в землю.

— Сейчас...

— Ну пойдем поищем.

Они прошли переулками, зашли в какой-то двор, мимо них шмыгнула за сарай кошка, с поленицы за ними следил худой серый петух.

На крыльце старого с облупившейся известью на стенах дома в свитере и рваном трико сидел лохматый парень, курил, сплевывая под ноги. Марат подошел, поздоровался с ним, спросил про какую-то Лариску. Андрей отошел, оглядывая сырой замусоренный двор, сел на замшелую дубовую колоду.

Марат, присев на корточки, говорил с парнем о том, о сем, потом встал:

— А где сейчас Леха живет?

— Да бог его знает, я уж месяца три его не видел. А это кто?

— Да это Андрей, с новостроек, он в двадцатой учился...

— А-а. Он, по-моему, где-то на Ренде. Ты у ребят спроси...

Они пошли дальше, Марат впереди, Андрей чуть сзади, придерживая бутылки в карманах.

— Ты-то как там, в Москве?

— Да ничего, учусь... Ничего. Сам-то чего?

— Да ничего... Сын вот болеет... Ну как у всех.

Они долго ходили по городу, садились, ехали куда-то в микрорайоны, поднимались в новые дома, Марат снова подолгу расспрашивал о разном, в одной квартире они сели, выпили с хозяином, крепким приземистым мужиком в майке, в другой дверь им открыл высокий костлявый парень.

— Чего надо? Не знаю никого,— ответил он Марату хмуро, даже не поглядев на Андрея.

— Да это Андрей с новостроек, мой друг. Дарась его еще знал.

Парень нагнулся, между ног его выглянул малыш в застиранной рубашке, парень вытер ему согли:

— У Олега он, в Шанхае, знаешь, из второго таксапарка... А может, и не у него. Не знаю...

Уже темноло, они вошли в Шанхай, большую яму с путанными переулками и множеством больших и малых домов, налегающих друг на друга, с беспорядочными заборами из камня, жести и старых ржавых радиаторов.

— А ну стой, кто такие? — окликнули их тут же, в первом переулке.

В стороне, под горкой, на корточках сидело несколько парней. Вдруг ниже, по тропе, молча пронеслись пять-шесть собак, свернули за угол, пропали.

Марат и Андрей подошли к ним, по очереди поздоровались с каждым за руку. Они так и остались сидеть.

— Леху не видели? — спросил Марат.

Один из них встал.

— С приездом, Андрюха.

Только теперь Андрей узнал Ваню Горюнова, с которым встретился тогда на Казанском вокзале.

— Пойдем,— Ваня пошел молча вниз по узкой тропе между двумя заборами, Марат и Андрей за ним.

— Вон,— Ваня показал дом и так же молча ушел назад.

Они вошли во двор. В летней кухне на пороге сидел парень, возился при свете с разобранным мотоциклом. Они сели на корточки рядом, закурили.

— Ты чего, вернулся уже с практики? — спросил парень Марата.

— Давно уже. Леха, это Андрей, с новостроек, друг мой, помнишь его?

— Да, помню.

— Мы с тобой в трансформаторном цеху работали,— сказал Андрей.

— Может, и работали.

— А ты где сейчас? — спросил Марат.

— На фабрике кондитерской... Торты шоколадные делаю.

Они не спеша говорили о пустяках, вспоминали разное. Марат вынес из кухни стаканы, тарелку с капустой, выпили.

— Леха,— сказал наконец Марат,— у тебя ствол есть?

— Откуда? — спокойно ответил Леха.

— Нужно очень,— вставил Андрей.— Я заплачу.

— Откуда? — Леха взял отвертку: — Вот разве, если подойдет,— он засмеялся добродушно.

Выпили еще.

— Ну помоги,— снова сказал Андрей.

— Да что я, делаю его, что ли? Я могу, конечно, по фотографии голову твою вылепить из шоколада, на заказ, а оружием я не занимаюсь. Спросите у Татарина, может, он подскажет...

— А где он сейчас?

— Да вон через огород выйди, поднимись на гору, первый барак... — и он снова склонился над мотоциклом.

Они пошли, как он сказал, и вышли на свору собак, напавших на них молча. Они еле отбились палками, отступая наверх. Было уже темно, из-за заборов на них молча глядели люди. Они прошли мимо одного, он стоял в полуметре, облокотившись о штакетник, смотрел куда-то мимо них.

В бараке, в одной из комнат, за столом сидели Татарин и еще один парень, назвавшийся Олегом. Они пили пиво, доливая в кружки из канистры, в прикуску с хлебом и кильками. Андрей поставил водку, Марат вынес из кухни стаканы, они же все говорили не спеша о своем:

— В субботу в смену не выйду.

— Ты карбюратор поменял?

— Да. Теперь тормоза сделаю, так, иногда ничего, а иногда жму, как в масло...

— Слушай, дело есть,— сказал Марат.

— Ну говори.

— Ствол достать можешь?

— Да вы что, ребята? Я и не баловался никогда, пейте пиво лучше.

Марат вышел куда-то. Андрей налил всем водки, но они все разговаривали между собой, не обращая на него внимания. Он оглядел картинки, коврик на стенке, старую радиолу под тряпочкой, выпил нервничая сам. Вдруг пришел Леха, уже с чистыми руками, переодетый. Сев у стола, налил себе сам пива, выпил не спеша, закурил.

— А ты где живешь? — спросил он Андрея, не глядя на него.

— Я учусь, в Москве. А живу в новостройке, за мебельным.

— Дарась в твоём доме живет? — спросил Олег, жуя кильку.

— Нет. Дарась напротив школы, а я через дом, прямо за мебельным.

— Давно его видел? — снова спросил Олег.

— Он же сидит с лета. Я с Володькой заходил к нему в январе, отец его сказал, пишет, в библиотеке устроился.

— А откуда ты Володьку знаешь?

— Так он же со мной на литобъединение ходил. У него вот стихи должны выйти скоро.

Снова выпили, помолчали.

— А зачем тебе ствол? Да ты пей, пей, а то выдохнется.

— Нужен... Вы что, не верите?.. Леха, ты же знаешь меня.

— Да бог тебя знает... — отозвался Леха. — Это когда было...

— А может, ты Москве проданся! — сказал вдруг Татарин.

— Как это?

— А так. Хочешь, я тебе «кнопочник» достану?

— Мне ствол нужен... — Андрей угрюмо вертел рюмку.

— Ну, брат, где же я тебе возьму?

Посидели еще... Вдруг Леха сунул руку в карман и осторожно, чтобы не испачкать в кильке, выложил на стол гранату. Ф-4, лимонку.

— А ты возьми вот это, — сказал он. — За четвертак отдам.

— Да зачем она мне? — Андрей смотрел на гранату. — Что я с ней делать буду?

— Ну как знаешь...

— Ладно... я возьму, — Андрей взял гранату, осмотрел предохранитель, скобу, взвесил на ладони, положил. — Но мне ствол нужен.

Леха молча достал еще одну гранату, поставил рядом с первой, Андрей с удивлением следил за ним.

— Забери, — спокойно сказал тот. — Только атлас пришли.

Андрей достал деньги, дал ему пятьдесят рублей, спрятав тяжелые ребристые лимонки в карманы, усмехнулся:

— Рыбу буду глушить...

— Это твоё дело. А ствола нет.

— А сколько бы ты дал за ствол? — спросил вдруг Татарин.

— Ну не знаю, сотни три дал бы, а то и четыре, смотря что...

Они некоторое время молча пили пиво. Марат все не возвращался. Андрей нервничал. Он налил себе еще водки, сказал:

— Ну что ж, давайте...

— Ладно... — Леха достал из кармана что-то завернутое в тряпку, положил на стол. — Держи Марголин. К нему пятьдесят

пуль. Лучше ты не придумай. Давай атлас.

Андрей отдал деньги, взял сверток, развернул, взял фигурную рукоять, осмотрел тонкий ствол.

— Пользоваться умеешь?

Андрей вынул полную обойму, оттянул затвор.

— Если долго будешь держать, смажь чуть-чуть, можно веретенкой, если ружейного не достанешь.

— Слушай, — заговорил молчавший все это время Олег. — А про что кино будет?

— Рассказывать долго... Выйдет, увидишь...

— А ты бы рассказал, может, дело какое в Москве нам найдется.

Андрей помолчал, глядя на него:

— Квартира есть одна, аппаратура, деньги, тысяч на десять.

— А что, можно съездить, — отозвался Татарин. — Не бог весть. Так, прогуляться. Я помню, в Кремле был, мне понравилось, красиво.

Леха молча встал, не прощаясь вышел.

— Только если поедете, то на днях. Мне некогда. И еще. Денег не так много осталось.

— А вот и поедем сейчас, съездим за деньгами, — Олег засмеялся, толкнул Татарина: — Поедем!

Тот кивнул. Вернулся Марат, встал улыбаясь в дверях.

— Куда это поедем? — Андрей насторожился.

— А в сберкассе, с книжки снимем...

Они сидели в ресторане «Урал», кругом пили, шумели, многие сидели в верхней одежде. Официантка принесла им водки, закуски и села пить вместе с ними. Ее называли Венерой, она курила и ругалась матом.

— Ну идем, — сказал вскоре Олег.

Отказываться было нельзя. Андрей, катая гранаты, пошел за ним вниз, в прокуренный туалет. Пистолет тяжело отягивал ему куртку.

Они помочились, закурили, глядя друг на друга. Входили и выходили люди.

Наконец зашел огромный, заросший до глаз кавказец, с ним еще один, поменьше, второй сразу заперся в кабинке.

— Встань у двери, не пускай никого, — сказал Олег Андрею и подтолкнул к выходу какого-то мужика. — Ну давай, милый, шевелись, а то провоняешь.

Андрей встал у двери, с сомнением глядя на кавказца, уж очень он был большой, необыкновенно большой, на две головы выше Олега. Выглянув из уборной, он услышал позади себя глухой удар, еще один, обернулся. Кавказец сидел в луже у писсуара, куртка его была задрана на голову. Олег

не спеша проверил карманы. Второй что-то спрашивал из кабинки на своем языке.

— Сейчас, родной,— сказал Олег, подходя к его дверце.

Андрей вышел, стоял оглядываясь, ждал. Какой-то парень подошел, хотел пройти, но, увидев, как Андрей загородил ему дорогу, тут же повернулся.

Наконец Олег вышел, причесываясь, не спеша пошел вверх. Андрей тоже поднялся, встал, удивленный. Они все так же пили за столом, не собираясь уходить. Он подошел, нагнулся к Олегу.

— Надо идти, у меня же ствол...

— Ну и ладно,— тот усадил его, налил ему рюмку.— Еще не посидели же...

Татарин и Венера говорили о чем-то. Андрей сидел, хмуро глядя на лестницу, ждал. Наконец они появились. Впереди, оглядывая столы, шел молодой усатый старшина, за ним кавказец, тот, что большой. Он закрывал лицо мокрым полотенцем. Они останавливались у столиков, спрашивали что-то.

Андрей ждал.

Наконец они подошли к их столику.

— Вот он,— кавказец сразу указал на Олега и отодвинулся за сержанта.

— О! — Венера захохотала, показывая на него пальцем.— Ветер в харю, а я... ярю!

— Привет, Олег,— сержант пожал руку Олегу, Татарину, покосился на Андрея.

— Чего случилось? — Олег с любопытством, не вставая, разглядывал кавказца.

— Да вот, опять...— сержант вздохнул.

— Это он, он! — снова сказал кавказец. Под полотенцем на распухшем носу у него была огромная ссадина.

— Слушай, Саш! — возмутилась Венера.— Да мы же не вставали даже.

— Ты же говорил, лица не видел! — сержант обернулся к кавказцу.

— Это он, он! — снова ткнул пальцем тот.— Пусть деньги отдает.

— Слушай, Саш,— Олег покачал головой,— ты его уведи лучше, а то я его зашибу. А ну пошел отсюда! — он посмотрел на кавказца.

Андрей катал гранаты в карманах.

— А это кто? — спросил про него сержант.

— Это Андруха же, с новостройки, товарищ мой!

— Пойдем,— сержант потянул кавказца к выходу.— Протокол составим.

— А этот! — закричал он, махнув полотенцем.— Пусть деньги отдает!

— Слушай ты, цыган,— Олег, сплунув в его сторону, встал, отодвигая стул.— Ну иди отсюда!

— Пойдем, пойдем,— сержант повел его к лестнице.

Олег сел, посмотрел на Андрея, засмеялся:

— Ну что, когда поедем?

— Завтра...— Андрей налил себе, выпил не закусывая. Он все смотрел вслед кавказцу.

IX

Поселились в комнате у Андрея. Пока он ходил в институт на занятия, сдавал коллоквиум по философии, Олег и Татарин по очереди уезжали куда-то с биноклем, который им дал Андрей, и с портфелем, который привез с собой Татарин, работавший ранее на АТС. В портфеле была трубка, штекеры, провода и прочий инструмент.

Иногда перед сном жарили баранину, ужинали с вином или пивом. Татарин очень любил шахматы, часто после ужина они с Мишей сидели над доской, Татарин забирался на диван с ногами в толстых, домашней вязки шерстяных носках. Он с удовольствием, потирая живот, шмыгал носом и вдруг смеялся, сделав ход.

— Я же слона возьму,— говорил Миша.

— Ну-ну...— и он, довольный, откидывался на подушку.

Олег, лежа в гамаке, почитывал их сценарии.

— А ничего,— говаривал он, раскинувшись.— Не знаю, как это снимут, а читать интересно...

Однажды, вернувшись, он привез в сумке щенка охотничьей породы:

— Баба какая-то выгуливала... ну я и подобрал. На что он ей в городе, он же захиреет, ему охота нужна. А я его на зайцев буду брать, на лису... Нет, такая собака без охоты никак не может...— И от тут же стал кормить щенка с руки сырым мясом.— Что? Кровь почуял...

Дважды он водил их в Дом кино, предупреждая оба раза:

— Только здесь не шалите...

— Да чего ж мы, не люди! — обижался Татарин.

Им очень понравился «Крестный отец», в особенности Татарину.

— Молодцы! — восхищался он.— Ну молодцы! Правильно живут. Я давно об этом думал... А та, что в машине взорвалась,— татарка, ну чистая татарка. Я даже знаю ее, она в Каргале живет. Вообще они на нас похожи. Посуетливее только... Вот возьмем у Игоря видак, я его продавать не буду. Фильмы хорошие наберу, смотреть буду.

— У какого Игоря?

— У нашего,— смеялся Татарин,— у коммиссионщика,— он показал Андрею на портфельчик.— Я же все его занудные разговоры

слушаю. Иногда даже спросить его хочется! Он мне уже как родной стал... У него много кассет, я записл,— он порылся, разыскивая листок.— Вот. «Однажды в Америке», это как?

— Ты так киноманом станешь! — Андрей усмехался.

— А что, я уже немного разбираюсь в драматургии...

Идти собрались в пятницу под ночь.

— Живет один,— объяснил Татарин.— Часто звонит, ему звонят, но это мы устроим. Соседи напротив, старик и старуха, сын к ним приезжает, редко... Барахло у него есть. Приятель его, самый тесный, Максим зовут. Пойдем в десять. Позже он не откроет, наверное. Очень уж осторожный, в окно смотрит, а по телефону говорит тихо, прислушивается, словно меня чувствует...

С утра они поехали на вокзал за билетами, Олег взял щенка, гадившего в комнате, чтобы оставить у знакомого проводника. С квартиры они собирались на поезд сразу, не заезжая в общежитие. После обеда Миша, не знавший о деле ничего, и Андрей пошли на мастерство.

На мастерстве засиживались допоздна. И в этот раз, когда Андрей посматривал на часы, Миша дочитывал вслух свою новеллу, и, когда дочитал, вышел спор.

Сидели в маленькой, душно натопленной комнате за сдвинутыми в один прямоугольник столами, совсем уже одуревшие от духоты и тесноты прижавшихся и надоевших друг другу лиц.

Спор начал сам Мастер, сорокалетний лысый мужчина, с простой бородой, одеждой и простым лицом, из старой московской семьи. Рядом с ним сидела молодая миловидная женщина — ассистент, с постоянной, словно застывшей улыбкой на лице.

— Михаил, ты мне скажи, ты что, действительно считаешь, нужно самому судить и самому расправляться с теми, кто портит тебе жизнь? — быстро спросил Мастер.

— Не знаю,— Миша, опустив голову, покачивался на стуле.— Я написал как есть.

Мастер оглядел устало учеников, десяток молчаливых парней, сидевших в разных позах, но глядевших перед собой одинаково сосредоточенно и туло.

— Ну как есть... Ничего себе, как есть! — он постучал несколько раз по столу.— Ладно, меня интересует одно: не он, не герой, а ты сам, сам тоже считаешь, что если нашел негодяя, то не надо ждать. Да что там! Просто взять его тут же и об тротуар мозгами! Яков, ты что скажешь?

— Я? — тотчас искренне поразился мягколицый черноволосый парень в круглых очках.— Леонид Андреевич, я не знаю... Честное слово, не знаю... Мне понравилось... Вот у меня брат, скажем, так он сидит... за нож сидит...

— Но ты-то, слава богу, не сидишь?

— Я? Я не сижу. Но я, Леонид Андреевич, просто послабей был, не мог с ним ходить, хотел, конечно, очень, но не мог... А то бы я, наверное, тоже сидел.

— Спасибо,— Мастер покивал головой.— Утешил...— он снова оглядел учеников.— Сергей!

— Трудно сказать...— отозвался худой парень с усталым лицом, но тут же поднял правую руку и, отталкивая ее, стал чеканить фразы: — Я считаю, произведение искусства только тогда произведение искусства, когда оно учит массы, воспитывает людей! А чему учит нас эта вещь? Бандитизму! И написано так хорошо, что веришь, это правильно. В этом, по-моему, главный ее вред! А так очень интересно...

— Кто еще? — продолжая кивать, спросил Мастер.

Все молчали. Андрей, как и Миша, медленно качался на стуле.

— Миша, ну ты-то все-таки что скажешь?

— Я? — Миша говорил куда-то вниз.— Ну а чего... Сколько же ждать-то можно? Терпели, терпели, а счастья нет. Изверился народ, вот и начал потихоньку сам разбираться. Видно, время пришло...

— Ты что же, призываешь к революции?

— Да какая там революция... Сколько их было уже. Я не знаю, я так скажу, если, к примеру, теперь моих папу и маму обидит кто, то я в суд не пойду... И никакое всеобщее благо или там призывы какие меня не обманут.

— Ну, братец, ты же берешь крайний случай! Исключительный! Речь идет о нормальной жизни, о том, чтобы в этой жизни, как она ни подла, ни мелочна, не ожесточиться, не начать людей резать! А человеком остаться, понимаешь, человеком!

— Леонид Андреевич! — оживился вдруг Яша.— Но ведь бывает случаи, когда, чтобы остаться человеком, как раз нужно ожесточиться и резать!

— Да в том и дело, не бывает! Пойми, не бывает! Я понимаю, о чем ты думаешь, но ведь речь идет о другом. Оглянись! Нет ведь ни фашистов, ни белогвардейцев, ни Сталина, люди кругом, люди!

— А, по-моему, как раз есть,— хмуро заявил Яша.— И фашисты, и все остальные...

— Бог мой, ну ладно, есть, конечно, есть. Но как ты их выбирать-то будешь?

— А можно у кого рожу подлей,— Миша засмеялся.— И кто начальством повыше.

— Да было это все, ребята, было уже! И по роже, и по глазам, и по цвету кожи, и по соцпринадлежности, как вы не поймете, было все! Виноватых-то нет, вернее, виноватые все. Искандер, ты что?

— Леонид Андреевич, у нас на Востоке говорят так, сад...

— Как это все? — перебил его Яков. — Нет, постойте, как это все? Это значит, какие-то скоты заварили всю эту кашу, ну заварили не скоты, но другие скоты людей мучали и теперь мучают, и все виноваты! А я не согласен! Я не виноват... И отец мой — тоже. Он сорок лет слесарем работает, ну пьет иногда... Но у него железа полные легкие. Нет!

Остальные молчали. Искандер, обиженный, надулся.

— Ну хорошо, — Мастер засмеялся зло. — Хорошо, давай мозги об тротуар вышибать!

— Ну зачем об тротуар?

— Можно поласковой, — снова вставил Миша. — Просто посечь и по телевизору показать.

— Ну хорошо! — Мастер горячился все более. — Это не важно, посечь, к стенке поставить... Но, ребята, милые, кто же определять будет, кого посечь, кого — к стенке. Кто скажет, вот этот — гад, он давно нам жить мешает, а этот — просто подневольный жил, кто определит, кого уже надо об тротуар, а кого еще нет, за кем просто приглядеть! Кто? Комиссия? Горком? Общее собрание? КГБ? Кто?!

Яша шмыгнул носом. Остальные молчали.

— Ну как это, кто? — сказал Яша спокойно. — Я. Я сам и буду. А зачем это мне комиссия или КГБ? Чего это они за меня определять будут? Я сам могу...

— Ну, милые мои, вот мы до анархии и докатились. До анархии и хаоса. Костры... Пустые дома и люди на тротуарах с разбитыми головами... Это тоже уже все было...

— Почему? — Миша поднял голову. — Почему костры, люди-то не дураки теперь... Да и проще все будет, хотя не без крови, конечно...

— Неужели все так думают?

Все молчали.

— Андрей! — сказал Мастер.

Андрей поднял голову, он все слышал, но где-то там, за кругом, далеко... Ему уже пора было ехать.

— Ты тоже считаешь, что человек не может выстоять перед жестокостью, не отвечая тем же?

— Может... — он сел прямо, положил руки на стол. — Может... если может... Да, я думаю, человек не должен этого делать, никак не должен... Но делает. Когда нет выхода. Причем выход, наверное, есть, но он не знает его...

Мастер вздохнул устало:

— Значит, все...

— Нет не все! — Андрей говорил тихо. — Некоторым везет. Но, я думаю, если не везет, если он делает. Если вынужден, он все равно не оправдывается. Ничем не оправдывается, потому что не должен... Не должен!

— Да, путанно у нас как-то... — пробормотал Мастер.

Обсуждение продолжалось, но Андрей отпросился. Он уже опаздывал...

Во дворе было пусто. Окна в девятой квартире горели. Он спеша прошел в подъезд напротив. Олег и Татарин курили, ждали его, Татарин тотчас вышел, держа в руке свой портфельчик, пошел к дому.

— Пойдем пройдемся, — сказал Олег. — Он отключит телефоны в доме, и подождет полчаса. Вдруг Максим только что звонил ему.

Они шли по пустынной улице. Ночь была черная, мгlistая, навстречу им спешили прохожие.

— Знаешь, — Олег снова закурил, — актрисы ваши институтские какие-то все страшные... И больные. Вообще, больных здесь много...

Они вернулись в подъезд. Андрей стоял спокойно.

— Да, — вспомнил он, — пойдете назад, ключи возьмите.

— Что он там... — Олег нервничал. — Наверное, позвонишь ты, у тебя голос подходит. Помнишь? Игорь... Держи фонарь, встанешь на третьем этаже. Кто появится, свети, но не в окно, а в стену, увидим. Здесь никто не должен ходить, все уже дома, мужик один придет со смены, но он на первом этаже живет...

В подъезде напротив приоткрылась дверь.

— Ну все, пошли...

Они прошли через двор.

— Что так долго? — шепнул Олег.

— Знаешь, кто-то спускался в подвал к шкафу. — Татарин засмеялся, довольный. — По-моему, он...

Олег выключил свет в подъезде, они быстро пошли в темноте наверх. На площадке встали. Татарин отошел к светившемуся глазу квартиры напротив, закрыл его спиной. Олег встал у двери, достал клещи, кивнул.

Андрей позвонил. Из-за двери не донеслось ни звука. Андрей подождал, позвонил еще раз.

— Кто там? — тотчас спросили за дверью.

— Игорь, это я, Максим, — глухо сказал Андрей, в темноте, слева, он увидел поднявшиеся клещи.

— Ты? Почему так поздно? Приходи завтра.

— Срочное дело. Игорь, — Андрей говорил быстро, с отчаянием, — я звонил тебе, но у тебя что-то с телефоном...

За дверью молчали. На площадке тоже. Андрей усмехнулся, но тут дверь открылась бесшумно, его оттолкнули, он успел увидеть лишь спину Олега и тут же кто-то сдавленно охнул. Татарин быстро прошел мимо него, дверь тихо закрылась. И все. Он постоял немного, пошел вниз...

Он стоял на третьем этаже в подъезде напротив окон девятой квартиры, упершись лбом в стекло, глядел на темные окна вниз. Когда лоб затекал, он тер его кулаком и все глядел.

Входная дверь внизу хлопнула, он слышал, как внизу возились долго с ключами. Вдруг лампа над ним зажглась, осветив нестерпимо ярко всю площадку. Андрей отступил в угол, ища, где укрыться. Внизу все стихло. Он спустился осторожно, снова выключил в подъезде свет, поднялся быстро.

Двор был пуст. Он снова прислонился лбом к стеклу, стал ждать. Вдруг дверь того подъезда отворилась, из него выглянул человек. Андрей, отодвинувшись от стекла, включил фонарь, направив его на стену. Он светил так до тех пор, пока не услышал тихие шаги за спиной, обернулся резко и увидел Олега.

— Ну ты чего? — сказал тот. — Ночевать здесь собрался?

Неся в руках чемоданы и сумки, они прошли дворами и переулками на Полянку, встали за углом дома.

— Сейчас проверю, — Татарин подошел к телефонной будке, набрал номер.

— Ты что, включил уже? — спросил Андрей.

Подержав трубку, Татарин повесил ее, засмеялся:

— Не подходит... Ну и ладно.

— Мы опаздываем уже, — Олег глядел вдоль пустой улицы на приближавшуюся машину. — Мне еще щенка забирать.

Татарин проголосовал, машина остановилась, он пошел договариваться.

— Погоди, а ключи? — вспомнил Андрей.

Олег достал ключи, повертел на пальцах.

— Зачем они тебе?

— Это не твое дело, — Андрей встал перед ним.

Татарин быстро носил вещи в машину.

— Ладно, — Олег отдал ключи. — Это твое дело. Только смотри, осторожно... Увидимся.

Они попрощались, обнявшись. Машина ушла. Андрей долго глядел им вслед, потом рассматривал ключи. Пошел назад.

Он долго возился с замками, подбирая ключи, оглядываясь на светившийся за спиной глазок, наконец открыл, вошел в темноту.

Прислушавшись, закрыл тихо дверь, набросил еще цепочку.

В квартире было тихо, где-то в стене гудели трубы. Вдруг зазвонил телефон. Андрей замер. Звонки, длинные, звонкие, повторялись и повторялись, наконец оборвались.

Андрей, подождав, зажег свет в коридоре, зажмурившись, огляделся. Заглянул в комнату, переступив через сброшенные с вешалки вещи. В комнате, в полумраке на полу, среди тряпок, задвигалось тело. Голова человека была обмотана полотенцами, торчал один нос, которым он шумно дышал. Видимо, у него был насморк.

Человек замычал. Перешагнув через него, Андрей включил ночник. Шкафы были раскрыты, из ящиков на пол вывалены бумаги, рассыпанные скрепки, какие-то фигурки, из спальни торчал белый язык пододеяльника.

Он зашел еще в одну комнату. Здесь на стенах также висели картины, какие-то портреты. Медленно, не спеша, осторожно переступая через брошенные вещи, он обошел всю квартиру, осмотрев внимательно все углы, туалет, кухню, заглянул под кровать, в шкафы. Только после этого он вернулся в прихожую, погасил свет, достал из-под пальто резиновую маску.

Он вошел теперь уже с этим лицом. Бугристая плешь отсвечивала фиолетовым в мертвенном свете ночника, белые грязные волосы, морщинистые дряблые щеки, крючковатый нос, застывшая улыбка — уродливая горбатая старуха смотрела на него из зеркала.

Медленно эта старуха склонилась над человеком, лежавшим на животе со связанными за спиной руками, достала из кармана лоскут пластыря, склеила его. Посреди лоскута из прорези свисал детский надувной шарик, похожий на презерватив. Так же медленно она убрала полотенце с нижней части лица связанного, вынула кляп. Тот задышал ртом, приходя в себя. Она аккуратно вставила ему в рот отверстие шарика, плотно заклеила весь подбородок пластырем.

Человек замычал гадко, и шарик надулся немного, превратившись в пузырь. Он закричал, видимо, изо всей силы, но пластырь и пузырь заглушили крик. Старуха, надавив, спустила воздух в пузырье ему обратно в рот, тот закашлялся. Она подняла, усадила его на диван и только теперь смотала поло-

тенце, освободив ему глаза. Лицо человека оказалось обычным, лишь на лбу у переносицы была ссадина и всклокоченные волосы.

Человек замотал головой, дернул связанными руками, связанными ногами, открыл глаза, с удивлением разглядывая пузырь, висевший под носом. Потом поднял лицо, секунду лишь глядел на старуху в кресле, закричал истошно, надувая пузырь, откинулся набок, не переставая кричать, давясь, задержал ногами, словно хотел убежать...

Затихнув, он лежал некоторое время, потом, приподнявшись, снова глянул на старуху, снова закричал, пополз, извиваясь телом, как червяк, вдоль стены...

Так повторилось несколько раз, наконец он затих совсем. Старуха встала, выпустила в него воздух из пузыря, тот хрипел гортанью, носом, и усадила снова, сама опять села в кресло напротив. Человек сидел замуравившись.

— Я задохнусь,— ему приходилось кричать, но выходил сдавленный шепот, так, словно он говорил, а ему ладонью зажимали рот. Открыв глаза, он закрыл их тут же, снова замыкал: — Не надо! — он мычал долго, фигуру, снова упал, дергаясь в истерике.

Старуха снова усадила его, опять села в кресло.

— У меня ничего нет! — закричал человек, и дальше, долго, что-то бессвязное, неразборчивое.— Все отняли! — вдруг ясно крикнул, и снова что-то смутное, упал, заплакал хрипло.

Старуха неподвижно сидела в кресле, смотрела на него, улыбаясь мертвенными губами. Человек искося поглядел на нее, закричал что было силы.

— Что вам нужно?! — закашлялся, захлебываясь воздухом, выходящим из пузыря со свистом через его нос.— Возьмите... Возьмите... На кухне под кафелем сверху! Там все... Только уберите это лицо!

Старуха прошла в кухню, зажгла свет, помогая себе топориком для разделки мяса, оторвала несколько плиток кафеля над раковиной, взяла в маленьком углублении пакетик, разорвала его, там была пачка пятидесятирублевых бумажек. Она погасила свет, вернулась назад, в кресло, бросив деньги на пол.

— Десять тысяч! — закричал человек.— Гады! Гады!!!

Смерть все так же смотрела ему в глаза. Человек лег на бок, зажмурился, сопя, свистя носом, вдруг крикнул:

— Я вижу, что это маска! Уберите! У меня больше ничего нет.

Старуха встала, покачивая огромной головой, склонилась над ним, вдруг прилегла рядом с ним, придвинулась вплотную к его спине.

Человек извивался, кричал из последних сил. Руки старухи обхватили его виски, прижали к дивану.

— Не убивайте! — снова глухой крик.— У меня ничего нет! — он бился, стараясь высвободиться.

Но руки держали его, одна обхватила за шею, а другая тихо прошлась по голове. Старуха тихо, медленно гладила его по волосам, шепча в ухо:

— Убью тебя... Не отдашь все, убью...

— Я отдал! Все, что есть! Клянусь!

— Нет...

Оба замолчали, продолжая лежать в той же позе, лишь старуха все гладила его по голове. Они лежали долго и вдруг в какой-то миг заснули оба, замерли. Ночь тянулась черная, мутная...

Андрей проснулся первый, огляделся, достал из кармана пистолет, осмотрев его. Сев над человеком, затормошил его, усадил, привалив к стене, замыкавшего в мокрый сникший пузырь. Тот открыл глаза, закрыл снова, стараясь отвернуться, но старуха открыла ему веки, сунула в нос тонкий ствол Марголина.

— Нет! — закричал тихо тот, замотал головой, стараясь отползти, но старуха прижала его к стене, медленно достала обойму, шелкнув, вынула серый патрон, поволола им перед его глазами, потом, оттянув затвор, положила его в ствол. Затвор шелкнул.

— Смотри,— старуха подняла его голову, развернула так, чтобы свет падал в ствол.— Смотри туда. Видишь, там... Сейчас...

— Нет! — закричал человек из последних сил.

— Я буду здесь долго, пока ты не отдашь.— Нет!

Старуха снова села напротив него, придерживая за плечи, водила стволом, когда тот пытался закрывать глаза. Так они просидели еще...

Когда он потерял сознание, старуха сходилла на кухню, нашла спирт, вернувшись, натерла ему виски. Человек, придя в себя, сидел, привалившись к стене, глядел на старуху, которая, придвинув кресло, так же молча глядела на него.

Застонав, он лег ничком и заплакал тихо, жалобно. Проплакавшись, поднял мокрое лицо, замер. Старуха сидела в кресле и при свете ночника читала какую-то книгу, не обращая внимания на связанного, тихо перелистывая страницы. Пистолет лежал у нее на коленях. Он снова уткнулся в диван, завыл глухо и тоскливо.

Так друг против друга они просидели всю ночь. Иногда старуха вставала, вынимала из ствола патрон и, поводя по его ушным раковинам, подносила к глазам, маленький серый патрон, потом снова вставляла в ствол, повторяя:

— Вот твоя смерть... Мое лицо — последнее, что ты видишь.

— Нет,— бессмысленно повторял человек.— У меня ничего нет... Я хочу мочиться...

Утро занималось бесцветное, мертвое.

Старуха, уже с трудом, усадила человека на стул перед зеркалом. Передвинув лампу, села позади него, чуть сбоку, раскачиваясь тихо, взяла расческу, глядя на него в зеркало, медленно стала причесывать его взлохмаченные волосы. Она водила, водила расческой, делала аккуратный пробор слева, поправляла, ровняла каждый волос. А затем начинала причесывать в другую сторону.

Человек, безучастный, в полной апатии, глядел в зеркало, вглядывался, и глаза его открывались все шире и шире, наполняясь ужасом. Старуха не мигая смотрела на него из зеркала, рядом с ее лицом было лицо с нелепым спустившимся пузырем, а руки старухи все расчесывали, выравнивали ему пробор. Собрав весь воздух, он закричал протяжно, отчаянно... Старуха отодвинулась, повернулась к нему. Штаны его намочили, под стулом быстро натекла лужа.

— Потерпи... Уже скоро,— старуха встала, взяла на полке баночку с пудрой, ватку, села снова, так же медленно стала пудрить его нос, заклеенные щеки, потом осторожно поставила баночку на место.

— Вот и все, Игорь,— сказала старуха и тихо взяла пистолет.

— Все! — вдруг спокойно сказал человек.— Забирай. Там в углу, под полом... Все пятьдесят тысяч... Придется тебе пол поднимать!

Он согнулся, захрипев. Его вырвало, прямо в пузырь, он дрожал всем телом и мотал головой...

Когда Андрей поднял доски и, взяв с бетона широкий бумажный пакет, осмотрел деньги, за окном уже почти рассвело.

Он спрятал пакет под пальто, убрал туда же пистолет и те деньги, что взял на кухне. После этого он отклеил ему пластырь со рта и развязал руки. Похлопав по щекам, привел в чувство. Тот застонал, оглядевшись, едва повел руками, облизав губы, с ужасом посмотрел на старуху, отвернулся, не выдержав.

— Не убивайте,— попросил тихо.— У меня больше ничего нет... Это правда.

— Нет, Игорь, неправда,— так же тихо сказал Андрей.

Он огляделся, погасил ночник, проверил карманы. Затем медленно, не обернувшись даже, вышел в коридор, снял цепочку, открыл дверь, не закрыв ее, пошел вниз.

Он прошел дворами, в которых было уже светло и громко пели птицы. Одинокая машина повернула в какой-то улице. Андрей махнул ей. Водитель, разглядев его лицо, круто вильнул, прибавил скорости. Только тогда Андрей вспомнил о маске, содрал ее, вдохнув широко воздуха. Лицо его было синим и смятым. Он швырнул маску в мусорный бак, огляделся, все еще не понимая ничего, и все трогал, тер онемевшее, без крови, лицо...

Х

Такси высадило его где-то на задворках, там, где Яуза текла под железной дорогой. Пошатываясь, придерживая бутылку, торчавшую из кармана, он пошел через свалку к реке, разделся быстро, бросив на землю деньги и оружие, залез сразу, голый, в бурюю воду, окунулся с головой...

Сидел, выпив уже, курил, дрожа немного, покачивая головой, глядел на разлившуюся реку.

В тот же день они пили. С утра Андрей поднял Мишу, поднял всех, кого нашел. И пошло... В «Космосе» в шведском столе пили сначала шампанское, потом водку, снова вино, снова водку, вставали, садились, говорили тосты, пели что-то и сажали к себе всех, кто попадался.

Из всего, и то смутно, было лишь, как Андрей сидел в маленькой комнатке у барменши и говорил ей, что вернулся с приисков и привез золота на шестьдесят тысяч в подошвах, показывал ей все свои ботинки; какие-то американские баскетболистки, с которыми Миша все собирался бороться на руках, сдвигая посуду, японские стюардессы, которых они звали в институт, говоря, что все будет, но они не понимали ни русского, ни английского, но сразу встали и пошли, когда Миша сказал им по-японски.

— Куросава... Ну! Куросава...

Куда-то они делись потом, и слава богу, потому что они все-таки пришли в институт, и там Андрей поймал на лестнице декана и обнял его, сказал, стуча в грудь:

— Хороший ты мужик, но грустный какой-то...

Миша в это время зачем-то собрал омолода студенческих билетов, сложив их все у кабинета ректора на пол. Потом Андрей снова поймал на лестнице декана и снова обнял его:

— Хороший ты мужик, но грустный какой-то.

Они грузили в кузов ящики с вином, ехали, пили, потом выгружали, роняя бутылки, а водитель, держа в руках деньги, ныл все:

— Ох, посадят меня, ребята, ох, посадят...

Оказалось, что Андрей спал какое-то время у художниц, и Миша спал неизвестно где, они снова пили, звонили кому-то и очень долго ехали в Дом кино.

Там вообще все смешалось. Джаник, вставший на стул, чтобы выпить за Вертинскую; Грузин, игравший на пианино; огромный бородатый человек, хлопавший Андрея по плечу; Миша, хлопавший по шее какого-то известного режиссера и повторявший:

— Хороший ты мужик, только грустный какой-то.

Глаза Наташи, ее тонкий голос, снова Миша, убеждавший официантку ехать куда-то, где все будет, какие-то девицы, которых просил привести Грузин, Смоктуновский, который просил увести девиц.

Снова Миша, на этот раз ходивший по улице вокруг членов Союза кинематографистов с шампуром и время от времени встававший в стойку и оравший:

— Гвардейцы кардинала, ко мне!

Засыпал, заморосил редкий дождь, стало темно и сыро, Наташа все просила, бедная:

— Ну тише, я прошу вас. Андрей, тебе плохо? Тошнит?

— Меня? Тошнит? — заорал он и зарычал, остановившись. — Р-р-а-а-а! Меня тошнит! — подошел к какой-то машине, оперся на лобовое стекло. — Р-р-а-а-а!

Водитель высочил, испуганный.

— Ничего, ничего, — успокоил его Андрей. — Извините, просто я б-блюю. Я з-зайкаюсь и-иногда и и-иногда б-блюю, — он сел на тротуар, поймал за штанину прохожего, подтянул его ногу, стащил с ноги ботинок.

— Р-р-а-а-а! Ничего, ничего. Это я б-блюю. У м-меня друг есть Б-батыр, м-мы с ним в-вместе з-зайкаемся и б-блюем. Р-р-а-а-а, — он сделал вид, что блюет в ботинок.

— С ума сошел! — Мужчина, солидный, в шляпе, с дипломатом, скакал на одной ноге. — Отдай туфель! Хулиган!

Наташа пыталась поднять его, Миша тыкал шампуром в кусты, а сзади с песнями шли Грузин и еще кто-то. Кто-то, человек лет пятидесяти, нес ящик с вином и пытался кричать что-то по-грузински.

— Вот, — Грузин показал ему на Андрея, сидевшего на асфальте. — Вот, тоже сценарист. Андро, это сценарист!

Андрей встал и обнял его.

— Я прошу вас тише! Вас же заберут! Вон милиционер...

Андрей тотчас подошел к милиционеру, отдал ему честь.

— Ну? — сказал тот хмуро.

— Проверьте у м-меня документы, — потребовал Андрей. — Н-нуждаюсь в проверке д-документов. И-имею п-подозрение, что я ш-шпион!

— Ну пойдём, — тот так же хмуро взял его за руку. — Шпион.

— Я прошу вас, не надо! — подбежала Наташа. — Я его отвезу!

— И-имейте в виду, с-сдаюсь добровольно...

Подошли Грузин и сценарист с ящиком, Грузин тут же обнял милиционера, стал целовать его, не выпуская, тот еле вырвался.

— Порядок нарушаете! — он с угрозой потянулся к рации. — Пьяные!

— Да, я пьян! — крикнул радостно Андрей и сам обнял его, целуя. — Родной ты наш.

Милиционер вывернул ему руку. Но тут вышел из кустов Миша с шампуром, встал в стойку, заорал:

— Гвардейцы кардинала, ко мне!

Милиционер, извернувшись, кинулся на шампур, как петух, но едва не упал, споткнувшись об Андрея, упавшего ему в ноги с воплем:

— Ваше благородие! Не прикажи казнить, прикажи миловать! — И он долго еще гнался за ним, удивительно быстро двигаясь на коленях.

Потом он оказался где-то за городом, все шел за какой-то женщиной, требуя от нее воли, и обещал усыновить ее пятнадцатилетнего сына.

Под утро вернулся домой Миша, заглянул в ванную. Андрей сидел по-турецки в маленькой сидячей ванне в полном тумане, из крана на него лился кипяток. Он сидел совсем голый, красный и все тер и тер лицо...

— Ну как ты, жив? — спросил Миша.

— Сейчас иду... Иду...

Больше он не пил. На следующий день он оставил Мише заявление с просьбой отпустить его домой, собрал вещи. Они обнялись.

— Я тебе забыл сказать, — Миша помялся. — С нами договор заключили. Сценарий наш взяли. А у меня идея появилась. Гениальная... Ты скоро вернешься-то?

— Скоро... Ты вот что... хотя ладно... Ладно...

(Окончание следует).

ЗАПИСКИ КОНФОРМИСТА, НЕ ДОЖИВШЕГО ДО ПЕНСИИ

Дядя Шура сдержал свое слово. В начале марта в нашем поселке появился человек, который надолго потряс мое воображение. Это был коренастый, плотный мужчина, сверкающий золотыми зубами. По-моему, у него не было ни одного своего зуба. На его мужественном, обветренном лице с глубокими морщинами отчаянно блестели светлые, голубые глаза. Одет человек был по тем временам сногшибательно, почти как Пархоменко из фильма Лукова, который я смотрел в замороженном насквозь клубе. На нем была круглая каракулевая кубанка с кожаным верхом, кожаная коричневая шведская куртка, галифе с кожаными шлеями и начищенные до зеркального блеска хромовые сапоги.

— Голубиевский, — представился он теткам и маме и, скромно потупив взор, добавил: — Агент по снабжению.

Он сообщил, что дня через три из Усть-Выми двинется санный поезд с сеном для леспромхозовских лошадей, и он возьмет нас с собой и доставит в Ухту к дяде Шуру. Он снял шведскую куртку и расстегнул френч сталинского покроя — в таких ходили все ответственные работники, под френчем была тельняшка. Это окончательно добило меня.

Пока мама и тетки, суетясь, накрывали на стол, самым большим украшением которого были тоненькие, прозрачные как бумага блинчики на воде и мелко колотый сахар, Голубиевский открыл маленький докторский саквояж и достал буханку хлеба, банку мясных консервов и бутылку водки — целое состояние по тем временам. Тетки и мать выпили по рюмочке и развеселились.

Оказалось, что Голубиевский совершенно необычный человек, не уступавший по смелости, отваге и жизненному опыту самым отчаянным героям Буссенара. Свою революционную деятельность он начал юнгой на броненосце «Потемкин». Правда, успел забыть имена руководителей восстания, кото-

рые помнил я, но ведь с тех пор прошло столько лет, а я прочитал книжку о восстании всего два месяца тому назад. Потом он мыл золото на Клондайке, и опять я подсказывал ему названия перевалов и городков старателей. «Чилкут, Даусон», — с восторгом говорил я, и Голубиевский устало и снисходительно кивал головой. Как бы случайно он положил руку на плечо тете Вере.

После Клондайка Голубиевский провел через всю Сибирь эшелон с золотом, отбиваясь от белобандитов — колчаковцев и врангелевцев, и благополучно сдал его чуть ли не самому Ленину. Затем он руководил строительством Волховстроя и громил басмачей в Средней Азии. Он знал Котовского и даже получил в подарок от него маузер. С Пархоменко он дружил с детства, о Ворошилове отзывался сдержанно, о Сталине не говорил ни слова. Но по его многозначительному молчанию ясно было, что существуют какие-то тайные мотивы, благодаря которым он очутился здесь, а не командовал одним из фронтов. Как ни странно, это загадочное молчание вызвало самое большое сочувствие у моих теток и матери. Когда Голубиевский перед сном вышел покурить на улицу, тетя Катя, старшая из сестер, сказала:

— Тридцать восьмой год! Но ты, Вера, смотри!..

Тетка Вера покраснела и обиженно отвернулась. Мать засмеялась, а тетя Таня, самая скептическая из сестер, сказала:

— Врет он все! Тоже мне, строитель Волховстроя. Волховстрой строил Графтио. Я не знал, что Волховстрой строил Графтио, и очень обиделся за Голубиевского.

— Ничего он не врет! — возбужденно закричал я. — Такой человек врать не может: он юнгой на «Потемкине» был!

На следующий день меня отпустили с Голубиевским в баню.

Он сложил свои многочисленные кожаные вещи в шкафчик и стал стягивать с себя

тельняшку. Я тоже разделся и, когда хлопнул дверь шкафчика и повернулся, остолбенел. Вначале я увидел застывшего с разинутым ртом банщика, стоявшего на деревянной ноге, вытянув руку с огромным амбарным замком. Замок как бы повис в воздухе. С открытыми ртами и кружками хвойного настоя застыли помывшиеся граждане. Настой продавался в бане вместо пива и, говорят, помогал против цинги. Потом я увидел гордо-снохобительное лицо Голубиевского. Лицо и шея у него были белые, а то, что ниже, было синим и походило на хвост русалки и только очертаниями напоминало мужское тело.

Голубиевский взял из рук банщика амбарный замок, запер свои кожаные вещи, повесил ключ на шею и, гордо повернувшись, прошествовал мимо разинувших рты устьвымыщев в мыльню. Я пошел за ним. Наиболее светлым местом на теле Голубиевского были ягодицы, и на них был изображен кочегар, подкидывающий в топку уголь лопатой. Так вот, когда он шел, весь этот рисунок как будто оживал. В парилке, а потом в мыльной я пытался рассмотреть удивительные истории, запечатленные на теле Голубиевского: переплетения из виселиц, якорей, игральные карты, голых девушек, клиперов и пароходов, могил, витиеватых надписей, горных орлов и чаек, змей, обвивающих мечи, ножей, протыкающих сердца, странных соединений из мужчин и женщин — теперь-то я знаю, что они изображали половые акты. Мотыльки украшали его мужское достоинство. Мышки и кошки были вытатуированы на подошвах его ног.

Похоже было, что Голубиевский находился долгое время с художником под стать самому Леонардо и у того не было бумаги. Словом, это было уникальное художественное явление, и я преисполнился дикого почтения к Голубиевскому. Ему крупно повезло, что он не попал на войну, а поэтому не мог попасть в плен. Иначе фашисты непременно ободрали бы его с головы до пят, и абажур из его кожи висел бы в кабинете самого Гитлера.

С детства я обладал некоторыми способностями к рисованию и, уступая просьбам своих товарищей, рисовал на их грудях крейсера и эсминцы химическим карандашом. Пытаюсь сохранить рисунок навечно, они обкалывали его иголками и натирали тушью для авторучек. Страшно вообразить, во что превращались эти рисунки. Они покрывались сыпью, иногда язвами, гноились, сочились, долго не заживали. Но потом оставались навечно на телах моих друзей, правда, в искаженном виде. При мысли о том, что Голубиевский безропотно перенес такие страдания на каждом сантиметре своей кожи, мои слабые сомнения по поводу того, мог ли

он служить юнгой на «Потемкине» в пятилетнем возрасте, ибо восстание было в тысяча девятьсот пятом году, а ему, по его же словам, было всего сорок три года, эти сомнения рухнули окончательно.

Придя домой, я с восторгом начал делиться своими впечатлениями с тетками. Их реакция на мое сообщение меня удивила и разочаровала.

— Я же говорила, — сказала тетя Таня, — что он жулик.

— И как Шурик мог прислать такого человека? — задумчиво сказала тетя Катя.

— Может, он не раздевал его перед поездкой? — сказала тетя Вера.

— Ой, Вера, берегись! — сказала тетя Таня.

Вечером Голубиевский сделал еще одну попытку покорить сердце тети Веры. К этому времени он успел познакомиться с нашими хозяйками Зиной и Капой, и из-за стенки постоянно доносились взвизги и счастливый кокетливый женский смех. Мы уже укладывались спать, когда он появился в расстегнутом френче, веселый и пьяный, и одарил Леночку — дочку тети Веры — и меня плитками пористого английского шоколада, по тем временам это была неслыханная роскошь. До сих пор не могу понять, откуда он его взял.

— Вера Александровна, — шепотом говорил он, прижав тетку Веру к печке, — ну пойдемте, ну что вам стоит, посидим... Один раз ведь живем...

И тут вдруг мне стало обидно за дядю Костю, сидевшего в промерзших окопах под Ленинградом, и я даже собрался запустить в Голубиевского английским шоколадом, от которого я уже откусил маленький кусочек и бережливо мусолил его во рту. Мать и тетки угрожающе молчали.

— Как вы смеете! — тихо и гневно сказала тетка Вера. — Как вы смеете, строитель Волховстроя и борец с басмачами! У меня муж на фронте, а вы тут!.. — Она твердо отвела руку Голубиевского и пошла к кровати, на которой, зажав в руках шоколад, лежала Леночка.

Я подумал, сейчас она отберет шоколад у Леночки, и я тоже отдам свой. Но тетка, присев на кровати, озорно улыбнулась и сказала:

— За стенкой такие две женщины замечательные, а вы тут зря время теряете!

Голубиевский еще немного постоял, облокотившись о печку, потом тряхнул головой и пошел на хозяйскую половину. Я заснул под счастливый визг Зины и Капы.

Утром, когда все ушли на работу, я наступал на градуснике температуру тридцать семь и пять и в школу не пошел. Я зашел

на хозяйскую половину. Там царил беспорядок, который я видел только в кино во время обысков царской охранкой квартир ссыльных большевиков. Обе хозяйские кровати были сдвинуты вместе, а подушки были разбросаны по кровати и даже валялись на полу. Красное стеганое одеяло свисало с печки, на которой я лежал с Зиной год тому назад. Сам Голубиевский, в белой нижней рубашке и галифе, но без сапог, сидел за столом и слушал, подперев свою отчаянную голову кулаком, песню «Как у дуба старого», доносившуюся из патефона, стоявшего на столе среди грязных тарелок и стаканов.

— А, Макар-следопыт! — сказал он. — Присаживайся. Водки хочешь?

— Хочу, — решительно сказал я.

Голубиевский удивленно прищелкнул языком и налил мне полстакана мутной жидкости.

Водку я пил один раз в жизни. Мне было три года, и к нам на дачу приехал наш родственник Кипрушкин. Он был гуляка и весельчак. Уже после революции он загнал свои лесные дачи англичанам, которые и думать не могли, что большевики придут к власти надолго. На эти деньги дядя Вася очень неплохо жил, работая обыкновенным совслужащим. Продукты и напитки он покупал исключительно в «Торгсинах».

К нам он приезжал в костюме-тройке, в начищенных штиблетах, из нагрудного кармана пиджака торчали, наподобие газырей, ручки «паркер» — большая роскошь по тем временам. Он открывал свой щегольской чемоданчик из крокодиловой кожи и доставал большой ассортимент самых изысканных напитков и продуктов. Потом они усаживались за стол, и отец укорял его за то, что он не сдал валюту, полученную за лесные дачи, на нужды революции.

— Что же ты, Михаил, не донес на меня? — говорил дядя Вася, хитро подмигивая. — Тогда, в восемнадцатом году, когда я спал у вас в детской с валютой под подушкой, а к вам пришли матросы с обыском? Мог бы донести — ведь ты же тогда сам в большевиках состоял.

Отец сердито плевался.

— Вот, — говорил дядя Вася, — то-то. Самое главное — я же ведь англичан обманул, а не Советскую власть. А денежки эти все равно в России останутся, только мы с тобой на них водочки попьем и икорочкой закусим. — Они выпивали, и дядя Вася говорил: — Что у тебя, кроме зарплаты? А мне этих фунтов по гроб жизни хватит да еще и на похороны останется.

Дядя Вася умер от голода в блокадном Ленинграде, и его похоронили в братской могиле на Пискаревском кладбище. Куда девались фунты, я не знаю. Может быть, он растапливал ими буржуйку, а может, сдал

в фонд обороны. Советскую власть он не любил, но немцев и англичан он не любил еще больше.

Вот в один из приездов дяди Васи я подошел к столу и попросил у него попить. То ли случайно, то ли из купеческого ухарства, он налил мне стакан водки. Я выпил полстакана и сказал дяде Васе:

— Это не вода.

Он удивленно посмотрел на меня, понюхал стакан и захохотал.

— Михаил, — сквозь смех кричал он, — иди сюда!

Из соседней комнаты вышел отец.

— В чем дело? — спросил он хохочущего дядю Васю.

— Ой, не могу! — икал дядя Вася. — Сынок-то в деда пошел: полстакана выпил и не поперхнулся!

Отец с матерью выгнали хохотавшего и икавшего дядю Васю из дома, и он пошел по пыльной улице, сгибаясь пополам от хохота и размахивая руками.

Теперь Голубиевский протянул мне стакан и смотрел на меня выжидающе, как дядя Вася. Я залпом выпил вязкую жидкость и сказал Голубиевскому:

— Это не водка.

Это действительно была не водка, но я тогда еще не знал о существовании самогона. В отличие от дяди Васи Голубиевский не стал хохотать. Он налил полстакана себе, выпил, крикнул, понюхал корку хлеба. Лицо его перекосилось.

— Да, парень, — сказал он, — далеко пойдешь, если тебя не посадят.

Через два дня пришел трактор с двумя прицепными санями, и мы стали грузить в сани наши скудные пожитки.

Мать и тетки таскали чемоданы, когда Голубиевский вышел на крыльцо со своим чемоданчиком. За ним, заплаканные, с опущенными лицами, вышли Зина и Капа. Мы ушли в сани на слезавшееся сено, а Голубиевский залез в трактор. Трактор дернулся, и мы поехали, скользя по начавшему таять весеннему снегу.

Мы ехали по накатанной лесной дороге — трактор и двое саней с сеном. На первых санях сидели две мрачные личности в шапках с длинными ушами до пояса. Иногда трактор останавливался, Голубиевский выскакивал из кабины и карабкался к ним наверх. Они сидели выше нас и пили мутный самогон из литровых бутылок, делая приглашающие жесты маме и теткам. Мама и тетки лучезарно улыбались им и весело махали — мол, пейте, вам больше достанется. Но когда они поворачивались к Голубиевскому и его попутчикам спиной, лучезарные улыбки исчезали, и лица становились озабоченными.

На поворотах санный поезд заносило, наши сани ударялись о сугробы, и каждый раз нас чуть не выкидывало в снег с трехметровой высоты. Особенно страшно было, когда мы проезжали через овраги. На мостах не было никаких ограждений, и иногда задняя часть наших саней, скользя по насту, зависала над обрывом.

Мы ехали весь день, и за все время нам не попалось ни одной деревни. Голубиевский, допив очередную бутылку самогона, перепрыгнул с передних саней на наши. Он прыгнул мягко и легко и сразу же обнял тетю Веру за плечи. Мужики на передних санях жадно и выжидающе смотрели сверху, вероятно, так смотрит стая волков на своего вожака, прежде чем накинуться на добычу. И тут поднялась тетя Таня — младшая из сестер.

— А ну-ка, оставьте Веру, — сказала она спокойно и твердо. — Когда мы приедем, я расскажу Александру Александровичу, какой вы замечательный защитник женщин. Думаю, ему это не понравится.

Голубиевский застыл, на его лице загуляли желваки, рука медленно соскользнула с плеча тети Веры. Он еще несколько минут посидел, как бы обдумывая создавшееся положение, а потом тихо вылез из саней и побежал догонять трактор. Мужики разочарованно отвернулись.

К вечеру наш санный поезд остановился у довольно большой деревни. Солнце зашло, и сразу стало холодно. Голубиевский, тракторист и двое ушастых мужиков молча прошли мимо наших саней и направились к двухэтажному дому. Вскоре в окнах загорелся тусклый свет и замелькали тени. Мы съели по ломтику промерзшего хлеба и выпили по глотку теплого чая из шиповника, чай наливали из большого термоса.

В небе взошел ослепительный серп луны. Черные, молчаливые дома спали вдоль дороги, и только в одном из них все ярче светились окна. Там, в тепле и уюте, гулял Голубиевский с компанией. Несмотря на все одежды, и одеяла, и сено, я чувствовал, как холод сковывает мои руки и ноги, как у меня слезятся глаза, как немеют щеки и нос.

Спустя час тетя Вера сказала:

— Девочки, мы же замерзнем здесь к чертовой матери!

Она слезла с саней и пошла по улице с черными спящими домами. У каждого дома она останавливалась и стучала железным кованым кольцом, приделанным к двери. Избы угрюмо молчали. К дому, где веселился Голубиевский, тетя Вера не подходила. Наконец в конце улицы раздался скрип от-

крывающейся двери и послышалось бормотание голосов.

— Идите сюда! — закричала тетя Вера.

...Господи, какое это блаженство — попасть в тепло, особенно когда ты промерз до того, что страшно дышать, потому что морозный воздух не согревается внутри тебя и с каждым вздохом ты теряешь последние крохи тепла.

При тусклом свете керосиновой лампы мы сбрасывали с себя промерзшие шубы и валенки, разматывали шарфы, и иней, покрывший серебром волосы теток и мамы, постепенно начинал сереть и превращался в мелкие капельки воды. Пожалуй, такого блаженства я не испытывал никогда в жизни, если не считать встречи с любимой и любящей тебя женщиной после долгой разлуки. Но до этого было еще далеко. А сейчас я чувствовал, как тепло постепенно проникает в меня, и только внутри почему-то холодно.

Впустившая нас старушка, поохав, залезла на печку, а мы расположились кто как мог. Мы с мамой легли на полу на домотканых грубых половиках. Тетя Таня задула лампу, и в окна полились голубые потоки лунного света. Постепенно холод внутри тоже начал исчезать, и я задремал, привалившись под бочок к маме, вдыхая пыльный запах домотканых дорожек, глядя сквозь смыкающиеся веки на серо-голубые в лунном свете, чисто выскобленные доски пола. Старушка на печке храпела могучим басом, тетки и сестра тихонько посапывали, и вскоре я тоже заснул, ощущая спиной тепло мамы.

Проснулся я от ощущения опасности и оттого, что все тело мое горело, как от горчичников. Я открыл глаза и увидел, как по выбеленным доскам пола ползет что-то черное, бесформенное, ползет, меняя свои очертания. От моего крика проснулись все. В свете керосиновой лампы черная ползущая масса приняла красноватый оттенок. Это были клопы. Такого количества клопов я не видел никогда прежде.

В Усть-Выми тетки и мать боролись с ними, обливали кровати кипятком, мазали керосином, ставили ножки кровати в консервные банки с водой. Но клопы, как «штукасы», пикировали на нас с потолка, затаивались во всех щелях, в складках одежды, в наволочках и жрали нас, истощенных голодом.

Сейчас, при свете лампы, мы давили их ногами, как давят виноград в чанах с вином, стряхивали их с одежды, но они продолжали ползти. Пол покрывался кровавыми шевелящимися пятнами, и старушка на печи заохала и запричитала:

— Что же вы делаете, ироды! Тоже ведь тварь божья! — Наверное, у нее был заключен сепаратный мир с клопами.

...Утром деревню затянуло густым туманом. Резко потеплело. И мы, зарывшись в сено, уже не стучали зубами, как вечером перед встречей с клопами. Голубиевский с компанией появились в десять часов утра злые, с опухшими лицами. С нами он не поздоровался и не поинтересовался, где мы провели ночь.

Заревел мотор, и мы поехали в молочной белизне тумана по начинающей раскисать дороге. Туман был такой густой, что на поворотах мы не видели трактор, а мрачные личности на передних санях виднелись, как вершины гор, окутанные облаками. Мы двигались на юг, и с каждым часом становилось все теплее и теплее, снег на дороге превращался в хлюпающую кашицу. Иногда сани, съехав с дороги на повороте, проваливались в подтаявший снег, и трактор, отчаянно ревя мотором, выдергивал их на накапанную плоскость дороги.

К вечеру мы подъехали к небольшому поселку. Длинные барак стояли вдоль дороги и были еле видны в тумане. Прежде, еще задолго до того, как первые барак вынырнули из тумана, мы почувствовали, как запах чистого тающего снега сменился запахом человеческих экскрементов, и тетя Таня, потянув носом, сказала:

— Жильем запахло.

К нашим саням подошел высокий красивый человек с интеллигентным лицом. Он был одет в черный, ладно пригнанный романовский полушубок, в высокие сапоги и пыжиковую шапку. Рядом с ним роскошный Голубиевский выглядел вульгарно. Человек помог маме и теткам слезть с саней и вежливо поцеловал им руки. Потом он снял с саней меня и Леночку.

Голубиевский и мрачные личности суетливо таскали наши вещи на крыльцо барака. В присутствии этого человека они сильно переменялись. В Голубиевском вдруг проглянуло что-то собачье, так угодливо он заглядывал в спокойное, чуть брезгливое лицо человека в полушубке. Это был друг дяди Шуры — начальник лесопункта Киселев.

Мы поднялись на крыльцо, где лежали наши вещи. Туман начал рассеиваться. Метрах в десяти от крыльца торчала дощатая будка сортира, тем не менее снег вокруг крыльца был усеян кучками экскрементов. Прямо на крыльцо выходил длинный широкий коридор с множеством дверей по обе стороны.

В одну из дверей мы и вошли. Я остановился, пораженный несоответствием внешнего вида барака тому, что увидел в комнате. Комната сверкала чистотой. Обставлена она была незатейливо, но любовно, на всем лежал отпечаток какого-то необыкновенного сердечного уюта. Множество вышитых салфеток,

дорожек, подушек, которые принято считать мешанскими, украшали этот оазис. Вышивки на салфетках и подушках свидетельствовали о высоком профессионализме и вкусе вышивальщицы.

Из двери, ведущей в смежную комнату, показалась высокая, красивая женщина с лицом тогдашней кинозвезды Окуневской, игравшей роковых женщин полусвета и шпионок. А за ней — о чудо! — вышла мечта моего детства Бекки Тэтчер. На ней только не было кружевных панталончиков, все остальное соответствовало моим представлениям о Бекки на сто процентов. Длинная, золотистая коса свисала почти до колен, серо-голубые глаза были большие, серьезные и немного печальные.

Прошло много лет, но я не могу забыть поразительное несоответствие всей этой семьи окружающей обстановке. Среди грязи, пота, мата, голода, вшей и клопов эти люди сумели сохранить человеческое достоинство, присущее истинным интеллигентам. Я не знаю, каким образом Николай Николаевич Киселев, его жена и дочь, говорившие по-французски, по-английски и по-немецки, попали в этот забытый Богом леспромхоз. Может быть, в этом была возможность не попасть еще куда-нибудь дальше, куда Макар телят не гонял. За всем этим для меня стоит какая-то тайна.

...За вечерним чаем с морошковым и клюквенным вареньем тетки стали рассказывать о нашем путешествии и о Голубиевском. Николай Николаевич презрительно сощурил глаза.

— Урка,— сказал он,— урка в законе, который ссучился,— что может быть хуже.

Тогда я не понял этих слов.

Три дня мы прожили у Киселевых. Все эти три дня я сгорал от тайной любви к Норе — так звали Бекки Тэтчер. Сгорая от любви, я напускал на себя равнодушный вид и изображал утомленного жизнью Печорина — мой мужской идеал по тем временам. Нора играла на пианино этюды Шопена и даже пыталась научить меня, но дальше арпеджио мои упражнения не пошли.

Один раз мы пошли с ней погулять. Она надела очень элегантную шубку и меховую шапочку, сшитые ее матерью, которая была мастерицей на все руки. Как только мы вышли на крыльцо, Нора покраснела. За это время снег почти стаял, и около крыльца стояли коричнево-бурые озера с выступающими кучками дерьма. Попытка пройти по дороге кончилась неудачно, и мы вернулись домой, стесняясь смотреть друг на друга.

...Я вспомнил, как мама отправляла меня в пионерлагерь на другом берегу Вычегды. Лагерь располагался в большом деревянном двухэтажном доме. Там меня приняли в пио-

неры и учили ползать по-пластунски. Это было, пожалуй, единственным приятным событием, которое мне запомнилось.

В первое же утро я проснулся от какого-то утробного стога. В комнате, где я спал, было двенадцать коек, и на одиннадцати из них мальчишки бешено мастурбировали. Так как тайна рождения открылась для меня совсем недавно, то об онанизме я вообще не имел никакого представления. Мои деревенские друзья этим не занимались — они уже были мужчинами. То, что я увидел, повергло меня в ужас. Заметив, что я проснулся, они стали мне предлагать заняться тем же самым, и когда я отказался, отказ вызвал град насмешек и оскорблений.

Лет через двадцать я прочитал одну из книжек Фрейда, в которой он доказывал, что все люди делятся на две категории. На тех, кто любит мочиться, и на тех, кто любит испражняться. Книжка вызвала у меня омерзение, но, вспомнив то утро в усть-вымском пионерлагере, я подумал, что основания написать такую книгу у него были.

Один мальчик, а он, как выяснилось, был лидером в нашей палате, занимался онанизмом непрерывно, причем предпочитал делать это публично и по возможности на глазах у девочек. Всякий, кто не подражал ему, вызывал у него дикую ненависть, и он не гнушался ничем, чтобы напакостить, — от физической расправы до мелких гадостей. Мне он, например, написал в постель. Вот тогда я первый раз избил человека и сам был жестоко избит. Потом я учился с ним в одном классе, и он мастурбировал на уроках, правда, избегая попадаться на глаза учителям. В школе меня поддерживали мои друзья по курению и стрельбе из поджигал. А здесь я остался одинок. Я боялся ходить в туалет, потому что любимым занятием компаний было торчать там и мазать инакомыслящих дерьмом или мочиться на них. Должен сказать, никогда я не видел столько жестокости и грязи, как в детские годы и не только в Усть-Выми.

Когда через две недели мама приехала навестить меня, я бросился ей на грудь и заревел, как девчонка, хотя, насколько я себя помню, я не плакал никогда. Мать тоже заплакала и в этот же день увезла меня из лагеря. Разумеется, я ей ничего не сказал.

Читая книги по истории фашизма, я легко представляю атмосферу коллективного порока и коллективной поруки, исходя из собственного опыта, полученного мною впервые в усть-вымском пионерлагере. По моему глубокому убеждению, фашизм тесно связан с половыми извращениями. Не может нормальный человек получать удовольствие от унижения и угнетения других людей. И ничто так не способствует созда-

нию банд, как сознание общего порока, общего преступления и стремление возвысить себя и почувствовать уважение к себе за счет втаптывания в грязь инакомыслящих.

...Николай Николаевич приезжал с работы на санях, лошадей он управлял сам, сам распрягал и ставил в конюшню неподалеку. Потом мы все усаживались за круглый стол и пили чай из фарфоровых кузнецовских чашек, закусывая необыкновенной вкусноты пышками из белой муки, сохранившейся еще с довоенных времен.

Я смотрел на прекрасное задумчивое лицо Норы, и такого ощущения счастья и покоя я не испытывал потом много лет.

После чая детей, то есть меня, Леночку и Нору, укладывали спать, а взрослые оставались за столом. В ночь перед отъездом я долго не мог заснуть. Предстоящая разлука с Норой казалась непереносимой.

Из соседней комнаты доносились голоса взрослых.

— Что такое «урка»? — спросила тетя Таня.

— Урка — это уголовник, — сказал Николай Николаевич, — профессиональный уголовник.

— А почему же Голубиевский на свободе?

— Потому что он ссучившийся урка, то есть продавшийся за пайку хлеба и кое-какие мелкие блага вроде возможности ходить на свободе.

— Вы считаете это мелким благом? — спросила тетя Таня. — Ходить на свободе вместо того, чтобы сидеть в заключении?

— В сущности, мы все заключенные, — сказал Николай Николаевич. — Моя жизнь здесь мало чем отличается от жизни Голубиевского. Разница лишь в том, что он может написать на меня донос, а я на него рапорт, причем ему поверят быстрее — он ведь свой.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила тетя Таня. Она была самая молодая и, по-моему, состояла в комсомоле.

— Татьяна Александровна, — сказал Николай Николаевич, — это опасная тема для разговоров, и если бы здесь был Голубиевский, то завтра я бы сидел за колочей проволокой, а может быть, и вы тоже. Но поскольку вы сестра Александра Александровича, я буду с вами откровенен... Система лагерей, в которой мы находимся, возглавляется Бандитом с большой буквы, человеком, у которого нет никаких нравственных устоев, нет ничего святого. Любой преступник, сидящий за решеткой, выше него, потому что он кого-нибудь любит, хотя бы свою мать. Этот не любит никого и ничего, кроме власти. А власть у него безграничная. Поэтому свобода, на которой вы находитесь, иллюзорна. Вы едите картофельную шелуху и собираете хлебные крошки, а Голубиевский и ему подобные жрут каждый день вод-

ку и закусывают колбасой... И меня, и Александра Александровича давно бы и с удовольствием посадили, но рабский труд непроевдодителен, и поэтому нам пока позволяют работать в условиях относительной свободы. Лес — наша единственная валюта на сегодняшний день. В Англии спички делают из металла. Поэтому и Голубевский находится на свободе, хотя место ему, пожизненное, на каторге, но им нужны свои люди везде, в том числе и на свободе. А он для них свой, он у них в замаске, на него они могут положиться.

— Когда вы говорите «они», вы имеете в виду Берию? — спросила тетя Таня.

Николай Николаевич засмеялся:

— Его-то уж в первую очередь, без него они действительно не обойдутся.

Разговор этот оставил во мне чувство неудовлетворенности. Портреты человека в пенсне и с четырьмя ромбами и петлицах встречались на улицах Усть-Выми и в школе, пожалуй, чаще, чем портреты Сталина и Ленина. Его портрет висел даже в бане, где мы мылись с Голубевским. Он строго смотрел сквозь стекла пенсне на одевающихся граждан.

С детства мы привыкли считать работников НКВД героями из героев. На страницах «Мурзилки» я видел карикатуры с изображением мужественного человека, в руках которого корчились всякие мерзкие шпионы, и надпись поясняла, что наконец-то они попали в ежовые рукавицы. Потом он куда-то исчез, и вместо него стали появляться портреты человека в пенсне. Стали говорить, что вот теперь торжествует закон и справедливость, и я не понимал, почему — теперь, по-моему, они торжествовали всегда.

В те предвоенные годы дети с наслаждением выкалывали глаза маршалам в учебниках по истории партии и пририсовывали им гитлеровские усики. Новых учебников не выпускали, и мы учились по старым. Лица маршалов неузнаваемо изменялись в результате вдохновенного детского творчества.

Ночью мне приснился сон: жена Николая Николаевича с папирисой во рту играла на фортепиано, а сам Николай Николаевич в униформе шпиона, то есть во фраке и в бабочке, стоял с бокалом шампанского и замышлял что-то нехорошее. Но этому нехорошему помешал Голубевский с маузером и в форме Пархоменко. Что он там во сне сделал, я уже не помню, но проснувшись утром, я подозрительно посмотрел на Николая Николаевича и его жену, и даже Нора с ее загадочным спокойствием казалась мне подозрительной.

Перед отъездом Нора подарила мне книжку Густава Эмара «Вольные стрелки». Она взяла меня за плечи и поцеловала в лоб.

— Мне очень жаль, что вы так быстро уезжаете, — сказала она с вежливостью истинной леди. — Мне вас будет очень не хватать. Здесь так тоскливо. — Вдруг на ее прекрасных глазах появились слезы, и она, чтобы скрыть их, прижалась ко мне. Что-то горячее капнуло мне на ухо, и я неумело обхватил ее и поцеловал в шею.

Ухта, до которой мы добрались не без железнодорожных приключений, числилась в ранге поселков. Но на меня, привыкшего за два года к дощатым тротуарам Усть-Выми, к старым рубленым избам с неизменной наружной лестницей на второй этаж, к непролазной грязи улиц и дворов, она произвела примерно такое же впечатление, какое я получил много лет спустя, выйдя из здания аэропорта «Хитроу» в Лондоне. Тогда я впервые попал за границу.

Мы ехали на лошади, присланной за нами дядей Шурой, по широкому улицам, застроенным красивыми двухэтажными домами с балконами. Дома были срублены из новых сосновых бревен и выглядели очень празднично. В центре города возвышалось огромное странное здание, напоминавшее смесь Казанского собора и Дворца Советов (фотографии его макета украшали все довоенные журналы). Здание производило внушительное впечатление. Огромные деревянные колонны подпирали фасад. Как выяснилось позднее, оно было выстроено под будущий горсовет, но поскольку поселок Ухта еще не получил статуса города, в нем временно разместились сплавконтра «Печорлеса», куда перевели дядю Шуру и где предстояло работать моим теткам и маме. Это было единственное учреждение, где могли работать вольнонаемные. Все остальное в Ухте принадлежало системе лагерей.

В единственном каменном трехэтажном здании города помещалось управление, над ним гордо реял красный флаг. Через площадь было построено здание Большого театра с колоннадой, правда, в несколько уменьшенном виде. Рядом находилась школа, которая не вписывалась в этот архитектурный ансамбль и напоминала корпус древнего фрегата, выброшенного на берег и слегка завалившегося на бок. Слева от управления стоял десяток одноэтажных чисто выбеленных коттеджей. Они резко отличались от остальных деревянных зданий Ухты своей чопорной безликой. Здесь жило руководство управления.

Мне и маме отвели комнату в трехкомнатной квартире на втором этаже. Теток и Леночку разместили в соседних домах. Вторую комнату занимала огромная, рыхлая женщина по имени Домна Пантелеевна с сыном, маленьким, вечно сопливым юрким мальчишкой с неожиданным именем Генрих или так она его называла, Гендрик. Третья

комната, самая большая, пустовала.

В поселке царили железная дисциплина и порядок. Девяносто процентов населения поселка составляли заключенные, их элита, если можно так выразиться. В основном это были интеллигентные люди: инженеры, врачи, бухгалтеры, ученые. Им разрешалось жить с семьями и ходить в гражданской одежде. Никогда позже я не встречал такой высокой сконцентрированности интеллигентных людей ни в Москве, ни в Ленинграде.

Домна Пантелеевна и мы были людьми, не принадлежащими к системе лагерей, поэтому нам дали квартиру в районе, где жили наиболее презираемые люди — вольнонаемные.

У привилегированных заключенных был лучший паек и лучшая работа, их даже награждали орденами и медалями, вот только уехать они не могли. Конечно, несмотря на все блага, их жизнь зависела от характера начальника, который в одно мгновение мог лишить их всех преимуществ.

Начальник был деловой, строгий, но справедливый. Я его иногда видел на футбольных матчах и в театре на представлениях оперетки. Это был седой человек в форме генерал-майора, с добрым, располагающим к себе лицом. Он с восторгом аплодировал на спектаклях, где играли заключенные, в прошлом именитые актеры и режиссеры, и дико болел на футбольных товарищеских матчах между ухтинскими, воркутинскими, печорскими и другими командами, представлявшими одноименные лагеря.

Матчи проходили на отличном стадионе с деревянными трибунами, значительно более удобными, чем послевоенные трибуны ленинградского стадиона «Динамо». Особенно сильны были команды Воркуты и Ухты, там были самые большие лагеря и соответственно большая возможность отобрать лучших из лучших.

Ухтинскую команду тренировал один из братьев Старостинных, я несколько раз видел его на тренировках. Он был одет в старый, потертый ватник, но все равно выглядел аристократом среди своих подопечных, у многих из которых был солидный уголовный стаж. Особенно выделялись двое. Левый защитник Коля Гоморов — белокурый гигант, обладавший ударом чудовищной силы. Рассказывали, что во время пенальти он ломал штанги ворот. А однажды я сам видел, как, выполняя свободный удар от ворот, он забил гол зазевавшемуся вратарю интинской команды. Второй — глухонемой вратарь по кличке Горилла, руки у него висели ниже колен, и он доставал самые немислимые мячи.

Вот эти двое и вызвали у начальника лагерей вспышку ярости, исказившую его обычно добродушное лицо и заставившую дрожать всех зрителей матча «Воркута» — «Ухта». «Ухта» вела со счетом 2:1. В ложе сидели два генерала, но воркутинский был старше по положению, а может быть, и по чину. И судья, учуяв по мрачнейшему лицу своего начальника (а судья был из Воркуты), что дело неважно, стараясь сохранить баланс, несправедливо назначил пенальти команде «Ухты».

Коля Гоморов пытался на пальцах объяснить Горилле это решение судьи, тот недоумевающе смотрел, потом лицо его исказила гримаса ярости, он сделал неприличный жест в сторону судей и что-то показал на пальцах Коле. Тот на секунду задумался, а потом решительно кивнул. Горилла встал в ворота и в момент довольно слабого удара прыгнул в противоположную сторону. Шансы сравнялись. Но дальше началось что-то непонятное и никогда нами не виданное. Через минуту Коля Гоморов отобрал мяч у нападающего «Воркуты» и мощнейшим ударом отправил его в собственные ворота. Счет стал 3:2 в пользу Воркуты. В течение пятнадцати минут Коля забил еще восемь мячей в собственные ворота. Горилла каждый раз прыгал в другую сторону, а последние три гола просто стоял в воротах, скрестив на груди свои огромные лапищи, и провозжал легким поворотом головы свистящие мячи.

Второй тайм не состоялся. Наш генерал с багровым лицом, вцепившись в барьер, кричал что-то совершенно не соответствующее его интеллигентной внешности, а воркутинский генерал сидел с мрачно поджатыми губами. наших героев увезли на тюремной машине, и прошел месяц, пока начальник сменил гнев на милость и они снова вышли на поле изрядно похудевшие, но не сломленные. С тех пор генерал перестал появляться на трибуне. А Коля и Горилла стали кумирами публики. После матчей их уводили в зону. В зоне находились непривилегированные заключенные. Что там творилось, никто не знал. Иногда через Ухту проходила колонна грязно-серых людей, окруженных кольцом автоматчиков, и исчезала в близлежащих лесах. Там стояли высокие темно-серые заборы с колючей проволокой и сторожевыми вышками по углам. У нас, ребяташек, эти колонны вызывали чувство страха и безразличности.

Писем от отца не было, и после многочисленных запросов матери пришел наконец краткий ответ, что Чечулин Михаил Петрович пропал без вести в боях под Ленинградом. Мать долго плакала, а я утешал ее,

без конца повторяя: «Он жив, он жив!» Почему-то у меня была полная уверенность, что отец жив.

Школа, в которую я попал, очень сильно отличалась от усть-вымьской. Построена она была на широкую ногу и с явным учетом увеличения населения Ухты. К началу строительства школы в Ухте вряд ли насчитывалось два десятка детей, а теперь их количество перевалило за пятьсот, и только к концу сорок четвертого года школа перешла на двухсменную работу. Уютные, теплые классы, широкие коридоры со всевозможными закоулками, лестницы — школа была чудом деревянной архитектуры и прекрасным плацдармом для игры в прятки и в казаки-разбойники.

Преподавали в школе в основном расконвоированные заключенные, и учились дети заключенных и дети начальников. Насколько я помню, я был единственным в классе, который не принадлежал ни к тем, ни к другим.

В первый же день, когда я встретился с Федей Боярышниковым, — он приехал раньше и учился в параллельном классе — на нас наскочил здоровенный парень с лицом Валерия Чкалова. Он спихнул Федю в лужу, а мне залепил шутливую оплеуху. У меня в руках была палка, и, ни секунды не задумываясь, я пустил ее в ход. Получив удар по уху, парень застыл от изумления, застыли и окружавшие нас ребята. Оглядев меня с ног до головы и потирая ушибленное ухо, парень медленно повернулся и пошел в школу. Я почувствовал, как вокруг меня образовывается вакуум, даже Федя, что-то мыча и отряхивая с себя грязь, поспешил уйти.

На следующий день мама повела меня в школу. Пока она беседовала с завучем, я стоял в коридоре и вдруг почувствовал сильный удар по уху. Я обернулся и получил удар в глаз. Свалившись с ног, сквозь сыпавшиеся из глаз искры я рассмотрел ухмыляющееся лицо Валерия Чкалова. Он пнул меня ногой и сказал с ухмылкой:

— Ты еще пожалеешь, что на свет родился, щенок!

Пока я поднимался с полу, открылась дверь и в коридор вышли мама и завуч — симпатичная женщина лет сорока. Увидев мою начинающую опухать физиономию, завуч спросила, глядя на Чкалова:

— Твоя работа, Олифанов?

Тот стоял, засунув руки в карманы и молча раскачиваясь на носках, и смотрел на завуча. Тогда я, вспомнив заветы своих собратьев по санаторию в Курорте, торопливо сказал:

— Нет, это не он, это я сам споткнулся.

Олифанов презрительно усмехнулся, повернулся на каблуках и пошел прочь. В этот день он спрыгнул с площадки второго

этажа на лестничный марш и сломал себе ногу. Это спасло меня от дальнейших избиений. Папаша его, секретарь райкома Олифанов, взял к себе секретарем тетю Катю. Он ходил в зеленой бекеше, пыжиковой шапке и бурках, и все почему-то панически боялись его. Рожой он был похож на сынка и, наверное, в детстве был таким же хулиганом. Тетя Катя говорила о нем хорошо то ли потому, что он нравился ей как мужчина, то ли действительно потому, что был, как она говорила, вспыльчивый, но отходчивый и справедливый человек.

После того как Олифанов появился в классе на костылях, мы подружился с ним на почве хромоты и приключенческой литературы. Он был старше меня на четыре года и два класса. С тех пор никто не рисковал приставать ко мне и я разучился драться.

Именно с Ухты началась любовь к кино, которая длилась очень долго и только сейчас понемногу начинает оставлять меня. Это повергает в отчаяние. Сейчас, когда мне уже за пятьдесят и я оглядываюсь на длинный список картин, которые снял или принимал участие в работе над ними, мне не стыдно потому, что среди них нет ни одной, которая была бы противна моим понятиям о человеческом достоинстве. Но, с другой стороны, не так много и картин, которыми я мог бы быть удовлетворен на все сто процентов.

Я сидел со своим новым режиссером в ресторане «Москва» в городе Горьком — бывшем Нижнем Новгороде. Мы выбирали натуру для картины «Жизнь Клима Самгина». Если честно признаться, я не очень-то любил Горького и в детстве предпочитал Толстого, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Взрослым я его почти не читал, и только когда мне предложили снимать четырнадцать серий «Клима Самгина», перечитал роман заново. Он поразил меня своим двусмыслием. Я испытывал симпатию к провокаторам, жандармским офицерам, купцам-гулякам и пропойцам, Лютову и Варавке, а активные революционеры вроде Кутузова, Спивака и другие вызвали у меня ужас своей расчетливостью, холодной направленностью, неумолимым фанатизмом и в конечном счете бесчеловечностью. Нужно было обладать завидным талантом, чтобы так написать историю государства Российского за сорок лет и после этого придумать социалистический реализм. «Великий пролетарский писатель», который после революции поселился в особняке Рябушинского, — в этом тоже была двусмысленность.

С режиссером у нас с самого начала сложились наилучшие отношения. Это был очень вежливый, предупредительный человек, с почти горьковскими усами и с утиным, похожим на нос Горького носом. Он очень любил цветы, выпивку и баню; женщин он тоже любил, хотя и говорил, что однолюб. По-видимому, очень искренне он любил и Горького. Во всяком случае за два года в паре с одним парнем-сценаристом он переписал «Клима Самгина» в сценарий, который читался куда легче, чем «Самгин» Горького.

— Твое несчастье состоит в том, — говорил Режиссер, — что всю жизнь ты снимал с посредственными режиссерами, с посредственными или просто плохими.

— Ну почему, — возразил я. — «Сезон» я снял. Да и «Республика ШКИД» не такой уж плохой фильм.

— «Сезон» он сделал только благодаря тебе! Ты великий оператор, и мы с тобой...

— Я не великий оператор, — сказал я, — я — наемный убийца. А «Сезон» мы делали как товарищи, и прошу тебя, не говори о нем плохо. Я люблю его.

— Когда ты поработаешь со мной, ты забудешь про любовь к нему и полюбишь меня.

— Может быть, — сказал я, — во всяком случае, биоритмы у нас совпадают.

— Что? — спросил он.

— Ты наливаешь, — сказал я, — стоит мне только подумать об этом.

Две недели спустя я сидел в кресле перед телевизором и потягивал из стакана ром со льдом. По телевизору шла передача о Режиссере. Я разговаривал сам с собой, уважительно называя себя по имени и отчеству. На экране было две головы одновременно: одна снята в профиль, а другая в три четверти. Одна голова спрашивала другую, как ей сейчас нравится картина, снятая ею десять лет назад (эпизод из картины показывали перед этим). Другая голова отвечала, что картина по-прежнему нравится так же, как и по-прежнему нравятся десятки картин, снятых ранее, которые он снимал с актерами-единомышленниками, людьми с ним одного взгляда на жизнь. Потом он называл их по фамилиям. Фамилии все были знаменитые, правда, там была одна девочка, которую он нашел чудом в Горьком, но сейчас она тоже была знаменитой. Почему-то среди наших актеров он назвал и Марлен Дитрих, и Чаплина, и Бастора Китона, наверное, потому, что он использовал фрагменты из фильмов с их участием. Видимо, они тоже были его единомышленниками.

— Плохо твое дело, старик, — подумал я и отхлебнул рому. — Теперь понятно, почему ты его не устраиваешь — недостаточно ты знаменит и недостаточно ты единомышленник.

Дело в том, что уже десять дней я был безработным.

Началось все с того разговора в ресторане «Москва».

Не знаю, какая муха меня укусила, но после его филиппики в адрес предыдущих режиссеров (средних, а то и плохих) во мне возник дух противоречия. За двадцать семь лет работы в Кино я понял, что слово «творчество» напыщенно и порочно. Кино — это тяжкий труд, основанный на уважении к партнерам, а еще лучше — на любви к ним. Ни одно искусство не дает такой возможности для любви, как кино. Художник и писатель остаются наедине со своими красками и листами бумаги. А в Кино ты выходишь на площадку окруженный или единомышленниками, или, что бывает чаще, равнодушными, а то и врагами.

Когда съемки закончены и когда вдруг из сценария, лишённого характеров, сюжета, проблем (потому что все это прошло равнодушную машину цензуры), рождается нечто похожее на жизнь и способное вызвать эмоции зрителей, тогда ты оцениваешь людей, с которыми ты провел время работы над фильмом. Ты оцениваешь их порядочность, доброту, терпимость и принципиальность. Ты оцениваешь их труд, исходя из возможностей предложенного материала, и, самое главное, ты оцениваешь его профессионализм. Конечно, в режиссуре есть люди настолько великие, что они могут позволить себе собственное мировоззрение. Но таких людей можно сосчитать по пальцам как у нас, так и за рубежом. И, как правило, они не могут долго продержаться, потому что чиновники и продюсеры не терпят строптивых. Примеров тому не счесть.

Понимая проблемы своих коллег по режиссуре, я был неприятно поражен, когда услышал: «Ты всю жизнь работал с посредственными режиссерами». Я и раньше знал, что, идя на картину, мы, к сожалению, большей частью идем зарабатывать на жизнь. Мы идем, чтобы не подохнуть с голоду нашим детям и нам самим, чтобы наши жены могли раз в год покупать сапоги, а мы раз в пять, а то и в семь лет — автомобиль. Мы идем зарабатывать на хлеб насущный и, если мы профессионалы, стараемся делать это честно, вкладывая в оживление безжизненных схем свою душу и свое умение (я боюсь употребить слово «мастерство»).

Я подумал о том, что сделал мой нынешний Режиссер, чтобы заслужить право

так говорить о своих коллегах. Мысленно я пропустил через свою память ретроспективу его фильмов и, кроме имен знаменитых актеров, не увидел ничего выдающегося. Правда, там был еще один — мой коллега, замечательный оператор. На мой вопрос, почему он не будет снимать этот фильм, Режиссер ответил:

— Он не в форме.

В тот момент коллега действительно был не в форме. Он приехал из Москвы в шикарном кимоно и шерстяных носках. До сих пор я не понимаю, как его пустили в «Стрелу»? Наверное, сказался исконно русский подхалимаж перед иностранцами. Коллега обнимал штучную блондинку, одновременно говоря ей гадости, ее он тоже вывез из Москвы. И мое первое свидание с Режиссером состоялось в их присутствии. Встретились мы очень дружелюбно, чем вызвали недоумение Режиссера. Вероятно, он ожидал, что мы устроим в его присутствии драку за место под солнцем. Коллега был очень талантливый оператор, но «меры в женщинах и пиве он не знал и не хотел». Кроме того, ему пришлось за свою жизнь поработать с двумя гениальными (без кавычек) режиссерами, и с обоими он расстался с ущербом для собственного самолюбия. Теперь третий гений угощал его и его блондинку всевозможными напитками и в их присутствии договаривался со мной. Мне было гадко, и я не знал, как себя вести. Когда Режиссер вышел из номера за очередной порцией спиртного, я спросил коллегу:

— Какого черта ты не снимаешь этот фильм?

— Не бери в голову, старик,— сказал он.— Это кино не для меня.

Видимо, это кино оказалось и не для меня тоже.

Русская интеллигенция, которую я глубоко уважал и в некотором роде считал себя принадлежащим к ней по происхождению, на страницах романа предстала передо мной крушей, пьющей и бесконечно бессмысленно болтающей. Снимать кино нужно было про то, как прожрали и проболтали Россию. О том, как «проозорничали» и выпустили из клетки темную, дикую силу, которая и уничтожила их в первую очередь. Самый «светлый» персонаж — большевик Кутузов — говорит: «Это хорошо, что так много рабочих убили 9 января. Иначе нам пришлось бы пятнадцать лет вести пропагандистскую работу». Конечно, невозможно было больше терпеть систему тупого бюрократизма, произвола, безудержной эксплуатации, царство посредственности. Но так расчетливо кинуть на смерть миллионы людей, сравнить между собой отцов и братьев, окунуть Россию в кровавую купель гражданской войны... Это могли сделать только

необыкновенные люди, и я чувствовал между строк романа, как Горький не любит и боится их. Не любит, а тянется, как тянется обреченный на смерть, но старающийся оттянуть эту смерть славословиями в честь грядущего убийцы в обмен на славу и материальное благополучие.

Написать великую книгу, загодя готовя топор социалистического реализма над головами своих коллег, мог только великий грешник.

— Горький — злой человек,— сказал Толстой Чехову.

— Почему, Лев Николаевич? — спросил Чехов.

— У него утиный нос.

...На экране заканчивалась передача о Режиссере.

— Сейчас нам предстоит снимать четырнадцатисерийный фильм по роману Алексея Максимовича Горького «Жизнь Клима Самгина»,— рассказывал Режиссер.— Это гигантская радость прикоснуться к этому произведению. Если нам удастся хоть в малой степени отразить на экране величие этого произведения, я буду считать, что прожил жизнь не зря.

На экране вновь появилась вторая голова Режиссера, которая умиленно смотрела на первую. Обе головы улыбались.

— И я сделаю это,— сказал Режиссер, обращаясь ко второй голове по имени и отчеству,— мы сделаем это, если, как говорят на Востоке, на нашем пути не встретится Дьявол.

После разговора в ресторане «Москва» мне вожжа попала под хвост. Я стал все подвергать сомнению. Я говорил, что не случайно Горький сделал Кутузова и Марину любовниками: оба они ловцы человеческих душ, две стороны одной монеты Дьявола. Что Самгин — это сам Горький, некоторый беспощадный взгляд на самого себя, этакое публичное самобичевание. Я спрашивал Режиссера: любит ли он Кутузова?

— Да,— отвечал он,— я считаю, что без таких людей мир застыл бы на месте.

— Тогда, пожалуй, есть шанс, что картина выйдет на экран и мы получим свои постановочные,— сказал я.

— А ты думаешь, что она может не выйти? — спросил он.

— Да,— сказал я,— если мы ее снимем как следует, она не должна выйти. Иначе все наши редакторы и цензоры — олухи царя небесного и зря получают свою капусту.

— А ты не любишь Кутузова? — спросил он.

— Нет,— сказал я,— не люблю, хотя он и необходимый в истории персонаж, но по-

человечески он мне не нравится. Мне вообще не нравятся люди, которые решают судьбы народа без его на то согласия, да еще считают, что это их долг и право. Одна моя хорошая знакомая была замужем за таким вот Кутузовым. Он был старый большевик, друг Микояна и Луначарского, после революции стал наркомом. Они очень любили друг друга, и она, по ее словам, обожала его до одного случая. Они ехали в шикарном международном вагоне, пили коньяк и закусывали паюсной икрой. Поезд остановился на одной из станций голодавшего Поволжья. К окну их купе подошла женщина с высохшими грудями и с младенцем на руках. Моя знакомая высыпала все, что было у них на столе, в пустую корзину и отдала ее женщине. И та, положив ребенка на перрон, вцепилась в горбушку хлеба. Когда поезд тронулся, моя знакомая закричала своему мужу: «Как ты можешь смотреть на это?! До чего нужно довести людей, чтобы мать отбрасывала ребенка ради куска хлеба?!» И ты знаешь, что он ей ответил? Он ответил: «Мы это делаем ради будущего. Это неизбежные жертвы на пути к светлому будущему и счастью народа».

— Он правильно ответил,— сказал Режиссер.

— Наверное,— сказал я.— Но моя знакомая ответила ему иначе: «Ты сам и твои знакомые на этом пути жрут коньяк и шампанское и едут в будущее в международном вагоне, оставляя народ, ради которого они это делают, умирать на голодных полустанках». Она говорила, что в этот момент увидела перед собой не человека, которого любила, а что-то страшное. И она поняла, что не сможет жить с ним дальше. Он уехал в Америку в служебную командировку почти на год, а когда вернулся, сменив свою полувоенную форму на твидовый костюм и галстук, его арестовали друзья по партии и расстреляли без суда. А ее с маленьким сыном без жалости выкинули из квартиры и сослали к черту на кулички. Правда, после реабилитации Микоян вспомнил о них и пригласил к себе в гости. Но она не пошла. Пошел сын, посмотреть на «международное купе», в котором Микоян ехал в светлое будущее.

Силловые поля между мной и Режиссером нарастали. По-видимому, это почувствовали и остальные. Художник подошел ко мне и сказал:

— Брось ты с ним спорить. Он терпеть не может, когда ему возражают. Я-то знаю, я с ним уже работал.

То же самое мне говорил и композитор месяц тому назад. Но я закусил удила. То, что я увидел в последние дни, напоминало

появление изображения на фотобумаге, брошенной в ванночку с проявителем. Из общего, пока еще неясного облика симпатичного, щедрого, интеллигентного, ласкового человека начинал вырисовываться неглупый, самолюбленный, эгоистичный, не терпящий возражений, не прощающий ни чужой славы и удачи, ни чужой независимости человек, терпящий до поры до времени всех, кто мог принести ему выгоду и какую-нибудь пользу, а потом он отбрасывал этих людей как ненужный ему теперь хлам. Короче говоря, изображение, которое появилось в красном свете на поверхности фотобумаги, в своей конкретности совсем не соответствовало моему первоначальному представлению о скрытом изображении.

...Катер шел по Волге. Прямо по курсу стояла полная луна, и небо было усеяно неяркими звездами. Мы с Режиссером стояли на носу, облокотившись о фальшборт, и смотрели на маслянистую тихую воду и на играющие на ее поверхности отсветы луны.

Позавчера у себя в номере он в присутствии художника и второго режиссера наговорил мне кучу гадостей. Я встал и вышел. Гадости, на мой взгляд, незаслуженные, говорил «Начальник» в присутствии своих подчиненных. Мне не хотелось унижать его, и поэтому я ушел. У себя в номере я долго не мог заснуть. Пытался читать «Возвращение в Брайдсхед» Ивлина Во, но перечитывая абзацы этой замечательной книги по нескольку раз, я не понимал смысла.

Конечно, за двадцать семь лет работы в кино меня не первый раз мучила бессонница, когда я старался найти выход из создавшегося положения. Конечно, не со всеми режиссерами у меня все обстояло гладко. Кино — искусство компромисса. Этот термин я придумал сам и всегда старался из компромисса извлечь максимальные выгоды для картины. Тебе нужно солнце для этого эпизода, а идет проливной дождь, и актер уезжает и придет неизвестно когда. Так снимай в дождь и думай, как обратить это во благо. И если ты хорошо подумаешь, то и на самом деле эпизод окажется лучше, чем если бы ты снимал его в солнечную погоду.

Теперь у тебя в руках первоклассный материал. Это не макулатура, которую ты привык снимать. В руках у тебя история твоей страны, работа над достойной литературой не на один год. Какого черта! Что ты лезешь на рожон? Вспомни, как тебе понравился Режиссер, когда ты увидел его в первый раз. Вспомни, как вы обсуждали каждую сцену и, придя к общему решению, придумав по ходу кучу подробностей и увидев сцену так, что и снимать уже ни-

чего не стоило, радостно выпивали за то, чтобы жить долго и интересно.

Что же случилось? Что произошло? Почему ты вдруг стал чувствовать сопротивление внутри себя? Почему тебя вдруг стали раздражать безапелляционность в выборе натуре, апломб мастера: это мы закрасим, это не будем брать в кадр, здесь снимем длинной оптикой, здесь... и т. д. и т. п.?

«Этот человек идет к кассе быстрыми шагами, — сказал как-то директор, который работал с ним на предыдущей картине.

...Ну и что, ты тоже умеешь идти к кассе быстрыми шагами, и это тебя должно вполне устраивать. Купишь новый автомобиль, раздашь долги, поедешь отдыхать на Пицунду с полными карманами, год можешь ничего не делать и ждать хороший сценарий. Правильно он говорит: «Много дерьма ты снимал в последние годы. И не режиссеры виноваты, а ты, потому что берешься за всякое дерьмо». «Привычка к комфорту до добра не доводит», — это говорил Грегг Голланд.

И вдруг среди сумятицы мыслей прорезалась одна: «Я не буду снимать эту картину». Я потушил свет и сразу же заснул.

Утром меня разбудил телефонный звонок. Голос Режиссера звучал ласково:

— Старик, извини, пожалуйста, вчера я наговорил гадостей, мне ужасно стыдно. Хочешь, я извинюсь публично?..

Ночная ясность покинула меня. Я постоял, держа трубку, и, услышав его нетерпеливое «Ну?», сказал:

— Нам надо работать, а не извиняться. — Я повесил трубку и подумал, что сказал что-то не то.

Теперь мы стояли на носу катера, и он спросил меня:

— Ну и как ты думаешь работать со мной?

— Мне бы хотелось по любви, — сказал я, — как мы работали с Саввой, да и со многими...

— Вот что, — сказал он с яростью. И я совсем близко увидел его глаза, казавшиеся выпученными под стеклами очков. — Я беру свои извинения назад. Если ты с Саввой, то ты против меня. Тебе предстояло несколько лет работы с талантливым человеком, такого у тебя не было ни разу за всю твою долгую ремесленную жизнь. Ты померещ в нищете, тебя покинут друзья. Ты будешь жалеть об этом до конца своих дней...

Теперь отпечаток полностью проявился, хотя я рассматривал его не в свете красного фонаря, а в холодном отблеске луны.

— Иди ты, — сказал я, — иди ты к черту! — Я не выпустил обойму матерных слов, нако-

пившихся за мою жизнь, начиная с Усть-Выми.

Теперь у меня появилось время писать. Хотя кому нужны мои записки?.. Денег и славы они мне не принесут. Но чем ходить на студию и просиживать штаны в кафе в окружении «сочувствующих» бездельников и неудачников, чем мусолить сплетни и «виды» на работу, лучше уж писать.

Я всегда чувствовал, что работа, которую я делал, отнимала у меня лишь небольшую часть тех сил, которые я мог бы отдать. Остаток я с расточительностью идиота вкладывал в пьянство, в карточную игру, в женщин. Теперь сил поубавилось, я чувствую, как у меня немеют ноги. Вместо того чтобы проделывать, как раньше, многокилометровые маршруты пешком, провозая девушек на другой конец города ради поцелуя в пропахшем кошками парадном, езжу на машине в булочную и кино. Все реже я испытываю радость от выпивки с друзьями. Правда, и друзей поубавилось — многие умерли, или погибли, или просто стали неинтересны мне, а я им соответственно. И теперь стакан рома с лимоном по ночам и эта тетрадь стали моими собеседниками.

Раньше я с энтузиазмом брался за любое дерьмо, потому что меня ждали работа, передвижения, новые прекрасные места, пустыня и Арктика, курорты Пицунды и Крыма, выпивки в юртах, кибитках, палатках, в номерах «люкс», кабаках Лондона, в пивных барах Чехословакии, Берлина и Хельсинки. Разноплеменное, говорящее на ломаных языках человечество, к которому я испытывал симпатию и любовь: англичане, американцы, туркмены, чеченцы, французы, финны, караимы, литовцы, чукчи, узбеки, чехи, эстонцы. С кем только я не напивался под разными широтами! Каких только женщин я не любил — под южными звездами, на ночном пляже, на отсыревших листьях осеннего березового леса, на покрытой изморозью палубе сухогруза, проходящего пролив Вилькицкого, в заваленных подрамниками мастерских приятелей-художников, в женских общежитиях, в квартирах, из которых мстительные мужья вывезли всю мебель, включая кровать, и в уютно обставленных квартирках со стерильной чистотой, обязательной ванной, французским коньяком и кофе в постели. Я любил во время афганца, когда женское тело, осыпанное мельчайшим песком, кажется прохладным в душной, воюющей, раскаленной ночи. И под сполохами полярной ночи, когда за окнами минус пятьдесят и горячий чай в стакане покрывается пленкой льда через пятнадцать минут.

Вся эта жизненная приятная суета занимала меня, не давая времени подумать о смысле моей работы и смысле моей жизни. И только по ночам, читая немногие книги, в которых авторы пытались добраться до смысла жизни и иногда делали вид, что находили его, я тоже начинал об этом думать. Однажды я прочитал у одного испанского поэта: «Человек не может умереть, пока он не выполнит “предназначение”. Если он умер, значит, он выполнил то, что ему предназначено».

«Раз я не умер, значит, я еще не выполнил то, что мне предназначено?» — эта мысль обрадовала и напугала меня. Так что же мне предназначено? Работа ради куска хлеба, когда ты продаешь свой мозг и физические силы ради прописных истин вроде: «Народ и партия едины», «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи», «Внутреннюю и внешнюю политику Политбюро ЦК КПСС одобряем полностью». Что ж, многие зарабатывают на этом неплохие деньги, орден, должности, поездки за границу. Собственно, чем эти истины хуже тех, ради которых творили великие художники прошлого: «Возлюби ближнего своего больше самого себя», «Не укради», «Не убий», «Не пожелай жены ближнего своего»?.. Ведь об этом писали все великие прошлого, и они умерли, выполнив «предназначение». Правда, они не получили званий Героя к своим юбилейным датам, и их не хоронили на кладбищах согласно чинам и рангам. Но почему-то про Жданова забыли давно, а цветы на могилах Ахматовой и Зощенко лежат всегда...

Так что же мне предназначено, черт возьми?!

Мне было два года с половиной, когда впервые меня повели в кино. Это был кинотеатр «Колизей», украшенный панно с росписями римских руин. Как только плавно погас свет, под куполом «Колизея» зажглись звезды, и я увидел фильмы «Кукарача» и «Три поросенка» Уолта Диснея. Не могу сказать, чтобы эти фильмы произвели на меня ошеломляющее впечатление. Мир, окружавший меня, был значительно интереснее того, что на экране, сверкавшего анилиновыми красками «Техниколора». Панно на стенах «Колизея» и звездный купол над головой запомнились мне значительно больше, чем приключения трех поросят. Правда, я запомнил мотив песенки «Нам не страшен серый волк» и, когда потом спустя много лет увидел «Бемби» и «Белоснежку», сразу понял, что их делал тот же человек, который сделал «Три поросенка». Как ни странно, любой фильм Диснея я мог бы узнать с закрытыми глазами.

После начала войны я смотрел фильмы в усть-вымском поселковом клубе. Клуб был деревянный, законопаченный зеленоватым

мхом. Летом там было душно, а зимой очень холодно. Фильмы крутили с проектора, установленного в зале, и киномеханик был самым уважаемым человеком. Правда, в начале сорок второго года его забрали в армию и с тех пор фильмы стали показывать нерегулярно, путая части и иногда гуская их вверх ногами, вызывая этим восторг ребятишек и топот и свист взрослых.

Уже в сорок втором году до Усть-Выми дошли первые «Боевые киносборники», выпущенные в начале войны. Сборники шли не по порядку их выпуска на экран, и одни и те же артисты изображали в них то немцев, то русских. Мы со страшной силой начинали орать, когда в колонне разведчиков, отправлявшихся на боевое задание, вдруг видели артиста, который в предыдущем фильме играл офицера СС.

— Предатель, шпион, — вопили мы и кидали на экран, то есть в не очень белую и местами прорванную простыню всем, что было у нас в карманах.

Зимой сорок второго года мы, ребятишки, приходили к клубу и часами ждали, когда соберется необходимое количество зрителей. Взрослым было не до кино, и часто, проторчав на морозе несколько часов, мы уходили несолоно хлебавши.

Клуб в Ухте был украшен цветными огромными портретами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Берии. Портреты были написаны маслом лучшими лагерными художниками. Особенно любовно был выписан Лаврентий Павлович Берия. Ромбы на его петлицах сверкали так же мужественно, как и глаза сквозь прекрасно выписанные стекла пенсне. Когда после войны я увидел картину Лактионова «Переезд на новую квартиру», мне вспомнился портрет Берии в ухтинском клубе и стекла его пенсне. В лагерях сидели художники не хуже Лактионова.

В клубе было тепло, экран был настоящий, проекторы стояли в положенном месте, и не приходилось ждать, пока перезарядят части. Начальник любил оперетку, фильмы шли не каждый день, и тогда мы смотрели кино в школе, где проектор так же, как и в Усть-Выми, стоял прямо в зале, и нам после каждой части приходилось ждать перезарядки аппарата.

Примерно то же самое я неожиданно испытал в Лондоне спустя много лет. В Эмбасси-отеле вечером, уставшие от съемок, мы собирались у телевизора, и после каждой части фильм прерывался рекламой, прославляющей зубную пасту, дезодоранты и сигареты, бритвенные лезвия и колготки. Поначалу реклама казалась даже интереснее фильмов, но на третий день я понял, что перерывы между частями в ухтинской школе были куда более интересными. Тогда мы дергали девочек за косички, стреляли друг

в друга из трубок жеваной промокашкой, в общем, жили нормальной человеческой жизнью, а не внимали телевизионному экрану, призывавшему нас приобрести какую-нибудь идиотскую и совершенно ненужную вещь.

Денег на оперетку нам не хватало, да детей туда и пускали только в сопровождении взрослых и на определенные спектакли. Поэтому я посмотрел только «Свадьбу в Малиновке» и «Раскинулось море широко». Несмотря на торжественность обстановки, подчеркнутую плюшевым занавесом и разодетыми в парадные вечерние костюмы работниками управления и привилегированными заключенными, я особенного удовольствия на этих спектаклях не получал. Запомнился мне только Яшка-Артиллерист и то, как он танцевал тустеп. Мама и тетки шептали о том, какие великие артисты выступают в этом клубе и как до войны в Ленинграде на них невозможно было достать билеты. Лично я в этом ни черта не понимал, и фамилии Эггерта, Малиновской, Ляли Черной и других мне ничего не говорили.

На «Сильву», «Розмари» и «Баядеру» детей не пускали вовсе. И мы с нетерпением ждали, когда же у начальника пройдет опереточный голод, артистов увезут в зону, а нам покажут «Георгия Саакадзе», «Щорса», «Остров сокровищ», «Антошу Рыбкина», «Пархоменко», «Котовского» и другие замечательные фильмы. Все эти картины вызвали у моих сверстников, да и у меня необыкновенное воодушевление. И каждый раз после сеанса в парке культуры и отдыха, обсаженном низкорослыми сосенками, мы рубились деревянными саблями и стреляли из поджигал. Иногда бои кончались переломами, ссадинами и рваными ранами. Но никто никогда не жаловался, а родителям выдумывали бог весть что.

Страсть к кино принимала у меня болезненные размеры. Я мог по 10—15 раз смотреть «Богдана Хмельницкого» и «Щорса». А когда по лент-лизу нам стали поставлять американские и английские картины, я без конца смотрел «Серенаду Солнечной долины», «Джордж из Динки-джаза», «Три мушкетера», «В старом Чикаго» и другие. До сих пор музыка Глена Миллера вызывает у меня ностальгические воспоминания, и наверное, именно тогда я полюбил джаз, любовь к которому не оставляет меня и поныне. Я люблю джаз потому, что в основе его лежит любовь. Любовь к музыке и любовь к партнерам. Никогда я не получал такой радости, как на концертах Дюка Эллингтона и на просмотрах фильмов с участием Луи Армстронга, Эллы Фитцджеральд, Глена Миллера и других. Я не могу без слез смотреть, как Каунт Бейси играет дуэт с Оскаром Питерсоном. И как с Оскара градом льется

пот, потому что он не хочет ударить лицом в грязь перед стариком Каунтом. А тот с лукавой усмешкой одним пальцем филигранно ведет мелодию, влетая ее в мощные аккорды Питерсона. Какое счастье проработать всю жизнь с Эллингтоном, как это удалось Ходжесу и Карни.

Искусство без любви мертво. Только человек, по-настоящему любящий свое дело, может принести радость людям. И чем больше эта любовь, тем дольше живет произведение. Поэтому никогда не умрут ни Рембрандт, ни Веласкес, ни Гойя, никогда не умрут Армстронг и Дюк, Эрролл Гарднер и Элла Фитцджеральд. Никогда не умрут Эйзенштейн, Чаплин, Орсон Уэлс, Савченко. Хотя кино-то стареет быстрее всех искусств, потому что связано с техникой. Но «Гражданин Кэйн», «Американская ночь» и «Иван Грозный» уже пережили многие картины, снятые с помощью новейшей техники.

Кино стало моей главной любовью на всю жизнь. Не уверен, что любовь была взаимной, но мне она доставила много радостей, хотя и огорчений было не меньше.

В Ухте я не пропускал ни одной картины. Я играл в пристенок и в очко, чтобы выиграть деньги на билеты. Просить у мамы денег каждый день я стеснялся. К счастью, мне везло, я почти никогда не попадал в «кабалу» и не терпел тех унижений, которым подвергаются те, кто не может выплатить проигрыш.

После войны, когда я уже был в Ленинграде, экраны наших кинотеатров заполнили трофейные фильмы. Вначале это были немецкие фильмы о жизни композиторов и оперных певцов, сделанные с немецкой основательностью, но в большинстве скучные, хотя и среди них попадались приличные картины вроде «Мэри Стюарт» («Дорога на эшафот») с Саррой Леандр и несколько картин с Эмилем Янингом. По мере ужесточения «холодной» войны на экранах под видом трофейных стали появляться американские фильмы, среди них было много ремесленно сработанных картин с Эдди Нельсоном и Жаннетой Макдональд, с Диной Дурбин и Робертом Тейлором. Но иногда попадались и такие, которые запомнились мне на всю жизнь. Среди них на первом месте был фильм «Путешествие будет опасным» или «Дирижанс» Джона Форда. До сих пор этот фильм остается для меня одним из любимейших, и когда много лет спустя в сборнике сценариев приключенческих фильмов рядом с «Дирижансом» я увидел запись по фильму «Мертвый сезон», который мы делали с Саввой Кулишом, гордости моей не было границ.

Но это будет потом, в насквозь промерзшем Ленинграде, с заколоченными фанерой окнами и руинами домов, стоявших по Дегтярному переулку, по которому я ходил в школу. Школа была тоже проморожена насквозь, с

тусклыми лампочками в классах и замерзшими чернилами. Шестнадцатилетние ребята-блокадники, учившиеся в пятом классе, были вооружены холодным и огнестрельным оружием — все они потом сядут в тюрьмы и колонии для несовершеннолетних.

А пока я жил в Ухте, в теплом деревянном доме. Дров было сколько угодно, да и с едой становилось все лучше. И Новый, сорок четвертый год мы справляли за праздничным столом, справляли в первый раз за все время войны. На столе стоял торт, испеченный на керосинке в чудо-печке из детской муки, или, как мы ее называли, присыпки. Спирт, который принесли дядя Шура и новый муж тети Тани, отдавал керосином, так как хранился в керосиновых бочках. Была даже бутылка шампанского с толстой пробкой, которую долго не могли открыть. Мне, Леночке и другим детям сделали подарки, присланные из Америки, они так и назывались — американские подарки. Так я впервые получил джинсы, которые носил до тех пор, пока они не стали мне совсем коротки. Ни в одних штанах я не чувствовал себя так удобно и ношу джинсы до сих пор. По-моему, фирма «Леви Страус» должна считать меня почетным клиентом: сорок с лишним лет я не могу забыть мои первые штаны и до сих пор предпочитаю эту фирму многим другим, которые нашивают на заднице медные бляхи и американские флаги.

Американцы пропагандировали свой образ жизни с помощью фильмов, в которых ни во что не ставились начальники и система. Система была обузой для творческих людей и прибежищем для тупиц, взяточников. Человек (герой по-американски) всегда боролся с организацией, будь то правительственный аппарат или просто мафия, и этим вызывал сочувствие большинства зрителей. Давление «организации» испытывали люди, живущие в любой стране мира, как у нас, так и в Америке.

В лучших наших фильмах тех лет использовали тот же принцип. Герои «Чапаева», «Депутата Балтики», «Члена правительства» были людьми, так или иначе борющимися с организацией: то ли со скрытыми шпионами, то ли с бюрократией, во всяком случае, с явными представителями власти и силы, и они завоевали любовь зрителей, как завоевал симпатии Давид в борьбе с Голиафом. До тех пор пока существует человеческое в людях, они всегда будут сочувствовать слабому, особенно если он вступает в бой с хорошо оснащенной государственной или бандитской машиной.

Пока наши лучшие режиссеры выпускали картины, на которых можно было умереть от тоски, наблюдая подчищенные биографии Мусоргского, Пирогова, Попова, Жуковского и других, рядом в клубах шли «Мистер Дидс едет в город», «Сенатор», «Побег с каторги»,

«Я обвиняю», «Долина гнева», «Индийская гробница», «Тарзан». На них выстраивались длинные очереди, и граждане шли смотреть, как худо живет в проклятом капиталистическом мире. Очень точно об этом написал Твардовский в «Василии Теркине на том свете».

Для меня это было окном в мир, часто лживым и необъективным, но по молодости лет очень достоверным и привлекательным.

В мае сорок пятого года дядя Пепа вызвал нас в Москву. После встречи и обеда мы на «майбах» переехали на квартиру к Марии Николаевне, где жила моя бабушка Вера, которая по каким-то причинам переехала туда от дяди Пепы. Дом, в котором жила Мария Николаевна, был подобен единственному здоровому зубу в прогнившей насквозь челюсти. К нему стекались живописные переулки со странными названиями: Проточный, Большой Новинский, недалеко находилась Собачья площадка. Переулки были заполнены шпаной в маленьких кепочках, брюках клеш и тельняшках. Иногда они прорывались в чистый заасфальтированный двор дома, наводя ужас на неработавших жен крупных артиллерийских начальников, потому что дом принадлежал Артиллерийской академии имени Дзержинского. Сейчас этот дом стоит против здания СЭВ и выглядит сильно подгнившим зубом во вставной челюсти Москвы, которая называется Калининским проспектом. Как только обитатели переулков появлялись на этом острове нового мира, мамы с кудахтаньем загоняли своих детишек в парадные и поднимали их на лифте на высокие этажи. Двор пустел, и оставалось лишь несколько смельчаков старшего возраста, которые вели «толковище» с пришельцами и играли с ними в «маялку» или футбол, разбивая стекла на нижних этажах.

В этом месте Москва-река текла, не закопанная в гранит. На берегу лежали штабеля бревен. На бревнах сыновья генералов выпивали с пришельцами из Проточного переулка плодово-ягодное вино или водку из бутылок с сургучной красной головкой и проигрывали им в карты отцовские трофеи — немецкое барахло, которое высылалось контейнерами из побежденной Германии. Там же постреливали из трофейного оружия, спертого с выставки в ЦПКИО имени Горького, а иногда кидали в воду неизвестно где добытые лимонки и до приезда милиции старались выловить всплывшую рыбную мелочь.

Май был солнечный и жаркий, не то что в Ухте, где еще в День Победы кое-где лежал снег и где мы так и не смогли понять, что же нам принесла Победа. Я смотрел на плачущих теток и маму. И тогда мне в первый раз офи-

циально дали выпить кислого кахетинского вина. До этого я выпивал только тайком.

Теперь я шатался по залитым солнцем жарким улицам Москвы, спускался в прохладное роскошное метро, осматривая станции, отделанные мрамором и гранитом. Разглядывал груды оружия и немецких орденов на выставке трофейного оружия, смотрел вблизи на «юнкерсы» и «мессершмиты» и ощупывал развороченные снарядами стальные, похожие на черепицу плитки на лобовой броне «тигров». Мои новые московские друзья умудрялись выносить с выставки не только парабеллумы и вальтеры, но и шмайсеры, и даже тяжелые ручные пулеметы «МГ».

По вечерам в подворотнях и на набережных постреливали, а однажды два генеральских сына-переростка разнесли в щепы дверь квартиры генерала, живущего на их площадке и чем-то им не угодившего. Они успели расстрелять все рожки из двух «шмайсеров», и когда с воем приехал армейский патруль, они возились с зарядкой «МГ», а ничего не понимающий генерал стрелял, лежа на полу, из трофейного «вальтера» и чуть не угробил коменданта патруля. Отец выдрал двух своих идиотов и отдал их в Суворовское училище, справедливо полагая, что это все-таки лучше колонии для малолетних преступников. Вероятно, из-за таких вот случаев выставку вскоре закрыли. Надо признаться, это была одна из интереснейших выставок в моей жизни.

В Москве начинали строить первые высотные дома. Из кухни Марии Николаевны были видны огни башенного крана здания на Смоленской. Столица хотела соответствовать своей роли державы-победительницы.

Постепенно в Москву начинали съезжаться родственники. Должны были приехать дядя Костя и дядя Леша для участия в Параде Победы. Приехала тетя Вера. Все они останавливались у Марии Николаевны, и скоро комната оказалась забитой родственниками. К генералу дяде Пепе они почему-то идти не хотели, и ходил туда только я.

Рано утром в день Парада Победы я начал пробираться по дворам и переулкам к дому дяди Пепы. Улицы были забиты танками, пушками, бронемашинами. Взрослых не пропускали, а на нас, мальчишек, смотрели сквозь пальцы, и мы шныряли между танков и рассматривали здоровых веселых фронтовиков и генералов в странных, расшитых золотом мундирах, увешанных орденами, саблями, кортиками. Мундиры были необыкновенных цветов: голубые, изумрудно-зеленые, и генералы походили в них на павлинов. Эти мундиры им специально сшили для парада.

Я пытался в колоннах фронтовиков найти дядю Лешу и дядю Костю, но это оказалось бесполезным занятием, и тогда я поднялся на лифте в квартиру дяди Пепы.

Ирина Вячеславовна и Ирочка были заспанные, в махровых халатах, а дядя Пепя натягивал китель с орденами. Китель был обычный, хотя и очень тяжелый из-за орденов.

— А почему у тебя нет мундира? — спросил я, вспомнив генералов на улице.

Дядя Пепя засмеялся:

— Слава Богу, не успели сшить, — сказал он. Потом он взял парадный генеральский кортик и, повертев в руках, отложил его в сторону.

— Пепя, почему ты не надеваешь кортик? — спросила Ирина Вячеславовна.

— Я же буду на трибуне, — сказал дядя Пепя, — а раз нет мундира, то обойдусь и без кортика.

После его похорон Ирина Вячеславовна спросила меня, что бы я хотел взять на память из его вещей. Не задумываясь, я сказал:

— Кортик.

Ирина Вячеславовна покачала головой и сказала:

— Кортик он давно подарил какому-то мальчику со двора.

И мне достались артиллерийский бинокль и массивный серебряный портсигар. Мундир, который ему все-таки сшили, он после ухода в отставку не то сдал в утиль, не то просто выбросил. Так что никаких военных реликвий от дяди Пепы не осталось, кроме медали «XX лет РККА». Подумать только, в то время ему было всего сорок лет, а мне сейчас пятьдесят два. До сих пор я чувствую себя мальчишкой, если не считать немеющих ног. Правда, про меня уже не говорят «молодой оператор».

Недавно Ирочка, дочь дяди Пепы, приехала в Ленинград. Мы сидели на кухне, и я пытался почитать ей записки, касающиеся дяди Пепы, но она даже и слушать не стала. Со своей шотландской ухмылкой, которую не смогли вывести из породы четыреста лет пребывания в России, она сказала:

— Оставь, пожалуйста. У вас, Чечулиных, какой-то семейный бзик — писать. Папа тоже писал и даже посылал в какие-то журналы, но, естественно, печатать не стали. Тогда он пытался прочитать это нам с мамой, но мы его и слушать не стали. Это было так смешно, кажется, он впервые по-настоящему разозлился.

Очень бы я хотел почитать записки дяди Пепы.

А тогда, одевшись, дядя Пепя посмотрел на меня и спросил:

— Ты завтракал?

— Нет,— сказал я, не подозревая, какую я делаю ошибку.

— Жаль,— сказал дядя Пепа,— пошел бы со мной.

— Ты с ума сошел, Петр,— сказала Ирина Вячеславовна.— Тебе нельзя не пойти, а он-то что там делать будет? Ведь это на весь день. Сейчас я его накормлю, а парад он посмотрит с балкона.

Так я не попал на Красную площадь и жалею об этом до сих пор. Потом я врал ребятам, что видел парад, Сталина и как бросают знамена. Все это я увидел позже, уже в кинохронике.

А сейчас я стоял на балконе девятого этажа, против Центрального телеграфа, и рассматривал в бинокль башни Кремля и бесконечные ряды войск, растянувшихся по улицам Горького и Огарева, бархатные штандарты с наименованиями фронтов, солдат, тоскливо переминающихся в строю, собирающиеся на небе тучи.

Дядя Пепа вернулся довольно скоро, так как еще во время парада моросил мелкий дождь, а когда парад закончился, дождь хлынул как из ведра, и демонстрацию отменили. По мокрому асфальту улицы Горького хлынули в сторону Красной площади разрозненные ряды самых стойких демонстрантов. Они бежали, размахивая флагами и транспарантами, в направлении Кремля, затянутого сплошной пеленой дождя. Дядя Пепа вошел в мокром кителе очень озабоченный. Вечером в Кремле должен был состояться банкет, а других кителей, приспособленных для ношения орденов, у него не было.

Когда я вечером попал домой на Большой Новинский, родственники пили чай. Дядя Леша и дядя Костя так и не смогли прийти: их не отпустили, и сразу после парада они разъехались по местам своей службы. Удалось повидать дядю Костю только тетке Вере — ее как жену допустили ненадолго к мужу, и теперь она, смущенно улыбаясь, рассказывала, что дядя Костя носит портянки из самого лучшего трофейного батиста.

Начиная с середины сорок четвертого года мы в Ухте начали получать посылки с трофеями. Первой пришла посылка от дяди Леша, там лежали круглые коробочки с немецким шоколадом, кофточки для теток и прорезиненный в серо-черную клеточку дождевой плащ для меня. По газетам мы узнали, что немцы давно жрут всякую гадость — эрзац, поэтому шоколад нас сильно удивил: он оказался очень вкусным. Что касается плаща, то я чуть с ума не сошел, дожидаясь весны, когда я смогу выйти в нем на улицу и поразить всех окружающих. На улице стоял мороз сорок градусов, и до весны было далеко, поэтому я каждый день надевал плащ

и вертелся в нем перед зеркалом, как какая-нибудь девчонка.

Благодаря трофеям и американским посылкам я и мои сверстники внешне преобразились. Помимо джинсов «Леви Страус» у меня был твидовый пиджачок «Оксфорд» и прекрасный темно-красный джемпер из верблюжьей шерсти, который я носил и во ВГИКе, а двадцать пять лет спустя из его остатков моя мать связала прекрасное платье для моей дочки. Кроме того, у меня были бежевые бриджи для верховой езды, вероятно, принадлежавшие какой-нибудь американской юной леди, так как на талии они у меня еле сходились, а я в то время весил не более сорока килограммов. Еще был нижний комбинезон из тончайшей белой шерсти с отстегивающимся клапаном на заднице — это вызывало нескончаемые насмешки в общественных туалетах, но было очень удобно в условиях Крайнего Севера.

Трофеи были, пожалуй, единственным свидетельством нашей победы. На улицах разъезжали «мерседесы», «хорьхи», «вандереры», «опели». Комиссионные магазины были забиты приемниками «телефункенами» и «филипсами». Часы, которые до тех пор являлись предметами роскоши, появились в великом множестве. Русские женщины узнали, что нижнее белье может быть более привлекательным, чем верхняя одежда. В обиход советских граждан вошли махровые халаты, пижамы и кимоно.

Мои дядя неважно воспользовались трофейной лихорадкой. Дяде Пепе досталось несколько ящиков французского коньяка из подвалов Геринга. От дяди Леша мы получили несколько посылок — в основном с шоколадом. А дядя Костя, пообещав тете Вере ограбить всю Германию, приехал домой с аккордеоном «Hohner» и огромным деревянным граммофоном, звук в котором регулировался с помощью деревянных дверок в нижней части. После войны под звуки немецкой песенки дядя Костя за воскресной выпивкой признался мне, что граммофон и аккордеон — это духовные ценности, и только поэтому он не пропил их по дороге домой из Берлина. Про остальные трофеи он загадочно молчал, а тете Вере сообщил, что их украли у него на вокзале в Кнингсберге.

Много лет спустя, делая картину «Кадки-на всякий знает», мы сняли роскошную сцену ожидания поезда на станции, в которой солдаты, возвращавшиеся домой, сидят между путей на травке каждый со своим аккордеоном «Hohner» и пьют из немецких пивных кружек французский коньяк. Но бдительные редакторы выкинули из фильма эту сцену, усмотрев в ней поклеп на армию-освободительницу. Хотя снимались в этой сцене бывшие фронтовики, и делали они это с удовольствием, вспоминая минувшие дни.

Однажды я ездил на машине по Германии. Проезжая чистенькие, вымытые городки со сквериками на центральных площадях и уродливыми памятниками над могилами русских солдат, похороненных в этих сквериках (на эти могилы немцы педантично каждое воскресенье клали одинаковые букетики цветов), я думал о величии души русского солдата, который с боями свою выжженную и опозоренную землю, оставил в целостности эти чистенькие города, не устраивал на центральных площадях казней, не расстреливал и не убивал. Разве что слегка улучшил немецкую породу, переспав с немками, которые с готовностью шли на это, считая естественным Право Победителя. Да взял в разбитых магазинах немного белья для своей бабы да штук десять часов на подарки, да и те с лихостью пропил по дороге домой, а довез только батистовые портянки и воспоминания о нескольких неделях бесшабашного загула после Победы да о товарищах, погибших уже после войны, погибших по-русски — лихо и бессмысленно.

Когда я слышу разговоры о варварстве русских, я вспоминаю историю своего народа, который после татар и монголов пытались втаптывать в грязь и поляки, и французы, и немцы. Русских «варваров» жгли огнем и мечом, сжигали Москву и Смоленск, пытались уничтожить Ленинград, загадили святыни русского народа — могилы Пушкина и Толстого, уничтожили храмы Новгорода. Но цел Париж, «взятый» русскими. Не осквернены могилы Гёте и Шиллера. Дрезден разбит цивилизованными американцами, а маленькие городки Германии стоят целехонькие, напоминая о тысячах сожженных городов и сел России.

Нет, не нажился наш народ на этой войне.

На другой день после Парада Победы зазвонил телефон. К телефону подошла Мария Николаевна.

— Да, — сказала она, — да, это я. — Голос у нее стал сухой и безжизненный. — Я слушаю, Петр, говори. — Она долго молчала, потом сказала: — Хорошо, я передам. — Она повесила трубку и села на стул у телефона.

Из комнаты вышла мама.

— Что случилось, Мария?

По лицу Марии Николаевны текли слезы.

— Миша жив, — сказала Мария Николаевна и зарыдала.

Дядя Пепу получил письмо от отца. Я помню длинный конверт со словами, написанными латинскими буквами, со множеством штемпелей и печатей. Письмо было написано после высадки американцев в Нормандии в сорок четвертом году и долго шло окольными путями через Касабланку, Иран и потом блуждало по разным цензурам, пока

не попало к дяде Пепе. В нем отец радостно сообщал, что жив, здоров, был в плену, из плена бежал и сражался в маки, а теперь приложит все силы, чтобы вернуться домой.

Я всегда верил, что отец жив, и теперь говорил плачущей матери:

— Ну видишь, я оказался прав — он жив.

Мать плакала и смеялась. Бабушка плакала, плакала тетя Вера, не было только Марии Николаевны: она ушла, чтобы не встретиться с дядей Пепой, потому что она не могла забыть ему ночь сорок первого года, когда она просила взять младшего Пепу к себе, а он отказал ей. Плакали все, не плакал только дядя Пепу. Он стоял, облокотившись о книжный шкаф, и лицо его было сурово и задумчиво. В отличие от нас он знал о приказе товарища Сталина о репрессиях по отношению к семьям военнослужащих, сдавших в плен. Сталин издал этот приказ после того, как его сын Яков попал в плен. Жена Якова Лиля была посажена в тюрьму вместе с маленьким ребенком и просидела там до тех пор, пока немцы не расстреляли Якова, отказавшегося вступить в Добровольческую армию Власова.

По официальным сообщениям отец числился без вести пропавшим, поэтому ни мать, ни меня не трогали до сих пор. Но теперь письмо прошло через руки цензуры, и, так как дядя Пепу был родным братом отца, приказ товарища Сталина мог распространяться и на него, и на бабушку как на ближайших родственников. Правда, война кончилась, но приказ не был отменен, да и будет ли он отменен — неизвестно. Все зависело от усердия и бдительности чиновников, которые должны заботиться о безопасности Родины. Известие о том, что отец побывал в плену, смущало и меня, потому что я знал, что советские люди в плен не сдаются. Но то, что он бежал и сражался в маки, меняло дело.

— Вот что, Оля, — сказал дядя Пепу, — когда вы вернетесь в Ухту, а оттуда я вас вызову в Ленинград, не нужно никому говорить, что Михаил жив. Пока он пропал без вести. Вам понятно? Пропал без вести. — Он поцеловал бабушку, мать, пожал руку тете Вере и мне, надел фуражку и вышел. Через окно на кухне я видел, как огромный «майбах» развернулся во дворе и выехал из ворот.

В Ленинград мы попали в январе 1946 года. Мы ехали в заледенелом мягком вагоне, вместе с нами в купе ехали двое инженеров из Воркуты. Окна вагона покрывал толстый слой льда, все краны в умывальнике замерзли, чай не подавали, и инженеры пили спирт из трехлитрового бидона, разбавляя его молоком, так как воды не было. Молоко сворачивалось в хлопья, и меня тошнило от одного вида этой жидкости, но инженеры бодро хло-

пали по стакану и начинали ухаживать за мамой. Но, судя по всему, они были интеллигентными людьми и не выходили за рамки приличий.

Ленинград лежал в сыром, морозном тумане, темный и неприветливый. Почти все окна были забиты фанерой вместо вылетевших от бомбежек стекол. Нас никто не встречал, и мы взяли носильщика с детскими санками, который отвез наши вещи за полбуханки хлеба и пачку папирос «Казбек». На сумрачном утреннем Староневском инвалиды торговали эсжимо и папиросами россыпью.

— Пара — пять! — кричали они.

В квартире тоже было холодно. Еле светились тусклые лампочки на кухне и в коридоре, и только в комнате бабушки было тепло. Бабушку привез адъютант дяди Пепы. В Москве она не хотела оставаться, несмотря на все уговоры Марии Николаевны. Адъютант выгнал соседей из нашей большой комнаты, которую они захватили, рассчитывая, что мы не вернемся, и обеспечил бабушку дровами и продуктами из генеральского пайка. Поэтому в комнате было тепло и уютно.

Были новогодние каникулы, и я стал разбирать уцелевшие от сожжения в блокаду книги. Книги лежали на объемистых антресолях, и их оставалось еще много. В нашей семье книги любили, в детстве все мои дядя и тетки на карманные деньги покупали их.

Однажды, году в десятом или двенадцатом, дед выиграл на скачках семьдесят тысяч рублей — в то время это были огромные деньги. Дед приехал на извозчике с узлом, в котором завязанные в ресторанный скатерть лежали семьдесят тысяч серебром и ассигнациями. Он выстроил своих детей и каждому выдал по сто рублей серебром на книжки, а бабушке пять тысяч на хозяйство. С остальными деньгами он исчез, и никто не знал куда, пока через две недели не пришла телеграмма из Ялты: «Вышли деньги на обратный проезд». Я за всю свою жизнь не заработал столько, а он умудрился проиграть их за две недели. Ай да дед!

Помимо полного собрания русской и зарубежной классики у нас были бережно переплетенные годовые подшивки «Нивы», «Иностранной литературы», «Мира приключений», «Вокруг света», а также полные собрания сочинений Луи Буссенара, Жюль Верна, Майн Рида, Густава Эмара, бесчисленные выпуски с приключениями Ника Картера, Ната Линкертон и других.

Любимым моим занятием было настукивать на градуснике температуру тридцать семь и пять, чтобы не ходить в школу, и копаться в развалах книг, выискивая «Приключения знаменитых авантюристов», «Знаменитых куртизанок», приложения к «Иностранной литературе» вроде «Записок Казановы» или «Воспоминаний парижского

префекта Горона». Вот уже два года, как меня стали активно интересоваться взаимоотношения мужчины и женщины, и тут я нашел для себя подходящую литературу: «Половой вопрос» профессора Фореля, «Половая психология» Вейнигера, «За закрытой дверью», «Половые извращения» и так далее, видимо, этот вопрос когда-то интересовал и моих дядек и деда. До сих пор мое половое воспитание ограничивалось примитивными сообщениями моих сверстников, а теперь оно встало на серьезную научную основу, хотя и несколько скучноватую.

Первая школа в Ленинграде, в которую я попал, находилась в здании бывшего третьего реального училища, в котором учились дядя Гриша и дядя Ваня. Это было большое казенное здание с широкими сводчатыми коридорами, с высокими потолками, из-под которых светили тусклые лампочки с эмалированными тарелками отражателей. В классах было холодно, и почти все ученики сидели в пальто и валенках. Половина стекол в окнах была выбита и заделана фанерой, поэтому лампочки горели весь день.

Почти все ребята пережили блокаду, и в шестом классе, куда я попал, средний возраст был пятнадцать-шестнадцать лет. Таких, как я, тринадцатилетних, было человек пять. Меня посадили на одну парту с долговязым субъектом лет семнадцати — он был головы на две выше меня и отнесся ко мне равнодушно-приветливо. На диктанте вместо того, чтобы писать, он вытащил из кармана наган и начал его протирать и смазывать. Учительница с ужасом смотрела на наган, но никаких замечаний ему не делала. Почистив, он сунул наган в карман и с чувством исполненного долга захрапел. На переменке, увидев, что я читаю «Грабителей морей», он вежливо попросил дать ему почитать. Я дал. Книжку он вернул на следующий день, прочитав ее за ночь, и на уроках безмятежно проспал весь день. Ученики боялись его тревожить и на переменах высказывали в коридор, где носились с дикими воплями. Пока я сидел с ним, все было хорошо, никто ко мне не приставал, наоборот, меня даже побаивались, потому что Печенов — так звали его — всегда сидел один, и я был первым, кого он пустил за свою парту.

Но через десять дней Печенов не пришел в школу, его не было три дня, а потом в школе прошел слух, что его взяли за вооруженное нападение на инкассатора. И кончилась моя спокойная жизнь. Как только стало известно, что Печенов не вернется, на первом же уроке на мою тетрадь шлепнулся увесистый комок соплей. На задней парте сидели два хулигана — Булат и Калина. Калина обладал феноменальной способностью плевать на дальние расстоя-

ния. Но, как все хулиганы, он был труслив и плевать на парту Печенова не осмеливался. Я с трудом дождался конца урока и, как только учительница вышла из класса, подошел к доске, взял тряпку, вытер плевок со своей тетради и запустил тряпку в улыбающуюся харю Калины. Тяжелая, мокрая тряпка очень удачно обмоталась вокруг головы Калины, и он не сразу от нее освободился. Несмотря на то что он был старше меня на три года, он не полез драться со мной, мало того, он разыграл из себя джентльмена. Поплевав на платок, он вытер лицо и повелительно крикнул:

— Дорченко!

Из-за парты выскочил паренек моего роста с бегающими глазками.

— Давай, Дорченко, — сказал Калина, — пусти красные сопля этому фрайеру.

Никто из класса не вышел, все сгрудились на партах, а мы с Дорченко оказались в центральном проходе.

— Брэк! — крикнул кто-то, и бой начался.

Силы были примерно равные, но у Дорченко было больше опыта. Мы ожесточенно дубасили друг друга целую перемену. Когда зазвенел звонок, мы пересели на заднюю парту, чтобы не привлекать внимания учителей своими подбитыми глазами и разбитыми носами. На следующей перемене бой продолжили, и опять силы были равны. На третьей перемене класс молча наблюдал, как мы с Дорченко, окровавленные, наносили друг другу удары, точно пьяные. Мы дрались без перчаток, и помимо разбитых лиц у нас были в кровь разбиты руки. Последний урок я провел в нокдауне, думаю, что Дорченко тоже.

После урока я вышел на улицу, как в тумане. Был яркий, солнечный день, ослепительно блестя сугробы высотой в Человеческий рост. Я свернул за угол и увидел Булата, Калину и каких-то не наших ребят с матросскими ремнями, намотанными на кулаки. На концах ремней болтались заточенные морские бляхи. Этими бляхами матросы в драках разрывали сукно милицейских шинелей и вырывали куски мяса, оставляя шрамы на всю жизнь. Мне уже было все равно, я очень устал за эти три перемены, плохо видел сквозь запльвшие веки, и мне было трудно дышать разбитым носом. Я остановился и почувствовал, что кто-то встал рядом со мной. Покосившись, я увидел, что рядом стоит Дорченко. Вдвоем мы двинулись к ожидавшей нас группе и вдвоем прошли через расступившийся молчаливый строй.

Больше в школе ко мне никто не приставал.

Война и блокада были большими «воспитателями»: нужно было выжить, и выживал

сильнейший. Во всех дворах, на всех улицах, во всех школах существовали банды, шайки, гопы, потому что одному выжить было трудно, почти невозможно, и легче всего было объединиться на уголовной основе. Это приносило немедленные материальные результаты и способствовало сплоченности на основе блатной романтики. Не знаю, как в других дворах, но в нашем не сели в тюрьму и колонию только трое. Я чудом попал в их число. Ленинградские блокадные ребята прожили страшную жизнь. На их глазах умирали от голода их близкие — матери, сестры. В десять — двенадцать лет они становились «добытчиками», и тут все средства были хороши. Они тушили зажигалки и ловили ракетчиков, но они же грабили квартиры и воровали хлебные карточки, чтобы прокормить себя и своих родственников. Странное сочетание жестокости, вероломства по отношению к чужим с верностью дружбе, нежностью и заботливостью по отношению к своим. Многие из них, отсидев сроки, вышли на волю и стали настоящими людьми. Но многие навсегда остались бандитами, соблюдающими один закон — сильный всегда прав.

После войны энергия, направленная в блокаду на выживание, требовала выхода. И вот сходились на драки дворы, улицы, районы. Побеждали те, кто был более сплочен, поэтому иногда дворовая банда брала верх над целой улицей или даже районом.

В нашем большом доме тоже была банда. В самый тяжелый период блокады, когда выдачу хлеба сократили до минимума и дома умирали родственники, двенадцати-четырнадцатилетние мальчишки на попутках и пешком перебрались на ту сторону Ладоги, где были накоплены запасы продовольствия для голодающего Ленинграда. Охранявшие склады матросы накормили ребят досьята и предложили остаться, но там, в Ленинграде, остались умирающие матери, сестры, бабушки. Матросы позволили взять ребятам столько еды, сколько они могут унести. Мои кореша расстегнули ватные штаны, заправленные в валенки, и насыпали туда пшена; потом матросы посадили их на машины с продуктами и отправили назад в блокадный Ленинград под непрерывным обстрелом и бомбардировкой по весеннему, покрытому водой ладожскому льду. По дороге у них начались спазмы в отвыкших от пищи желудках; они катались, стиснув зубы, не в силах унять голодный понос. Пшено довели до дома и спасли своих родственников, потому что пшено промыли и ели маленькими порциями до конца блокады.

На нашей лестнице, ниже меня этажом, жил дворовый пахан, медлительный, спокойный парень, который преображался в драке, и тут его боялись все. Он был старше

меня лет на шесть, но мы подружились из-за книжек. Я давал ему читать, а иногда он приносил мне что-нибудь вроде «Записок Путилина» и выпусков дореволюционной уголовной хроники. Периодически его сажали в тюрьму, и тогда место пахана занимал его брат — маленький, шустрый, но отчаянный парнишка. Это были хорошие вожаки, и при других обстоятельствах они бы наверняка стали ценными для общества людьми, потому что они никогда не издевались над слабыми, у них не было никаких садистских наклонностей, которые обычно сопутствуют главарям, и они всегда ставили выгоду банды выше собственной.

Спустя много лет после того, как я снял «Мертвый сезон» и много других картин, я спускался от матери по черному ходу. На площадке четвертого этажа сидела гопа человек шесть, они курили, а на низком подоконнике светились пустые бутылки из-под водки. Я хотел пройти мимо, но один из них вдруг неуверенно сказал:

— Саня?

Я присмотрелся. Это был он, пахан банды моего детства.

— Боря! — сказал я, и мы обнялись.

— Видел твои картины, — сказал он. — «Республика ШКИД» и «Мертвый сезон» — класс! — Это была самая высокая похвала, которую я когда-нибудь получал. — Саня, — спросил он, — тебя никто не обижает?

— Нет, — сказал я.

— Подумай, — сказал он, — может быть, все-таки кто-нибудь обижает?

— Да вроде нет. А где твой братец?

— Сидит, — сказал он. — Вот его кореш.

Я поздоровался за руку с корешами.

— То я сижу, то он сидит, — сказал Борис с усмешкой. — Выпьем?

— Давай! — сказал я.

Один из корешей вынул из кармана полную бутылку водки и налил мне граненый стакан. Я выпил и понюхал луковичу, которую протянул мне второй кореш. Всем им было за сорок, а они еще продолжали играть в эти игры.

— За мать и дочку, Саня, не беспокойся, — сказал Борис. — Посидишь?

— В другой раз, — сказал я и пожалел, что у меня нет времени.

— Ну бывай, — сказал он. — Хорошее было времечко... Вспоминаешь?

Мы снова обнялись, я пожал руки корешам и пошел вниз по лестнице.

Летом сорок шестого года мы с мамой поехали к отцу. Начиная с осени сорок пятого мама часто плакала по ночам, и я не мог понять, почему. В сорок шестом году все родственники собрались в Ленинграде. Демобилизовались дядя Леша в чине капитана

и дядя Костя в чине майора. Неожиданно вернулся дядя Сережа; оказалось, он тоже, как и отец, попал в плен и после нескольких побегов очутился в Бухенвальде, где вступил в подпольную организацию и участвовал в бухенвальдском восстании.

Все они некоторое время были без работы, но потом дядя Леша и дядя Костя пошли работать в систему МВД, и на их плечах снова засверкали пагоны, только с голубыми просветами. Они с особым вниманием относились к матери и ко мне. Дядя Сережа устроился на завод слесарем-инструментальщиком высшего разряда и делал штампы. Я помнил его до конца войны совсем мальчишкой, очень хулиганистым и шустрым. Он часто катал меня на велосипеде, посадив на раму впереди себя. Однажды я, засмотревшись на сверкающие спицы переднего колеса, в порядке эксперимента сунул туда ногу. Дядя Сережа перелетел через меня и еще в полете начал произносить ругательства, в которых почему-то упоминалась моя мать, которую, как я знал, он очень любил. Он не переставал поминать ее и всех моих родственников, включая себя, и тогда, когда, подняв велосипед с безнадёжной восьмеркой переднего колеса, повел домой. Я шел за ним следом, хромая наподобие велосипеда, и думал о том, что теперь, пожалуй, дядя Сережа не будет катать меня на нем.

Теперь мы с мамой ехали к отцу. Ехали тем же путем, каким ехали из Ухты в Ленинград: Котлас — Княж-Погост — Чибью (Ухта) и, наконец, Печора.

В Печору мы приехали ранним утром. На пустынной станции из тумана, воняющего паровозным дымом, появился высокий человек в сером бушлате, шапке-ушанке и брезентовых сапогах. Лицо его заросло густой бородой. Он обнял мать, и они застыли почти так же, как пять лет тому назад в проходе вагона, увозившего нас в эвакуацию. Человек был раза в два тоньше моего отца и от этого казался особенно высоким. Я стоял, смотрел на него и думал: на кого он похож? Никаких сыновних чувств я не испытывал. Наконец я понял, на кого он похож. Он был похож на тех непривилегированных заключенных, которых колоннами прогоняли через Ухту автоматчики и на которых мы, мальчишки, смотрели брезгливо и с презрением, так как они сидели в зоне, а не защищали Родину с оружием в руках.

Мы с мамой остановились в двухэтажном доме наподобие того, в котором мы жили во время войны в Ухте. Там жили папины знакомые Доильницыны — муж и жена. Доильница арестовала давно, еще в тридцать четвертом году. Он был каким-то крупным сотрудником Косиора, и к волне арестов 1937—1939 годов сумел убедить лагерное начальство в своей полной безобидности,

граничащей с блаженством, честностью и верой в великое дело Партии и Вождя. И хотя ему автоматически надбавили к первоначальным трем годам тюремного заключения еще десять лет, он был начальником почты и жил не в зоне. Кроме того, он смог выписать к себе жену, тоже партийного и тоже почтового работника. Они жили в маленькой комнате с окнами на общественный сортир из пяти кабинок. Несмотря на запах, это представляло некоторое удобство, особенно зимой, так как в окно было видно, есть ли свободные кабинки, и не нужно было щелкать зубами на морозе, ожидая своей очереди. Кроме стола, двух лавок и двух кроватей в комнате была масса журналов. Доильницы аккуратно подпisyвались на все журналы и так же аккуратно прочитывали и складывали их стопками вдоль стены.

Сейчас Доильницы уезжали в отпуск и на это время отдали комнату отцу. Смешно, когда заключенные уезжают в отпуск. В системе лагерей такое практиковалось, только в отпуск уезжали, не переезжая границы системы. Ездили в отпуск из одной зоны в другую. По-моему, Доильницы ехали в Ухту: она была южней и считалась чем-то вроде Ялты.

После небольшой выпивки и завтрака Доильницы суетливо схватили два маленьких чемоданчика и попросили меня проводить их на вокзал. Как я теперь понимаю, они хотели, чтобы отец и мать побыстрее остались одни. И я пошел той же дорогой, какой мы шли час назад. Печора напоминала Ухту — те же деревянные двухэтажные дома, только более запущенные и расставленные без всякого намека на улицы, те же одноэтажные бараки с облупившейся штукатуркой, и ни одного дерева. Вероятно, раньше деревья были, потому что два или три трактора корчевали огромные пни, а строители Печоры считали, что деревья ни к чему, и вырубали их везде. На вокзале Доильницы суетливо попрощались со мной и попросили часика два погулять, а потом идти домой, так как маме с папой есть о чем поговорить. И я пошел бродить по Печоре.

Почти в центре поселка была зона, окруженная высоким забором с колючей проволокой и вышками. В Ухте такие зоны были вынесены за пределы поселка. Здесь не было своего Большого театра с колоннами, как в Ухте, а стадион представлял просто грязную вытопанную площадку с двумя воротами без трибун. Печорская футбольная команда была худшей в системе лагерей, и когда с ней играли команды Ухты и Воркуты, счет обычно достигал астрономических размеров: 12:1, 16:0 и т. п. Видимо, начальник Печорских лагерей не был любителем спорта, не был он и меценатом.

Я вышел к реке. Огромная серая водная гладь простиралась передо мной. На берегах лежали кучи полусгнивших бревен, проржавевшие баржи и катера. Через реку был переброшен железнодорожный мост, по которому шли бесконечные эшелоны с воркутинским углем. Такой мне и запомнилась Печора: с серым пасмурным небом, серой водой, с запахом паровозного дыма и токсичными гудками буксиров и паровозов.

К вечеру отец отвел меня в общежитие для паровозных бригад. Там нас встретила крупная женщина с руками-лопатами, с резкими чертами лица. Она повздыхала, глядя на отца, и выделила мне койку в комнате, где было двенадцать кроватей, застеленных белоснежными простынями. Такой чистоты я больше никогда не встречал ни в одном общежитии. Когда отец ушел, женщина повздыхала, глядя на меня, и смахнула слезу.

— Сколько лет батьку-то не видел? — спросила она.

— Пять, — сказал я, не зная, что мне предстоит его не видеть еще десять лет.

Ночью я проснулся от дикого крика и грохота. В комнату, освещенную низкими лучами полуночного солнца, вваливались чумазые пьяные люди — это были окончившие смену паровозники. Прямо в сапогах, не снимая промасленных ватников, они валились с гоголом на белоснежные простыни. Командантша металась между кроватями, осыпая их отборным матом и стаскивая на пол. Такого мата, да еще извергаемого женскими устами, я никогда до этого не слышал, да и потом мне приходилось слышать его не часто.

Так мы прожили две недели. Днем я гулял по Печоре или перечитывал подшивки «Интернациональной литературы» и «Красной нови», а вечером отправлялся на ночлег в общежитие паровозных бригад, предоставляя родителям возможность остаться наедине. Постепенно лицо отца, угловатое и настоженное, добрело и смягчалось, особенно добрым оно становилось, когда он смотрел на мать. Тогда я еще не знал, что ему пришлось пережить, и тем более не знал, что еще предстоит.

Все было впереди.

Ночь. Я сижу в одиночном номере гостиницы Одесской киностудии. Мне пятьдесят два года, у меня нет ничего, кроме автомобиля и любимой женщины, с которой я вынужден расстаться, потому что надо зарабатывать на жизнь. Я сижу здесь уже месяц и ничего не делаю, даже не получаю зарплату — до сих пор не подписана бумага о запуске фильма. За окнами гостиницы туман, и я слушаю наводящие тоску звуки ревуна Одес-

ского маяка. За свою жизнь я привык переезжать с места на место, привык к отвратительной еде провинциальных ресторанов и буфетов, привык к встречам и выпивкам со знакомыми и незнакомыми людьми, к выпивкам, которые иногда превращаются в длительные и утомительные недельные запои, запои от безделья и одиночества. Тогда я просыпаюсь по ночам, покрытый холодным потом, и думаю о бессмысленности своего существования; о том, что к пятидесяти годам я не нашёл ни славы, ни денег; о том, что дочь выросла и стала взрослой без моего участия; о том, как плакала моя мать на кухне перед моим отъездом, потому что думала, что не увидит меня больше, плакала тайком, чтобы не расстраивать меня. Она всегда плакала тайком, и только однажды, когда приехала от отца в сорок восьмом году, она плакала навзрыд в моем присутствии.

Каждое лето после той поездки в Печору мать ездила в отпуск к отцу. Меня она с собой не брала, да я и не сожалел об этом, так как с возрастом я стал стыдиться своего отца. Еще бы, у всех моих соучеников отцы или воевали на фронте, или имели броню и работали во время войны на заводах, или, хотя бы как дядя Сережа, принимали участие в восстании в лагерях и ходили на свободу. Про своего же отца я не мог сказать ничего, кроме того, что он заключенный, хотя его и выпускают на свободу, когда приезжает к нему мать.

Мои дядья, работавшие в системе МВД, мрачнели при упоминании об отце и старались быть со мной поласковее. А дядя Петя, когда он изредка приезжал в Ленинград и навещал бабушку, тоже мрачнел, когда разговор заходил об отце. Позднее я узнал, что его несколько раз выдвигали в Академию наук, но каждый раз кандидатуру снимали потому, что у него брат предатель. Вначале я не мог понять, почему отец предатель, если он бежал из лагеря и сражался в маки, а потом добровольно вернулся домой, но то, что отца не выпускали на свободу, подтверждало его вину, и постепенно я начал стыдиться его.

Я встречал мать на вокзале. Когда она вышла из вагона, я не узнал ее. Моя красивая, всегда улыбающаяся мамочка постарела лет на десять. Я довел ее до дому, чувствуя, что она вздрагивает всем телом. Но глаза ее были сухими, и, только войдя в комнату, она, не снимая пальто, упала на постель и разрыдалась. Она рыдала, уткнувшись в подушку, и я не знал, что делать.

Позднее она рассказала, что отца забрали рано утром, и она неделю обивала пороги, пока не выяснила, что отца везут в Ленинград на следствие. Она ехала с ним в одном поезде и на каждой станции бежала к вагону

в конце поезда. Окна были в решетках, в нем везли заключенных. Перед самым Ленинградом вагон отцепили, чтобы не портить общего вида состава, прибывшего на Московский вокзал.

Через два дня, выходя из комнаты в коридор, я ударил дверью соседа, который пытался подслушать, о чем говорят мама и бабушка. Сосед работал в Большом Доме на улице Воинова. В этот дом мы потом пошли на свидание с отцом. Я никогда не забуду запах, который был в помещении, разделенном коридором из проволочной сетки, по которому разгуливал надзиратель. Пахло нечеловеческим. Я много раз видел свидания в кино, но ничего похожего мне увидеть не привелось. По одну сторону сетки стояли женщины и дети, а по другую — обросшие, исхудавшие мужчины, все они кричали во весь голос, кричали об обиденных вещах: о портянках, хлебе, сале. Только отец молча смотрел на мать, да и она не старалась перекричать этот гам и только шепотом повторяла: «Мишенька, Мишенька...» Я почувствовал облегчение, когда свидание закончилось и заключенные стали отгонять от решеток.

Через две недели отца приговорили особым решением трибунала к смертной казни, но, поскольку смертная казнь была отменена, ему заменили ее двадцатью пятью годами строгого режима. Тогда мужество покинуло мать, и она целый день пролежала как мертвая.

На другой день я пошел в школу. Теперь я точно был сыном преступника, изменника Родины. На днях меня должны были принять в комсомол, и я не мог скрыть, что мой отец предатель.

Директором школы у нас был пожилой, но еще видный человек с седой гривой, похожий на Вадима Спиридоновича — учителя географии, умершего от голода в Ухте. Школьники побаивались его и поговаривали, что до революции он был не то директором гимназии, не то занимал еще какой-то важный пост, но был связан с революционерами, и поэтому его оставили руководить школой.

Я постучал и вошел в полутемный мрачный кабинет, заставленный книжными шкафами. За письменным столом спиной к окну сидел директор. Он удивленно посмотрел на меня и показал рукой на глубокое кожаное кресло, стоявшее перед столом.

— Что скажешь хорошего? — спросил он.

— Хорошего ничего, — сказал я. — Вчера моего отца приговорили к смертной казни как предателя Родины. Я должен сообщить вам как директору. На следующей неделе меня будут принимать в комсомол. Что мне делать?

Директор молча просидел в кресле, как мне казалось, целую вечность. Потом он встал и подошел ко мне.

— Кто-нибудь в школе знает об этом? — спросил он.

— Нет, — сказал я.

— Ну и не надо никому говорить. Ты сказал мне, и этого достаточно. Вступай в комсомол — у нас дети за отцов не отвечают. Вступай в комсомол и учись спокойно.

В детстве я плакал очень редко, и за все это время я не проронил ни слезинки, но тут меня понесло. Слезы хлынули ручьями, и я почувствовал, что трясусь, как мама, когда я вел ее с вокзала.

— Успокойся, — сказал директор и налил мне воды. Зубы мои залягали о стакан. — Ты очень любишь его?

— Не знаю, — сказал я. — Он ведь предатель.

— Откуда ты знаешь? — спросил директор.

— Он был в плену, — сказал я, — бежал из плена, сражался в маки, но они говорят, что он предатель.

— О черт! — сказал директор, дальше он выругался так, что я перестал плакать. — Успокойся, никакой он не предатель, это все недоразумение. Успокойся, все будет хорошо. Вот увидишь. — Он опять выругался, достал из кармана платок и вытер мне щеки и нос. — Иди и никому про это не говори. Ты понял?

Я кивнул головой, хотя не понял ничего.

— Иди и передай матери, что все обойдется. Не может не обойтись. — Он стукнул кулаком по столу: — Сукины дети, ах сволочные сукины дети! Бандиты!

Тогда я не понял, кого он назвал бандитами, но сейчас я вспоминаю его гневное лицо в полумраке кабинета и думаю, что все-таки мне везло на хороших людей с детства.

Меня приняли в комсомол. Вопросов о родителях не задавали, так что мне не пришлось врать. Почти весь наш класс вызвали в райком на Староневском и выдали маленькие комсомольские книжечки. Никакой торжественной обстановки не было, все было очень буднично и поэтому немного обидно, потому что я связывал прием в комсомол с каким-то романтическим таинством. Тень Павки Корчагина осязаемо витала над нами, так же как и образы молодогвардейцев из Краснодона. Теперь комсомольцами были все, и я искренне удивлялся, когда изредка встречал моих сверстников, не состоящих в комсомоле.

Как ни странно, дядя Сережа — герой бухенвальдского восстания — тоже не состоял в комсомоле до войны, не состоял он и в партии. Это вызывало у меня удивление: как же можно быть подпольщиком и не состоять

ни в партии, ни в комсомоле? На мои вопросы дядя Сережа посмеивался и говорил:

— Достаточно того, что я просто антифашист.

Когда мы с ним копали огород в Репино, на даче, которую строил дядя Костя, он мне рассказывал разные истории из бухенвальдской жизни. Истории эти мало напоминали фильмы о фашистских лагерях с их унылой благородной жертвенностью, которые часто показывали в кинотеатрах. Истории были жутковато-веселые, похожие на самого дядю Сережу с его бесконечными шуточками, трепом и почти полным нежеланием говорить о себе всерьез. Создавалось впечатление, что дядя Сережа и в Бухенвальде не переставал трепаться и шутить.

Однажды в их блоке стали пропадать пайки хлеба, которые заключенные держали у себя на постелях. Раньше воровства не было, а теперь исчезло несколько паек, а это значило, что лишившиеся их сделали шаг к смерти, потому что были истощены до предела. Дядя Сережа посыпал свою пайку чернильным порошком, и когда она исчезла, все выходившие из барака обязаны были открывать рот и показывать язык. Тут-то вор и нашелся — язык у него был вымазан чернилами.

— И что вы с ним сделали? — спросил я.

— Взяли за руки и за ноги и три раза ударили задницей о бетонный пол.

— Почему задницей?

— Потому, — сказал дядя Сережа, — что тогда не остается никаких следов. У человека просто отрываются внутренности. Мы так казнили доносчиков, а вор этот был единственный. Больше никто не воровал.

— И вы убили человека за пайку хлеба?

— Если человек ворует у своего товарища по несчастью — он не человек, — сказал дядя Сережа.

Потом он рассказал о том, как русские вкупе с чехами и югославами топили в дерьме людей славянской национальности, которые, несмотря на предупреждение, ходили в публичный дом, открытый для заключенных.

— Разве для заключенных были публичные дома? Чем же они расплачивались? — спросил я.

— Были, — сказал дядя Сережа, — а сволочь даже в лагере найдет, чем расплатиться.

— А почему вы топили только славян?

— Видишь ли, — сказал дядя Сережа, — французу сходить в публичный дом все равно, что тебе почистить зубы. А чтобы позорили Россию, мы допустить не могли. Не могли допустить этого и югославы.

— И многих вы утопили?

— Нет, — сказал дядя Сережа. — Среди желающих русских не было. Ну, может быть, один или два, но это были такие сволочи, что их и без публичного дома нужно было

пустить в расход.

— Кого же вы топили?

— В основном поляков,— сказал дядя Сережа,— среди них много попадалось разной сволочи. Когда в Бухенвальд стали прибывать поляки, поднявшие восстание в Варшаве,— они хотели освободить столицу сами, до подхода наших войск,— весь лагерь объявил им бойкот. С ними в первые дни никто не разговаривал.

— Почему?

— Потому, что если нужно бить фашистов, то тут уж не до национальной спеси, а своим восстанием они дали возможность фашистам укрепиться и разрушить Варшаву. Наши войска вместо того, чтобы с ходу взять Варшаву, остановили наступление.

— Почему? — спросил я.

— Это политика,— сказал дядя Сережа,— а политика не всегда благородная вещь. Очень много хороших ребят погибло тогда в Варшаве, да и те, которые прибыли к нам в Бухенвальд, тоже оказались замечательными ребятами, но первое время их бойкотировали.

В этот момент в огород вошел дядя Костя и запел:

— Комм, паненка, шлафен, морген дам часы.

Дядя Сережа засмеялся.

— Чего смеетесь, Серега? — спросил дядя Костя.— Ровно четыре года тому назад я приехал на НП к своему другу майору Костину. Он сидел на пожарной каланче и корректировал огонь наших батарей по оставшимся у немцев кварталам Берлина. Какие замечательные были дни! Вся каланча была завалена ящиками с французским коньяком и шампанским. «Константин,— сказал он,— я устал, командуй огнем ты». Где немцы, а где наши, понять было невозможно, весь Берлин дымился и горел, и я очень боялся попасть по своим, поэтому все время уменьшал трубку, и снаряды скоро стали рваться под самой нашей каланчей. Костин скомандовал: «Привести блядей!» И к нам привели штук пять немок. Представляешь, пять немок на каланче, а, Серега?!

— Он представляет,— сказал я,— он за это славян в Бухенвальде в сортире топил.

— Ну да,— сказал дядя Костя,— прямо так и топил?

— Ну и что вы с этими немками сделали? — спросил я.

— А ничего,— сказал дядя Костя,— очень они были испуганные. Костин сказал: «Привести других». Но другие тоже были испуганные, а разве русский солдат может любить испуганную женщину?

— Может, может,— сказал дядя Сережа.

— Может быть, и может,— сказал дядя Костя,— но не на каланче. В общем, мы этих баб отпустили, а тут и война кончилась.

— И что было потом? — спросил я.

— Мы спустились с каланчи и открыли двери пожарного депо. Там стояли огромные пожарные машины. Мы вынули из ящиков пожарные шланги и набили их коньяком и шампанским, а потом я два дня звонил в колокол и ездил по Берлину. Замечательно было, только очень много завалов, и у каждого мы выпивали.— Дядя Костя погрузился.— Если бы не Петька, все было бы замечательно.

— Какой Петька? — спросил я.

— Мой адъютант,— сказал дядя Костя.— Он сел за руль второй машины и врезался в дом. Всю войну прошел без царапины, а тут...— Дядя Костя махнул рукой:— Пошли, мужики.

На веранде граммофон играл немецкую песенку. Стол был накрыт белоснежной скатертью, и красивая, счастливая тетя Вера расставляла рюмки и бокалы.

Вечером мы с дядей Сережей возвращались в Ленинград. Мы стояли в тесном, набитом вагоне, когда на остановке Оллила (ныне Солнечное) в вагон ворвался замечательный русский богатырь — прототип Василия Буслаева. Он был пьян и великолепен. Небрежно смахнув со скамьи двух девушек, он уселся на их место и благодушно захохотал. Хамство его было настолько естественно и гармонично, что вызвало улыбки даже на лицах обиженных девушек. И вдруг я услышал голос, который поначалу даже не узнал,— это был голос дяди Сережи: — А ну встань, скотина!

Вася Буслаев лениво повернул голову, по выражению его лица было понятно, что ему лень предпринимать какие-либо действия и он даже готов простить сумасшедшего человека, который так бессмысленно и неосторожно произнес эти слова. Впрочем, возможно, эти слова были обращены и не к нему. Но дядя Сережа все поставил на место.

— Я к тебе обращаюсь, дерьмо! Встань!

Дальше произошло то, чего я не видел даже в самых лихих американских картинах того времени. Джеймс Кагни, которого я увидел спустя три года в картине «Судьба солдата в Америке», и в подметки не годился дяде Сереже. Он за уши схватил могучую голову Буслаева, который весил килограммов на пятьдесят больше него, и рывком надел ее на свое поднятое колено. Когда Буслаев с окровавленным лицом отпрыгнул назад, он получил мощнейший удар в солнечное сплетение, а затем был добит сцепленными руками по затылку. В вагоне воцарилась мертвая тишина, только колеса отсчитывали свой ритм на стыках рельсов. Потом раздались утробные стоны. Буслаев, скорчившись, стонал на полу. И тут постепенно начали

возникать женские голоса:

— Да что же это такое?! Да за что же так парня?! Ну подумаешь, выпил, нельзя же пьяного, так ведь убить можно!

Я схватил дядю Сережу и вытолкал в тамбур. Прижимая его к стене вагона, я чувствовал, как дрожит и бьется его тело. Так бьется тело птицы, если ее зажать в кулаке.

— Быдло, быдло... — повторял он трещающимися синими губами.

— Успокойся, успокойся, — говорил я, чувствуя, что меня охватывает такая же дрожь. В этот момент я понял, что в Бухенвальде шуток не шутили.

Бухенвальд был единственный лагерь, который освободил себя сам. Его охраняла дивизия СС «Мертвая голова», состоявшая из отборных головорезов. Тем не менее, когда в назначенный подпольным комитетом час заключенные кинулись на заранее распланные посты, растерянные эсэсовцы даже не смогли дать отпор истощенным, почти безоружным людям и десятками сдавались в плен.

— Мы даже не тратили на них патронов, — говорил дядя Сережа. — Мы давали им лопаты и заставляли копать могилу. И они копали. Потом они выстраивались у могилы так, как привыкли выстраивать нас перед расстрелом, и один из них, самый сильный, убивал остальных лопатой и сбрасывал их в яму. Они стояли и смотрели, как он убивает остальных, и даже не пытались бежать. «Ordnung» — порядок — даже здесь был для них превыше всего. Палачу мы дарили легкую смерть: стреляли ему в затылок, и он падал сверху на трупы зарубленных им соратников. Но так мы поступали только с рядовыми. Начальников и особенно отличившихся палачей мы оставили в живых для суда. Среди них был один палач из Освенцима, бывший чемпион Германии по боксу. Каждое утро он обходил лагерь. Заключенные должны были вставать при виде его во фронт. И тогда он, чтобы не потерять спортивной формы, ломал им челюсти рукой. Это был высокий красивый блондин, любил публички и женщин — стопроцентный ариец. Рукой, затянутой в тонкую кожаную перчатку, он мастерски ломал челюсть, выбирая людей поздоровее и повыше ростом. У него была норма — пять челюстей каждое утро, не больше и не меньше — ровно пять. Он принимал боксерскую стойку и делал несколько ложных финтов, прежде чем нанести неожиданный мастерский удар. Это была потеха для эсэсовцев, которые первое время ходили за ним толпами, одобрительно гогоча, но потом это им наскучило, и он ломал челюсти только для того, чтобы поддержать форму.

Мы боялись его больше виселицы, на которой каждое утро вешали для острастки несколько человек, потому что получить перелом челюсти в условиях Бухенвальда значило умереть мучительной смертью. Правда, в нашем блоке был врач-москвич, который поставил на ноги нескольких ребят, но всех он спасти не смог. Вот этого эсэсовца тоже оставили в живых, хотя он и отстреливался до последнего патрона, а потом, уже в драке, сломал напоследок еще несколько челюстей. Он сидел в одиночке, охраняли его немецкие коммунисты. И американцы, которые приезжали посмотреть на него, потому что он был спортивной знаменитостью, удивлялись, как это немцы могут охранять немцев. Чемпион не терял своего достоинства и вежливо разговаривал с визитерами. Они хлопали его по плечу и угощали сигаретами и жевательной резинкой. Еще бы — он был настоящий парень, спортсмен, боксер. Не чета этим изможденным охранникам, многие из которых еще ходили в полосатых робах и требовали, чтобы гости сдали оружие, прежде чем допустить их в камеру чемпиона.

Дядя Сережа рассказывал, что однажды на джипе приехал здоровенный негр. Он выложил на стол два пистолета и нож и попросил разрешения посмотреть на «коллегу», он так и сказал: «коллегу». Увидев его, немец поблдепел и попятился к стенке.

— Хэлло, бой! — сказал негр. — Как поживаешь? — Потом встал в стойку и сделал приглашающий жест чемпиону.

Чемпион встал во фронт. Опять «Ordnung»? Негр провел серию, и чемпион взлетел вверх, ударившись головой о потолок.

— Дерьмо! — сказал негр и, брезгливо переступив через чемпиона, забрал свои пистолеты, нож, сел в джип и укатил.

На следующий день чемпиону нашли мертвым. Он удавился на шнурках от ботинок. Наверное, он не мог перенести, что его — белого арийца — нокаутировал негр. Даже если этот негр был Джо Луис.

...Я уверовал в то, что это был Джо Луис, когда во ВГИКе посмотрел фильм, снятый в Америке, о матче Джо Луиса с Максом Шмелингом.

История была такова. Первый матч состоялся в Гамбурге, и Джо Луис выдержал пятнадцать раундов и проиграл по очкам Макс Шмелингу. Говорят, что его запугали фашисты, пообещав, что не выпустят его живым, если он победит Великую Белую Надежду германской нации. Не знаю, правда ли это, но я видел матч, снятый в Америке во время ответного визита Макса Шмелинга. Матч был снят двумя камерами с одной точки без перебивок и монтажа, что гарантировало полную достоверность материала. Оба боксера вышли на ринг, и Макс Шме-

линг протянул руку, а Джо Луис презрительно отвернулся от протянутой руки и сразу встал в стойку. Дальше все произошло очень быстро. Джо загнал Макса в угол и провел серию, которую невозможно было рассмотреть. Кинооператоры учли возможность такого варианта, и вторая камера снимала с частотой 120 кадров в секунду. Вот здесь мы рассмотрели замечательное мастерство негритянского боксера. Ноги Макса Шмелинга оторвались от ринга и продолжали висеть, пока Джо Луис обрабатывал его корпус и челюсть, а голова Макса дергалась под могучими ударами Джо. Потом на ринг полетело белое полотенце — его бросил секундант Шмелинга, понявший, что еще минута и Джо убьет Великую Надежду Германии. Джо презрительно отвернулся от лежащего Макса и, не дожидаясь решения судьбы, полез под канат при полной растерянности зала, ожидавшего спектакля из пятнадцати раундов.

Говорят, что Макс Шмелинг после этого сошел с ума. А может быть, он сошел с ума и поэтому пошел служить в эсэсовцы и стал тешить свой комплекс неполноценности на беззащитных людях. Может быть, даже на неграх, ведь в Бухенвальде сидели люди всех национальностей, кроме японцев. Даже патангонцы были.

Не знаю, как было на самом деле, но во время просмотра фильма я вспомнил рассказ дяди Сережи, и мне очень захотелось, чтобы этот негр был Джо Луис. Ведь Господь Бог не может быть плохим драматургом.

Всю ночь шел дождь, а рано утром за окнами повисла плотная завеса тумана, и когда я выводил свою девушку через двери на балкон, мы словно окунулись в мокрую вату. Дом еще спал, и только издали доносилось шарканье метлы по мокрому гравию дорожки — это дворник Саша коротал время в ожидании открытия магазина. Под прикрытием тумана, избегая любопытных взглядов отдыхающих и дежурной, мы выбрались за пределы Дома творчества и зашагали по еловой аллее к станции.

Девушка шла, опустив голову и зябко приподняв плечи, плащ еще не высох, хотя и висел всю ночь на сушилке в ванной. Я вспомнил, как с нее ручьем текла вода, когда вчера вечером я услышал шорохи за окном и, открыв дверь балкона, выловил ее из крошечной темноты в момент, когда она пыталась влезть на балкон первого этажа. Потом я отпаивал ее чаем с ромом, а потом согрелвал другими доступными мне средствами. Сейчас я поймал себя на мысли, что, посадив ее на электричку, вернусь в свой теплый номер, выпью рома и лягу спать до

обеда, повесив на дверь табличку «Прошу не стучать». «Сволочь ты, Сашико», — подумал я и обнял ее за плечи. Она доверчиво прижалась ко мне и подняла вверх усталое лицо с плохо отмытыми следами вчерашней косметики.

Сзади послышались торопливые шаги. «Кого это несет в такую рань?» — подумал я. Из тумана вынырнули две стройные фигуры, они держались за руки и оба были в одинаковых джинсах и одинаковых нейлоновых куртках с капюшонами.

— Привет, братец! — сказала одна из фигур.

И я узнал голос своего двоюродного брата Сереги — сына дяди Сережи. Я достал ему путевку в Дом творчества, и он жил в одном из коттеджей, стоявших позади главного здания. Вторая фигура оказалась милостивой белокурой девушкой, которая на минуту смутилась, а затем, рассмотрев мою спутницу, с вызовом посмотрела на меня невинными голубыми глазами.

— Познакомьтесь, — сказал Сережка и назвал имя своей девушки.

Мы пожали друг другу руки, и девушки сразу защебетали, как будто были давно знакомы.

Меня всегда удивляло то, как сближает даже самых разных женщин приобщенность к общему греху и общей тайне. Так же меня удивляет их нетерпимость по отношению к другим женщинам, которые совершают этот грех самостоятельно и в одиночку.

Мы оба испытали известное облегчение, усадив наших женщин в электричку. И когда ее задний стоп-сигнал растворился в тумане, Сережка подмигнул мне и сказал:

— Ничего кадр! Что, братец, седина в бороду — бес в ребро?

— Молчи, сосунок, — сказал я, — в твоём возрасте я прикасался к девушкам только на танцульках.

— Слушай, — сказал Сережка, — ты не хочешь выпить?

— Магазин еще закрыт, но у меня дома есть немного рома.

— Магазин откроют через десять минут, — сказал Сережка, — уже семь пятьдесят.

— Спиртным торгуют с одиннадцати.

— Не смеши меня, братец, — сказал Сережка.

Мы спустились с перрона и медленно пошли к стеклянному магазину на привокзальной площади. У входа в магазин уже стояла кучка людей, явно пришедших сюда не за батонами. Среди них был и мой тезка — дворник Саша. Он радостно улыбнулся мне как человеку, у которого есть с ним общая тайна. Он был очень старательный и безбидный человек, но я никогда не видел его трезвым. Тем не менее дорожки всегда были подметены, клумбы вовремя политы, скамей-

ки покрашены, лыжный инвентарь в порядке, и он всегда был готов безвозмездно оказать услугу: помыть машину или сбежать в магазин. После того как Саша так же тихо и незаметно умер, как жил и работал многие годы, в Доме творчества стало как-то одиноко и неуютно, как будто Саша унес частицу естественного человеческого тепла.

Дверь магазина открылась и мгновенно засосала в себя ожидавших. Я остался один, стоял и слушал гудки электрички, подхотившей со стороны Ленинграда. Лязгнули буфера, открылись и закрылись двери, потом снова раздались тревожные гудки, постепенно гаснущие в вате тумана.

Вдруг я услышал какое-то шарканье и стук палки. В тумане появилась сгорбленная, прихрамывающая фигура, напомнившая мне Слепого Пью из «Острова сокровищ» Стивенсона. Фигура приблизилась ко мне, и я увидел иссеченное морщинами дубленое лицо с неожиданной молодыми цвета сильно разведенной синьки глазами.

— Где тут Дом кинематографистов? — спросил человек.

— Идите по этой аллее вниз, дойдете до шоссе, направо, а потом будут указатели, — сказал я.

Человек захромал вниз по аллее, постепенно растворяясь в тумане, а я подумал: зачем он появился в такую рань и к кому он приехал? Вид у него был совсем не кинематографический.

Из магазина вышли Сережка и Саша. У обоих оттопыривались карманы.

— Все в порядке, Михалыч, — сказал Саша.

— Обаяние молодости, — сказал Сережка. — Какая женщина перед ним устоит?

Мы пошли вниз по еловой аллее.

— Михалыч, — сказал Саша, — идти далеко, а душа горит.

— У тебя есть стакан? — спросил я.

— Обижаешь, Михалыч, — сказал Саша и достал из кармана куртки граненый стакан и плавленный сырок.

Мы перескочили через канаву и по мостику вышли к столу и двум скамейкам, которые стояли на маленьком островке.

— Говорят, сам Алексей Максимович здесь употреблял, — сказал Саша.

— Какой Алексей Максимович?

— Как какой? Горький, совместно с Ильей Ефимовичем, — сказал Саша.

— Илья Ефимович не пил, — сказал я.

— Значит, врут, — согласился Саша. Мы сели на скамейки, подстелив газеты, которые оказались у Саши. Туман плотной стеной окружил нас, но мы слышали шаги проходивших по аллее людей, до них было метров семь, и не будь тумана, все было бы видно как на ладони. Я представил, как Горький с Репиным выпивают на этом дурачком

островке на виду у гуляющей публики, и засмеялся. Потом мы выпили по полстакана холодной, чистой как слеза водки и закусили плавным сырком «Дружба».

— Теперь мою, — сказал Саша и полез в свои бездонные карманы.

— Тебе еще работать надо, — сказал я.

— А я уже все сделал с ночи, — сказал Саша.

— Под дождем?

— Рабочему человеку дождь не помеха.

— Не надо, Саша, хватит.

— Обижаешь, Михалыч, — сказал он.

...Мы сошли с островка и вышли на шоссе.

На перекрестке, опершись на палку, отдыхал человек, который спрашивал у меня дорогу к Дому творчества.

— Сюда? — спросил он, показывая палкой вправо по шоссе.

— Да, — сказал я. — А вам кого нужно в Доме?

— Чечулина, — сказал он. — Александра Чечулина.

— Я Чечулин.

— Вы? — сказал человек и, переложив палку в левую руку, протянул мне жесткую мозолистую ладонь. Рукопожатие было неожиданно сильным. Я вглядывался в его лицо и старался вспомнить, где я его видел.

(Продолжение следует).

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Публикация

Семен Франк

МЕРТВЫЕ МОЛЧАТ

Август, 1917

Не так давно в газетах было напечатано письмо матери, потерявшей на войне сына. Она спрашивала, как оправдаются перед матерями, оплакивающими своих погибших на войне детей, люди, отрицающие национальный смысл войны и требующие немедленного мира во что бы то ни стало; и что даст силу матерям перенести их неизбывную скорбь, если у них отнимается вера, что смерть их детей была нужна родине?

Среди шума митинговых речей, среди воплей и вистопляски обезумевших живых, слабый голос матери, тихо напомнившей о мертвых, остался нерасслышанным. Какое дело живым до мертвых? Давно ведь известно:

Спящий в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!*

Если таков вообще безжалостный закон жизни, что самое дорогое прошлое передается неизбежному забвению, то это забвение особенно основательно в дни, когда настоящее целиком захватывает сознание своей яркостью, бурностью и новизной, когда оно манит душу невиданными соблазнами. Те сотни тысяч русских людей, которые покоятся в безвестных могилах на широкой многоверстной полосе земли от Рижского залива до Галиции, Венгрии и Буковины или за пределами этой полосы во вражеской земле, или за Кавказским хребтом в далекой Турции, Персии и Месопотамии, — все они современники и жертвы «старого режима»; они принадлежат к прошлому, к истории, к тому, что навсегда исчезло и теперь кажется лишь каким-то нелепым сном. Эти бедные люди прошлого не знали свобод, которыми мы теперь упиваемся, не видели красных флагов на ули-

цах городов, не бывали на митингах, не ведали ни 8-часового рабочего дня, ни министров-социалистов, упрекаемых за недостаток радикализма, ни бумажного богатства, в котором купаются счастливые современники. Они не думали об интернационале, не участвовали в выборах в Советы рабочих и солдатских депутатов и, даже умирая, оставались рабами ненавистной «буржуазии» и соблюдали воинскую дисциплину. Что могут они возбуждать в нас теперь, кроме чувства жалости? И время ли вообще теперь, среди тревог и радостей свободного строительства новой жизни, предаваться праздным мыслям об отошедших участниках исчезнувшего прошлого?

Было бы бесполезно говорить живым, упоенным соблазнами жизни, о нравственных обязанностях в отношении памяти мертвых; было бы смешным донкихотством надеяться на успех, взывая теперь к чувствам благородства и верности прошлому, напоминая, что даже истинное счастье, купленное ценою забвения погибших и измены их делу и вере, есть нечто презренное и недостойное человека. Но имеющим уши, чтобы слышать, быть может, полезно напомнить, что такое забвение мертвых не безопасно для живых. Если не совесть и человеческое достоинство, то простой страх и политический расчет должен был бы подказывать менее равнодушное отношение к памяти умерших.

Мертвые молчат. Бесчисленная их армия не встает из могил, не кричит на митингах, не составляет резолюций, не образует союза и не имеет представителей в Совете рабочих и солдатских депутатов. Тихо истлевают они в своих безвестных могилах, равнодушные к шуму жизни и забытые среди него. И все же эта армия мертвецов есть великая — можно сказать, величайшая — политическая сила всей нашей жизни и от ее голоса зависит судьба живых, быть может, на много поколений. И тихий укоризненный голос матери есть лишь слабый предвестник громовых раскатов гнева, с которым мертвые готовятся обрушиться на живых.

Для слепых и глухих, для тех, кто живет лишь текущим мгновением, не помня прошлого и не предвидя будущего, для безумцев, о которых давно сказано: «рече безумец в сердце своем: несть Бога», — для них мертвых не существует; и напоминание о силе и влиянии мертвых есть для

* Шиллер Ф. Торжество победителей. Пер. В. А. Жуковского.

них лишь бессмысленный бред суеверия. Но те, кто умеет видеть и слышать, кто сознает настоящее не как самодовлеющую, отрешенную от прошлого жизнь сегодняшнего дня, а как преходящий миг живой полноты, насыщенный прошлым и чреватый будущим,— те знают, что мертвые не умерли, а живы. Какова бы ни была их судьба там, за пределами этого мира,— здесь, среди нас, их мученические образы живут в наших душах и движут нами. Или, вернее, они живут не в наших душах,— не в слабых ограниченных, легко забывающих и мало разумеющих сознаниях отдельных людей, а в подсознательных глубинах великой, сверхличной народной души. Кто понимает, что все великое и решающее в истории творится не отдельными людьми, вытекает не из сознательных намерений, желаний и понятий единичных умов, а рождается из глубоких недр единой народной души, объемлющей в себе многие поколения,— тот понимает также силу и влияние мертвых в политической жизни. Мы, люди сегодняшнего дня, можем кощунственно забыть о них — но они не забудут о нас: если не наяву, то во сне они будут являться нам и, даже против нашей воли, руководить нашей судьбой. Они могут исчезнуть из нашей памяти, из нашего ума; но из нашей крови, из наших чувств и порывов, поднимающихся в нас как бы неведомо для нас самих, они не исчезнут. Их тела погребены в земле, но их души, покоясь здесь, среди нас, в таинственном лоне сверхвременной народной души, суть семена новой жизни, прорастающие незаметно для нас в наши души и движущие нами.

Не мечтатель и метафизик, а трезво мыслящий политик сказал о нашей революции мудрые слова: она была сделана не людьми, и в этом ее сила, ибо именно потому она не может быть разрушена людьми. Это можно, в сущности, сказать о всякой истинной революции: она не делается, а внезапно рождается из глубин народной жизни; она приходит как неожиданное землетрясение, когда из неведомых недр земли вырываются наружу глубоко скрытые силы. Она есть именно потрясение народной души. И именно поэтому, кстати сказать, идея «продолжения революции» есть жалкое, бессмысленное и даже кощунственное самомнение — как если бы люди, недовольные одним землетрясением, задались намерением продолжать собственными силами сотрясать землю. Какие же силы народной души, вырвавшись наружу, произвели политическое землетрясение февральско-мартовских дней? Все понимают, что революция есть плод войны; народная душа, исполненная вели-

кого страдания и оскорбляемая в этом страдании бессовестностью старой власти, одним порывом свергла эту власть. Раскрывая до конца конкретный смысл этого события, мы не можем не видеть, что революцию совершили тени погибших на войне. Народная душа была до краев переполнена кровью бесчисленных жертв войны; чтобы охранить в ней равновесие, нужна была особенно чуткая, нежная внимательность к ее страданиям; вместо этого ее оскорбляли и в ней оскорбляли предательством, легкомыслием и равнодушием святые для нее тени жертв войны. И достаточно было ничтожного внешнего толчка, чтобы армия возмущенных теней вышла из недр народной души и, предводительствуя маленькой кучкой людей на улицах Петрограда, в три дня разрушила трехсотлетнюю монархию. Нужно быть безнадобно слепым, чтобы вообразить, что сводяго завоевали петроградские рабочие и солдаты. Отдадим должную честь тем, в ком раньше других заговорила народная совесть, не забыв при этом, впрочем, что народная совесть сказала свое громкое слово уже в ноябрьские дни. Но неужели можно думать, что эта песчинка среди необъятного моря русской жизни оказалась бы победоносной, если бы навстречу восставшей кучке людей не полились неудержимым потоком бесчисленные резервы из народной души? Неужели непонятно, что легкая, почти бескровная уличная революция 27 февраля — 2 марта была лишь внешним проявлением, как бы наружной пеной великого внутреннего восстания мертвых в народной душе? Кто заставил отвернуться от старой власти, отречься от столь твердых, казалось, устоев старой жизни и многомиллионную армию, вчера еще послушную монарху, и всех русских людей, в том числе убежденных консерваторов и монархистов? Это чудо не могли совершить никакие политики, никакие люди вообще, и даже преступлений старой власти для этого было мало. Это сделали сотни тысяч скорбных, мученических образов, которые оплакивала народная душа и во имя которых, духовной силою которых она поднялась сразу во весь свой рост, как единое великое, непобедимое существо.

Да, мертвые молчат. Но нужно помнить, что все великое зреет и творится молчаливо, что исторические события созидаются не на митингах, а в таинственной тиши глубин народного духа. И тихие, неслышные «слезы бедных матерей», которым

...не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей,—

эти слезы — первые проявления, среди шума сегодняшнего дня, подземной жизни мертвых в народной душе; эти слезы готовят нам, быть может, новое и столь же неожиданное великое потрясение.

Но я слышу уже возражение: кто смеет говорить от имени мертвых? Откуда мы знаем, что мертвые, если бы они ожили, боролись бы теперь против дел и желаний живых? Не вернее ли, что они громче и настоятельнее других потребовали бы немедленного прекращения бойни, жертвою которой они пали?

Мы слышали не так давно голоса полумертвых — голоса инвалидов, голоса бежавших из плена — и эти голоса звучали достаточно определенно; по ним, если угодно, каждый мог бы судить, как звучал бы голос мертвых, если бы они ожили. Но дело ведь совсем не в этом. Что думали бы умершие, если бы они не умерли, а остались живы, — есть, в конце концов, совершенно праздный вопрос; быть может, многие из них были бы столь же грешными, слепыми, безумными, как те живые, что хозяйничают ныне. Но они умерли и живут преобразенными в народной душе. Там, в этой новой глубинной жизни, они неразрывно слились с тем делом, с той верой, ради которых они погибли; их души внятно говорят об одном — о родине, о защите государства, о чести и достоинстве страны, о красоте подвига и о позоре предательства. В этой преобразенной жизни, в глубине народного духа, в которой они отныне суть огромная действенная сила, они глухо ропщут против умышленных и неумышленных измен, против демократизованного мародерства, против бессмысленного и бессовестного пира на их кладбище, против расхищения родной страны, обгащенной их кровью. Сейчас их ропот еще не слышен для менее чутких ушей; мертвые не кричат — они молчат; но ведь они мол-

чали и до 27 февраля. Если они снова заговорят с нами тем громовым языком, каким они заговорили тогда со старой властью, — будет уже поздно. Страшна месть мертвых! Когда их тени снова будут доведены до открытого возмущения в народной душе, то в порыве слепого, безумного негодования на оскорбителей их памяти они могут ввергнуть страну на долгие годы в ту же пучину самой темной реакции, из которой они же вывели ее. Именно потому, что они и после революции продолжают жить в народной душе неотомщенными и неудовлетворенными, — более того, что после революции тени их терпят еще большие оскорбления, еще большее равнодушие, чем раньше, — именно поэтому мы живем, как на вулкане, и в каждое мгновение можем ждать нового внезапного сотрясения исторической почвы, которое в своей стихийной слепоте может разрушить и стереть с лица земли не только зло, но и добро всей нашей новой жизни. Старая власть была смыта морем пролитой крови, потоками слез бедных матерей и вдов. Эта кровь и слезы так же легко могут бесследно смыть и новую власть. Революция была совершена теньями погибших на войне, и от них же зависит вся ее судьба.

Нет, будем чтить тени мертвых в народной душе. А если мы уже разучились чтить их — будем, по крайней мере, помнить о них настолько, чтобы бояться их и считаться с ними. Лишь та жизнь достойна и способна сохранить себя, которая не порвала с питающими ее живительными силами умершего прошлого.

Мертвые молчат. Но наш долг — не только перед ними, но и перед нами самими и перед нашими детьми — чутко прислушиваться к таинственному и величавому — то благодетельному, то грозному — смыслу их молчания.

Публикация Ю. Сенокосова

Теория

Юрий Богомолов

КИНО МЕЖДУ АВТОРОМ И ЗРИТЕЛЕМ

Прежде в становлении киноспецифики выделялась и подчеркивалась проблема объективной реальности.

Последняя сначала представлялась слишком иллюзорной. Затем — чересчур достоверной. То и другое предполагало преодоление.

Поиски специфики кино проходили и под знаком недоверия к действительности, и под лозунгом доверия к ней. Когда речь заходила о документализме в кино, то имелась в виду прежде всего подлинность эмпирического факта, происшедшего события, материальной среды, наконец, реальных людей. Подлинность же автора или зрителя обсуждению не подлежала.

Не случайно кинематографический автор как таковой был замечен уже на довольно позднем этапе развития кино, когда были найдены возможности и способы индивидуализировать или, что одно и то же в данном случае, субъективизировать механическое видение. Удалось это сделать, как мы знаем, благодаря индивидуальным способам съемки, приемам декорирования объектов съемки и, разумеется, благодаря монтажным средствам. Среди других примет авторского присутствия, конечно же, надо выделить приемы сюжетосложения и приемы мизансценирования. Сюда же следует отнести эксцентрические формы интерпретации действительности.

По этим приметам, взятым в отдельности или в каких-либо комбинациях, зрители составляли представление о впоследствии знаменитых авторах — Гриффите, Бауэре, Эйзенштейне, Чаплине, Вертове...

Но что примечательно: эти авторы могли явиться перед зрителями только опосредованно.

Образ автора не поддавался документализации в том смысле, какой мы имеем в виду, когда говорим о воссоздании на киноэкране материальной среды или исторических персонажей. Автор, являясь на экран опосредованно или непосредственно, неизменно «обрастал» художественными обертонами. Свойственная кино отчетливость связи между типом и прототипом по отношению к фигуре автора была совершенно нехарактерной.

Эта ситуация подобна той, что существует в лирике. Лирический герой и автор легко уравниваются. И в остатке ничего не остается. Образ поэта, сколь бы он ни был глубок, физически ощущим, непременно фигурален. Нет никакой надежды увидеть случайный миг его жизни. Нет никакой возможности увидеть его, как на фотоснимке. Любопытна в этом отношении догадка Ю. Лотмана относительно Пушкина. Поэт, по наблюдению исследователя, заключал свое житейское поведение в рамки того или иного образа. «Подобно тому, как в творчестве Пушкина этого периода (имеется в виду романтический период.— Ю. Б.) стилистическое разнообразие предшествующих лет сменяется единством романтического стиля, личное, собственное поведение поэта заметно ориентируется на некий единый эталон. Этим идеалом, нормой становится романтический герой»*.

Стало быть, склонность, свойственная лирике, доводится поэтом до логического завершения: он и свою личную жизнь мыс-

лит как художественную и строит как художественную. Выходит, что документальный Пушкин невозможен?

Живописные портреты великих художников — Пушкина, Толстого — очень правдивые свидетельства, но они не документальны. Фотоснимок мог бы быть более верным свидетельством, поскольку возвращает нас к прообразу образа великого художника.

Соотношение образа и прообраза автора — вот та субстанция, которая нас в данном случае интересует.

Это соотношение не ощутимо ни в лирике, где безгранично доминирует образ автора, ни в научной прозе, где он отсутствует по принципиальным соображениям. (Мы имеем в виду отсутствие в структуре произведения.)

Оно начинает осознаться в художественной прозе, в драматургии. Все начинается с того, что некоторые из второстепенных лирических персонажей обретают определенную самостоятельность и независимость по отношению к авторскому сознанию. Персонажи получают характеры — это первый знак их суверенитета. Затем — судьбу. Показательны в этом отношении пограничные жанры: повесть в стихах, роман в стихах или поэма в прозе.

Здесь видна весьма отчетливо не вполне отмененная зависимость героев от автора. У бедного Евгения из «Медного всадника» пока что статус вымышленного персонажа. Он плод фантазии автора. Так же и Чичиков у Гоголя. Но сотворенные на наших глазах герои решаются на самостоятельные поступки и следуют логике собственной судьбы.

С другой стороны, не может не ощущаться нарастающая отчужденность автора и героя. Онегин уже всего лишь знакомый Пушкина. Вернее, знакомый автора. Читатель, осознавая обособленность героя произведения, чувствует и обособленность фигуры автора.

Итак, сначала автор перестает быть единственным героем своего произведения, а затем — и главным. Он становится как бы посторонним, потусторонним той действительности, которую вымышлял. Это же происходит в прозе. В «Повестях Белкина» Пушкиным изобретена целая система посредников между реальным автором и условными героями. О подобной дистанции заботится Лермонтов в «Герое нашего времени», Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», Тургенев в «Записках охотника».

Примечательно, что дистанцию эту отмечают и помечают прежде всего те прозаики, для которых опыт лирического переживания еще жив, еще воспринимается доста-

* Ю. М. Лотман. Александр Сергеевич Пушкин.— Л., 1982, с. 55—56.

точно остро. Введение рассказчика — это как бы рефлекторный жест поэта, который стремится лишний раз продемонстрировать дистанцию между собой и событием, между своим душевным опытом и душевным опытом изображаемого персонажа.

Словом, в художественной прозе соотношение между образом и прообразом становится художественно выразительным, оно играет, оно работает и выполняет определенную функцию в системе выразительных средств. Для понимания «Вечеров», их вольного духа, непринужденной веселости очень важно уловить связь между условным рассказчиком Рудым Паньком и реальным обитателем холодного Петербурга Николаем Васильевичем Гоголем. Завязка всего цикла повестей дана уже в «предисловии», где позиции обоих «авторов» взаимно оттенены и отстранены. Но и в этом случае автор, присутствуя, не стремится быть узнаваем личню. Он не нуждается в олицетворении. И читатель в этом не нуждается.

Нам не столь уж важны портреты Рудого Панька или Гоголя. Они воспринимались бы как излишняя конкретизация. На примере телевизионной картины М. Швейцера «Мертвые души» это особенно ясно видно. Режет глаз портретное сходство Автора с Гоголем. В художественном отношении точнее был М. Булгаков, когда он в пьесу, написанную по «Мертвым душам», ввел Лицо автора, а не самого автора. Этим удалось дать почувствовать расстояние между сценическим персонажем и реальным автором.

Литература сопротивляется документализации образа автора. Там, где является потребность в обострении субъективного начала, в распроявлении литератора есть безотказный и универсальный прием — повествование «от первого лица».

Кинематограф ничего принципиально нового в этом отношении тоже предложить не может. И на экране автор является в образе. Эйзенштейн в «Броненосце "Потемкине"» — в образе свидетеля непосредственного и вездесущего. В «Октябре» Эйзенштейн — историк-мыслитель. Вертов в своих лентах 20-х годов — по преимуществу оратор. В чисто документальных картинах, как и в научной прозе, автор самоустраивается — он исключает себя из структуры произведения в интересах объективного представления эмпирического материала. В тех же случаях, когда автор включает свое «я» в конструкцию произведения, фильм трансформируется в художественное свидетельство или репортаж. И сам автор оказывается «в образе». В 20-е и затем в 30-е годы было принято противопоставлять Дзигу Вертова и Эсфири Шуб. Документализм Э. Шуб осознавался как более

последовательный, поскольку основывался на доверии к хроникально заснятому материалу. На практике это означало, что автор сильно ограничивал свое вмешательство в объективно существующую реальность. То есть, говоря проще, фильмы Эсфири Шуб были менее монтажными, нежели картины Дзиги Вертова. И потому могли казаться менее авторскими.

Впрочем, и в те годы наиболее пронизательные теоретики, такие, как Эйзенштейн и Шкловский, обратили внимание на художественность документальной картины Эсфири Шуб. Просто достигнута она, как показал, в частности, Шкловский, иными, нежели у Вертова, средствами. Не кадры снимаются — сопоставляются отдельно снятые куски реальности. При этом роль автора представляется более скромной, менее ощутимой, но без документалиста Эсфири Шуб «в образе» аналитика-исследователя нет фильма. Но это опять же не документальный, а преобразенный образ, в котором нет места эмпирическому элементу.

Стало быть, документальный кинематограф, умножая и утончая свои выразительные приемы, тяготеет к художественному, по крайней мере в том, что касается образа автора. А художественный кинематограф между тем следует путем, который уже прошла литература. Притом, как можно заметить, следует довольно энергично, находя все новые и новые возможности активизировать позицию автора в художественной конструкции.

Грифит отваживается на невероятную художественную дерзость: он складывает сюжет из законченных внутри себя новелл. Он двигает сюжет столкновением не просто кадров или планов, но целых исторических эпох. Круг сюжета, обыкновенно неразрывный, жестко сцепляющий судьбы героев и события, в данном случае разомкнут. Отсюда является потребность, достаточно острая, в звене, которое связало оборванные сюжетные и идейные нити повествования. Им и становится сознание автора.

Конечно, нет фильма вне сознания автора, но оно не всегда играет сюжетную роль, оно не всегда используется как конструктивная опора повествования. В литературном произведении такой опорой может служить рассказ от первого лица. В кино позже будет выработан прием, который получит название «внутреннего монолога». В пору «Нетерпимости» его еще не было, и Гриффит вводит косвенным путем в конструкцию фильма свое сознание.

Этот прием впоследствии получит широкое распространение, и всякий раз он будет связан с расширением роли автора в самом фильме. Слом сюжетного круга, расчленение его на отдельные эпизоды будет озна-

чать, что в фильме есть величина, которая способна объединить все и вся.

Это ясно проявится у Феллини, прежде всего в «Сладкой жизни», а затем и в «8 1/2». К этому же приему прибегает и Андрей Тарковский в «Андрее Рублеве». Примеры можно приводить и дальше. Все они, однако, свидетельствуют об одном: эффект так называемого «авторского кинематографа» резко обостряется в такого рода картинах. Тут есть и своя закономерность: чем менее связаны между собой сюжетные фрагменты изображаемой действительности, тем заметнее присутствие авторского сознания. Именно ему надлежит найти точки соприкосновения между мотивами, иногда довольно далеко отстоящими друг от друга. Именно ему предстоит на себе замкнуть множество разнородных драм. Гриффит это сделал как бы за кадром. Он не мог позволить себе вывести некоего двойника, а все выразил в сложной сюжетной конструкции. Вернее, он все в ней закодировал.

Феллини и в «Сладкой жизни» и в «8 1/2» выводит на экран журналиста и режиссера — собственных двойников. Оба они вроде бы нужны главным образом для того, чтобы оправдать присутствие в рамках одной картины множества лиц, обстоятельств, ситуаций... Но, с другой стороны, они интересны и сами по себе. Не потому, что являются прозаичными намеками на самого Феллини и его внутренние проблемы. Они обнажают ситуацию распада прежних этических и гуманистических оснований самой жизни.

Не персонаж, воплощаемый Марчелло Мастрояни, оправдывает сюжетные скачки. Сюжет объясняет двойника Феллини. Именно сюжет пытается, несмотря ни на что, слепить раздробленную, фрагментированную реальность. И пока реальный автор крошит и дробит на экране объективную действительность, условный автор художественно собирает ее в нечто целостное.

В конструктивном плане оба персонажа — документальный и художественный — противоположены; они выполняют прямо противоположную работу. Один олицетворяет центростремительную силу, другой — центробежную. Благодаря этому пространство фильма воспринимается как обособленное. Конструкция не дает авторской мысли распознаться, растечься по древу ветвящейся жизни. С другой стороны, саморефлексия, обыкновенно стремящаяся к другой бесконечности, оказывается в берегах наших знаний о реальности.

В «8 1/2» конструктивный принцип сохранен. Но в него привнесены новые элементы. Образ автора и автор сближаются, почти отождествляются. Гвидо Ансельми поэти-

ствовал у Феллини не только профессию, но и некоторые характерные жесты. Автор экспериментирует на себе, на собственном сознании. Но при этом ему приходится самого себя сделать метафорой, самому стать иносказанием.

Феллини «намекает» на себя в образах своих современников.

Тарковский столь же прозаично «намекает» на себя в образе легендарного тезки — Андрея Рублева. Понятно, что дело не в честолюбивых амбициях автора фильма. Дело в овладении идеей духовного стоицизма перед лицом исторических и природных стихий.

Рублев — не альтер эго Тарковского. Здесь нечто иное: автор фильма чувствует себя преемником духовной воли великого художника. И потому в финале дается пристальное вглядывание в сохранившиеся фрески Рублева.

Вглядывание не только почтительно, но и поэтично. Это послесловие — сцена «очной ставки» автора с самим собой «в образе». Встреча документализирована, но в еще большей степени эстетизирована.

Эстетический прием в фильме Тарковского следует по пятам за документом, за включаемой в рамки художественного произведения эмпирией. Участи оказаться эстетизированным не может избежать и автор. Хотя, как мы видели, он подходит к самому краю художественного микроскопа, к последней его черте.

В «Иваном детстве» Тарковского нащупывалась возможность противостояния отдельного человека жестокий бесчеловечности войны. Автор перевоплощается в ребенка, который совершил предвиг надличного бытия и сознательно преобразовывал себя в некую функцию машины войны. Ребенок жил двойной жизнью — во сне и наяву. Во сне он жил памятью о себе. Наяву существовал строго функционально, постоянно преодолевая себя. Душа ребенка и разведывательная функция, безличная, как оптика полевого бинокля, не совпадали. Разительно, кричаще не совпадали. Закадровый автор вглядывается и в сны и в документальную хронику, в эстетизированную документальную реальность.

Закадровый автор мог бы быть отождествлен с автором реальным. Этого, однако, не происходит. За кадром ощущается персонаж обобщенный — Пытливый свидетель.

Ничего принципиально нового с образом автора не происходит и в том случае, когда автор свидетельствует о самом себе.

В «Зеркале» есть документальный обертон, касающийся уже непосредственно автора. В «предисловии» мы видим молодого человека, освобождающегося от недуга

заикания. Снята сцена документально (точнее, в документальной манере), а воспринимается метафорически. Является героиней — несомненный двойник автора. И столь же несомнен метафорический двойник. Человек вглядывается в зеркало, стремясь уловить свое ускользающее «я». Реальный автор окружается бесчисленными образными обертонами. Он ими блокирован, причем, тем больше, чем дальше заходит в своей личной открытости.

Кино в силу своих онтологических свойств, пожалуй, в большей степени, чем литература, и, возможно, так же как и живопись, провоцирует не документальное автопортретирование. Но в силу своей коммуникативной природы неизбежно наталкивается на пределы и преграды внутреннего порядка.

Случавшиеся попытки авторов снять с себя маску образа были неудачными. Едва ли не самая красноречивая неудача в этом отношении — публицистический финал «Диктатора», где Чаплин произносит довольно длинный монолог от своего имени. Она красноречива особенно потому, что произошла в рамках именно авторского кинематографа, где автору многое позволено, где он чувствует себя полным хозяином не только содержания, но и формы.

Впоследствии, уже в «Месяе Верду», Чаплин, чтобы завершить картину назидательной моралью, должен будет сюжетно мотивировать декламацию собственных воззрений: его герой, простодушный убийца, в финале как бы прозревает. Решение, разумеется, компромиссное и в то же время единственно возможное, то есть вынужденное.

Между тем, у некоторых авторов все настойчивее себя обнаруживает потребность «выйти из образа», обратиться к зрителю через голову своего произведения.

Телевидение на этот счет порождает определенные надежды, которые затем нередко осознаются всего лишь как иллюзии. Феллини трижды соблазнялся возможностью работы на телевидении («Блокнот режиссера», «Клоуны» и «Репетиция оркестра»). Для телевидения снимает Бергман. Его картина «Волшебная флейта» представляется заметной удачей и режиссера и телевидения...

О телевидении в свое время размышлял известный советский кинорежиссер Михаил Ильич Ромм. Размышлял о будущем телевидения, безгранично веруя в будущее кинематографа... Но что же его все-таки заставляло поглядывать в сторону ТВ? Об этом он говорит более чем определенно. Его поразила способность человека, приглашенного в телестудию, непосредственно общаться со зрителем. И в 1959 году он

высказывает теоретическое предположение, которое впоследствии будет абсолютно оправдано практикой, а именно: «...Постепенно разовьются новые формы телефильма или телеспектакля с широким использованием эффекта общения, с развитым авторским комментарием, с введением непосредственного, прямого наблюдения жизни»*.

Интересно, что Ромм несколько позже сам попытается оправдать этот теоретический посыл, но в рамках кинематографа. Речь идет об «Обыкновенном фашизме».

В следующей картине «И все-таки я верю» Ромм ставит себя в диалогические и непосредственные отношения с историей современности. Фильм поначалу назывался «Мир сегодня».

Задача, которую поставил перед собой Ромм, была невероятно сложной: реагировать приходилось не только на то, что прошло, но и на то, что идет, течет и изменяется. Равно трудно удержаться как в границах художественного произведения, так и в рамках документального.

Обе последние картины Ромма существуют в приграничной зоне художественного кинематографа. Оттого все элементы предельно обострены, их взаимоотношения необычайно мобильны. Сама форма как бы живет в предчувствии новых задач и целей.

Кинематограф по ходу своей истории не однажды уже приближался к черте, граничащей с миром эмпирических фактов. Два самых, пожалуй, ярких эпизода в этом отношении разделены дистанцией в три десятилетия. Документализм советского кино двадцатых годов — это одна веха. Другая — неореализм послевоенного итальянского кино. В обоих случаях экспансия в область документального окончилась эстетизацией нового эмпирического пространства, что, в свою очередь, не могло не сказаться на самих эстетических закономерностях кинематографа. Вопросы, связанные с этим процессом, подробно исследованы, и здесь нет нужды к ним возвращаться. Нас в данном случае интересует момент нового сближения художественного кинематографа со стихией сиюминутной реальности.

Сегодня стало особенно очевидным, что мы имеем дело не с простым повторением пройденного, а с подобием пройденного, но в новом качестве. Фактор, который предопределяет это новое качество, — телекоммуникация.

Художественное кино, приходя во взаимодействие с кинематографом документальным, неизменно перерабатывало,

* Ромм М. Беседы о кино.— М., 1964, с. 235

переваривало его элементы и приемы. Происходил синтез. Являлись синтезные образования вроде того, что получило название эстетики документализма.

Но кинематографу никогда не были доступны образования симбиозного характера, то есть такого рода соединения, в которых на автономных началах существуют условное и безусловное, документальное и художественное. Непременен либо одно стремится подстроиться под другое, даже встретиться в другом, либо наоборот. Швейцер начинает «Время, вперед!» хроникальными кадрами, которые организованы монтажом и музыкой, и потому воспринимаются как явления художественного порядка, а затем дает куски поставленной реальности, которая мимикрирует под хроникальную. Все построено на осознании взаиморастворения разнородных элементов, на переживании совместимости несовместимого.

Есть, разумеется, более сложные случаи, как, например, в фильме Феллини «Корабль плывет», где первые несколько десятков метров пленки смотрятся как хроникальные, несмотря на цвет и широкий формат экрана. Подделка очевидна, как, впрочем, и ее недюжинная искусность. Зритель может наслаждаться и упиваться не столько документальностью, сколько игрой в нее. Условная безусловность становится необходимой ступенькой, позволяющей нам подняться до безусловной условности притчи, рассказываемой Феллини.

Тот же принцип взаимодействия реализуется и в том случае, когда фильм выстроен новеллистически. В фильме Элема Климова «Спорт, спорт, спорт...» сосуществуют новеллы игровые и неигровые. Хроникальность кадров стайерского забега на соревнованиях в Калифорнии не берется под сомнение ни автором, ни тем более зрителем. Хроника смотрится как хроника. Она вычленена в отдельную новеллу и вроде бы существует независимо от игровых новелл, в частности, от той из них, где показаны девочки-пловчихи. То обстоятельство, что игровой сюжет стилизован под неигровую, не играет большой роли, то есть не приводит во взаимодействие оба уровня условности. Срабатывает другой фактор — хроникальные рассказывает об исключительном, запечатлевает уникальный момент, поразительные мгновения бега спортсмена в бессознательном состоянии. А игровой — вымышленный сюжет, с вымышленными персонажами — воспроизводит нечто обыкновенное, совершенно обыденное — тренировку до изнеможения. То есть игровое и неигровое как бы меняются привилегиями, прерогативами. В результате мы обнаруживаем норму того

случая, который в действительности казался ее нарушением. И хроникальные кадры оказываются, таким образом, «встроенными» в художественную конструкцию-размышление о противоречивом характере большого спорта. Соподчинение разных элементов происходит не на уровне пластической выразительности, а на уровне сюжетно-повествовательной конструкции.

Не автономен и образ автора. Он во всех случаях включен в систему выразительных средств, может быть понят в сопоставлении с другими элементами. Невозможность сбросить маску образа — это неспособность освободиться из-под власти выразительной системы произведения.

Микрокосм кинопроизведения обладает громадной центростремительной силой. Он не мог бы существовать, он не стал бы видимым, он оказался бы для нас бесполезным, как черная дыра, если не заключал бы в себе энергию центробежных усилий. В конце концов должно было произойти то, что произошло: автор шагнул за черту своего произведения и снял маску образа.

Случилось это благодаря телевидению. И случиться это смогло потому, что автор наконец увидел зрителя, который занял место не только у экрана, перед экраном, в самой студии, но и в структуре произведения.

Следовательно, речь дальше должна пойти об образе зрителя, о доверии к физической реальности зрителя.

Михаил Ромм не смог «перейти границу» в «Обыкновенном фашизме» потому, что он не увидел реального зрителя. Он сам себе был зрителем. Для себя выяснял ситуацию.

Образ зрителя остался неотделимым от образа автора. Это в общем характерно для кино в целом, как, впрочем, и для всех более старых искусств. Либо автор ставит себя на место зрителя, когда приходится работать в высоком жанре, когда само произведение ориентированно на индивидуализированного реципиента, либо зритель становится на место автора, как бы ведется его рукой, когда в поле его зрения попадает сочинение так называемого низкого жанра.

В одном случае зрителю, чтобы понять и принять фильм, приходится повторить (или постараться повторить) творческий подвиг автора, короче, стать «автором» того произведения, которое разворачивается на его глазах.

В другом — автору надо стать зрителем, то есть соткать нечто из его представлений и ожиданий. Поскольку эти представления и ожидания, как правило, скованы, стиснуты в рамках того или иного жанра,

то сами картины этого рода — непременно жанровые.

В обеих крайностях зритель — фигура не самостоятельная. И даже тогда, когда он вроде бы хозяин положения. Все равно он абсолютно интегрирован в художественной конструкции фильма. Зритель тоже — в маске образа. Его прототип не ощутим и не сознаваем в структуре произведения. У него нет роли в фильме, а если появляется, то она ничтожно мала.

Знаменательна технологическая сторона дела. Режиссер, выбирая точки съемки, ее режим, ставит либо себя на место зрителя, наблюдающего все со стороны, либо зрителя на свое место, на место человека, созерцающего внешний мир в состоянии подавленности или приподнятости. Режиссер, монтируя картину, как бы программирует ритм восприятия.

В кино, как мы знаем, это можно делать весьма продуманно и тщательно. Настолько тщательно и продуманно, что зритель иногда не может не почувствовать себя как условную фигуру. Ясно ощущима тенденция к умалению момента произвольности восприятия, произвольности коммуникации.

Теперь посмотрим на чисто внешние обстоятельства, сопутствующие тому или иному средству коммуникации и обуславливающие положение реципиента.

Читатель, открывая книгу и погружаясь в чтение, совершает достаточно сознательный акт независимо от побудительных причин. Он сам для себя создает условную ситуацию чтения. Оставим пока в стороне случаи, когда человек, бегая глазами по строчкам, заглатывает бутерброд и прихлебывает кофе. Они типичны, но не типологичны.

Типологична ситуация волевого, целенаправленного действия — читатель сознает себя читателем подобно тому, как человек, сочиняющий ту или иную историю, сознает себя писателем. Поведенческая установка создает нечто вроде условного контура вокруг книголюба и книгочея. Книгу, во-первых, надо приобрести, а затем найти время для ее чтения. Стало быть, момент непосредственности, произвольности встречи читателя с произведением выражен в ничтожно малой степени.

Только опосредованными могут быть отношения между автором и адресатом. Для первого читатель — фигура воображаемая. И для читателя писатель — персонаж во многом условный. Как малоознакомые люди они вежливы и почтительны друг к другу.

Читатель — всегда уважаемый или любезный. В этом качестве он допускается к встрече с произведением. Этика поведе-

ния ему предписана: он должен быть корректен, милостив, терпелив и т. д. Во всем остальном — в том, чтобы принимать или не принимать произведение, соглашаться или не соглашаться с автором, толковать героя так или иначе, читатель абсолютно волен. Но и в этой свободе выбора есть предпосылки определенного образа самого читателя.

Словом, реальный читатель не может не чувствовать давление условного персонажа, образ которого ему навязывается с разной степенью настойчивости. Писатель так же мало имеет шансов застигнуть читателя врасплох, как и реальную жизнь.

В театре реципиент является на встречу с автором собственной персоной. Он может быть конкретизирован и в этом смысле документализирован. Но в целом коммуникативная ситуация, в которой оказывается театральный зритель, более условна, нежели та, в какой пребывал читатель.

Прежде всего она более принужденная: зритель специально одевается, специально настраивается... Он чувствует себя участником особого ритуала, именуемого посвящением в искусство (его можно именовать и приобщением к искусству). Театральный зритель — это торжественный зритель.

Кинозритель менее торжествен. Он не идет в кино, он в него заходит (иногда забегает). Ритуальная сторона сокращена и упрощена. Зритель может позволить себе оставаться в зале самим собой. Меньше правил игры и, стало быть, меньше игры. Тем не менее и здесь зритель вырывается из своей естественной среды обитания и помещается в среду искусственную. И здесь он не волен ни над собой, ни над изображением.

Кино в сравнении с театром в этом отношении кажется страшным понижением всего того, что придает зрелищу священный характер. Но в сравнении с телевидением уже кинематограф воспринимается как некий храм, где человек может позволить себе роскошь сосредоточенного общения с искусством.

В книге «Делать фильм» Феллини говорит об особом статусе кинозрителя, который должен «выйти из дома, постоять в очереди, купить билет, войти в темный зал, заняв свое место...» Кроме того, подчеркивается, что в кинозал он не сможет прийти в трусах, шлепанцах, в халате, что он должен соответствующим образом себя вести в «атмосфере уважительного внимания, которая должна располагать к определенной форме восприятия».

На ТВ, как мы знаем, и Феллини нам об этом снова напоминает, ничего подобного нет — нет атмосферы уважительного внимания, а есть халат и стоптанные теми,

кто размышляет о природе телевизионного общения, домашние шлепанцы.

Впрочем, Маэстро забывает о книге. «Мадам Бовари» или «Божественную комедию» мы читаем не всегда в модельной обуви, может быть, в тех же самых шлепанцах. Дело в другом. ТВ застигает зрителя врасплох. Подразумевается его бытовое, психологическое, душевное состояние. Притом на самых первых порах возникновения ТВ все было иначе, все было почти как в кино или даже театре. Люди ходили в гости «на телевизор», приодевались, приосанивались... Атмосфера уважения к телезрителю была столь же наглядной, сколь и трогательной. Вспомните, как у Н. Михалкова в фильме «Пять вечеров» соседи героини приходят посмотреть передачу. Тогда лицемерие диктора, объявляющего программу передач, происходило в атмосфере внимательного и почтительного уважения.

О том, что случилось потом с этой атмосферой, показано в картине Н. Михалкова «Без свидетелей», в которой дана модель взаимоотношений зрителя с телевизором: изображение на экране живет своей жизнью, зритель у экрана своей. То же самое можно наблюдать и в «Послесловии» М. Хуциева, и в «Перекрестке» Геворкяна, и еще, вероятно, во многих других современных картинах.

Дело не в том, что телезритель недостаточно усидчив и не внимателен к «картинке». Дело в том, что он ее х о з я и н. В зависимости от настроения подсядет к изображению, или отвернется, довольствуясь звуковой информацией, или, наоборот, «вырубит» звук, как это сделал герой «Перекрестка», или начнет шарить переключателем по каналам до тех пор, пока не наткнется на «картинку», хотя бы приблизительно соответствующую его состоянию духа, или вовсе выключит.

Словом, загадочные «телепришельцы», пожаловавшие к нам в дом на волнах эфира, обжились, обвыклись и превратились в обыкновенных домовых, сверчков, которых мы приемлем в качестве домашней утвари или домашней живности.

«...Я смотрел на телевизор просто как на мебель, да, как на предмет обстановки, занимающий один из углов в квартире», — пишет телезритель Феллини. Свое открытие он сделал уже после того, как побывал «в шкуре телевизионного автора» — снял для телевидения «Клоунов». «Признаться, — пишет Феллини в другом месте своей книги «Делать фильм», — мне уже давно хотелось сделать что-нибудь для телевидения — этого своеобразного мостика, соединяющего автора со зрителем какими-то невидимыми, очень личны-

ми связями». И несколько дальше: «Воображаемая публика как бы истончается, превращается в одного-единственного зрителя, сидящего перед телеэкраном. И от этого ты становишься более свободным, более откровенным».

Разочарование Феллини в телевидении связано прежде всего с переосмыслением коммуникативной ситуации, потому что ТВ как повествовательное средство его очень устраивало. Оно позволяло ему вести свой рассказ более непосредственно, или, как он говорит, «спонтанно». А для Феллини высказаться спонтанно — это все. Потому и кажется, что если Феллини не создан для ТВ, то ТВ изобретено на благо Феллини. Тем более что один из первых опытов («Блокнот режиссера») доставил режиссеру определенное удовлетворение. Фильм вызвал известный интерес у телезрителей. Это был документальный экскурс в прихотливую методику режиссуры «Сатирикона». И ни на что более этот «самоотчет» не претендовал. То есть он не имел никакого инносказательного смысла.

«Клоуны» были задуманы не просто как путешествие к истокам феллиниевской манеры, но как притча об ускользающей из современного мира человечности, олицетворяемой искусством клоунады, и о редких мгновениях ее торжества.

Все было сделано в согласии с требованиями специфики ТВ, которую, кстати, Феллини на словах не признает: «По правде говоря, проблемы телевизионной специфики я вообще не признаю». В свой рассказ он включил реальные факты, иконографические материалы, вывел на экран реальных людей, воспроизвел и опозитизировал картины детских воспоминаний о детстве, представил членов съемочной группы, наконец, ввел в круг действующих лиц себя самого и не в одном лице, а в двух — мальчика Федерико и взрослого Феллини.

Мальчик был воображаемым персонажем, взрослый — реальным. Феллини снял маску художественного образа и остался в маске документального. Но дело в том, что характер коммуникации, присущий кино, не изменился: автор по-прежнему адресуется в основном к себе. Образ воображаемой публики истончился до образа телезрителя по имени Федерико Феллини. Во всяком случае, невоображаемой публике ничего не остается иного, как поставить себя на место автора, сохранившего несколько памятных образов детства и пребывающего в поиске прообразов этих образов.

Поэтому-то и было столь велико разочарование автора «Клоунов» — он не достиг контакта с аудиторией, он ее не почувствовал. И очень трезво оценил ситуацию:

«Возможно, я подходил к телевидению со своей — слишком снобистской, слишком личной, индивидуалистской точки зрения». И уже в связи со своей «снобистской», «индивидуалистической» позицией высказывает догадку об ином отношении к зрелищу, к стати, тоже очень знакомом и, разумеется, понятном. Он сравнивает автора телешоу с паяцами, «которые выступали когда-то на площадях». На площадях люди двигались по своим делам, были заняты разговорами друг с другом, не были зрителями, их надо было сделать зрителями. Для этого приходилось делать нечто невероятное. Для этого приходилось быть и паяцами и шутами. Дома, в квартире человек чувствует себя столь же независимо по отношению к зрелищу, как и прохожий на площади по отношению к балагану.

«Помни также,— обращается к себе Феллини,— что ты должен говорить, делиться своими сокровенными мыслями с людьми, которые уже только потому, что они у себя дома, имеют право делать какие угодно замечания вслух и даже оскорблять или, что еще хуже, игнорировать тебя». И после этого следует, можно сказать, драматический вопрос: как остаться верным себе, своему строю мыслей, образу чувствований, своей манере размышлять, говорить?

Вопрос обнажает суть общечеловеческой драмы: распад естественных человеческих связей, несмотря на то, что цивилизация связала такое могучее подспорье для их укрепления и уточнения, как телевидение. «В телевидении,— заключает свои размышления Феллини о ТВ,— как и во всем остальном, на наших глазах постоянно свертывается бесконечный погребальный ритуал, маскируемый под мюзик-холл». Несколько позже автор «Клоунов» и другой своей телевизионной ленты «Репетиция оркестра» сделает этот погребальный ритуал распада человеческих взаимосвязей содержанием чисто кинематографической ленты «Джидджер и Фред» и покажет, как он маскируется под мюзик-холл.

Но тот же вопрос обнажает и суть чисто теоретической коллизии. Она в том, что роль телезрителя не идет ни в какое сравнение с той ролью, какую играет зритель в кино.

Пожалуй, ни в одном виде искусства он не чувствует себя столь безответственным (не в правовом, разумеется, смысле, а в эмоциональном) по отношению к автору, как в телевидении. И дело не только в условиях восприятия зрелища. У автора на телевидении самый массовый зритель. Это несомненно. Но и самый случайный.

Может быть, правильнее сказать, самый стихийный, самый анонимный зритель.

Эмпирия зрительской массы — столь же влиятельный фактор на ТВ, как и эмпирия материальной среды в кино.

Посмотрим, как растет коэффициент стихийности в зрелищных формах.

Самый, пожалуй, наименьший он на концертах классической музыки. Здесь зритель — избранный. Слишком много факторов, объединяющих эмоционально и душевно публику: знание сочинения, исполнителя, мера эстетической подготовленности, привычка посещения концертных мероприятий, осведомленность в ритуале подобных встреч с искусством, сам ритуал, наконец.

Публика в этом случае проходит сито сурового отбора. Появление на такого рода концертах зрителя случайного, то есть такого зрителя, который не был бы заинтересован в предполагаемом общении, практически исключено. Автор будет делиться «сокровенными мыслями», уверенный в том, что он затрагивает и сокровенные мысли слушателя.

В театре ситуация, как легко догадаться, несколько иная. Зритель ощущается актером как партнер. Реакция последнего — нечто вроде аранжировки, сочиняемой опытным актером по ходу спектакля.

Театральный зритель — это в первую очередь игровой зритель. Его непосредственность, по поводу которой было столько написано патетических пассажей, вещь весьма относительная. Но что правда то правда: уровень стихийности зрительской аудитории здесь много выше, чем на концертах классической музыки.

А в кино по уже понятным причинам он еще выше. Кинозритель лишен магии непосредственного общения с актером и определенной игровой модели. Настраиваться на фильм ему приходится без посредничества. И только возникающая клубная система проката способна дать нечто эквивалентное театральной форме восприятия. В целом же кино имеет дело с очень подвижной массовой аудиторией, которая с большим трудом поддается художественной обработке. Сегодня, однако, можно с большой степенью уверенности констатировать, что на этом пути достигнуты значительные успехи. По крайней мере, столь же очевидные, как и те, что связаны с художественной интерпретацией физической реальности.

И кинозритель индивидуализировался. В нем перестало угадываться различие между образом и прообразом. Зритель оказался либо «заглоченным» сюжетом, либо должен отождествить себя с автором и разделить его саморефлексию.

Потому Феллини остается верным кинематографу, даже снимая для телевидения. Его «Репетиция оркестра» — показательный пример. В основание берется материал, необычайно телевизионный по своему характеру — репетиция музыкантов, — который затем замыкается в круг притчи. Круг очерчен резко. Чтобы в него войти, нужны усилия со стороны зрителя, необходима активизация в нем, зрителе, личностного начала. А для этого требуется заведомая предрасположенность, направленное внимание. Телевидением ни то, ни другое не обеспечено, а кинематограф худо-бедно подвигает на это зрителя.

Следующая кинокартина Феллини «Блокнот режиссера, или Заметки Федерико Феллини», судя по той информации, что для нас доступна, непосредственно связана с опытом работы для телевидения. Кроме сходства в заглавии новой ленты с известным телевизионным опусом, учтена склонность ТВ к демаскировке образа автора. Перед нами явится не некий условный персонаж Гвидо Ансельми, а сам Федерико Феллини. Но и этот открытый настежь мир образов и воспоминаний режиссера обнаруживает по ходу сюжета способность сгущаться в замкнутый в себе микрокосм, преобразовываться в некое иносказание о положении человека в современной действительности. И зрителю вновь предстоит творческий акт преобразования своего «я» в «я» художника.

Микрокосмы Автора и Зрителя, сталкиваясь перед киноэкраном, приходя во взаимодействие, не могут «разойтись миром». Первый обязательно должен в себе растворить второй.

Микрокосм телезрителя по природе — нечто более тугоплавкое и твердокаменное. Неотобранность аудитории — фактор необычайно существенный для восприятия телезрелища. Аудитория не отобранная, не сформированная по индивидуальным склонностям и интересам, начинает самоорганизовываться и сплавиваться в коллектив по характерным для большинства инстинктам и ожиданиям. Общий знаменатель здесь — доминирующая, все определяющая величина. Поэтому то обстоятельство, что телеаудитория расквартирована, распылена, не имеет сколько-нибудь решающего значения для восприятия самого зрелища. Коллективизм телеаудитории гораздо сильнее, прочнее, нежели коллективизм публики, собравшейся в кинозале, и намного мощнее той эмоциональной сплоченности, что возникает в театральном зале.

Вот с ним как раз и труднее всего приходится автору, рискующему «просо-

читься» в дома телезрителей. Дело в том, что коллективизм этот не сознательный, а стихийный.

Кинематограф может преподавать ТВ квалифицированный урок преодоления натуралистических склонностей, иллюзионистских поплзновений, комплексов тавтологичности по отношению к физической реальности, то есть по отношению к объекту съемки. Но что касается «натурализма» зрительской аудитории, то здесь кинематографу особо посоветовать нечего — слишком специфична эта ситуация.

Натурализм зрительской аудитории, по всей вероятности, и определяет онтологию телезрелища. Подобно тому, как натуральность окружающей среды охарактеризовала онтологию кинематографа.

История развития телевидения как выразительного средства в этом свете представляется как история разрешаемых и возобновляемых противоречий между Автором и Зрителем.

Вначале был именно Зритель.

Первые пробные передачи, предметом которых было исполненное искусство мастеров вокальной, инструментальной музыки, явились своего рода аттракционом зрительского самоощущения. Содержание зрелища не имело собственной эстетической цены. Содержанием был коммуникативный процесс. Объект съемки был поводом осознания момента видения. Человек самоутверждался в качестве зрителя.

Пафос самоутверждения приобрел новый импульс, когда объектом телесъемки стала живая действительность. По поводу телекамеры как нового и совершенно уникального инструмента проникновения в глубины реальности говорилось необычайно много и часто довольно возвышенно. Откровением было самоощущение зрителя, которое тем более усиливалось и крепло, чем мобильнее и всепроникающе становилась телекамера.

Со временем самоощущение трансформировалось в самомнение. Возникла величина, которая еще никак не была осознана телевидением. Она не была осмыслена как выразительное средство.

Прямая трансляция концерта — бессознательный, но уже достаточно выразительный жест ТВ. Зритель видит себя со стороны. Самоощущение окрашивается чем-то вроде самопонимания. Образуется нечто вроде зазора между чувством и понятием. Зазор невелик, но он служит своего рода предпосылкой для более сложных выразительных решений. Уже не ТВ приглашается в концертный зал, а концертный зал имитируется на студии. Начинается процесс, который можно на-

звать документализацией зрителя. Прямые трансляции в первую очередь были примечательны именно с этой стороны.

Почти одновременно идет другой процесс — эстетизация зрителя.

В рамках живого вещания и та и другая тенденция достигли определенного пика в передачах КВН. Ни в одной, наверное, передаче того времени телезритель не сознавал себя так полно и отчетливо в качестве реального, действительного телезрителя. Феноменально было то, что это осознавалось многими и одновременно. Велик был, впрочем, и эстетический эффект образа реального зрителя. Ему предлагалась роль довольно сложная по составу чувств: он должен был быть объективным, будучи не в силах побороть личных симпатий и пристрастий.

Эстетизация постепенно все более вступала в противоречие с документализацией образа зрителя. И дело, видимо, не могло не кончиться полным торжеством первой. Средства записи только довершили дело. Противоречие в конце оказалось разрешенным, а передача убитой. Ее возрождение и попытка возвращения к форме прямой передачи — предмет разговора, который, по всей вероятности, еще впереди.

Два фактора, оба технического порядка, оказывали тогда влияние на формирование выразительности ТВ. Первый был связан с бурным процессом развития средств записи изображения и его обработки, а также передачи в эфир. Под вторым надо иметь в виду столь же бурный процесс телефикации. Массовость ТВ приобретала глобальный масштаб.

Если первый фактор по достоинству и по праву был оценен с эстетической стороны, то второй в этом отношении оказался явно недооцененным, отчего и оказались возможными столь резкие перепады в суждениях о специфике телеобщения, свидетелями которых мы стали в цитированной книге Феллини. Между тем именно стремительная телефикация способствовала в той же степени стремительному росту самомнения телезрителя. Утратив непосредственную власть над событиями, фактами и прочей физической реальностью, он приобрел непомерную, ни с чем не сравнимую непосредственную власть над изображением, над «картинкой» и, стало быть, над Автором. Перед всемогуществом этой власти и ее деспотизмом пасует, как мы видели, Феллини.

Телезритель в самом деле сегодня более становится похож на обладателя волшебного огнива из сказки Андерсена. Он щелкает переключателем, словно ударяет по кремню... И к его услугам зрелище.

Но, конечно же, положение не безвы-

ходно. Выход в том, чтобы найти формы опосредования этой новой стихии. Что касается технической стороны, то предпосылкой обуздания этой стихии может послужить кабельное, а также кассетное телевидение, поскольку обе технологии ориентированы на более индивидуальный контакт.

Но опять же техника сама по себе ничего не решит, нужны эстетические формы, позволившие организовать эту пока еще хаотическую эмпирию. Нужны новые формы, как говорил чеховский Треплев. Видеофильм — одна из них.

Становление выразительной формы — процесс неравномерный. Та или иная жанровая область в силу определенных причин вдруг приобретает авангардное значение. Она концентрирует в себе все специфическое, характерное для новой формы. Она являет собой язык в процессе складывания. Таковой на раннем этапе развития кино была комическая, а также приключенческая ленты.

Таковой для видеофильма, судя по всему, становится видеоклип.

Потому, вероятно, переход на телеэкране от реального объекта к его игровой модели, от прообраза к образу, от поэтического слова к прозаическому, от слова к танцу, от исполнителя к зрителю, от реального движения, достигнутого камерой, к движению сотворенному, мультипликационному кажется естественным.

В кино все формообразующие элементы интегрируются. Они организуются в синтетическое образование.

Видеофильму свойствен не синтез, а симбиоз, то есть такого рода союз, в котором взаимосвязанные и взаимодействующие стороны сохраняют автономные структуры, благодаря чему и становится возможной на экране эссеистическая форма. Форма, которая так долго не давалась кинематографу.

Скоротечная эстетическая эволюция кинематографа позволила последнему овладеть едва ли не всеми жанровыми открытиями литературы. Ему оказались доступны и новелла, и повесть, и роман. И только эссеистическая форма никак не давалась экрану.

Она упорно пробивалась на большой экран и пробилась на малый — на телеэкран, благодаря особому режиму общения автора с изображением и зрителем.

Телевидение допускает ту меру авторской рефлексии и саморефлексии, какой не мог позволить кинематограф.

Автор в условиях телекоммуникации замыкает на себе разнородные и разноплановые стороны многообразной действительности.

НАШИ АВТОРЫ

БОГОМОЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1937 г.). Закончил киноведческий факультет ВГИКа в 1969 г. (мастерская А. Грошева). Старший научный сотрудник ВНИИ искусствознания. Автор книг «Проблемы художественного времени на ТВ», «Курьезы муз», «Ищите автора», «Михаил Калатозов» и статей по теории и истории кино и телевидения.

БОРОДЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЭММАНУИЛОВИЧ (род. в 1944 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1973 г. (мастерская И. Вайсфельда). Автор сценариев художественных фильмов «Афоня» (1975 г., реж. Г. Данелия), «Дамы приглашают кавалеров» (1980 г., сцен. совм. с К. Шахназаровым, реж. И. Киасашвили), «Смотри в оба» и «Инспектор ГАИ» (1981 и 1983 гг., реж. Э. Уразбаев), «Человек с аккордеоном» (1984 г., реж. Н. Досталь), «Начни сначала» (1985 г., сцен. совм. с реж. А. Стефановичем), «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер» (1983, 1985, 1986 гг., сцен. совм. с реж. К. Шахназаровым), «Шура и Просвирия» (1987 г., сцен. совм. с реж. Н. Досталем), «Город Зеро» (1989 г., сцен. совм. с реж. К. Шахназаровым; опубликован в журнале «Киносценарии» № 3, 1988 г.) и др. Фильм по сценарию «Царевыйца» ставит режиссер К. Шахназаров.

КЛИМОВ GERMAN GERMANOVICH. См. «Киносценарии» № 3, 1990 г.

КЛИМОВ ЭЛЕМ GERMANOVICH. См. «Киносценарии» № 4, 1990 г.

ЛУЦИК ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1960 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1990 г. (мастерская О. Агишева и В. Туляковой). Совместно с А. Саморядовым им написаны сценарии короткометражных фильмов «Тихоня» (1987 г., реж. Ю. Азимов), «Гражданин Убегающий» (1987 г., реж. Е. Цыплакова), поставлен сценарий короткометражной ленты «Канун» (1989 г.), а также написаны сценарии «Казачи» (1986 г.), «Мутант» (1986 г.), «Праздник саранчи» (1987 г., опубликован в журнале «Киносценарии» № 3, 1988 г.), «Северная Одиссея» (1989 г.), «Совершеннолетние» (1989 г.), «Феномен Горсея» (1990 г.). Фильм по сценарию «Дюб-дюб» ставит режиссер А. Хван.

МАРЕЕВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА. Закончила сценарный факультет ВГИКа в 1983 г. (мастерская Евг. Габриловича). Автор сценария короткометражного фильма «Шнур» (1979 г., реж. А. Хван), а также сценариев «Сорви-трава» (1983 г.), «Друзья дома» (1985 г.), «Страсти в ключья» (1987 г.).

ПОКОРНАЯ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА. Закон-

чила сценарный факультет ВГИКа в 1983 г. (мастерская Евг. Габриловича, Н. Фокиной, С. Лунгина, Л. Голубкиной). Автор сценариев «Интернат — лесная школа» (1983 г.), «Голубые города» (1984 г.), «Дом приезжих» (1985 г.), «Умягчение Злых Сердец» (1989 г.) и др.

САМОРЯДОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1962 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1990 г. (мастерская О. Агишева и В. Туляковой). Совместно с П. Луциком им написаны сценарии короткометражных фильмов «Тихоня» (1987 г., реж. Ю. Азимов), «Гражданин Убегающий» (1987 г., реж. Е. Цыплакова), поставлен сценарий короткометражной ленты «Канун» (1989 г.), опубликован в журнале «Киносценарии» № 3, 1988 г.), «Северная Одиссея» (1989 г.), «Совершеннолетние» (1989 г.), «Феномен Горсея» (1990 г.).

ТУРСУНОВ ЕРМЕК КАРИМЖАНОВИЧ (род. в 1961 г.). Закончил факультет журналистики Казахского государственного университета в 1984 г. и Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР в 1989 г. (мастерская В. Фрида). Автор нескольких поэтических сборников.

ФРАНК СЕМЕН ЛЮДВИГОВИЧ (1877—1950 гг.). Выдающийся русский религиозный философ. Закончил юридический факультет Московского университета. В юности увлекался проблемами политэкономии, был членом марксистского кружка. В годы первой русской революции вместе с П. Б. Струве издавал журнал «Полярная звезда». С 1912 по 1921 г. — доцент Петербургского, а затем профессор Саратовского университетов. В 1922 г. был выслан из Советской России вместе с другими видными деятелями культуры. Автор книг «Предмет знания», «Крушение кумиров», «Духовные основы общества», «Непостижимое», «Свет во тьме», «Реальность и человек» и др. В журнале «Киносценарии» № 3, 1989 г. опубликована статья С. Л. Франка «Этика нигилизма».

ЧЕЧУЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. См. «Киносценарии» № 4, 1990 г.

ШАХНАЗАРОВ КАРЕН ГЕОРГИЕВИЧ (род. в 1952 г.). Закончил режиссерский факультет ВГИКа в 1975 г. (мастерская И. Таланкина). Автор и соавтор сценариев поставленных им фильмов «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Город Зеро» (1983, 1985, 1986, 1989 гг., сцен. совм. с А. Бородянским), а также фильма «Дамы приглашают кавалеров» (1980 г., сцен. совм. с А. Бородянским, реж. И. Киасашвили).

1р.20к.
70434

5

КИНОСЦЕНАРИИ

1990